

ДЖОН
ГОЛСУОРСИ

ДЖОН
ДОНСГОРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962

Современная
комедия
~



Интерлюдия:
ВСТРЕЧИ

Перевод
М. Лорие.

I

В Вашингтоне светило осеннее солнце, и все, кроме камня и вечнозеленых деревьев на кладбище Рок Крик, сверкало. Сомс Форсайт сидел перед статуей Сент-Годенса, подложив под себя пальто, и, прислонившись к мраморной спинке скамьи, наслаждался уединением и полоской солнечного света, игравшего между кипарисами.

С дочерью и зятем он уже был здесь накануне днем, и место ему понравилось. Помимо привлекательности всякого кладбища, статуя будила в нем чувство знатока. Купить ее было невозможно, но она, несомненно, была произведением искусства, из тех, что запоминаются. Он не помнил статуи, которая так сильно дала бы ему почувствовать себя дома. Эта большая зеленоватая бронзовая фигура сидящей женщины в тяжелых складках широкой одежды уводила его, казалось, в самую глубь собственной души. Вчера в присутствии Флер, Майкла и других, глазевших на нее вместе с ним, он воспринял не столько настроение ее, сколько техническое совершенство, но теперь, в одиночестве, можно было позволить себе роскошь предаться личным ощущениям. Ее называли «Нирваной» или «Надгробием Адамсов», он не знал точно. Но, как бы там ни было, вот она перед ним,

самое лучшее из виденного в Америке — то, что доставило ему наибольшее удовольствие, как ни много он видел воды в Ниагаре и небоскребов в Нью-Йорке. Три раза он пересаживался на полукруглой мраморной скамье, и каждый раз ощущение менялось. С того места, где он сидел теперь, казалось, что эта женщина уже перешла предел горя. Она сидела в застывшей позе смирения, которое глубже самой смерти. Замечательно! Есть же что-то в смерти! Он вспомнил своего отца Джемса, через четверть часа после смерти выглядевшего так, словно... словно ему наконец сказали!

Лист клена упал ему на рукав, другой на колено. Он не смахнул их. Легко сидеть неподвижно перед этой статуей! Заставить бы Америку посидеть здесь раз в неделю!

Он встал, подошел к памятнику и осторожно потрогал складку зеленой бронзы, словно сомневаясь в возможности вечного небытия.

— У меня сестра в Далласе — еще совсем молоденькая, вышла там за служащего железной дороги. Да, Техас — замечательный штат. Сестра только смеется, когда говорят, что там климат неважный.

Сомс отнял руку от бронзы и вернулся на свое место. В святилище входили двое — высокие, тонкие, немолодые. Дошли до середины и остановились. Потом один сказал: «Ну что ж», — и они двинулись к другому выходу. Легкое дуновение ветерка пошевелило упавшие листья у подножия статуи. Сомс передвинулся на самый конец скамьи. Отсюда статуя снова была женщиной. Очень интересно! И он сидел неподвижно, в позе мыслителя, закрыв рукой нижнюю часть лица.

Сильно загорелый и по виду бесспорно здоровый, он привык считать себя измученным долгим путешествием, которое, опоясав земной шар, должно было закончиться послезавтра, с посадкой на «Адельфик». Трехдневное пребывание в Вашингтоне было последней каплей, и переносил его Сомс прекрасно. Город был приятный: в нем оказалось несколько красивых зданий и масса по-осеннему ярких деревьев, здесь не было нью-йоркской

сутолоки, и во многих домах, по его мнению, даже можно было бы жить по-человечески. Конечно, город кишел американцами, но это уж было неизбежно. И Флер его радовала: она совсем успокоилась после этой неприятной истории с Феррар, была, по-видимому, в прекрасных отношениях с Майклом и с удовольствием ждала возвращения домой и встречи с ребенком. Сомс безмятежно предавался ощущению завершенности и покоя, чувству, что добродетель сама себе награда, и главное — мысли, что скоро он снова услышит запах английской травы и снова увидит реку, протекающую мимо его коров. Аннет — и та, возможно, будет рада его видеть: он купил ей в Нью-Йорке превосходный браслет с изумрудами. И венцом этой общей удовлетворенности явилась статуя «Нирваны».

— Вот мы и пришли, Энн.

Английский голос, и двое молодых людей на дальнем конце — наверно, будут болтать! Он готовился встать, когда услышал голос девушки — американский голос, но мягкий и странно интимный.

— Джон, она изумительная. У меня прямо замирает вот тут.

По движению ее руки Сомс увидел, что именно там замирало и у него, когда он смотрел на статую.

— Вечный покой. Грустно от нее, Джон.

В ту минуту, когда молодой человек взял ее под руку, стало видно его лицо. С быстротой молнии половина лица Сомса опять скрылась за его рукой. Джон! Да, вот оно что! Джон Форсайт — никакого сомнения! И эта девочка — его жена, сестра, как он слышал, того молодого американца, Фрэнсиса Уилмота. Что за несчастье! Он прекрасно помнил лицо молодого человека, хотя видел его только в галерее на Корк-стрит, да после в кондитерской, да раз в тот невеселый день, когда ездил в Робин-Хилл просить свою разведенную первую жену позволить ее сыну жениться на его дочери. Никогда он так не радовался отказу. Никогда меньше не сомневался, что так нужно, а между тем боль, испытанная им, когда он сообщил об этом отказе Флер, осталась у него в памяти, как тлеющий уголь, красный и жгучий под пеплом лет. Надвинуь

шляпу на лоб и заслонившись рукой, он стал наблюдать.

Молодой человек стоял с непокрытой головой, словно поклоняясь статуе. Что-то форсайтское в нем есть, хотя слишком уж большая шевелюра. Говорили — поэт! Неплохое лицо, что называется, обаятельное; глаза посажены глубоко, как у деда, старого Джолиона, и такого же цвета — темно-серые; более светлый тон волос — очевидно, от матери; но подбородок Форсайта. Сомс взглянул на его спутницу. Среднего роста, смугло-бледная, черные волосы, темные глаза; красивая посадка головы и хорошо держится — очень прямо. Что и говорить — мила! Но как мог этот мальчик увлечься ею после Флер? Все же у нее естественный вид для американки; чуть похожа на русалку, и что-то в ней есть интимное, домашнее.

Ничто в Америке не поразило Сомса так сильно, как отсутствие обособленности и чувства дома. Чтобы остаться в одиночестве, нужно выключить телефон и залезть в ванну — иначе непременно позвонят, как раз когда собираешься ложиться спать, и спросят, не вы ли мистер и миссис Ньюберг. И дома не отделены друг от друга и от улицы. В отелях все комнаты сообщаются, в вестибюле — неизбежная стая банкиров. А обеды — ничего в них домашнего; даже если обедаешь в гостях, всегда одно и то же: омары, индейка, спаржа, салат и сливочное мороженое; конечно, блюда все хорошие и в весе прибавляешь — но ничего домашнего.

Те двое разговаривали. Он вспомнил голос молодого человека.

— Это — величайшее создание рук человеческих во всей Америке, Энн. У нас в Англии не найдешь ничего подобного. Прямо аппетит разыгрывается — придется поехать в Египет.

— Твоя мама согласилась бы с радостью, Джон; и я тоже.

— Пойдем посмотрим ее с другой стороны.

Сомс поспешно встал и вышел из ниши. Его не узнали, но он был встревожен. Нелепая, даже опасная встреча! Он проезжал шесть месяцев, чтобы вернуть Флер душевное равновесие, и теперь, когда она успокоилась, он ни за что на свете не допустит, чтобы она снова

разволновалась от встречи со своей первой любовью. Он слишком хорошо помнил, как его самого волновал вид Ирэн. Да, а ведь очень возможно, что Ирэн тоже здесь! Ну что же, Вашингтон — большой город. Опасность невелика! После обеда — поездка в Маунт-Вернон, а завтра рано утром отъезд. У ворот кладбища его ждало такси. Один из автомобилей, стоявших тут же, принадлежал, очевидно, этим молодым людям; и он искося оглядел машины. Не возникло ли у него опасение — или надежда — увидеть в одной из них ту, которую когда-то, в другой жизни, он видел день за днем, ночь за ночью. которая вечно, казалось, ждала того, что он не мог ей дать. Нет! Только шоферы переговариваются. И, садясь в такси, он сказал:

— Отель «Пото́мак».

— Отель «Пото́мак»?

— Если вам так больше нравится.

Шофер ухмыльнулся и захлопнул дверцу. Дом раненых воинов! Ветераны-то, говорят, почти все умерли. Впрочем, и с последней войны их вернулось немало. А что для Америки пространство и деньги? Здесь столько их — не знают куда девать! Что ж, неважно, раз ему скоро уезжать. Ничего не важно. Он даже пригласил целую кучу американцев заехать посмотреть его коллекцию, если они будут в Англии. Все они были очень радужны, очень гостеприимны; он перевидал множество прекрасных картин, среди них несколько китайских. И столько высоких зданий; и воздух очень бодрящий. Жить он здесь не хотел бы, но ненадолго — почему же! Во всем так много жизни — неплохое возбуждающее средство!

«Не могу себе представить, как она здесь живет, — подумалось ему вдруг. — В жизни не видал более «домашнего» человека». Машины катились мимо или рядами выстраивались на стоянках. Машины и газеты — вот Америка! И внезапная мысль встревожила его. Они здесь все печатают. Что, если в списке прибывших есть его имя?

Вернувшись в отель, он сейчас же прошел к киоску, где продавались газеты, зубная паста, конфеты, о которые ломаются зубы, вероятно, и новые зубы взамен сломанных. Список прибывших? Вот он: «Отель «Пото-

мак»: м-р и м-с Мак-Гунн; две мисс Эрик; м-р Х. Иелам Рут; м-р Семмз Форсит; м-р и м-с Мунт». Ну конечно, тут как тут! Только, к счастью, совсем не похоже: Форсит! Мунт! Никогда не напишут верно. «Семмз»! Неуживаемо, надо надеяться. И, подойдя к окошечку конторы, он взял книгу приезжающих. Да! Он написал имена совершенно четко. И слава богу, иначе они по ошибке напечатали бы их правильно. А потом, перевернув страницу, он прочел: «М-р и м-с Джолион Форсайт». Здесь! В этом отеле! За день до них; да, и на самом верху страницы, с пометкой на несколько дней раньше: «М-с Ирэн Форсайт». Мысль его заработала с невероятной быстротой. Надо взяться за дело сейчас же. Где Флер и Майкл? Галерею Фриэра они осмотрели вместе вчера — прелестьная, между прочим, галерея, лучшей в жизни не видел. И были у памятника Линкольну и у какой-то башни, на которую он отказался лезть. Сегодня утром они собирались в галерею Коркоран, на юбилейную выставку. Он знает, что это такое. Видел он в свое время юбилейные выставки в Англии! Модные художники всех эпох, а в результате — грусть и печаль. И он сказал клерку:

— Есть тут где-нибудь ресторан, где бы можно хорошо позавтракать?

— Конечно. У Филлера отлично готовят.

— Так вот, если придут моя дочь с мужем, будьте любезны передать им, что я буду ждать их у Филлера в час.

И, подойдя опять к киоску, он купил билеты в оперу, чтобы было куда уйти вечером, а через десять минут уже направлялся к галерее Коркоран. От Филлера они проедут прямо в Маунт-Вернон; пообедают перед спектаклем в каком-нибудь другом отеле и завтра первым поездом прочь отсюда — он не желает рисковать. Только бы поймать их в галерее!

Придя туда, он по привычке купил каталог и прошел наверх. Комнаты выходили в широкий коридор, и он начал с последней, где помещалась современная живопись. А вот и они перед картиной, изображающей заходящее солнце. Уверенный в них, но еще не уверенный в себе — Флер так проникательна, — Сомс взглянул на картины. Все современщина, подражание французским

выдумкам, которые Думетриус еще полгода тому назад показывал ему в Лондоне. Как он и думал — все одно и то же; свободно могли бы все сойти за работу одного художника. Он увидел, как Флер дотронулась до руки Майкла и засмеялась. Какая она хорошенькая! Было бы слишком жаль опять ее расстроить. Он подошел к ним. Что? Это, оказывается, не заходящее солнце, а лицо мужчины? Да, в наше время никак не угадаешь.

И он сказал:

— Я решил зайти за вами. Мы завтракаем у Филлера — говорят, там лучше, чем у нас в отеле, а оттуда можем прямо поехать в Маунт-Вернон. А на вечер я взял билеты в оперу.

И, чувствуя на себе пристальный взгляд Флер, он стал разглядывать картину. Ему было очень не по себе.

— Что, более старые картины — лучше? — спросил он.

— Знаете, сэр, Флер как раз только что говорила: как можно еще заниматься живописью в наши дни?

— То есть почему это?

— Если пройдете всю выставку, скажете то же самое. Здесь ведь собраны картины за сто лет.

— Лучшие произведения никогда не попадают на такие выставки — сказал Сомс. — Берут, что могут достать. Райдер, Инис, Уистлер, Сарджент — у американцев есть великие мастера.

— Разумеется, — сказала Флер. — Но ты правда хочешь все осмотреть, папа? Я страшно проголодалась.

— Нет, — сказал Сомс. — После той статуи что-то не хочется. Пойдемте завтракать.

II

Маунт-Вернон! Расположен он был замечательно! Яркая раскраска листвы и поросший травой обрыв, а под ним широкий синий Потомак, даже по признанию Сомса более внушительный, чем Темза. А наверху низкий белый дом, спокойный и действительно уединенный, если не считать экскурсантов, почти английский и вну-

шающий чувство, не испытанное им с самого отъезда из Англии. Понятно, почему этот Джордж Вашингтон любил его. Сомс и сам мог бы привязаться к такому месту. Старый дом лорда Джона Рассела на холме в Ричмонде немножко напоминал его, если бы, конечно, не ширина реки и не это чувство, которое у него по крайней мере всегда являлось в Америке и Канаде, будто стараются заполнить страну и не могут—такое огромное пространство и, по-видимому, полный недостаток времени. Флер была в восторге, а Майкл заметил, что все это, «честное слово, знаменито!». Солнце пригревало Сомсу щеку, когда он в последний раз огляделся с широкого крыльца, прежде чем войти в самый дом. Это он запомнит — не вся Америка создавалась в один день! Он вошел в дом и стал тихо пробираться по комнатам нижнего этажа. Правда, устроено все было на редкость хорошо. Одни только подлинные вещи полуторавековой давности, напомнившие Сомсу минуты, проведенные в антикварных лавках старых английских городков. Слишком много, конечно, «Джорджа Вашингтона»: кружка Джорджа Вашингтона, ножная ванна Джорджа Вашингтона, и его письмо к такому-то, и кружево с его воротника, и его шпага, и его карабин, и все, что принадлежало ему. Но это, положим, было неизбежно. Отделившись от толпы, отделившись даже от своей дочери, Сомс двигался, укрывшись, как плащом, своей коллекционерской привычкой молчаливой оценки; он так не любил смешивать свои суждения с глупостями ничего не понимающих людей. Он добрался до спальни на втором этаже, где Джордж Вашингтон умер, и стал разглядывать ее через решетку, как вдруг уловил звуки, от которых кровь застыла у него в жилах. Те самые голоса, которые он слышал утром перед статуей Сен-Годенса и вперемежку с ними голос Майкла! И Флер здесь? Беглый взгляд через плечо успокоил его. Нет! Они стояли втроем у парадной лестницы и обменивались замечаниями, обычными между чужими людьми, случайно интересующимися одним и тем же. Он слышал, как Майкл сказал: «Хороший вкус у них был в то время», а Джон Форсайт ответил: «Ведь все ручная работа».

Сомс бросился к задней лестнице, толкнул какую-то толстую даму, отпрянул, споткнулся и ринулся вниз. Если Флер не с Майклом, значит, она завладела хранителем музея. Увести ее, пока те трое не сошли вниз! Два молодых англичанина вряд ли представятся друг другу, а если и так, надо поскорее отвлечь Майкла. Но как увести Флер? Да, вот она — беседует с хранителем перед флейтой Джорджа Вашингтона, лежащей на клавикордах Джорджа Вашингтона в гостиной. И Сомсу стало тяжело. Возмутительно болеть, еще более возмутительно притворяться больным! А между тем — как же иначе? Не может он подойти к ней и сказать: «С меня довольно, едем домой». Судорожно глотая слюну, он приложил ко лбу руку и пошел к клавикордам.

— Флер, — начал он и сейчас же, чтобы не дать ей сбить себя, продолжал: — Мне что-то нездоровится. Придется пойти сесть в автомобиль.

Слова поразительные в устах такого сдержанного человека.

— Папа, что с тобой?

— Не знаю, — сказал Сомс, — голова кружится. Дай мне руку.

Право же, ужасно для него — вся эта история. Пока они шли к автомобилю, оставленному у ворот, ее заботливость так смущала его, что он готов был бросить свои уловки. Но он ухитрился проговорить:

— Слишком много двигался, должно быть; а может, еда виновата. Я посижу спокойно в автомобиле.

К его великой радости, она села рядом с ним, достала пузырек с нюхательными солями и послала шофера за Майклом. Сомс был тронут, хотя ему совсем не нравилось нюхать соли, которые оказались очень крепкими.

— Вот суматоха из-за пустяков, — проговорил он.

— Лучше поедem сейчас домой, милый, и ты ляжешь.

Через несколько минут прибежал Майкл. Он тоже, как показалось Сомсу, выразил непритворную тревогу, и машина тронулась. Сомс откинулся на спинку. Флер держала его руку; он плотно сжал губы, закрыл глаза и чувствовал себя, пожалуй, лучше, чем когда-либо. Не доезжая Александрии, он раскрыл рот, чтобы сказать, что испортил им поездку; нужно ехать домой через

Арлингтон, и он подождет в автомобиле, а они осмотрят музей. Флер не хотела сначала, но он настоял. Зато когда они остановились перед этим вторым белым домом, тоже удачно расположенным над рекой, с ним чуть не случился припадок, пока он ждал их. Что, если та же мысль придет в голову Джону Форсайту и он вдруг подкатит сюда? Он испытал острое чувство облегчения, когда они вышли из дома, говоря, что тут очень хорошо, но не сравнить с Маунт-Вернон: слишком массивные колонны у входа. Когда машина снова покати-лась по багряному лесу, Сомс окончательно открыл глаза.

— Все прошло. Скорей всего, печень шалила.

— Тебе бы выпить рюмку коньяку, папа. Можно достать по рецепту врача.

— Врача? Глупости. Пообедаем у себя в номере, и я достану у официанта. У них, наверно, найдется.

Обедать в номере! Это была счастливая мысль.

Добравшись к себе, он лег на диван, растроганный и довольный, потому что Флер поправляла ему подушки, затемнила лампу и поглядывала на него поверх книги, чтобы удостовериться, лучше ли ему. Он не помнил, чтобы когда-нибудь чувствовал так определенно, что она его любит. Он даже думал: «Не мешало бы болеть вот так изредка!» А дома, чуть только он жаловался, что ему плохо, Аннет сейчас же жаловалась, что ей еще хуже.

Совсем близко, в маленькой гостиной через площадку, играли на рояле.

— Тебе не мешает музыка, милый?

У Сомса мелькнула мысль: «Ирэн!» А если так и Флер пойдет просить, чтобы перестали играть,— вот тогда действительно заварится каша.

— Нет, не надо, даже приятно,— поспешил он сказать.

— Очень хорошее туше.

Туше Ирэн! Он помнил, как Джун когда-то восторгалась ее туше; помнил, как застал однажды Босини, слушавшего ее в маленькой гостиной на Монпельесквер, и его лицо, вечно выражавшее какую-то тревогу; помнил, как она всегда бросала играть, когда появлялся он сам,— из боязни ли помешать или считая, что

он все равно не оценит? Он никогда не понимал. Никогда ничего не понимал! Он закрыл глаза и сейчас же увидел Ирэн в изумрудно-зеленом вечернем платье в передней дома на Парк-Лейн, в день первого приема после их свадебного путешествия. Почему такие картины возникают, чуть закроешь глаза,— картины без всякого смысла? Ирэн расчесывает волосы — теперь, наверное, седые! Ему семьдесят лет, ей, значит, около шестидесяти двух. Как бежит время! Волосы цвета *feuille morte* — так называла их старая тетя Джули с некоторой гордостью, что нашла верное выражение,— и глаза такие бархатисто-темные! Ах, да разве во внешности дело? А впрочем, кто знает? Может быть, если бы он умел выражать свои чувства! Если б понимал музыку! Если б она не возбуждала его так! Может быть... о, к черту «может быть»! Разве угадаешь? И здесь, именно здесь. Путаная история. Неужели никогда не забыть?

Флер ушла укладывать вещи и одеваться. Принесли обед. Майкл рассказал, что встретил в Маунт-Вернон милую молодую пару. «Англичанин. Сказал, что Маунт-Вернон вызывает у него тоску по родине».

— Как его фамилия, Майкл?

— Фамилия? Не спросил. А что?

— Так, не знаю. Думала, может, спросил.

У Сомса отлегло от сердца. Он видел, как она насто-рожилась. Малейший предлог, и ее чувство к сыну Ирэн вспыхнет снова. Это в крови!

— Брайт Марклэнд все болтает о будущем Америки,— сказал Майкл,— очень радужно настроен, потому что осталось так много фермеров и людей, работающих на земле. Впрочем, он болтает и о будущем Англии и тоже настроен очень радужно, хотя у нас на земле почти никто не работает.

— Кто это Брайт Марклэнд? — буркнул Сомс.

— Редактор одного нашего журнала, сэр. Непревзойденный пример оптимизма или умения поворачиваться, куда ветер дует.

— Я надеялся,— сказал Сомс вяло,— что, посмотрев новые страны, вы почувствуете, что старая еще на что-то годится.

Майкл рассмеялся.

— В этом нет надобности меня убеждать, сэр. Но я, видите ли, принадлежу к так называемому привилегированному классу, и вы, сколько я знаю, тоже.

Сомс поднял глаза. Этот молодой человек иронизирует!

— Ну-с,— сказал он,— а я буду рад вернуться. Вещи уложены?

Да, вещи были уложены. И скоро он вызвал им по телефону такси. Чтобы они не замешкались в вестибюле, он сам сошел вниз усадить их в машину. Совершилось это гладко и без помех. И с глубоким вздохом облегчения он вошел в лифт и был доставлен назад в свой номер.

III

Он стоял у окна и смотрел на высокие дома, огни, автомобили, пробегающие далеко внизу, и чистое звездное небо. Теперь он и вправду устал; еще один такой день — и не нужно будет симулировать недомогание. Ведь на волоске висело, и не один раз, а несколько! Он жаждал дома и покоя. Быть под одной крышей с этой женщиной — как странно! Он не проводил ночи под одной крышей с нею с того страшного дня в ноябре 87-го года, когда он все бродил и бродил по Монпелье-сквер и вернулся к своей двери, чтобы столкнуться там с молодым Джолионом. Один любовник мертв, а другой уже на его пороге! В ту ночь она скрылась из его дома; и никогда с тех пор до самого этого дня они не ночевали под одной крышей. Опять эта музыка — тихая и дразнящая! Неужели играет она? Чтобы не слышать, он прошел в спальню и стал складывать вещи. Это заняло не много времени, так как у него был всего один чемодан. Что же, лечь и не спать? Он был выбит из колеи. Если это она сидит у рояля так близко от него... как-то она выглядит теперь? Семь раз — нет, восемь — видел он ее с того давно ушедшего ноябрьского вечера. Два раза в ее квартирке в Челси; потом у фонтана в Булонском лесу; в Робин-Хилле, когда явился с ультиматумом ей и молодому Джолиону; на по-

хоронах королевы Виктории; на стадионе; снова в Робин-Хилле, когда ездил просить за Флер, и в галерее Гаупенор перед самым ее отъездом сюда. Каждую встречу он помнил во всех подробностях — вплоть до прощального движения затянутой в перчатку руки тогда, в последний раз, до чуть заметной улыбки губ.

И Сомс почувствовал озноб. Слишком жарко в этих американских комнатах! Он опять перешел в гостиную; со стола было убрано, ему принесли вечернюю газету; ни к чему это. Здешние газеты не интересовали его. На таком расстоянии от прошлого — так далеко и так давно — что чувствовал он теперь по отношению к ней? Ненависть? Слишком сильно! Нельзя ненавидеть тех, кто так далеко. Да ненависти, собственно, и не было! Даже когда он впервые узнал об ее измене. Презрение? Нет. Она сделала ему слишком больно. Он сам не знал, что чувствовал. И он стал ходить взад и вперед и раза два остановился у двери и прислушался, как узник в темнице. Недостойно! И, подойдя к дивану, он растянулся на нем. Надо подумать о путешествии. Доволен ли он им? Сплошной вихрь предметов, и лиц, и воды. А между тем все шло по программе, кроме Китая, куда они и не заглянули, такое там сейчас положение. Сфинкс и Тадж-Махал, порт Ванкувер и Скалистые горы — они точно в чехарду играли у него в памяти; а теперь эти звуки; неужели она? Странно! В жизни человека бывает, видно, только одно по-настоящему знойное лето. Все, что случается после, — чуть греет; и лучше, может быть, а то котел бы взорвался. Чувства первых лет, когда он знал ее, — хотел бы он пережить их снова? Ни за что на свете! А впрочем... Сомс встал. Музыка все продолжалась; но когда она кончится, того, кто играет — будь то она или не она, — уже не увидишь. Почему не пройти мимо маленькой гостиной, просто пройти мимо и... заглянуть? Если она... ну что ж, красота ее, наверно, увяла — та красота, что так опустошила его. Он заметил, как стоял рояль: да, он сможет увидеть играющую в профиль. Он отворил дверь, музыка зазвучала громче; и он двинулся вперед.

Только комната Флер отделяла его теперь от маленькой открытой гостиной по ту сторону лестницы. В коридоре не было никого, даже мальчиков-рассыльных. В конце концов, наверное, какая-нибудь американка; возможно, эта девочка, жена Джона. Но нет — было что-то... что-то в самом звуке! И, держа перед собой развернутую вечернюю газету, он пошел дальше. Три колонны отделяли гостиную от коридора, заменяя собою то, чего так недоставало Сомсу в Америке, — четвертую стену. У первой колонны он остановился. Около рояля стояла высокая лампа под оранжевым абажуром, и свет ее падал на ноты, на клавиши, на щеку и волосы игравшей. Она! Хоть он и предполагал, что она поседела, но вид этих волос, в которых не осталось ни одной нити прежнего золота, странно подействовал на него. Волнистые, мягкие, блестящие, они покрывали ее голову, как серебряный шлем. На ней был вечерний туалет, и он увидел, что ее шея, плечи и руки все еще округлы и прекрасны. Все ее тело слегка покачивалось в такт музыке. Платье ее было зеленовато-серое. Сомс стоял за колонной и смотрел, прикрыв лицо рукой — на случай, если она обернется. Он, собственно, ничего не чувствовал — лента памяти развернулась слишком быстро. От первой встречи с ней в борнмутской гостиной до последней встречи в галерее Гаупенор промелькнула вся жизнь со своим жаром, и холодом, и болью; долгая борьба чувств, долгое унижение духа, долгая, трудная страсть и долгие усилия приучить себя к отупению и равнодушию. Ему сейчас меньше всего хотелось заговорить с ней, но взгляд оторвать он не мог. Вдруг она кончила играть; наклонилась вперед, закрыла ноты и потянулась к лампе, чтобы потушить ее. Лицо ее осветилось, и, отступив назад, Сомс увидел его — все еще прекрасное, может быть, более прекрасное, слегка похудевшее, так что глаза казались даже темнее, чем прежде, больше, мягче под все еще темными бровями. И опять явилась мысль: «Вот сидит женщина, которую я никогда не знал». И с какой-то досадой он отклонился назад, чтобы не видеть. Да, у нее было много недостатков, но самым большим всегда была и осталась ее проклятая таинственность. И, ступая бесшумно, как кошка, он вернулся к себе в номер.

Теперь он устал смертельно; он прошел в спальню и, поспешно раздевшись, лег в постель. Он всем сердцем желал быть на пароходе под английским флагом. «Я стар,—подумал он вдруг,—стар». Слишком молода для него эта Америка, полная энергии, спешащая к непонятным ему целям. Вот восточные страны — другое дело. А ведь ему в конце концов только семьдесят лет. Отец его дожил до девяноста, старый Джолион до восьмидесяти пяти, Тимоти до ста — и так все старые Форсайты. Они-то в семьдесят лет не играли в гольф; а между тем были моложе, уж конечно моложе, чем он чувствовал себя сегодня. Вид этой женщины... Стар!

«Не стареть же я еду домой,—подумал он.—Если опять почувствую себя так, посоветуюсь с кем-нибудь». Существует какая-то обезьянья штука, которую впрыскивают. Это не для него. Обезьяны, скажите пожалуйста! Почему не свиньи, не тигры? Как-нибудь продержаться еще лет десять, пятнадцать. К тому времени выяснится, куда идет Англия. Провалится пресловутая система подоходного налога. Он будет знать, сколько сможет оставить Флер; увидит, как ее малыш подрастет и поступит в школу... только в какую? Итон? Нет, там учился молодой Джолион. Уинчестер, школа Монтов? Туда тоже нет, если только его послушаются. Можно в Хэрроу. Или в Молборо, где он сам учился. Может, он еще увидит Кита участником состязания в крикет. Еще пятнадцать лет, пока Кит сможет играть в крикет. Что же, есть чего ждать, есть для чего держаться. Если нет этого, чувствуешь себя стариком, а уж если почувствуешь себя стариком, то и будешь стариком, и скоро настанет конец. Как сохранилась эта женщина! Она!.. У него еще есть картины; приняться за них посерьезнее. Ах, эта галерея Фриэра! Завещать их государству, и имя твое будет жить — подумаешь, утешение! Она! Она не умрет никогда!

Полоска света на стене у самой двери.

— Спишь, папа?

Значит, Флер не забыла зайти к нему!

— Ну, как ты, дорогой?

— Ничего, устал. Как опера?

— Так себе.

— Я просил разбудить нас в семь. Позавтракаем в поезде.

Она коснулась губами его лба. Если бы... если бы эта женщина... но никогда — ни разу, — никогда по собственной воле...

— Спокойной ночи, — сказал он. — Спи спокойно.

Полоска света на стене сузилась и исчезла. Ну, теперь ему захотелось спать. Но в этом доме — лица, лица! Прошрое — настоящее — у рояля — у его постели — проходит мимо, мимо, — а там, за ними, большая женщина в одежде из бронзы, с закрытыми глазами, погруженная в вечное, глубокое, глу... И с постели раздался легкий храп.

ебединная песня

Из вещества того же, как и сон,
Мы сотканы. И жизнь на сон похожа.
И наша жизнь лишь сном окружена.

*Шекспир.
«Буря».*

Перевод
М. Л о р и е.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗАРОЖДЕНИЕ СТОЛОВОЙ

В современном обществе быстрая смена лиц и сенсаций создает своего рода прозалы в памяти, и к весне 1926 года стычка между Флер Монт и Марджори Феррар была почти забыта. Флер, впрочем, и не поощряла мнемонических способностей общества, так как после своего кругосветного путешествия она заинтересовалась империей, а это так устарело, что тайло в себе аромат и волнение новизны и в какой-то мере гарантировало от подозрений в личной заинтересованности.

В биметаллической гостиной сталкивались теперь жители колоний, американцы, студенты из Индии — люди, в которых никто не усмотрел бы «львов» и которых Флер находила «очень интересными», особенно индийских студентов, таких гибких и загадочных, что она никак не могла разобрать, она ли «использует» их, или они ее.

Поняв, что фоггартизму уготовлен весьма тернистый путь, она уже давно подыскивала Майклу новую тему для выступления в парламенте, и теперь, вооруженная своим знанием Индии, где провела шесть недель, она полагала, что нашла ее. Пусть Майкл ратует за свободный въезд индийцев в Кению. Из разговоров с индийскими студентами она усвоила, что невозможно следовать по какому-либо пути, не зная, куда он ведет. Эти молодые люди были, правда, непонятны и непрактичны,

скрытны и склонны к созерцанию, но, во всяком случае, они, очевидно, считали, что отдельные молекулы организма значат меньше, чем весь организм, что они сами значат меньше, чем Индия. Флер, казалось, натолкнулась на истинную веру — переживание для нее новое и увлекательное. Она сообщила об этом Майклу.

— Все это очень хорошо, — ответил он, — но наши индийские друзья во имя своей веры не провели четырех лет в окопах или в постоянном страхе, как бы не попасть туда. Иначе у них не было бы чувства, что все это так уж важно. И захотели бы, может быть, почувствовать, да нервы бы притупились. В этом-то и есть смысл войны для всех нас, европейцев, кто побывал на фронте.

— Вера от этого не менее интересна, — сухо сказала Флер.

— Знаешь ли, дорогая, проповедники громят нас за отсутствие убеждений, но можно ли сохранить веру в высшую силу, если она до того, черт возьми, взбалмошна, что миллионами гонит людей в мясорубку? Поверь мне, времена Виктории породили у огромного количества людей очень дешевую и легкую веру, и сейчас в точно таком же положении находятся наши друзья-индийцы — их Индия с места не сдвинулась со времени восстания¹, да и тогда возмущение было только на поверхности. Так что не стоит, пожалуй, принимать их всерьез.

— Я и не принимаю. Но мне нравится, как они верят в свое служение Индии.

И на его улыбку Флер нахмурилась, прочтя его мысль, что она только обогащает свою коллекцию.

Ее свекор, в свое время серьезно занимавшийся Востоком, удивленно вскинул брови, узнав об этих новых знакомствах.

— Мой самый старый друг — судья в Индии, — сказал он ей первого мая. — Он провел там сорок лет. Через два года после отъезда он писал мне, что начинает разбираться в характере индийцев. Через десять лет он писал, что совсем в нем разобрался. Вчера я получил от него письмо — пишет, что после сорока лет он ничего о них не знает. А они столько же знают о нас. Восток и Запад — разное кровообращение.

¹ Восстание в индийской армии в 1857 году.

— И за сорок лет кровообращение вашего друга не изменилось?

— Ни на йоту,— ответил сэр Лоренс,— для этого нужно сорок поколений. Налейте мне, дорогая, еще чашечку вашего восхитительного турецкого кофе. Что говорит Майкл о генеральной стачке?

— Что правительство шагу не ступит, пока Совет тред-юнионов не возьмет назад свои требования.

— Вот видите ли! Если б не английское кровообращение, заварилась бы хорошая каша, как сказал бы «Старый Форсайт».

— Майкл держит сторону горняков.

— Я тоже, моя милая. Горняки милейший народ, но, к сожалению, над ними проклятием тяготеют их вожди. То же можно сказать и о шахтовладельцах. Уж эти мне вожди! Чего они только не натворят, пока не сорвутся. С этим углем не оберешься забот: и грязь от него, и копоть, и до пожара недолго. Веселого мало. Ну, до свидания! Поцелуйте Кита да передайте Майклу: пусть глядит в оба.

Именно это Майкл и старался делать. Когда вспыхнула «Великая война», он, хотя по возрасту и мог уже пойти в армию, все же был слишком молод, чтобы уяснить себе, какой фатализм овладевает людьми с приближением критического момента. Теперь, перед «Великой стачкой», он осознал это совершенно ясно, так же как и то огромное значение, которое человек придает «спасению лица». Он подметил, что обе стороны выразили готовность всячески пойти друг другу навстречу, но, разумеется, без взаимных уступок; что лозунги: «Удлинить рабочий день, снизить заработную плату» и «Ни минутой дольше, ни на шиллинг меньше» любезно раскланивались и по мере приближения все больше отдалялись друг от друга. И теперь, едва скрывая нетерпение, свойственное его непоседливому характеру, Майкл следил, как осторожно нащупывали почву типичные трезвые британцы, которые одни только и могли уладить надвигающийся конфликт. Когда в тот памятный понедельник вдруг выяснилось, что спасти лицо приходится не только господам с лозунгами, но и самим типичным британцам, он понял, что все кончено; и, возвратившись в полночь из палаты общин, он взглянул на спящую жену.

Разбудить Флер и сказать ей, что правительство «доигралось», или не стоит? К чему тревожить ее сон? И так скоро узнает. Да она и не примет этого всерьез. Он прошел в ванную, постоял у окна, глядя вниз на темную площадь. Генеральная стачка чуть не экспромтом. Не плохое испытание для британского характера. Британский характер? Майкл уже давно подозревал, что внешние проявления его обманчивы; что члены парламента, театральные завсегдатаи, вертлявые дамочки в платьицах, туго обтягивающих вертлявые фигурки, апоплексические генералы, восседающие в креслах, капризные, избалованные поэты, пасторы-проповедники, плакаты и превыше всего печать — не такие уж типичные выразители настроения нации. Если не будут выходить газеты, представится наконец возможность увидеть и почувствовать британский характер; в течение всей войны газеты мешали этому, по крайней мере в Англии. В окопах, конечно, было не то: там сентименты и ненависть, реклама и лунный свет были «табу»; и с мрачным юмором британец «держался» — великолепный и без прикрас, в грязи и крови, вонь и грохоте и нескончаемом кошмаре бессмысленной бойни. «Теперь,— думалось ему,— вызывающий юмор британца, которому тем веселее, чем печальней окружающая картина снова найдет себе богатую пищу». И, отвернувшись от окна, он разделся и пошел опять в спальню.

Флер не спала.

— Ну что, Майкл?

— Стачка объявлена.

— Какая тоска!

— Да, придется нам потрудиться.

— К чему же тогда было назначать комиссию и давать такую субсидию, если все равно не смогли этого избежать?

— Да ясно же, девочка, совершенно ни к чему.

— Почему они не могут прийти к соглашению?

— Потому что им нужно спасти лицо. Нет в мире побуждения сильнее.

— То есть как?

— Ну как же — из-за этого началась война; из-за этого теперь начинается стачка. Без этого уж наверно вся жизнь на земле прекратилась бы.

— Не говори глупостей.

Майкл поцеловал ее.

— Придется тебе чем-нибудь заняться,— сказала она сонно.— В палате не о чем будет говорить, пока это не кончится.

— Да, будем сидеть и глядеть друг на друга и время от времени изрекать слово «формула».

— Хорошо бы нам Муссолини.

— Ну нет. За таких потом расплачиваются. Вспомни Диаса и Мексику; или Наполеона и Францию; и даже Кромвеля и Англию.

— А Карл Второй, по-моему, был славный,— пролепетала Флер в подушку.

Майкл не сразу уснул, растревоженный поцелуем, поспал немного, опять проснулся. Спасать лицо! Никто и шагу не ступит ради этого. Почти час он лежал, силясь найти путь всеобщего спасения, потом заснул. Он проснулся в семь часов с таким ощущением, точно потерял массу времени. Под маской тревоги за родину и шумных поисков «формулы» действовало столько личных чувств, мотивов и предрассудков! Как и перед войной, было налицо страстное желание унижить и опозорить противника; каждому хотелось спасти свое лицо за счет чужого.

Сейчас же после завтрака он вышел из дому.

По Вестминстерскому мосту двигался поток машин и пешеходов: ни автобусов, ни трамваев не было, но катили грузовики, пустые и полные. Уже появились полисмены-добровольцы, и у всех был такой вид, точно они едут на пикник, все прятали свои чувства за каким-то вызывающим весельем. Майкл направился к Хайд-парку. За одну ночь успела возникнуть эта поразительная упорядоченная сутолока грузовиков, бидонов, палаток. Среди полной летаргии ума и воображения, которая и привела к национальному бедствию, какое яркое проявление административной энергии! «Говорят, мы плохие организаторы,— подумал Майкл.— Как бы не так! Только вот задним умом крепки».

Он пошел дальше, к одному из больших вокзалов. На площади были выставлены пикеты, но поезда уже ходили, обслуживаемые добровольцами. Он потолкался на вокзале, поговорил с ними. «Черт возьми, ведь их нуж-

но будет кормить,— пришло ему в голову.— Столовую что ли устроить?» И он на всех парах пустился к дому.

Флер еще не ушла.

— Хочешь помочь мне организовать на вокзале столовую для добровольцев? — Он прочел и на ее лице вопрос: «А это выигрышный номер?» — и заторопился:

— Работать придется вовсю, и всех, кого можно, привлечь на помощь. Думаю, для начала можно бы мобилизовать Нору Кэрфью и ее «банду» из Бетнел-Грин. Но главное — твоя сметка и умение обращаться с мужчинами.

Флер улыбнулась.

— Хорошо,— сказала она.

Они сели в автомобиль — подарок Сомса к возвращению из кругосветного путешествия — и пустились в путь; заезжали по дороге за всякими людьми, снова завозили их куда-то. В Бетнел-Грин они завербовали Нору Кэрфью и ее «банду»; и когда Флер впервые встретилась с той, в ком она когда-то готова была заподозрить чуть не соперницу, Майкл заметил, как через пять минут она пришла к заключению, что Нора Кэрфью слишком «хорошая», а потому не опасна. Он оставил их на Саут-сквер за обсуждением кулинарных вопросов, а сам отправился подавлять неизбежное противодействие бюрократов-чиновников. Это было то же, что перерезать проволочные заграждения в темную ночь перед атакой. Он перерезал их немало и поехал в палату. Она гудела несформулированными «формулами» и являла собой самое невеселое место из всех, где он в тот день побывал. Все толковали о том, что «конституция в опасности». Унылое лицо правительства совсем вытянулось, и говорили, что ничего нельзя предпринять, пока оно не будет спасено. Фразы «свобода печати» и «перед дулом револьвера» повторялись назойливо до тошноты. В кулуарах он налетел на мистера Блайта, погруженного в мрачное раздумье по поводу временной кончины его нежно любимого еженедельника, и потащил его к себе перекусить. Флер оказалась дома, она тоже зашла поесть. По мнению мистера Блайта, чтобы выйти из положения, нужно было составить группу правильно мыслящих людей.

— Совершенно верно, Блайт, но кто мыслит правильно «на сегодняшний день»?

— Все упирается в фоггартизм,— сказал мистер Блайт.

— Ах,— сказала Флер,— когда только вы оба о нем забудете! Никому это не интересно. Все равно что навязывать нашим современникам образ жизни Франциска Ассизского.

— Дорогая миссис Монт, поверьте, что если бы Франциск Ассизский так относился к своему учению, никто теперь и не знал бы о его существовании.

— Ну, а что, собственно, после него осталось? Все эти проповедники духовного усовершенствования сохранили только музейную ценность. Возьмите Толстого или даже Христа.

— А Флер, пожалуй, права, Блайт.

— Богохульство,— сказал мистер Блайт.

— Я не уверен, Блайт. Последнее время я все смотрю на мостовые и пришел к заключению, что они-то и препятствуют успеху фоггартизма. Понаблюдайте за уличными ребятами, и вы поймете всю привлекательность мостовой. Пока у ребенка есть мостовая, он с нее никуда не уйдет. И не забудьте, мостовая — это великое культурное влияние. У нас больше мостовых, и на них воспитывается больше детей, чем в любой другой стране, и мы самая культурная нация в мире. Стачка докажет это. Будет так мало кровопролития и так много добродушия, как нигде в мире еще не было и не может быть. А все мостовые.

— Ренегат! — сказал мистер Блайт.

— Знаете,— сказал Майкл,— ведь фоггартизм, как и всякая религия,— это горькая истина, выраженная с предельной четкостью. Мы были слишком прямолинейны, Блайт. Кого мы обратили в свою веру?

— Никого,— сказал мистер Блайт.— Но если мы не можем убрать детей с мостовой — значит фоггартизму конец.

Майкла передернуло, а Флер поспешно сказала:

— Не может быть конца тому, у чего не было начала. Майкл, поедem со мной посмотреть кухню — она в отчаянном состоянии. Как поступают с черными тараканами, когда их много?

— Зовут морильщика — это такой волшебник, он играет на дудочке, а онидохнут.

В дверях помещения, отведенного под столовую, они встретили Рут Лафонтэн из «банды» Норы Кэрфью и вместе спустились в темную, с застоявшимися запахами кухню. Майкл чиркнул спичкой и нашел выключатель. О черт! Застигнутый ярким светом, черно-коричневый копошащийся рой покрывал пол, стены, столы. Охваченный отвращением, Майкл все же успел заметить три лица: гадливую гримаску Флер, раскрытый рот мистера Блайта, нервную улыбку черненькой Рут Лафонтэн. Флер вцепилась ему в рукав.

— Какая гадость!

Потревоженные тараканы скрылись в щелях и затихли; там и сям какой-нибудь таракан, большой, отставший от других, казалось, наблюдал за ними.

— Подумать только! — воскликнула Флер. — Все эти годы тут готовили пищу! Брр!

— А в общем, — сказала Рут Лафонтэн, дрожа и заикаясь, — к-клопы еще х-хуже.

Мистер Блайт усиленно сосал сигару. Флер прошептала:

— Что же делать, Майкл?

Она побледнела, вздрагивала, дышала часто и неровно; и Майкл уже думал: «Не годится, надо избавить ее от этого!», а она вдруг схватила швабру и ринулась к стене, где сидел большущий таракан. Через минуту работа кипела, они орудовали щетками и тряпками, распахивали настежь окна и двери.

II

У ТЕЛЕФОНА

Уинифрида Дарти не подали «Морнинг Пост». Ей шел шестьдесят восьмой год, и она не слишком внимательно следила за ходом событий, которые привели к генеральной стачке: в газетах столько пишут, никогда не знаешь, чему верить; а теперь еще эти чиновники из тред-юнионов всюду суют свой нос — просто никакого терпения с ними нет. И в конце концов правительство всегда

что-нибудь предпринимает. Тем не менее следуя советам своего брата Сомса, она набила погреб углем, а шкафы — сухими продуктами и часов в десять утра на второй день забастовки спокойно сидела у телефона.

— Это ты, Имоджин? Вы с Джеком заедете за мной вечером?

— Нет, мама, Джек ведь записался в добровольцы. Ему с пяти часов дежурить. Да и театры, говорят, будут закрыты. Пойдем в другой раз. «Такую милашку» еще не скоро снимут.

— Ну хорошо, милая. Но какая канитель — эта стачка! Как мальчишки?

— Совсем молодцом. Оба хотят быть полисменами. Я им сделала нашивки. Как ты думаешь, в детском отделе у Хэрриджа есть игрушечные дубинки?

— Будут, конечно, если так пойдет дальше. Я сегодня туда собираюсь, подам им эту мысль. Вот будет забавно, правда? Тебе хватает угля?

— О да! Джек говорит, не нужно делать запасов. Он так патриотично настроен.

— Ну, до свидания, милая. Поцелуй от меня мальчиков.

Она только что начала обдумывать, с кем бы еще поговорить, как телефон зазвонил.

— Здесь живет мистер Вэл Дарти?

— Нет. А кто говорит?

— Моя фамилия Стэйнфорд. Я его старый приятель по университету. Не будете ли настолько любезны дать мне его адрес?

Стэйнфорд? Никаких ассоциаций.

— Говорит его мать. Моего сына нет в городе, но, вероятно, он скоро приедет. Передать ему что-нибудь?

— Да нет, благодарю вас. Мне нужно с ним повидаться. Я еще позвоню или попробую зайти. Благодарю вас.

Уинифрид положила трубку.

Стэйнфорд! Голос аристократический. Надо надеяться, что дело не в деньгах. Странно, как часто аристократизм связан с деньгами! Или, вернее, с отсутствием их. В прежние дни, еще на Парк-Лейн, она видела столько прелестных молодых людей, которые потом либо обанкротились, либо развелись. Эмили — ее мать — нико-

гда не могла устоять перед аристократизмом. Так вошел в их дом Монти, у него были такие изумительные жилеты и всегда гардения в петлице, и он столько мог рассказать о светских скандалах,— как же было не поддаться его обаянию? Ну да что там, теперь она об этом не жалеет. Без Монти не было бы у нее Вэла, и сыновей Имоджин, и Бенедикта (без пяти минут полковник!), хоть его она теперь никогда не видит, с тех пор как он поселился на Гериси¹ и разводит огурцы, подальше от подоходного налога. Пусть говорят что угодно, но неверно, что наше время более передовое, чем девяностые годы и начало века, когда подоходный налог не превышал шиллинга, да и это считалось много! А теперь люди только и знают, что бегают и разговаривают, чтобы никто не заметил, что они не такие светские и передовые, как раньше.

Опять зазвонил телефон. «Не отходите, вызывает Уонсдон».

— Алло! Это ты, мама?

— Ах, Вэл, вот приятно. Правда, нелепая забастовка?

— А, идиоты! Слушай, мы едем в Лондон.

— Да что ты, милый! А зачем? По-моему, вам будет гораздо спокойнее в деревне.

— Холли говорит, надо что-то делать. Знаешь, кто объявился вчера вечером? Ее братишка, Джон Форсайт. Жену и мать оставил в Париже; говорит, что пропустил войну, а это уж никак не может пропустить. Всю зиму путешествовал — Египет, Италия и все такое; по-видимому, с Америкой покончено. Говорит, что хочет на какую-нибудь грязную работу — будет кочегаром на паровозе. Сегодня к вечеру приедем в «Бристоль».

— О, но почему же не ко мне, милый, у меня всего много.

— Да видишь ли, тут Джон — думаю, что...

— Но он, кажется, симпатичный молодой человек?

— Дядя Сомс не у тебя сейчас?

— Нет, милый, он в Мейплдерхеме. Да, кстати, Вэл, тебе только что звонили, какой-то мистер Стэйнфорд.

— Стэйнфорд? Как, Обри Стэйнфорд? Я его с университета не видел.

¹ Остров при выходе из Ламанша в Атлантический океан.

— Сказал, что еще позвонит или зайдет, попробует застать тебя.

— А я с удовольствием увидаю Стэйнфорда. Так что же, мама, если ты можешь приютить нас... Только тогда уж и Джона. Они с Холли в большой дружбе после шести лет разлуки; я думаю, его почти никогда не будет дома.

— Хорошо, милый, пожалуйста. Как Холли?

— Отлично.

— А лошади?

— Ничего. У меня есть шикарный двухлеток, только мало объезженный; не хочу его пускать до гудвудских скачек, тогда уж он должен взять.

— Вот чудесно-то будет! Ну, так я вас жду, мой мальчик. Но ты не будешь рисковать, с твоей-то ногой?

— Нет, может быть, возьмусь править автобусом. Да это не надолго. Правительство во всеоружии. Дело, конечно, серьезное. Но теперь-то они попались!

— Как я рада! Хорошо будет, когда это кончится. Весь сезон испорчен. И дяде Сомсу новая забота.

Неясный звук, потом опять голос Вэла:

— Это Холли — говорит, что она тоже хочет что-нибудь делать. Ты, может, спросишь Монту? Он знает столько народу. Ну, до свидания, скоро увидимся!

Не успела Уинифрид положить трубку и встать с высокого стула красного дерева, как снова раздался звонок.

— Миссис Дарти? Уинифрид, ты? Это Сомс. Что я тебе говорил?

— Да, очень неприятно, милый. Но Вэл говорит, что это скоро кончится.

— А он откуда знает?

— Он всегда все знает.

— Все? Гм! Я еду к Флер.

— Но зачем, Сомс? Я бы думала...

— Я должен быть на месте, на случай осложнений. Да и автомобилю нечего стоять здесь без дела, пусть послужит. И Ригзу не мешает поработать добровольцем. Еще неизвестно, во что это выльется.

— О, ты думаешь...

— Думаю? Это не шутка. Вот что получается, когда начинают швыряться субсидиями.

— Но прошлым летом ты говорил мне...

— Ничего не могут предусмотреть. Ума, как у кошки! Аннет хочет поехать к матери во Францию. Я ее не удерживаю. Нечего ей здесь делать в такое время. Сегодня отвезу ее в Дувр на автомобиле, а завтра приеду в город.

— Как думаешь, Сомс, стоит продавать что-нибудь?

— Ни в коем случае.

— У всех появилось столько дела. Вэл хочет править автобусом. Ах да, Сомс, знаешь, приехал Джон Форсайт. Мать и жену оставил в Париже, а сам будет кочегаром.

Глухое ворчание, потом:

— Зачем это ему нужно? Лучше бы не ездил в Англию.

— Д-да. Я думаю, Флер...

— Ты смотри, еще ей чего-нибудь не наговори.

— Да нет же, Сомс. Так я тебя увижу? До свидания.

Милый Сомс так всегда дрожит за Флер! Этот Джон Форсайт и она... да, конечно, но ведь когда это было! Детская любовь! И Уинифрид, улыбаясь, сидела неподвижно. А выходит, что стачка эта очень интересна, если только они не начнут бить стекла. С молоком, конечно, перебоев не будет, об этом правительство всегда заботится; а газеты — ну да ведь это роскошь! Хорошо, что придет Вэл с Холли. Стачка—есть о чем поговорить. С самой войны не было ничего такого захватывающего. И, повинаясь смутной потребности тоже что-нибудь сделать, Уинифрид опять взялась за трубку.

— Дайте Вестминстер 0000... Это миссис Майкл Монт? Флер? Говорит тетя Уинифрид. Как поживаешь, милая?

Голос, раздавшийся в ответ, выговаривал слова быстро и четко, и это очень забавляло Уинифрид, которая сама в молодости особенно старалась растягивать слова, что помогало ей справляться и с ускоряющимся темпом жизни и с чувствами. Все молодые светские женщины говорили теперь, как Флер, словно считали прежний способ пользоваться английским языком слишком медлительным и скучным и пощипывали его, чтобы оживить.

— Очень хорошо, спасибо. Вы хотели меня о чем-нибудь попросить, тетя Уинифрид?

— Да, милая. Ко мне сегодня приедет Вэл с Холли, в связи с этой забастовкой. И Холли... я-то считаю, что это совершенно лишнее,— но она хочет что-нибудь делать. Она думала, может быть, Майкл знает...

— О, работы, конечно, масса! Мы наладили столовую для железнодорожников; может, она захочет принять участие?

— Ах, милая, вот было бы славно!

— Ну, не слишком, тетя Унифрид, это дело нелегкое.

— Но ведь это ненадолго. Парламент обязательно что-нибудь предпримет. Как тебе должно быть удобно — ты все новости узнаешь из первых рук. Так Холли можно направить к тебе?

— Ну разумеется! Она нам очень пригодится. Ей по возрасту, я думаю, больше подойдет делать закупки, чем бегать и подавать. Мы с ней прекрасно поладим. Главное — подобрать людей, которые могут сработаться и не будут зря суетиться. Вы что-нибудь знаете о папе?

— Да, он завтра приедет к тебе.

— Ой, зачем?

— Говорит, что должен быть на месте на случай...

— Как глупо. Ну, ничего. Будет вторая машина.

— И еще третья — у Холли. Вэл хочет править автобусом и, знаешь, молодой... ну вот и все, милая. Поцелуй Кита. Смизер говорит, в парке молока можно купить сколько угодно. Она сегодня утром была на Парк-Лейн, посмотреть, что там делается. А правда ведь все это увлекательно?

— В палате говорят, что подоходный налог повысят еще на шиллинг.

— Да что ты!

В эту минуту какой-то голос сказал: «Вам ответили?» И Унифрид, положив трубку, опять осталась сидеть неподвижно. Парк-Лейн! Там из окон старого дома — дома ее молодости — все было бы прекрасно видно, прямо штаб-квартира! Но как это огорчило бы милого старого папу! Джемс! Она так ясно помнила его в накинута на плечи шали, прилипшего носом к стеклу окна в надежде, что его старые серые глаза помогут ему в борьбе с несчастной привычкой окружающих ничего ему не рассказывать. У нее еще сохранилось его вино. А Уормсон, их старый дворецкий, и теперь еще содержит на

Темзе у Маулсбриджа гостиницу «Зобастый голубь». К рождеству он неизменно присылал ей головку сыра с напоминанием о точном количестве старого парклейнского портвейна, которое в него следует влить. Его последнее письмо кончалось так:

«Я часто вспоминаю хозяина и как он любил, бывало, сам спускаться в погреб. Что касается вин, мэм, то, боюсь, времена уже не те, что были. Передайте почтение мистеру Сомсу и всем. Эх, и много воды утекло с тех пор, как я поступил к Вам на Парк-Лейн.

Ваш покорный слуга *Джордж Уормсон*.

Р. S. Я выиграл несколько фунтов на том жеребенке, что вырастил мистер Вэл. Вы, будьте добры, передайте ему — они мне оченьгодились».

Вот они, старые слуги! А теперь у нее Смизер от Тимоти, а кухарка умерла — так загадочно, или, по выражению Смизер, «от меланхолии, мэм, не иначе: уж очень мы скучали по мистеру Тимоти». Смизер в роли балласта — так, кажется, это называется на пароходах? Правда, она еще очень подвижная, если принять во внимание, что ей уже стукнуло шестьдесят, и корсет у нее скрипит просто невыносимо. В конце концов бедной старушке такая радость — опять быть в семье, думала Уинифрид, которая хоть и была на восемь лет ее старше, но, как истая представительница рода Форсайтов, смотрела на возраст других людей с пьедестала вечной молодости. А приятно, что есть в доме человек, который помнит Монти, каким он был в свои лучшие дни, — Монтегью Дарти, умершего так давно, что теперь его окружает сияние, желтое, как его лицо после бессонной ночи. Бедный, милый Монти! Неужто сорок семь лет, как она вышла за него замуж и переехала на Грин-стрит? Как хорошо служат эти стулья красного дерева с зеленой, затканной цветами обивкой. Вот делали мебель, когда и в помине еще не было семичасового рабочего дня и прочей ерунды! В то время люди думали о работе, а не о кино! И Уинифрид, которая никогда в жизни не думала о работе, потому что никогда не работала, вздохнула. Все очень хорошо, и если только удастся поскорее покончить с этой канителью, от предстоящего сезона можно ждать много интересного. У нее уже есть би-

леты почти на все спектакли. Рука ее соскользнула на сиденье стула. Да, за сорок семь лет жизни на Грин-стрит эти стулья перебивали только два раза, и сейчас у них еще вполне приличный вид. Правда, теперь на них никто никогда не садится, потому что у них прямые спинки и нет ручек; а в наше время все сидят развалившись и так беспокойно, что никакой стул не выдержит. Она встала, чтобы убедиться, насколько прилично то, на чем она сидела, и наклонила стул вперед. Последний раз их обивали в год смерти Монти, 1913-й, перед самой войной. Право же, этот серо-зеленый шелк оказался на редкость прочным!

III

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ощущения Джона Форсайта, когда он после пяти с половиной лет отсутствия высадился в Ньюхэвене, куда прибыл с последним пароходом, были совсем особого порядка. Всю дорогу до Уонсдона, по холмам Сэссекса, он проехал на автомобиле в каком-то восторженном сне. Англия! Какие чудесные меловые холмы, какая чудесная зелень! Как будто и не уезжал отсюда. Деревни, неожиданно возникающие на поворотах, старые мосты, овцы, буковые рощи! И кукушка—в первый раз за шесть лет. В молодом человеке проснулся поэт, который последнее время что-то не подавал признаков жизни. Какая прелесть—родина! Энн влюбится в этот пейзаж! Во всем такая полная законченность. Когда прекратится генеральная стачка, она сможет приехать, и он ей все покажет. А пока пусть поживет в Париже с его матерью — и ей лучше, и он свободен взять любую работу, какая подвернется. Это место он помнит, и Чанктонбери-Ринг—там, на холме,— и свой путь пешком из Уординга. Очень хорошо помнит. Флер! Его шурин, Фрэнсис Уилмот, когда вернулся из Англии, много рассказывал о Флер; она стала очень современна и очаровательна, и у нее сын. Как сильно можно любить — и как бесследно это проходит! Если вспомнить, что он пережил в этих краях, даже странно, хоть и приятно, что ему всего-навсего хочется увидеть Холли и Вэла.

Он сообщил им о своем приезде только телеграммой из Дьеппа; но они, наверно, здесь из-за лошадей. Он с удовольствием посмотрит скаковые конюшни Вэла и, может быть, покатается верхом по холмам, прежде чем взяться за работу. Вот если бы с ним была Энн, они могли бы покататься вместе. И Джон вспомнил первую поездку верхом с Энн в лесах Южной Каролины, ту поездку, которая ни ей, ни ему не прошла даром. Вот и приехали. Милый старый дом! А вот в дверях и сама Холли. И при виде сестры, тоненькой и темноволосой, в лиловом платье, Джона как ножом резнуло воспоминание об отце, о том страшном дне, когда он мертвый лежал в старом кресле в Робин-Хилле. Папа — такой хороший, такой неизменно добрый!

— Джон! Как я рада тебя видеть!

Ее поцелуй и раньше всегда приходился ему в бровь, она ничуть не изменилась. В конце концов сводная сестра лучше, чем настоящая. С настоящими сестрами нельзя не воевать, хоть немножко.

— Как жаль, что ты не смог привезти Энн и маму! Впрочем, может быть, оно и лучше, пока здесь все не обойдется. Ты все такой же, Джон, выглядишь совсем как англичанин, и рот у тебя как был — хороший и большой. Почему у американцев и у моряков такие маленькие рты?

— Наверно, из чувства долга. Как Вэл?

— О, Вэл молодцом! И улыбка у тебя не изменилась. Помнишь свою старую комнату?

— Еще бы. А ты как, Холли?

— Да ничего. Я стала писательницей, Джон.

— Это замечательно!

— Совсем нет. Тяжелая работа и никакого удовлетворения.

— Ну что ты!

— Первая книга вообще была мертворожденная. Вроде «Африканской фермы»¹ — помнишь? — но без психологических финтифлюшек.

— Помню! Только я их всегда пропускал.

— Да, Джон, нелюбовь к финтифлюшкам у нас от

¹ Роман Оливии Шрейнер (псевдоним Ральф Айрон), 1883 год.

папы. Он как-то сказал мне: «Мы скоро начнем называть всякую материю духом, или всякий дух — материей,— одно из двух».

— Ну, это вряд ли,— сказал Джон,— человек любит все разбивать на категории. О, да я помню всякую мелочь в этой комнате. Как лошади? Можно взглянуть на них сегодня, а завтра покататься?

— Завтра встанем пораньше, посмотрим, как их объезжают. У нас сейчас только три двухлетки, но одна подает большие надежды.

— Отлично! А потом я поеду в город и постараюсь получить какую-нибудь работку погрязнее. Хорошо бы кочегаром на паровоз. Меня всегда интересовало, какие мысли и чувства бывают у кочегаров.

— Поедем все вместе. Мы можем остановиться у матери Вэла. Как же я рада, что вижу тебя, Джон. Обед через полчаса.

Минут пять Джон постоял у окна. Фруктовый сад в полном цвету, насаженный не с такой математической точностью, как его только что проданные персиковые деревья в Северной Каролине, был так же прекрасен, как в тот давно минувший вечер, когда он гонялся по нему за Флер. Вот в чем прелесть Англии—здесь все естественно. Как они тосковали по родине, он и его мать! Теперь он больше не уедет. Какое дивное море яблоневого цвета! Опять кукушка! Из-за одного этого стоило вернуться на родину. Он подыщет участок и будет разводить фрукты, на Западе — в Вустершире или Сомерсете, а может быть, и здесь где-нибудь,— в Уординге, помнится, разводят много маслин и еще чего-то. Он распаковал чемодан и стал одеваться. Вот тут, где он сидит сейчас, натягивая американские носки, сидел он в тот вечер, когда Флер показала ему свое платье с картины Гойи. Кто бы поверил тогда, что через шесть лет ему будет нужна Энн, а не Флер, с ним рядом, на этой постели! Гонг к обеду! Он наскоро пригладил волосы, светлые и непокорные, поправил галстук и побежал вниз.

Взгляды Вэла на стачку, взгляды Вэла на все на свете — скептические и узкие, как его лицо лошадирика! Теперь-то этим бездельникам-лейбористам достанется; придется им удирать, пока целы. Как понравились Джону янки? Видел он «Броненосец»? Нет? Боже правый!

Самый интересный спектакль в Америке! Правда, что в Кентукки трава синяя? Только издали? А! Что они еще собираются там отменить? Правда, что где-то в южных штатах есть город, где сожителство разрешается только на глазах городской охраны? В Англии парламент хочет провести налог на игру на скачках; почему бы не ввести тотализатор и не покончить с этим вопросом? Ему-то, впрочем, все равно, он больше не играет. И он взглянул на Холли. Джон тоже взглянул на ее поднятые брови и полуоткрытые губы — прелестное лицо, такая в нем ирония и терпимость. Она ведет Вэла на шелковом поводу.

Вэл не унимался. Хорошо, что Джон разделался с Америкой; если ему обязательно нужно заниматься сельским хозяйством вне Англии, почему не поселиться в Южной Африке, под бедным старым английским флагом; хотя с голландцами еще не покончено! Ух, и народ! Конечно, они живут там так давно, что стали настоящими поселенцами, не какие-нибудь авантюристы, неудачники, эмигранты на субсидии. Он их, негодаев, не любит, но народ крепкий, ничего не скажешь! Совсем остаться в Англии? И того лучше! Может, вместе будем разводить чистокровных скакунов?

Наступило неловкое молчание, потом Холли сказала лукаво:

— Джон находит, что это не очень-то почтенное занятие, Вэл.

— А почему?

— Излишняя роскошь.

— Чистокровные-то? А что без них станет с лошадьми?

— Очень соблазнительно,— сказал Джон,— я бы с удовольствием вошел в долю. Но в основном мне хочется заняться фруктами.

— Одобряю, сын мой. Можешь разводить яблоки, а мы будем лакомиться ими по воскресеньям.

— Видишь ли, Джон,— сказала Холли,— в Англии никто не верит в сельское хозяйство. Мы говорим о нем все больше, а делаем все меньше. Как по-твоему, Вэл, Джон изменился?

Кузены оглядели друг друга.

— Немножко возмужал; но ничего американского.

Холли проговорила задумчиво:

— Почему всегда сразу узнаешь американца?

— Почему всегда сразу узнаешь англичанина? — сказал Джон.

— В нем есть какая-то настороженность. А впрочем, нет ничего труднее, как определить национальный тип. Но американца ни с кем не спутаешь.

— Вряд ли ты приняла бы Энн за американку.

— Расскажи, какая она, Джон.

— Нет, подожди, сама увидишь.

После обеда, когда Вэл отправился в последний обход конюшен, Джон спросил:

— Ты видаешь Флер, Холли?

— Не видела года полтора, кажется. Мне очень нравится ее муж — золотой человек. Ты счастливо отделался, Джон: она не для тебя, хоть и очаровательна; уж очень всегда хочет быть в центре внимания. Да ты это, вероятно, знал.

Джон посмотрел на нее и не ответил.

— Впрочем, — тихо добавила Холли, — когда влюблен, мало что знаешь.

Вечером он сидел у себя в комнате; по дому бродили призраки. Точно собрались в нем все воспоминания: о Флер, о Робин-Хилле — любимые в детстве деревья, сигары отца, цветы и игра матери; детская с игрушками, где до него росла Холли, где позднее он мучился над рифмами; вид из окна на конюшни и башенку с часами.

В открытое окно его комнаты тянуло сладкими запахами — такими родными — с холмов, мерцающих в лунном полусвете. Первая ночь на родине за две с лишним тысячи ночей. С продажей Робин-Хилла у него не осталось в Англии дома, кроме этого. Но они с Энн устроят себе собственное гнездо. Родина! На английском пароходе он готов был расцеловать стюардов и горничных только за то, что они говорили с английским акцентом. Он слушал его, как музыку. Для Энн теперь легче будет усвоить этот акцент, она очень восприимчива. Сам он американцев полюбил, но был рад, что Вэл не нашел в нем ничего американского. Прокричала сова. Какая тень падает от сарая, как знакомы ее мягкие очертания! Он лег в постель. Надо спать, если он намерен встать вовремя, чтобы посмотреть, как объезжают лошадей. Од-

нажды ему уже случилось встать здесь очень рано — но с другой целью! Он скоро уснул; и чей-то образ — не то Энн, не то Флер — проносился в его сновидениях.

IV

СОМС ЕДЕТ В ЛОНДОН

В среду, посадив жену на пароход в Дувре, Сомс Форсайт поехал на автомобиле в Лондон. По дороге он решил сделать порядочный крюк и въехать в город по Хэммерсмитскому мосту, самому западному из всех более или менее подходящих. Он всегда чувствовал, что в периоды рабочих волнений есть тесная связь между Ист-Эндом и всякими неприятностями. И зная заранее, что встретиться ему грозная толпа пролетариев, никакие силы не заставят его отступить, он послушался другой стороны форсайтской натуры — решил предотвратить эту возможность. Таким-то образом случилось, что его автомобиль застрял на переезде у Хэммерсмитского вокзала — единственном месте, где в тот день произошли сколько-нибудь серьезные беспорядки. Собралось много людей, и они остановили движение, которого, по-видимому, не одобряли. Сомс наклонился вперед, чтобы сказать шоферу: «Лучше объехать, Ригз», — потом откинулся на сиденье и стал ждать. День был погожий, машина ландо-лет открыта, он не мог не видеть, что «объехать» совершенно невозможно. И всегда этот Ригз где-нибудь застрянет! Сотни машин, набитых людьми, пытающимися выбраться из города; несколько почти пустых машин с людьми, пытающимися, как и он сам, пробраться мимо них в город; автобус, не то чтобы опрокинутый, но с выбитыми стеклами, загородивший половину дороги; и толпа людей с ничего не выражающими лицами, снующих взад и вперед перед горстью полисменов. Таковы были явления, с которыми, по мнению Сомса, власти могли бы справиться и получше.

До слуха его донеслись слова: «Вот буржуй проклятый!» И, оглянувшись, чтобы увидеть буржуа, о котором шла речь, он убедился, что это он сам. Несправедливые эпитеты! На нем скромное коричневое пальто и

мягкая фетровая шляпа. У этого Ригза внешность как нельзя более пролетарская, а машина — самого обыкновенного синего цвета. Правда, он занимает ее один, а все другие полны народу; но как выйти из такого положения — неизвестно; разве что повезти с собой в Лондон людей, стремящихся уехать в обратном направлении. Поднять верх автомобиля было бы, конечно, слишком демонстративно, так что ничего не остается, как сидеть смирно и не обращать внимания. Сомс, от рождения усвоивший гримасу легкого презрения ко всей вселенной, был как нельзя более приспособлен для такого занятия. Он сидел, глядя на кончик собственного носа, а солнце светило ему в затылок, и толпа колыхалась взад-вперед вокруг полисменов. Насильственные действия, результатом которых явились выбитые окна автобуса, уже прекратились, и теперь люди вели себя вполне мирно, словно вышли поглазеть на принца Уэльского.

Всеми силами стараясь не раздражать толпу слишком явным вниманием, Сомс наблюдал. И пришел к заключению, что вид у людей равнодушный; ни в глазах, ни в жестах он не видел той напряженной деловитости, которая одна только и придает революционным выступлениям грозный характер. Почти все молодежь, чуть не у каждого к нижней губе приклеилась папироса, — так смотрит толпа на упавшую лошадь.

Люди теперь так и рождаются, зеваками. И это неплохо. Кино, дешевые папиросы и футбольные матчи — пока они существуют, настоящей революции не будет. А всего этого, по-видимому, с каждым годом прибавляется. И он только было решил, что будущее не так уж мрачно, когда к нему в автомобиль просунулась голова какой-то молодой женщины.

— Не могли бы вы подвезти меня в город?

Сомс, по привычке, посмотрел на часы. Стрелки, показывавшие семь часов, мало чем помогли ему. Довольно нарядно одетая женщина, с чуть вульгарной манерой говорить и напудренным носом. И долго этот Ригз будет скалить зубы? А между тем в «Бритиш Газет» он читал, что все так делают. Он ответил грубовато:

— Могу. Куда вам нужно попасть?

— О, хотя бы до Лестер-сквер добраться.

Этого еще недоставало!

Молодая женщина, казалось, почуяла его опасения.
— Видите ли,— сказала она,— мне надо еще поехать до спектакля.

Да она уже лезет в машину! Сомс чуть не вылез вон. Он сдержался, искоса оглядел ее; наверно, какая-нибудь актриса — молодая, лицо круглое и, конечно, накрашено,— чуть курносая, глаза серые, слегка навывах; рот... гм, красивый рот, немножко вульгарный. И, разумеется, стриженная.

— Вот спасибо вам!

— Не стоит,— сказал Сомс; и машина тронулась.

— Вы думаете, это надолго — забастовка?

Сомс наклонился вперед.

— Поезжайте, Ригз,— сказал он,— этой даме нужно на... э-э... Ковентри-стрит, там остановитесь.

— Такая глупость вся эта история,— сказала дама.— Я бы ни за что не поспела вовремя. Вы видели наше обозрение «Такая милашка»?

— Нет.

— Очень, знаете ли, неплохо.

— Да?

— Впрочем, если это не кончится, придется закрывать лавочку.

— А.

Молодая женщина замолчала, сообразив, что ее спутник не отличается разговорчивостью.

Сомс переменил позу. Он так давно не разговаривал с посторонней молодой женщиной, что почти совсем забыл, как это делается. Поддерживать разговор ему не хотелось, а между тем он понимал, что она его гостья.

— Вам удобно? — неожиданно спросил он.

Она улыбнулась.

— Неужели нет? Машина чудесная!

— Мне она не нравится,— сказал Сомс.

Она раскрыла рот.

— Почему?

Сомс пожал плечами; он говорил, только чтобы сказать что-нибудь.

— По-моему, это даже интересно, правда? — сказала она.— «Держаться» вот так, как мы все сейчас.

Машина теперь шла полным ходом, и Сомс начал

высчитывать, через сколько минут можно будет покончить с такими сопоставлениями.

Памятник Альберту, уже! Он почувствовал к нему своего рода нежность—такое счастливое неведение всего происходящего!

— Обязательно приходите посмотреть наше обозрение,— сказала дамочка.

Сомс собрался с духом и взглянул ей в лицо.

— Что вы там делаете? — спросил он.

— Пою и танцую.

— Вот как.

— У меня хорошая сцена в третьем акте, где мы все в ночных рубашонках.

Сомс чуть заметно улыбнулся.

— Таких, как Кэт Воген, теперь не увидишь,— сказал он.

— Кэт Воген? Кто она была?

— Кто была Кэт Воген? — повторил Сомс.— Самая блестящая балерина легкого жанра. В то время в танцах было изящество; это теперь вы только и знаете, что ногами дрыгать. Вы думаете, чем быстрее вы можете передвигать ноги, тем лучше танцуете.— И, сам смутившись своего выпада, который неминуемо должен был к чему-то привести, он отвел глаза.

— Вы не любите джаз? — осведомилась дамочка.

— Не люблю,— сказал Сомс.

— А знаете, я, пожалуй, тоже; кроме того, он выходит из моды.

Угол Хайд-парка, уже! И скорость добрых двадцать миль!

— Ой-ой-ой! Посмотрите на грузовики; замечательно, правда?

Сомс проворчал что-то утвердительное. Дамочка стала без всякого стеснения пудрить нос и подмазывать губы. «Что, если меня кто-нибудь увидит?» — подумал Сомс. А может, кто и видит, он этого никогда не узнает. Поднимая высокий воротник пальто, он сказал:

— Сквозит в этих автомобилях! Подвезти вас к ресторану Скотта?

— Ой, нет, если можно — к Лайонсу; я еле-еле успею перекусить. В восемь надо быть на сцене. Большое вам спасибо. Теперь если бы кто еще отвез меня домой!

Она вдруг повела глазами и добавила: — Не поймите превратно!

— Ну что вы,— сказал Сомс не без тонкости.— Вот вы и приехали. Стойте, Ригз!

Машина остановилась, и дамочка протянула Сомсу руку.

— Прощайте, и большое спасибо!

— Прощайте,— сказал Сомс.

Улыбаясь и кивая, она сошла на тротуар.

— Поезжайте, Ригз, да поживее. Саут-сквер.

Машина тронулась. Сомс не оглядывался; в сознании его, как пузырь на поверхности воды, возникла мысль: «В прежнее время всякая женщина, которая выглядит и говорит, как эта, дала бы мне свой адрес». А она не дала! Он не мог решить, знаменует это прогресс или нет.

Не застав дома ни Флер, ни Майкла, он не стал переодеваться к обеду, а прошел в детскую. Его внук, которому шел теперь третий год, еще не спал и сказал:

— Алло!

— Алло!

Сомс извлек игрушечную трещотку. Последовало пять минут сосредоточенного и упоенного молчания, по временам нарушаемого гортанным звуком трещотки. Потом внук улегся поудобнее, уставился синими глазами на Сомса и сказал:

— Алло!

— Алло! — ответил Сомс.

— Спать! — сказал внук.

— Спать! — сказал Сомс, пятась к двери, и чуть не споткнулся о серебристую собачку.

На том разговор закончился, и Сомс пошел вниз. Флер предупредила по телефону, чтобы он не ждал их к обеду.

Он сел перед картиной Гойи. Трудно было бы утверждать, что Сомс помнил чартистское движение 1848 года, потому что он родился в 55-м; но он знал, что в то время его дядя Суизин состоял в добровольческой полиции. С тех пор не было более серьезных внутренних беспорядков, чем эта генеральная стачка; и за супом Сомс все глубже и глубже вдумывался в ее возможные последствия. Большевизм на пороге, вот в чем беда! И еще —

недостаток гибкости английского мышления. Если уголь был когда-то прибыльной статьей — воображают, что он навсегда останется прибыльным. Политические лидеры, руководство тред-юнионов, печать не видят на два дюйма дальше своего носа! Им еще в августе надо было начать что-то делать, а что они сделали? Составили доклад, на который никто и смотреть не хочет.

— Белого вина, сэр, или бордо?

— Все равно, что есть начатого.

В восьмидесятых, даже в девяностых годах с его отцом от таких слов случился бы удар: пить бордо из начатой бутылки в его глазах почти равнялось безбожию. Очередной симптом вырождения идеалов!

— А вы, Кокер, что скажете о забастовке?

Лысый слуга наклонил бутылку сотерна.

— Неосновательно задумано, сэр, если уж вы меня спрашиваете.

— Почему вы так думаете?

— А было бы основательно, сэр, Хайд-парк был бы закрыт для публики.

Вилка Сомса с куском камбалы повисла в воздухе.

— Очень возможно, что вы правы, — сказал он одобрительно.

— Суетсяя они много, но так — все впустую. Пособие — вот что умно придумали, сэр. Хлеба и цирков, как говорит мистер Монт.

— Ха! Вы видели эту столовую, которую они устроили?

— Нет, сэр. Кажется, нынче вечером туда придет морильщик. Говорят, тараканов там видимо-невидимо.

— Брр!

— Да, сэр, насекомое отвратительное.

Пообедав, Сомс закурил вторую из двух полагававшихся ему в день сигар и надел наушники радио. Он, пока мог, противился этому изобретению — но в такое время! «Говорит Лондон!» Да, а слушает вся Великобритания. Беспорядки в Глазго? Иначе и быть не может — там столько ирландцев! Требуются еще добровольцы в чрезвычайную полицию? Ну, их-то скоро будет достаточно. Нужно сказать этому Ригзу, чтобы записался. Вот и здесь без лакея вполне можно обойтись. Поезда! Поездов, по-видимому, пустили уже порядочно. Прослушав

довольно внимательно речь министра внутренних дел, Сомс снял наушники и взял «Бритиш Газет». Впервые за всю жизнь он уделил некоторое время чтению этого малопочтенного листка и надеялся, что первый раз будет и последним. Бумага и печать из рук вон плохи. Все же надо считать достижением, что ее вообще удалось выпустить. Подбираются к свободе печати! Не так-то это легко, как казалось этим людишкам. Попробовали — и вот результат: печать, куда более решительно направленная против них, чем та, которую они прикрыли. Обожглись на этом деле! И без всякого толку, ведь влияние печати — устарелое понятие. Его убила война. Без доверия нет влияния. Что политические вожди, что печать — если им нельзя верить, они вообще не идут в счет! Может быть, эту истину когда-нибудь откроют заново. А пока что газеты — те же коктейли, только возбуждают аппетит и нервы. Как хочется спать. Хоть бы Флер не слишком поздно вернулась домой. Безумная затея — эта стачка! Из-за нее все взялись за совершенно непривычные дела, да еще в такой момент, когда промышленность только-только начинает — или делает вид, что начинает, — оживать. Но что поделаешь! В наше время становится год от года труднее придерживаться плана. Всегда что-нибудь помешает. Весь мир как будто живет со дня на день, и притом такими темпами! Сомс откинулся на спинку испанского стула, заслонил глаза от света, и сон волной подступил к его сознанию. Стачка стачкой, а волны перекатывались через него мягко, неотвратно.

Защекотало, и над его рукой, сухощавой и темной, закачалась бахрома шали. Что такое? Он с усилием выбрался из чащи снов. Около него стояла Флер. Красивая, яркая, глаза сияют, говорит быстро, как будто возбужденно.

— Так ты приехал, папа!

Губы ее горячо и мягко коснулись его лба, а глаза — что с ней? Она точно помолодела, точно... как бы это выразить?

— Ты дома? — сказал он. — Кит становится разговорчив. Поела чего-нибудь?

— Да, да!

— Эта столовая...

Флер сбросила шаль.

— Мне там ужасно нравится.

Сомс с удивлением заметил, как часто дышит ее грудь, словно она только что бежала. И щеки у нее были очень розовые.

— Ты, надеюсь, ничего там не подцепила?

Флер засмеялась — очаровательный звук, и совершенно необоснованный.

— Какой ты смешной, папа! Я молю бога, чтобы забастовка тянулась подольше.

— Не говори глупостей, — сказал Сомс. — Где Майкл?

— Пошел спать. Он заезжал за мной из палаты. Говорит, ничего у них там не выходит.

— Который час?

— Первый час, милый. Ты, наверное, хорошо соснул.

— Просто дремал.

— Мы видели танк на набережной — шел на восток. Ужасно чудно они выглядят. Ты не слышал?

— Нет, — сказал Сомс.

— Ну, если услышишь — не тревожься. Майкл говорит, их направляют в порт.

— Очень рад. Значит, правительство серьезно взялось за дело. Но тебе пора спать. Ты переутомилась.

Она задумчиво смотрела на него, накинув на руку испанскую шаль, насвистывая какую-то мелодию.

— Спокойной ночи, — сказал он, — я тоже скоро пойду спать.

Она послала ему воздушный поцелуй, повернулась на каблучках и исчезла.

— Не нравится мне это, — пробормотал Сомс. — Сам не знаю почему, только не нравится.

Слишком молодо она выглядела. Или это стачка ударила ей в голову? Он встал, чтобы нацедить в стакан содовой, — после сна остался неприятный вкус во рту.

Ум-дум-бом-ум-дум-бом-ум-дум-бом! И скрежет! Еще танк? Хотел бы он взглянуть на эту машину. При мысли, что они идут в порт, он чуть ли не возликовал. Раз они налицо, страна вне опасности. Он надел дорожное пальто и шляпу, вышел из дому, пересек пустую площадь и остановился на улице, с которой видна была набережная. Вот он идет! Как огромное допотопное чудище, в освещенной фонарями темноте рычит и хрюкает большущая сказочная черепаха, воплощение неотвратимой

мощи. «Хороший им готовится сюрприз!» — подумал Сомс, когда танк прополз, скрежеща, и скрылся из виду. Он уже слышал, что идет следующий, но, вдруг решив, что хорошенького понемножку, повернул к дому. Роскошь, может быть, и излишняя, если вспомнить равнодушную толпу, окружавшую утром его автомобиль, — ни оружия, ни даже революционного задора в глазах!

«Неосновательно задумано!» А эти ползучие чудища! Может быть, правительству хочется сделать вид, что это не верно? Демонстрация мощи! Что-то возмутилось в душе Сомса. Это же Англия, черт возьми! Может, они и правы, но что-то не похоже. Чересчур... чересчур повоенному! Он отпер входную дверь. Ум-дум-дум-ум-дум-дум! Что же, мало кто их увидит или услышит в такое позднее время. Вероятно, они попали сюда откуда-нибудь из деревни — не хотел бы он повстречаться с ними в лесу или на полях. Танки — папа, мама и деточка, как... как семья мастодонтов, а? Никакого чувства пропорции в таких вещах. И никакого чувства юмора. Он постоял на лестнице, послушал. Хоть бы они только не разбудили малыша!

V

ОПАСНОСТЬ

Когда Флер, оглядывая лица сидящих за ужином, увидела Джона Форсайта, в ее сердце что-то произошло, словно она зимой набрела на цветущий куст жимолости. Оправившись от легкого опьянения, она отошла подальше и вгляделась в Джона. Он сидел, словно не обращая внимания на еду, и на его потном лице, измазанном угольной пылью, была улыбка, свойственная человеку, поднявшемуся на гору или пробежавшему большое расстояние, — усталая, милая и такая, будто он много и с толком поработал. Ресницы его — длинные и темные, какими она их помнила, — скрывали глаза и спорили с более светлыми волосами, взлохмаченными, несмотря на короткую стрижку.

Продолжая давать распоряжения Рут Лафонтэн, Флер лихорадочно думала. Джон! Как с неба свалился в ее столовую — окрепший, более подобранный; подбо-

родок решительнее, глаза сидят глубже, но страшно похож на Джона! Что же теперь делать? Если б только можно было выключить свет, подкрасться к нему сзади, наклониться и поцеловать в пятно над левым глазом! Ну, а дальше что? Глупо! А что, если он сейчас очнется от своей мечтательной улыбки и увидит ее? Скорей всего, он никогда больше не придет к ней в столовую. Она помнила, какая у него совесть. И она приняла мгновенное решение. Не сегодня! Холли будет знать, где он остановился. Время и место по ее выбору, если она, по зрелом размышлении, захочет играть с огнем. И, снабдив Рут Лафонтэн инструкцией относительно булочек, она оглянулась через плечо на лицо Джона, рассеянно чему-то улыбающееся, и пошла в свою маленькую контору.

И начались зрелые размышления. Майкл, Кит, отец; устоявшийся порядок добродетельной и богатой жизни; душевное равновесие, которого она в последнее время достигла. Все в опасности из-за одной улыбки и запаха жимолости! Нет! Этот счет закрыт. Открыть его — значило бы снова искушать судьбу. И если искушать судьбу вполне современное занятие — она, может быть, и не современная женщина. Впрочем, неизвестно еще, в ее ли силах открыть этот счет? И ею овладело любопытство — захотелось увидеть его жену, которая заменила ее, Флер. В Англии она? Брюнетка, как ее брат Фрэнсис? Флер взяла список покупок, намеченных на завтра. Такая гибель дел! Идиотство и думать о таких вещах! Телефон! Он звонил целый день; с девяти часов утра она плясала под его дудку.

— Да?.. Говорит миссис Монт. Что? Но я ведь их заказала... О! Но должна же я давать им утром яичницу с ветчиной! Не могут они перед работой получать одно какао... Что? У Компании нет средств?.. Ну, знаете! Хотите вы, чтобы дороги работали прилично, или нет?.. Зайти поговорить? Мне, право же, некогда... Да, да... пожалуйста, сделайте мне одолжение, скажите директору, что их просто необходимо кормить посытнее. У них такой усталый вид. Он поймет... Да... Спасибо большое! — Она повесила трубку. — Черт!

Кто-то засмеялся.

— Ой, это вы, Холли! Как всегда, экономят и тянут! Сегодня это уже четвертый раз. Ну, мне все равно — я

держу свою линию. Вот взгляните: это завтрашний список для Хэрриджа. Колоссальный, но что поделаешь. Купите все; риск беру на себя, хоть бы мне пришлось ехать туда и рыдать у его ног.

И за сочувственной иронией на лице Холли ей виделась улыбка Джона. Надо кормить его посытнее—да не его одного! Не глядя на кузину, она сказала:

— Я видела здесь Джона. Откуда он взялся?

— Из Парижа. Пока живет с нами на Грин-стрит.

Флер с легким смешком выставила вперед подбородок.

— Забавно опять увидеть его, да еще такого чумазого! Его жена тоже здесь?

— Нет еще,— сказала Холли,— она осталась в Париже с его матерью.

— О, хорошо бы с ним как-нибудь повидаться!

— Он работает кочегаром на пригородных поездах— уходит в шесть, приходит после одиннадцати.

— Понятно! Я и думала — потом, если стачка когда-нибудь кончится.

Холли кивнула.

— Его жена хочет приехать помогать; что вы скажете, не взять ли ее в столовую?

— Если она подойдет.

— Джон говорит, что очень.

— Не вижу, собственно, к чему американке утруждать себя. Они хотят совсем поселиться в Англии?

— Да.

— О! Впрочем, мы оба переболели корью.

— Если заболеть вторично, взрослой, Флер,— корь опасна.

Флер засмеялась.

— Никакого риска! — И глаза ее, карие, ясные, веселые, встретились с глазами кузины, глубокими, серьезными, серыми.

— Майкл ждет вас в машине,— сказала Холли.

— Отлично. Вы можете побыть здесь, пока они кончат есть? Завтра с пяти утра дежурит Нора Кэрфью. Я буду здесь в девять, до того, как вы уедете к Хэрриджу. Если надумаете еще что-нибудь, прибавьте к списку, я уж как-нибудь заставлю их натянуть. Спокойной ночи, Холли!

— Спокойной ночи, родная.

Не жалость ли мелькнула в этих серых глазах? Жалость, скажите на милость.

— Привет Джону. Интересно, как ему нравится быть кочегаром. Нужно достать еще тазов для умывания.

Сидя рядом с Майклом, который вел машину, она снова будто видела в стекле улыбку Джона, и в темноте ее губы тянулись вперед, словно хотели достать эту улыбку. Корь — от нее бывает сыпь и поднимается температура... Как пусты улицы, ведь шоферы такси тоже бастуют. Майкл оглянулся на нее.

— Ну, как дела?

— Какое страшилище этот морильщик, Майкл. У него рябое лицо клином, и волнистые черные волосы, и глаза падшего ангела; но дело свое он знает.

— Посмотри-ка, вон танк; мне о них говорили. Они идут в порт. Похоже на провокацию. Хорошо еще, что нет газет, негде о них писать.

Флер рассмеялась.

— Папа, наверное, уже дома. Он приехал в город охранять меня. Если бы и вправду началась стрельба, интересно, что бы он сделал, — стал махать зонтиком?

— Инстинкт. Все равно что у тебя по отношению к Киту.

Флер не ответила. Позже, повидав отца, она поднялась вверх и остановилась у двери детской. Мелодия, так изумившая Сомса, прозвучала легкомысленно в пустом коридоре. «*L'amour est enfant de Bohême; il n'a jamais, jamais connu de loi: si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi!*»¹. Испания, и тоска ее свадебной поездки! «Голос, в ночи звенящий!» Закрывать ставни, заткнуть уши — не впускать его. Она вошла в спальню и зажгла все лампы. Никогда еще комната ей так не нравилась — много зеркал, зеленые и лиловые тона, поблескивающее серебро. Она стояла и смотрела на свое лицо, на щеках появилось по красному пятну. Зачем она не Нора Кэрфью — добросовестная, несложная, самоотверженная, которая завтра в половине шестого утра будет кормить Джона яичницей с ветчиной! Джон с умытым лицом! Она быстро разделась. Может ли сравниться с ней эта его жена? Кому из них присудил бы он зо-

¹ Хабанера «Любовь свободна...» из оперы «Кармен».

лотое яблоко, если бы они с Энн вот так стояли рядом? И красные пятна на ее щеках гуще заалели. Переутомление — это ей знакомо! Заснуть не удастся! Но простыни были прохладные. Да, прежнее гладкое ирландское полотно куда приятнее, чем этот новый шершавый французский материал. А, вот и Майкл входит, идет к ней. Что ж! Зачем быть с ним суровой — бедный Майкл! И когда он обнимал ее, она видела улыбку Джона.

Этот первый день работы на паровозе мог хоть кого заставить улыбаться.

Машинист, почти столь же юный, как и он, но в нормальное время — совладелец машиностроительного завода, просветил Джона по сложному вопросу: как добиться равномерного сгорания. «Хитрая работа и очень утомительная!» Их пассажиры вели себя хорошо. Один даже подошел поблагодарить их. Машинист подмигнул Джону. Было и несколько тревожных моментов. Поедая за ужином гороховый суп, Джон думал о них с удовольствием. Было замечательно, но плечи и руки у него разломило. «Вы их смажьте на ночь», — посоветовал машинист.

Какая-то молоденькая женщина предложила ему печеной картошки. У нее были необычайно ясные, темно-карие глаза, немножко похожие на глаза Энн, только у Энн они русалочьи. Он взял картофелину, поблагодарил и опять погрузился в мечты кочегара. Удивительно приятно преодолевать трудности, быть снова в Англии, что-то делать для Англии! Нужно пожить вдали от родины, чтобы понять это. Энн телеграфировала, что хочет приехать и быть с ним. Если он ответит «нет», она все равно приедет. В этом он успел убедиться за два года совместной жизни. Что же, она увидит Англию в самом лучшем свете. В Америке не знают по-настоящему, что такое Англия. Ее брат побывал только в Лондоне; в его рассказах проскальзывала горечь — верно, женщина, хотя ни слова о ней не было сказано. В изложении Фрэнсиса Уилмота пропуски в истории Англии объясняли все остальное. Но все порочат Англию, потому что она не выставляет своих чувств напоказ и не трубит о себе на каждом перекрестке.

— Масла?

— Спасибо большущее. Удивительно вкусная картошка.

— Как приятно слышать.

— Кто устроил эту столовую?

— Главным образом мистер и миссис Майкл Монт; он член парламента.

Джон уронил картофелину.

— Миссис Монт? Не может быть! Она моя троюродная сестра. Она здесь?

— Была здесь. Кажется, только что ушла.

Дальнозоркие глаза Джона обежали большую темноватую комнату. Флер! Невероятно!

— Пудинга с патокой?

— Нет, спасибо. Я сыт.

— Завтра в пять сорок пять будет кофе, чай или какао и яичница с ветчиной.

— Великолепно! По-моему, это замечательно.

— Да, пожалуй, в такое-то время.

— Большое спасибо. До свидания.

Джон отыскал свое пальто. В машине его ждали Вэл и Холли.

— Алло, юноша! Ну и вид у тебя!

— А вам какая работа досталась, Вэл?

— Грузовик — завтра начинаю.

— Чудно.

— Скачкам пока что крышка.

— Но не Англии.

— Англии? Ну нет! С чего это ты?

— Так говорят за границей.

— За границей! — проворчал Вэл. — Они скажут!

И воцарилось молчание на третьей скорости.

С порога своей комнаты Джон сказал сестре:

— Я слышал, столовую устроила Флер. Неужели она так постарела?

— У Флер очень умная головка, милый. Она тебя видела. Смотри, Джон, не заболей корью во второй раз!

Джон засмеялся.

— Тетя Уинифрид ждет Энн в пятницу, просила передать тебе.

— Чудесно. Очень мило с ее стороны.

— Ну, спокойной ночи, отдыхай. В ванной еще есть горячая вода.

Джон с упоением растянулся в ванне. Пробыв шестьдесят часов вдали от молодой жены, он уже с нетерпением ждал ее приезда. Так столовую устроила Флер! Светская молодая женщина с умной и уж наверное стриженной головкой — ему было очень любопытно увидеться с ней, но ничего больше. Корь во второй раз? Как бы не так! Он слишком много выстрадал и в первый. Кроме того, он очень уж поглощен радостью возвращения — результат долгой, заглушенной тоски по родине. Мать его тосковала по Европе; но он не почувствовал облегчения в Италии и во Франции. Ему нужна была Англия. Что-то в говоре и походке людей, в запахе и внешнем виде всего окружающего; что-то добродушное, медлительное, насмешливое в самом воздухе после напряжения Америки, кричащей яркости Италии, прозрачности Парижа. Впервые за пять лет он не чувствовал, что нервы его обнажены. Даже то в его отечестве, что оскорбляло в нем эстета, действовало умиротворяюще. Пригороды Лондона, великое множество ужасающих домишек из кирпича и шифера, в постройке которых, как рассказывал ему отец, принимал участие его прадед, «Гордый Доссет» Форсайт; сотни новых домиков, правда, получше тех, но все же весьма далеких от совершенства; полное отсутствие симметрии и плана, уродливые здания вокзалов; вульгарные голоса, недостаток яркости, вкуса и достоинства в одежде людей — все, казалось, успокаивало, было порукой, что Англия всегда останется Англией.

Так эту столовую устроила Флер! Он ее увидит! А хочется ее увидеть! Очень!

VI

ТАБАКЕРКА

В соседней комнате Вэл говорил Холли:

— Ко мне сегодня заходил один человек, мы с ним в Оксфорде учились. Просил денег взаймы. Я как-то давал ему, когда и сам был небогат, но так и не получил обратно. Он страшно импонировал мне тогда — этаким красивый, томный субъект. Я считал его идеалом аристократа. А посмотрела бы ты на него теперь!

— Я видела — встретила с ним, когда он выходил отсюда; еще подумала, кто бы это мог быть. В жизни не видала такого горько-презрительного выражения лица. Ты дал ему денег?

— Только пять фунтов.

— Ну, больше не давай.

— Будь покойна. Знаешь, что он сделал? Захватил с собой мамину табакерку Louis Quinze, а она стоит сотни две. Больше в комнате никого не было.

— Боже милостивый!

— Да, смело. В университете он у нас считался самым распутным, водил компанию с картежниками. Я о нем не слышала с тех пор, как уехал на бурскую войну.

— Мама, верно, очень огорчена, Вэл?

— Хочет подавать в суд — табакерка принадлежала ее отцу. Но как можно — университетский товарищ! Да и все равно ведь не вернешь.

Холли перестала расчесывать волосы.

— А это, пожалуй, утешительно, — сказала она.

— Что именно?

— Да как же, все говорят, что уровень честности падает. Приятно обнаружить, что в нашем поколении есть люди, у которых ее и того меньше.

— Слабое утешение!

— Человеческая природа не меняется, Вэл. Я верю в молодое поколение. Мы их не понимаем, мы росли в такую спокойную пору.

— Возможно. Мой-то папаша был не слишком разборчив. Но что же мне теперь делать?

— Ты знаешь его адрес?

— Он сказал, что его можно найти через «Брюмель-Клуб», насколько мне помнится — учреждение не из почтенных. Дойти до такого откровенного воровства! Я не на шутку расстроен.

Он лежал на спине в постели, Холли смотрела на него. Поймав ее взгляд, он сказал:

— Если б не ты, старушка, я и сам бы, может, свихнулся.

— О нет, Вэл! Ты слишком любишь воздух и движение. Плохо кончают те, кто всю жизнь сидит в комнатах.

Вэл усмехнулся.

— А это не глупо. Если я и видел этого человека в

движении, так только за карточным столом. На скачках играл, а сам лошади от ежа отличить не мог. Ну что же, придется маме с этим примириться, я ничего не могу сделать.

Холли подошла к его постели.

— Повернись, я тебя укрою получше.

Потом она легла сама; не спала — думала о человеке, который свихнулся, вспоминала презрение, написанное на его лице, изможденном, темном, правильном; преждевременно седеющие волосы, преждевременно поблекшие глаза и его костюм, словно чудом уцелевший, и изношенный, тщательно завязанный галстук бабочкой. Она чувствовала, что знает его: никаких нравственных устоев и глубоко внедрившееся презрение к тем, у кого они есть. Бедный Вэл! Его-то нравственные устои не так крепки, чтобы его можно было за них презирать. Хотя!.. При всех своих опасных мужских инстинктах Вэл был верным товарищем все эти годы. Если он не отличается философским складом ума и эстетическими вкусами, если в лошадях он смыслит больше, чем в поэзии, — что ж, хуже он от этого? Временами ей казалось, что даже лучше. Лошадь не меняет каждые пять лет своего вида и масти и не порочит своих предшественников. Лошадь — постоянная величина, держит вас на умеренных темпах, любит, чтобы ее гладили по носу, — о каком поэте можно сказать то же самое? Их роднит только одно — любовь к сахару. После выхода в свет своего романа Холли стала членом «Клуба 1930 года». Провела ее туда Флер; и теперь, наезжая в Лондон, она изучала в своем клубе современность. Современность — это быстрота и больше ничего. Те, кто ругает ее, пусть бы лучше ругали телефон, радио, аэропланы и закусочные на каждом углу. Под этой внешней оболочкой скорости современность стара. Женщины не так много надевали на себя, когда выходили первые романы Джейн Остин¹. Панталоны — так утверждают историки — изобретены только в XIX веке. А современная манера говорить! После Южной Африки просто дух захватывает, до того она стремительна; но мысли примерно те же, какие бывали у нее самой в

¹ Английская писательница, автор сатирико-бытовых романов (1775—1817).

юности, только разрезанные на кусочки автомобилями и телефонными звонками. А современные увлечения! Ведут к тому же, к чему вели и при Георге Втором, только тянутся дольше из-за мотоцикла и завтрака стоя. А современная философия! Люди мыслят не менее философски, чем Мартин Таппер¹ или Айзак Уолтон²; только, в отличие от этих прославленных старцев, им некогда сформулировать свои мысли. Что же касается будущей жизни — современность живет надеждой, и притом не слишком твердой, как жило человечество с незапамятных времен. И, как подобает писательнице, Холли поспешила сделать вывод. «Вот,— подумала она,— только поскреби лучших представителей современной молодежи — и найдешь Чарльза Джемса Фокса³ и Пердиту⁴ в костюмах для гольфа». Ровный звук вернул ее мысли в обычное русло. Вэл спит! Какие у него и теперь еще длинные, темные ресницы, но рот открыт!

— Вэл,— сказала она еле слышно,— Вэл, не храпи, милый!..

В табакерке можно ценить не столько эмаль, бриллиантики или эпоху, как то, что она принадлежала вашему отцу. Уинифрид, хотя и достаточно показала себя собственницей, в течение стольких лет сохраняя Монтегью Дарти со всеми присущими ему качествами, не обладала, как ее брат Сомс, ни инстинктом коллекционера, ни тем вкусом к вещам, в котором Джордж Форсайт первый усмотрел «смесь ханжества и добродетели». Но чем больше время отдаляло ее отца Джемса — а с его смерти протекло уже четверть века,— тем глубже она чтит его память.

Как древний полководец или мыслитель, огражденный временем от соперников, год от году стяжает все большую славу, так и Джемс! Его нелюбовь к переменам, его предельная семейственность, его умение сберечь деньги для детей и вечная боязнь, что ему чего-нибудь

¹ Английский писатель, автор популярной в свое время «Философии в поговорках» (1810—1889).

² Английский мыслитель, прозаик и поэт (1593—1683).

³ Английский политический деятель (1749—1806).

⁴ Прозвище английской актрисы Мэри Робинзон, автора пьес, стихов, повестей, исполнявшей, между прочим, роль Пердиты в «Зимней сказке» Шекспира (1758—1800).

не скажут,— с каждым годом, который он проводил под землей, сияли в глазах Уинифрид все более ярким ореолом. По мере того как она полнела и ее светские стремления угасали, прошлое разгоралось в целое созвездие сияющих воспоминаний. Исчезновение табакерки, столь ощутимо напоминавшей Джемса и Эмили, поколебало ее завидное душевное равновесие больше, чем любое другое событие за много лет. От мысли, что она поддалась голосу, аристократически звучащему по телефону, ей делалось положительно не по себе. А ей ли, казалось бы, не знать, с ее богатым опытом общения с аристократией! Однако она была из тех женщин, которые, установив неприятный факт, делают все, чтобы как можно скорее его устранить; и, ничего не добившись от Вэла, который только сказал: «Ужасно жаль, мама, но что же поделаешь — не повезло!» — она призвала на помощь Сомса.

Сомса новость сразила. Он помнил, как Джемс на его глазах купил эту табакерку у Джобсона, заплатив десятую долю той суммы, которую можно бы получить за нее теперь. Все теряло свой смысл, если возможно было вот так вдруг лишиться вещи, стоимость которой без всяких усилий с их стороны неуклонно возрастала в течение сорока лет. И взявший ее был из очень хорошей семьи — так по крайней мере утверждал племянник! Была ли честность старых Форсайтов, в атмосфере которой Сомс был воспитан и вступил в жизнь, врожденной или благоприобретенной — впитанной с молоком матери или с доходами от банков — об этом он никогда не задумывался. Она составляла часть их системы, так же как поговорка «Честность — лучшая политика» входила в систему частных банкирских контор, которые тогда процветали. Праздные мысли на тему о банках были вполне естественны для человека, помнившего отклики на крах конторы «Эндерстарт и Дарнет» и постепенное исчезновение маленьких банков с легендарными именами. Эти громадные теперешние объединения хороши для кредита и плохи для романистов: разъяренные вкладчики — интереснее не было чтения в его время! Такие большущие концерны не могут «лопнуть», как бы ни вели себя их клиенты; но способствуют ли они честности отдельных лиц — в этом Сомс не был уверен. Как бы то ни было, табакерка пропала, и если Уинифрид не примет мер, ее не

вернуть. Какие именно меры она может принять, было ему еще не ясно; но он советует ей сейчас же поручить это дело кому-нибудь.

— Но кому, Сомс?

— На то есть Скотленд-Ярд,— ответил Сомс мрачно.— Толку от них вряд ли добьешься—суеются, а больше ничего. Есть еще этот тип, которого я приглашал, когда мы судились с Феррар. Он очень дорого берет.

— Мне бы не так было жаль,— сказала Уинифрид,— если б она не принадлежала дорогому папе.

— Таких бандитов надо сажать в тюрьму,— проговорил Сомс.

— И подумать только,— сказала Уинифрид,— что Вэл и остановился-то у меня главным образом для того, чтобы увидаться с ним.

— Ах так? — сказал Сомс мрачно.— Ты вполне уверена, что табакерку взял этот субъект?

— Безусловно. Я достала ее всего за четверть часа до этого, хотела почистить. Когда он ушел, я сейчас же вернулась в комнату, чтобы убрать ее, а ее уже не было. Вэл не выходил из комнаты.

Сомс на минуту задумался, потом отбросил подозрение насчет племянника, потому что Вэл, хоть и кровно связанный со своим папашей Монтегью Дарти, да еще в придачу лошадиник, все же был наполовину Форсайт.

— Ну,— сказал он,— так прислать к тебе этого человека? Зовут его Бекрофт; вид у него всегда такой, точно он слишком много бредет, но он не лишен здравого смысла. По-моему, ему надо связаться с клубом, в котором этот тип состоит членом.

— А вдруг он уже продал табакерку? — сказала Уинифрид.

— Вчера к концу дня? Сомневаюсь; но времени терять нельзя. Я сейчас же пройду к Бекрофту. Флер перестарается с этой своей столовой.

— Говорят, она отлично ее наладила. Такие молодцы все эти молоденькие женщины.

— Да уж быстры, что и говорить,— пробурчал Сомс,— но тише едешь — дальше будешь.

Услышав эту истину, которую в дни ее молодости готовы были без конца повторять старые Форсайты, Уинифрид заморгала своими очень уж светлыми ресницами.

— Это, знаешь ли, Сомс, всегда было скучновато. А теперь, если не действовать быстро, все так и ускользает.

Сомс взялся за шляпу.

— Вот табакерка твоя наверняка ускользнет, если мы будем зевать.

— Ну, спасибо, милый мальчик. Я все-таки надеюсь, что мы ее найдем. Милый папа так ею гордился, а когда он умер, она не стоила и половины против теперешней цены.

— И четверти не стоила,— сказал Сомс, и эта мысль продолжала сверлить его, когда он вышел на улицу. Что толку в благоразумии, когда первый встречный может явиться и прикарманить его плоды? Теперь над собственностью издеваются; но ведь собственность — доказательство благоразумия, в половине случаев — вопрос собственного достоинства. И он подумал о чувстве собственного достоинства, которое украл у него Босини в те далекие горестные дни. Ведь даже в браке проявляешь благоразумие, противопоставляешь себя другим. У человека есть «нюх на победителя», как тогда говорили; правда, он иногда подводит. Ирэн не была «победителем», о нет! Ах, он забыл спросить Уинифрид об этом Джоне Форсайте, который неожиданно опять появился на горизонте. Но сейчас важнее табакерка. Он слышал, что «Брюмель-Клуб» — это своего рода притон; там, верно, полно игроков и комиссионеров. Вот зло сегодняшнего дня — это да еще пособие по безработице. Работать? Нет, этого они не желают. Лучше продавать все, что придется, предпочтительно автомобили, и получать комиссионные. «Брюмель-Клуб»! Да, вот он, Сомс помнил эти окна. Во всяком случае, делу не повредит, если он узнает, действительно этот субъект здесь числится. Он вошел и справился:

— Мистер Стэйнфорд член этого клуба?

— Да. Не знаю, здесь ли он. Эй, Боб, мистер Стэйнфорд не приходил?

— Только что пришел.

— О,— сказал Сомс слегка испуганно.

— К нему джентльмен, Боб.

Сомс почувствовал легкую тошноту.

— Пройдите сюда, сэр.

Сомс глубоко вздохнул, и ноги его двинулись вперед. В грязноватой и тесной нише у самого входа он увидел человека, который развалился в старом кресле и курил папиросу, вставленную в мундштук. В одной руке он держал маленькую красную книжку, в другой — карандаш, и держал он их так спокойно, словно собирался записать мнение, которое у него еще не сложилось. На нем был темный костюм в узкую полоску; он сидел, положив ногу на ногу, и Сомс заметил, что одна нога в старом, сношенном коричневом башмаке, начищенном наперекор всеразрушающему времени до умильного блеска, медленно описывает круги.

— К вам джентльмен; сэр.

Теперь Сомс увидел лицо. Брови подняты, как стрелки, глаза почти совсем закрыты веками. Как и вся фигура, лицо это производило впечатление просто поразительной томности. Худое до предела, длинное, бледное, оно, казалось, все состояло из теней и легких горбинок. Нога застыла в воздухе, вся фигура застыла. У Сомса явилось курьезное ощущение, точно сидящий перед ним человек дразнит его своей безжизненностью. Не успев подумать, он начал:

— Мистер Стэйнфорд, не так ли? Не беспокойтесь, пожалуйста. Моя фамилия Форсайт. Вы вчера после обеда заходили в дом моей сестры на Грин-стрит.

Морщины вокруг маленького рта слегка дрогнули, затем послышались слова:

— Прошу садиться.

Теперь глаза открылись — когда-то, по-видимому, они были прекрасны. Они снова сузились, и Сомс невольно подумал, что их обладатель пережил все, кроме самого себя. Он поборол минутное сомнение и продолжал:

— Я хотел задать вам один вопрос. Во время вашего визита не заметили ли вы случайно на столе табакерку Louis Quinze? Она... э-э... пропала, и мы хотели бы установить время ее исчезновения.

Человек в кресле улыбнулся, как мог бы улыбнуться бесплотный дух.

— Что-то не помню.

Смыслю: «Она у него» — Сомс продолжал:

— Очень жаль, вещь ценили как память. Ее, без со-

мнения, украли. Я хотел выяснить это дело. Если б вы ее заметили, мы могли бы точно установить время пропажи... на столике, как раз где вы сидели, синяя эмаль.

Худые плечи слегка поежились, словно им не нравилась попытка возложить на них ответственность.

— К сожалению, не могу вам помочь. Я ничего не заметил, кроме очень хорошего инкрустированного столика.

«В жизни не видел такого хладнокровия,— подумал Сомс.— Интересно, сейчас она у него в кармане?»

— Вещь эта — уникам,— произнес он медленно.— Для полиции трудностей не представится. Ну что ж, большое спасибо. Простите за беспокойство. Вы, кажется, учились с моим племянником? Всего хорошего.

— Всего хорошего.

С порога Сомс незаметно оглянулся. Фигура была совершенно неподвижна, ноги все так же скрещены, бледный лоб под гладкими седеющими волосами склонился над красной книжечкой. По виду ничего не скажешь! Но вещь у него, сомнений быть не может.

Он вышел на улицу и направился к Грин-парку, испытывая очень странное чувство. Тащить, что плохо лежит! Чтобы аристократ дошел до такого! История с Элдерсоном была не из приятных, но не так печальна, как эта. Побелевшие швы прекрасного костюма, поперечные трещины на когда-то превосходных штиблетах, выцветший, идеально завязанный глостук — все это свидетельствовало о том, что внешний вид поддерживается со дня на день, впроголодь. Это угнетало Сомса. До чего же томная фигура! А что в самом деле предпринять человеку, когда у него нет денег, а работать он не может, даже если это вопрос жизни? Устыдиться своего поступка он не способен, это ясно. Нужно еще раз поговорить с Уинифридом. И, повернувшись на месте, Сомс пошел обратно в направлении Грин-стрит. При выходе из парка, на другой стороне Пикадилли, он увидел ту же томную фигуру. Она тоже направлялась в сторону Грин-стрит. Ого! Сомс пересек улицу и пошел следом. Ну и вид у этого человека! Шествует так, словно явился в этот мир из другой эпохи, из эпохи, когда выше всего ценился внешний вид. Он чувствовал, что «этот тип» скорее расстанется с жизнью, чем выкажет инте-

рес к чему бы то ни было. Внешний вид! Возможно ли довести презрение к чувству до такого совершенства, чтобы забыть, что такое чувство? Возможно ли, что приподнятая бровь приобретает больше значения, чем все движения ума и сердца? Шагают поношенные павлиньи перья, а павлина-то внутри и нет. Показать свои чувства — вот, может быть, единственное, чего этот человек устыдился бы. И сам немного дивясь своему таланту диагноста, Сомс не отставал от него, пока не очутился на Грин-стрит. О черт! Тот и правда шел к дому Уинифрида! «Преподнесу же я ему сюрприз», — подумал Сомс. И, прибавив шагу, он сказал, слегка задыхаясь, на самом пороге дома:

— А, мистер Стэйнфорд! Пришли вернуть табакерку?

Со вздохом, чуть-чуть опершись тростью на тротуар, фигура обернулась. Сомсу вдруг стало стыдно, точно он в темноте испугал ребенка. Неподвижное лицо с поднятыми бровями и опущенными веками было бледно до зелени, как у человека с больным сердцем; на губах пробивалась слабая улыбка. Добрых полминуты длилось молчание, потом бледные губы заговорили:

— А это смотря по тому, сколько?

Теперь Сомс окончательно задохнулся. Какая наглость!

А губы опять зашевелились:

— Можете получить за десять фунтов.

— Могу получить даром, — сказал Сомс, — стоит только позвать полисмена.

Опять улыбка.

— Этого вы не сделаете.

— Почему бы нет?

— Не принято.

— Не принято, — повторил Сомс. — Это еще почему? В жизни не встречал ничего более бессовестного.

— Десять фунтов, — сказали губы. — Они мне очень нужны.

Сомс стоял, раскрыв глаза. Бесподобно! Человек смущен не больше, чем если бы он просил прикурить; ни один мускул не дрогнул в лице, которое, кажется, вот-вот перестанет жить. Большое искусство! Он понимал, что произносить тирады о нравственности нет никакого

смысла. Оставалось либо дать десять фунтов, либо позвать полисмена. Он посмотрел в оба конца улицы.

— Нет. Ни одного не видно. Табакерка при мне. Десять фунтов.

Сомс попытался что-то сказать. Этот человек точно гипнотизировал его. И вдруг ему стало весело. Ведь нарочно не придумаешь такого положения!

— Ну, знаете ли,— сказал он, доставая две пятифунтовые бумажки,— такой наглости...

Тонкая рука достала пакетик, чуть оттопыривавший боковой карман.

— Премного благодарен. Получите. Всего лучшего!

Он пошел прочь. В движениях его была все та же неподражаемая томность; он не оглядывался. Сомс стоял, зажав в руке табакерку, смотрел ему вслед.

— Да,— сказал он вслух,— теперь таких не делают.— И нажал кнопку звонка.

VII

МАЙКЛ ТЕРЗАЕТСЯ

За те восемь дней, что длилась генеральная стачка, в несколько горячечном существовании Майкла отдыхом были только часы, проведенные в палате общин, столь поглощенной измышлениями, что бы такое предпринять, что она не предпринимала ничего. У него сложилось свое мнение, как уладить конфликт; но поскольку оно сложилось только у него, результат этого никак не ощущался. Все же Майкл отмечал с глубоким удовлетворением, что день ото дня акции британского характера котируются все выше как в Англии, так и за границей, и с некоторой тревогой — что акции британских умственных способностей упали почти до нуля. Постоянная фраза мистера Блайта: «И о чем только эти... думают?» — неизменно встречала отклик у него в душе. О чем они в самом деле думают? Со своим тестем он имел на эту тему только один разговор.

Сомс взял яйцо и сказал:

— Ну, государственный бюджет провалился.

Майкл взял варенья и ответил:

— А когда вы были молоды, сэр, тогда тоже происходили такие вещи?

— Нет,— сказал Сомс,— тогда профсоюзного движения, собственно говоря, и не было.

— Многие говорят, что теперь ему конец. Что вы скажете о стачке как о средстве борьбы, сэр?

— Для самоубийства — идеально. Поразительно, как они раньше не додумались.

— Я, пожалуй, согласен, но что же тогда делать?

— Ну как же,— сказал Сомс,— ведь у них есть право голоса.

— Да, так всегда говорят. Но роль парламента, по моему, все уменьшается: в стране сейчас есть какое-то направляющее чувство, которое и решает все вопросы раньше, чем мы успеваем добраться до них в парламенте. Возьмите хоть эту забастовку: мы здесь бессильны.

— Без правительства нельзя,— сказал Сомс.

— Без управления — безусловно. Но в парламенте мы только и делаем, что обсуждаем меры управления задним числом и без видимых результатов. Дело в том, что в наше время все слишком быстро меняется — не уследишь.

— Ну, вам виднее,— сказал Сомс.— Парламент всегда был говорильней.

И в полном неведении, что процитировал Карлейля — слишком экспансивный писатель, который в его представлении почему-то всегда ассоциировался с революцией, — он взглянул на картину Гойи и добавил:

— Мне все-таки не хотелось бы увидеть Англию без парламента. Слышали вы что-нибудь об этой рыжей молодой женщине?

— Марджори Феррар? Очень странно, как раз вчера я встретил ее на Уайтхолл. Сказала мне, что водит правительственную машину.

— Она с вами говорила?

— О да. Мы друзья.

— Гм,— сказал Сомс,— не понимаю нынешнего поколения. Она замужем?

— Нет.

— Этот Мак-Гаун дешево отделался, хоть и зря — не заслужил. Флер не скучает без своих приемов?

Майкл не ответил. Он не знал. Они с Флер были в

таких прекрасных отношениях, что мало были осведомлены о мыслях друг друга. И, чувствуя, как его сверлят серые глаза тестя, он поспешил сказать:

— Флер молодцом, сэр.

Сомс кивнул.

— Не давайте ей переутомляться с этой столовой.

— Она работает с большим удовольствием—есть случай приложить свои способности.

— Да,—сказал Сомс,—голова у нее хорошая, когда она ее не теряет.—Он словно опять посоветовался с картиной Гойи, потом добавил:

— Между прочим, этот молодой Джон Форсайт опять здесь, мне говорили — живет пока на Грин-стрит, работает кочегаром или что-то в этом роде. Детское увлечение... но я думал, вам не мешает знать.

— О,—сказал Майкл,—спасибо. Я не знал.

— Она, вероятно, тоже не знает,—осторожно сказал Сомс,—я просил не говорить ей. Вы помните, в Америке, в Маунт-Вернон, когда мне стало плохо?

— Да, сэр. Отлично помню.

— Ну, так я не был болен. Просто я увидел, что этот молодой человек и его жена беседуют с вами на лестнице. Решил, что Флер лучше с ними не встречаться. Все это очень глупо, но никогда нельзя знать...

— Да,—сказал Майкл сухо,—никогда нельзя знать. Я помню, он мне очень понравился.

— Гм,—пробормотал Сомс,—сын своего отца, я полагаю.

И по выражению его лица Майкл решил, что преимущество это сомнительное.

Больше ничего не было сказано, так как Сомс всю жизнь считал, что говорить нужно только самое необходимое, а Майкл предпочитал не разбирать поведения Флер всерьез даже с ее отцом. Последнее время она казалась ему вполне довольной. После пяти с половиной лет брака он был уверен, что как человек он нравится Флер, что как мужчина он ей не неприятен и что неразумен тот, кто надеется на большее. Правда, она упорно отказывалась от второго издания Кита, но только потому, что не хотела еще раз выйти из строя на несколько месяцев. Чем больше у нее дела, тем она довольнее — столовая, например, дала ей повод развернуться

вовсю. Знай он, правда, что там кормится Джон Форсайт, Майкл встревожился бы; а так известие о приезде молодого человека в Англию не произвело на него большого впечатления. В те напряженные дни его внимание целиком поглощала Англия. Его бесконечно радовали все проявления патриотизма: студенты, работающие в порту, девушки за рулем автомобилей, продавцы и продавщицы, бодро шагающие пешком к месту работы, великое множество добровольческой полиции, общее стремление «продержаться». Даже бастующие были добродушны. Его заветные взгляды относительно Англии изо дня в день подтверждались в пику всем пессимистам. И он чувствовал, что нет сейчас столь неанглийского места, как палата общин, где людям ничего не оставалось, как строить грустные физиономии да обсуждать «создавшееся положение».

Известие о провале генеральной стачки застигло его, когда он только что отвез Флер в столовую и ехал домой. Шум и толкотня на улицах и слова «Стачка окончена», наскоро нацарапанные на всех углах, появились еще раньше, чем газетчики стали торопливо выкрикивать: «Конец стачки — официальные сообщения!» Майкл затормозил у тротуара и купил газету. Вот оно! С минуту он сидел не двигаясь, горло у него сдавило, как в тот день, когда узнали о перемирии. Исчез меч, занесенный над головой Англии! Иссяк источник радости для ее врагов! Люди шли и шли мимо него, у каждого была в руках газета, глаза глядели необычно. К этой новости относились почти так же трезво, как отнеслись к самой стачке. «Добрая старая Англия! Мы великий народ, когда есть с чем бороться», — думал он, медленно направляя машину к Трафальгар-сквер. Прислонившись к каменной ограде, стояла группа мужчин, без сомнения участвовавших в стачке. Он попытался прочесть что-нибудь у них на лицах. Радость, сожаление, стыд, обида, облегчение? Хоть убей, не разобрать. Они балагурили, перебрасывались шутками.

«Не удивительно, что мы — загадка для иностранцев, — подумал Майкл. — Самый непонятный народ в мире».

Держась края площади, он медленно проехал на Уайтхолл. Здесь можно было уловить легкие признаки

волнения. Вокруг памятника неизвестному солдату и у поворота на Даунинг-стрит густо толпился народ; там и сям покрикивали «ура». Доброволец-полиомен переводил через улицу хромого; когда он повернул обратно, Майкл увидел его лицо. Ба, да это дядя Хилери! Младший брат его матери, Хилери Черрел, викарий прихода св. Августина в «Лугах».

— Алло, Майкл!

— Вы в полиции, дядя Хилери? А ваш сан?

— Голубчик, разве ты из тех, которые считают, что для служителей церкви не существует мирских радостей? Ты не становишься ли консервативен, Майкл?

Майкл широко улыбнулся. Его непритворная любовь к дяде Хилери складывалась из восхищения перед его худощавым и длинным лицом, морщинистым и насмешливым; из детских воспоминаний о весельчаке-дядюшке; из догадки, что в Хилери Черреле пропадал полярный исследователь или еще какой-нибудь интереснейший искатель приключений.

— Кстати, Майкл, когда ты заглянешь к нам? У меня есть превосходный план, как прочистить «Луга».

— А,— сказал Майкл,— все упирается в перенаселение, даже стачка.

— Правильно, сын мой. Так вот, заходи поскорее. Вам, парламентским господам, нужно узнавать жизнь из первых рук. Вы там, в палате, страдаете от самоотравления. А теперь проезжайте, молодой человек, не задерживайте движение.

Майкл проехал, не переставая улыбаться. Милый дядя Хилери! Очеловечивание религии и жизнь, полная опасностей — лазил на самые трудные горные вершины Европы,— никакого самомнения и неподдельное чувство юмора. Лучший тип англичанина! Ему предлагали высокие посты, но он сумел от них отвертеться. Он был, что называется, непоседа и часто грешил отчаянной бестактностью; но все любили его, даже собственная жена. На минуту Майкл задумался о своей тете Мэй. Лет сорок, трое ребят и тысяча дел на каждый день; стриженная и веселая, как птица. Приятная женщина тетя Мэй!

Поставив машину в гараж, он вспомнил, что не завтракал. Было три часа. Он выпил стакан хереса, закусывая печеньем, и пошел в палату общин. Палата гудела

в ожидании официального заявления. Он откинулся на спинку скамьи, вытянул вперед ноги и стал терзаться праздными мыслями. Какие тут вершились когда-то дела! Запрещение работоторговли и детского труда, закон о собственности замужней женщины, отмена хлебных законов! Но возможно ли такое и теперь? А если нет, то что это за жизнь? Он сказал как-то Флер, что нельзя два раза переменить призвание и остаться в живых. Но хочется ли ему остаться в живых? Если отпадает фоггартизм — а фоггартизм отпал не только потому, что никогда не начинался, — чем он, по существу, интересуется?

Уходя, оставить мир лучшим, чем ты застал его? Сидя здесь, он без труда усматривал в этом замысле некоторый недостаток четкости, даже если ограничить его Англией. Это была мечта палаты общин; но, захлебываясь в смене партий, она что-то медленно приближалась к ее осуществлению. Лучше наметить себе какой-то участок административной работы, крепко держаться его и чего-то добиться. Флер хочет, чтобы он занялся Кенией и индийцами. Опять что-то отвлеченное и не связанное непосредственно с Англией. Какой определенный вид работы всего нужнее Англии? Просвещение? Опять неясность! Как знать, в какое русло лучше всего направить просвещение? Вот, например, когда было введено всеобщее обучение за счет государства, — казалось, что вопрос решен. Теперь говорят, что оно оказалось губительным для самого государства. Эмиграция? Заманчиво, но не созидательно. Возрождение сельского хозяйства? Но сочетание того и другого сводилось к фоггартизму, а он успел усвоить, что только крайняя нужда убедит людей в закономерности его; можно говорить до хрипоты и все-таки не убедить никого, кроме самого себя.

Так что же?

«У меня есть превосходный план, как прочистить «Луга» — «Луга» были одним из самых скверных трущобных приходов Лондона. «Заняться трущобами, — подумал Майкл, — это хоть конкретно». Трущобы кричат о себе даже запахами. От них идет вонь, и дикость, и разложение. А между тем живущие там привязаны к ним; или, во всяком случае, предпочитают их другим, еще неизвестным трущобам. А трущобные жители такой славный народ! Жаль ими швыряться. Надо поговорить с дядей Хи-

лери. В Англии еще столько энергии, такая уйма рыжих ребятишек! Но, подрастая, энергия покрывается копотью, как растения на заднем дворе. Перестройка трущоб, устранение дыма, мир в промышленности, эмиграция, сельское хозяйство и безопасность в воздухе. «Вот моя вера,— подумал Майкл.— И черт меня побери, если такая программа хоть для кого недостаточно обширна!»

Он повернулся к министерской скамье и вспомнил слова Хилери об этой палате. Неужели все они действительно в состоянии самоотравления — медленного и непрерывного проникновения яда в ткани? Все эти окружающие его господа воображают, что заняты делом. И он оглядел «господ». С большинством из них он был знаком и ко многим относился с большим уважением, но все скопом — что и говорить, они выглядели несколько растерянно. У его соседа справа передние зубы обнажились в улыбке утопленника. «Право же,— подумал Майкл,— прямо геройство, как это мы все день за днем сидим здесь и не засыпаем!»

VIII

ТАЙНА

У Флер не было оснований ликовать по поводу провала генеральной стачки. Не в ее характере было рассматривать такой вопрос с общенациональной точки зрения. Столовая окончательно утвердила ее веру в себя, которую так жестоко поколебала история с Марджори Феррар; и быть по горло занятой вполне ей подходило. Нора Кэрфью, она сама, Майкл и его тетка — леди Элисон Черрел — завербовали первоклассный штат помощников всех возрастов, и по большей части из высшего общества. Они работали, выражаясь общепринятым языком, как негры. Их ничто не смущало, даже тараканы. Они вставали и ложились спать в любое время. Никогда не сердились и были неизменно веселы. Одним словом, трудились вдохновенно. Компания железной дороги не могла надивиться, как они преобразили внешний вид столовой и кухни. Сама Флер не покидала капитанского мостика. Она взяла на себя смазку учрежденческих ко-

лес, бесчисленные телефонные схватки с бюрократизмом и открытые бои с представителями правления. Она даже забралась в карман к отцу, чтобы пополнять возникающие нехватки. Добровольцев кормили до отвала, и — по вдохновенному совету Майкла — она подрывала стойкость пикетчиков, потихоньку угощая их кофе с ромом в самые разнообразные часы их утомительных бдений. Ее снабженческий автомобиль, вверенный Холли, пробирался взад и вперед через блокаду, словно у него и в мыслях не было магазина Хэрриджа, где закупались продукты.

— Надо все сделать, чтобы бастующие вздремнули на оба глаза,— говорил Майкл.

Сомневаться в успехе столовой не приходилось. Флер больше не видела Джона, но жила в том своеобразном смещении страха и надежды, которое знаменует собою истинный интерес к жизни. В пятницу Холли сообщила ей, что приехала жена Джона: нельзя ли привести ее завтра утром?

— Конечно! — сказала Флер. — Какая она?

— Очень мила, глаза, как у русалки; по крайней мере Джон так полагает. Но если русалка, то из самых симпатичных.

— М-м,— сказала Флер.

На следующий день она сверяла по телефону какой-то список, когда Холли привела Энн. Почти одного роста с Флер, прямая и тоненькая, волосы потемнее, цвет лица посмуглее и темные глаза (Флер стало ясно, что понимала Холли под словом «русалочьи»), носик чуть-чуть слишком смелый, острый подбородок и очень белые зубы — вот она, та, что заменила ее. Знает ли она, что они с Джоном...

И, протягивая ей свободную руку, Флер сказала:

— По-моему, вы как американка поступили очень благородно. Как поживает ваш брат Фрэнсис?

Рука, которую она пожала, была сухая, теплая, смуглая; в голосе, когда та заговорила, лишь чуточку слышалась Америка, словно Джон потрудился над ним.

— Вы были так добры к Фрэнсису. Он постоянно вас вспоминает. Если бы не вы...

— Это пустяки. Простите... Да-да?.. Нет! Если принцесса придет, передайте ей, не будет ли она так добра

заехать, когда они обедают. Да, да, спасибо!.. Завтра? Конечно... Как доехали? Качало?

— Ужас! Хорошо, что Джона со мной не было. Отвратительно, когда мутит, правда?

— Меня никогда не мутит,— сказала Флер.

У этой девчонки есть Джон, и он заботится о ней, когда ее мутит! Красивая? Да. Загорелое лицо очень подвижно, похожа, пожалуй, на брата, но глаза такие манящие, куда более выразительные. Что-то есть в этих глазах, почему они такие странные и интересные. Ну да, самую малость косят! И держаться она умеет, какой-то особенный поворот шеи, прекрасная посадка головы. Одежда, конечно, очаровательно. Взгляд Флер скользнул вниз, к икрам и щиколоткам. Не толстые, не кривые! Вот несчастье!

— Я так вам благодарна, что вы разрешили мне помочь.

— Ну что вы! Холли вас просветит. Вы возьмете ее в магазины, Холли?

Когда она ушла, опекаемая Холли, Флер прикусила губу. По бесхитростному взгляду жены Джона она догадалась, что Джон ей не сказал. До чего молода! Флер вдруг показалось, словно у нее самой и не было молодости. Ах, если бы у нее не отняли Джона! Прикушенная губа задрожала, и она поспешно склонилась над телефоном.

При всех новых встречах с Энн—три или четыре раза до того, как столовая закрылась,—Флер заставляла себя быть приветливой. Она инстинктом чувствовала, что сейчас не время оттораживаться от кого бы то ни было. Чем явилось для нее возвращение Джона, она еще не знала; но на этот раз, что бы она ни надумала, никто не посмеет вмешаться. Теперь она сама себе хозяйка — не то что тогда, когда они с Джоном были невинными младенцами. Ее охватила злая радость, когда Холли сказала: «Энн от вас в восторге, Флер!» Нет, Джон ничего не рассказал жене. Это на него и похоже, ведь тайна была не только его! Но долго ли эта девочка останется в неведении? В день закрытия столовой она сказала Холли:

— Жене Джона, вероятно, никто не говорил, что мы с ним были когда-то влюблены друг в друга?

Холли покачала головой.

— Тогда лучше и не нужно.

— Конечно, милая. Я позабочусь об этом. Славная, по-моему, девочка.

— Славная,— сказала Флер,— но неинтересная.

— Не забывайте, что она здесь в непривычной, чужой обстановке. В общем, американцы рано или поздно оказываются интересными.

— В собственных глазах,— сказала Флер и увидела, что Холли улыбнулась. Поняв, что немного выдала себя, она тоже улыбнулась.

— Что же, лишь бы они ладили. Так и есть, наверное?

— Голубчик, я почти не видела Джона, но, судя по всему, они в прекрасных отношениях. Теперь они собираются к нам в Уонсдон погостить.

— Чудно! Ну, вот и конец нашей столовой. Попудрим носики и поедem домой; папа ждет меня в автомобиле. Может быть, подвезти вас?

— Нет, спасибо; пойду пешком.

— Как? По-прежнему избегаете? Забавно, как живучи такие антипатии!

— Да, у Форсайтов,— проговорила Холли.— Мы, знаете, скрываем свои чувства. Чувства гибнут, когда швыряешься ими на ветер.

— А,— сказала Флер.— Ну, да хранит вас бог, как говорится, и привет Джону. Я пригласила бы их к завтраку, но ведь вы уезжаете в Уонсдон?

— Послезавтра.

В круглом зеркальце Флер увидела, что маска на ее лице стала совсем проницаемой и повернулась к двери.

— Возможно, что я забегу к тете Уинифрид, если улучу минутку. До свидания.

Спускаясь по лестнице, она думала: «Так это ветер убивает чувства!»

В машине Сомс разглядывал спину Ригза. Шофер был худ, как жердь.

— Ну, кончила? — спросил он ее.

— Да, дорогой.

— Давно пора. На кого стала похожа!

— Разве ты находишь, что я похудела, папа?

— Нет,— сказал Сомс,— нет. Ты пошла в мать. Но

нельзя так переутомляться. Хочешь подышать воздухом? В парк, Ригз!

По дороге в это тихое пристанище он задумчиво сказал:

— Я помню время, когда твоя бабушка каталась здесь каждый день, с точностью часового механизма. Тогда знали, что такое привычка. Хочешь остановиться посмотреть на этот памятник, о котором столько кричат?

— Я его видела, папа.

— Я тоже,— сказал Сомс.— Бьет на дешевый эффект. Вот статуя Сент-Годенса в Вашингтоне — это другое дело!

И он искоса посмотрел на дочь. Хорошо еще, что она не знает, как он уберег ее там от этого Джона Форсайта! Теперь-то она уж, наверно, узнала, что он в Лондоне, у ее тетки. А стачка кончилась, на железных дорогах восстанавливается нормальное движение, и он окажется без дела. Но, может быть, он уедет в Париж? Его мать, по-видимому, все еще там. У Сомса чуть не вырвался вопрос, но удержал инстинкт — всесильный, только когда дело касалось Флер. Если она и видела молодого человека, то не скажет ему об этом. Вид у нее немного таинственный, или это ему только чудится?

Нет! Он не мог разгадать ее мысли. Это, может, и лучше. Кто решится открыть свои мысли людям? Тайники, изгибы, излишества мыслей. Только в просеянном, профильтрованном виде можно выставить мысль напоказ. И Сомс опять искоса поглядел на дочь.

А она и правда была погружена в мысли, которые его сильно встревожили бы. Как повидать Джона с глазу на глаз до его отъезда в Уонсдон? Можно, конечно, просто зайти на Грин-стрит — и, вероятно, не увидеть его. Можно пригласить его к себе позавтракать, но тогда не обойтись без его жены и своего мужа. Увидеть его одного можно только случайно. И Флер стала строить планы. Когда она совсем было сообразила, что случайность в том и состоит, что ее невозможно спланировать, план вдруг возник. Она пойдет на Грин-стрит в девять часов утра — поговорить с Холли относительно счетов по столовой. После таких утомительных дней Холли и Энн, наверно, будут пить кофе в постели. Вэл уехал в Уонсдон. Тетя

Уинифрид всегда встает поздно! Есть шанс застать Джона одного. И она повернулась к Сомсу.

— Какой ты милый, папа, что повез меня проветриться; ужасно приятно.

— Хочешь, выйдем посмотреть на уток? У лебедей в Мейплдерхеме в этом году опять птенцы.

Лебеди! Как ясно она помнит шесть маленьких «миноносцев», пливших за старыми лебедями по зеленоватой воде, в лето ее любви шесть лет назад! Спускаясь по траве к Серпентайну, она ощутила сладостное волнение. Но никто, никто не узнает о том, что в ней творится. Что бы ни случилось — а скорее всего вообще ничего не случится, — теперь-то она спасет свое лицо. Нет в мире сильней побуждения, как говорит Майкл.

— Твой дедушка водил меня сюда, когда я был мальчишкой, — прозвучал около нее голос отца. Он не добавил: «А я водил сюда ту мою жену в первое время после свадьбы». Ирэн! Она любила деревья и воду. Она любила все красивое. И она не любила его.

— Итонские курточки! Шестьдесят лет прошло, больше. Кто бы тогда подумал?

— Кто бы что подумал, папа? Что итонские курточки все еще будут носить?

— Этот, как его... Теннисон, кажется: «Старый порядок меняется, новому место дает». Не могу себе представить тебя в стоячих воротничках и юбках до полу, не говоря о турнюрах. В то время не жалели материи на платья, но знали мы о женщинах ровно столько же, сколько и теперь, — то есть почти ничего.

— Ну, не знаю. По-твоему, человеческие страсти те же, что были, папа?

Сомс задумчиво потер подбородок. Почему она это спросила? Когда-то он сказал ей, что настоящая страсть бывала только в прошлом, а она ответила, что сама ее переживает. И в памяти у него мгновенно возникла картина, как в теплице Мейплдерхема, во влажной жаре, отдающей землей и геранью, он толкнул ногой трубу водяного отопления. Может, Флер и была права тогда: от человеческой природы не уйдешь.

— Страсти! — сказал он. — Что ж, и сейчас иногда читаешь, что люди травятся газом. В прежнее время они

обычно топились. Пойдем выпьем чаю, вон там есть какой-то павильон.

Когда они уселись и голуби весело принялись клевать его пирожное, он окинул дочь долгим взглядом. Она сидела, положив ногу на ногу — красивые ноги! И фигурой — от талии и выше — как-то отличалась от всех других молодых женщин, которых ему приходилось видеть. Она сидела не согнувшись, а чуть выгнув спину, отчего появлялась решительность в посадке головы. Она опять коротко остриглась — эта мода оказалась, против ожидания, живучей; но, надо признать, шея у нее на редкость белая и круглая. Лицо широкое, с твердым округлым подбородком; очень мало пудры, и губы не подкрашены, белые веки с темными ресницами, ясные светло-карие глаза, небольшой прямой нос, и широкий низкий лоб, и каштановые завитки над ушами, и рот, напрашивающийся на поцелуй, — право же, ему есть чем гордиться!

— Я полагаю, — сказал он, — ты рада, что опять можешь уделять больше времени Киту? Он плутишка! Подумай, что он попросил у меня вчера, — молоток!

— Да, он постоянно все крушит. Я стараюсь шлепать его как можно реже, но иногда без этого не обойтись — кроме меня, никому не разрешается. Мама приучила его к этому, пока нас не было, так что теперь он считает, что это в порядке вещей.

— Дети — чудные создания, — сказал Сомс. — В моем детстве с нами так не носились.

— Прости меня, папа, но, по-моему, больше всех с ним носишься ты.

— Что? — сказал Сомс. — Я?

— Ты исполняешь все его прихоти. Ты дал ему молоток?

— У меня его не было — к чему мне носить с собой молотки?

Флер рассмеялась.

— Нет, но ты относишься к нему совершенно серьезно. Майкл относится к нему иронически.

— Малыш не лишен чувства юмора.

— К счастью. А меня ты не баловал, папа?

Сомс уставился на голубя.

— Трудно сказать, — ответил он. — Ты чувствуешь себя избалованной?

— Когда я чего-нибудь хочу — кончено.

Это он знал; но если она не хочет невозможного...

— И если я этого не получаю, со мной не шути.

— Это кто говорит?

— Никто это не говорит, я сама знаю...

Хм! Чего же она сейчас хочет? Спросить? И, делая вид, что смахивает с пиджака крошки, он взглянул на нее исподлобья. Лицо ее, глаза, которые на мгновение остались незащищенными, заволочла какая-то глубокая... как бы это сказать? Тайна! Вот оно что!

IX

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Зажав в руке счета по столовой, Флер на мгновение задержалась у подъезда, между двумя лавровыми деревьями в кадках. Большой Бэн показывает без четверти девять. Пешком через Грин-парк она пройдет минут двадцать. Кофе она выпила в постели, чтобы избежать вопросов, — а папа, конечно, тут как тут — приклеился носом к окну столовой. Флер помахала счетами, и он отшатнулся от окна, как будто она его стегнула. Папа бесконечно добр, но напрасно он все время стирает с нее пыль — она не фарфоровая безделушка!

Она шла быстрым шагом. Никаких ощущений, связанных с жимолостью, у нее сегодня не было, ум работал четко и живо. Если Джон вернулся в Англию окончательно, нужно добиться его. Чем скорее, тем лучше, без канители! На куртинах перед Букингемским дворцом только что расцвела герань, ярко-пунцовая; Флер стало жарко. Не нужно спешить, а то придешь вся потная. Деревья одевались по-летнему; в Грин-парке тянуло ветерком, и на солнце пахло травой и листьями. Много лет так хорошо не пахло весной. Флер неудержимо потянуло за город. Трава, и вода, и деревья — среди них протекли ее встречи с Джоном, один час в этом самом парке, перед тем как он повез ее в Робин-Хилл! Робин-Хилл продали какому-то пэру. Ну и пусть наслаждается, она-то знает историю этого злосчастного дома — он точно корабль, над которым тяготеет проклятие! Дом сгубил ее

отца, и отца Джона, и еще, кажется, его деда; не говоря уже о ней самой. Второй раз ее так легко не сломаешь! И, выйдя на Пикадилли, Флер мысленно посмеялась над своей детской наивностью. В окнах клуба, обязанного своим названием — «Айсиум» — Джорджу Форсайту, не было видно ни одного из его соратников, обычно созерцавших изменчивые настроения улицы, потягивая из стакана или чашки и обволакивая свои мнения клубами дыма. Флер очень смутно помнила его, своего старого родственника Джорджа Форсайта, который часто сиживал здесь, мясистый и язвительный, за выпуклыми стеклами окна. Джордж, бывший владелец «Белой обезьяны», что висит теперь наверху, у Майкла в кабинете. И дядя Монтегью Дарти, которого она видела всего один раз и хорошо запомнила, потому что он ущипнул ее за мягкое место и сказал: «Ну-ка, из чего делают маленьких девочек?» Узнав вскоре после этого, что он сломал себе шею, она захлопала в ладоши — препротивный был человек, толстолицый, темноусый, пахнувший духами и сигарами. На последнем повороте она запыхалась. На окнах дома тетки в ящиках цвела герань, фуксии еще не распустились. Не в ее ли бывшей комнате теперь поселили их? И отняв руку от сердца, она позвонила.

— А, Смизер! Встал уже кто-нибудь?

— Пока только мистер Джон встал, мисс Флер.

И зачем так колотится сердце? Идиотство — когда не чувствуешь никакого волнения.

— Хватит и его, Смизер. Где он?

— Пьет кофе, мисс Флер.

— Хорошо, доложите. Я и сама не откажусь от второй чашки.

Она стала еле слышно склонять скрипящую фамилию, которая плыла впереди нее в столовую: «Смизер, Смизера, Смизеру, Смизером». Глупо!

— Миссис Майкл Монт, мистер Джон. Заварить вам свежего кофе, мисс Флер?

— Нет, спасибо, Смизер.— Скрипнул корсет, дверь закрылась.

Джон встал.

— Флер!

— Ну, Джон?

Ей удалось пожать ему руку и не покраснеть, хотя

его щеки теперь уже не измазанные, залил густой румянец.

— Хорошо я тебя кормила?

— Замечательно. Как поживаешь, Флер? Не слишком устала?

— Ничуть. Как тебе понравилось быть кочегаром?

— Хорошо! Машинист у меня был молодчина. Энн будет жалеть — она еще отлеживается.

— Она очень помогла нам. Почти шесть лет прошло, Джон; ты мало изменился.

— Ты тоже.

— О, я-то? До ужаса.

— Ну, мне это не видно. Ты завтракала?

— Да. Садись и продолжай есть. Я зашла к Холли, надо поговорить о счетах. Она тоже не вставала?

— Кажется.

— Сейчас пройду к ней. Как тебе живется в Англии, Джон?

— Чудесно. Больше не уеду. Энн согласна.

— Где думаешь поселиться?

— Где-нибудь поближе к Вэлу и Холли, если найдем участок; буду заниматься хозяйством.

— Все увлекаешься хозяйством?

— Больше чем когда-либо.

— Как поэзия?

— Что-то заглохла.

Флер напомнила:

— «Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд».

— Боже мой! Ты это помнишь?

— Да.

Взгляд у него был такой же прямой, как прежде, ресницы такие же темные.

— Хочешь познакомиться с Майклом, Джон, и посмотреть моего младенца?

— Очень.

— Когда вы уезжаете в Уонсдон?

— Завтра или послезавтра.

— Так, может быть, завтра вы оба придете к завтраку?

— С удовольствием.

— В половине второго. И Холли, и тетя Уинифрид. Твоя мама еще в Париже?

— Да. Она думает там и остаться.

— Видишь, Джон, все улаживается, правда?

— Правда.

— Налить тебе еще кофе? Тетя Уинифрид гордится своим кофе.

— Флер, у тебя прекрасный вид.

— Благодарю. Ты в Робин-Хилле побывал?

— Нет еще. Там теперь обосновался какой-то вельможа.

— Как твоей... как Энн, здесь интересно показалось?

— Впечатление колоссальное. Говорит, мы благородная нация. Ты когда-нибудь это находила?

— Абсолютно — нет; относительно — может быть.

— Тут так хорошо пахнет.

— Нюх поэта. Помнишь нашу прогулку в Уонсдоне?

— Я все помню, Флер.

— Вот это честно. Я тоже. Мне не так-то скоро удалось запомнить, что я забыла. Ты сколько времени помнил?

— Наверное, еще дольше.

— Ну, Майкл — лучший из всех мужчин.

— Энн — лучшая из женщин.

— Как удачно, правда? Сколько ей лет?

— Двадцать один.

— Как раз тебе подходит. Даже если б нас не разлучили, я всегда была слишком стара для тебя. Ой, какие мы были глупые, правда?

— Не нахожу. Это было так естественно, так красиво.

— Ты по-прежнему идеалист. Хочешь варенья? Оксфордское.

— Да. Только в Оксфорде и умеют варить варенье.

— Джон, у тебя волосы лежат совсем как раньше. Ты мои заметил?

— Все старался.

— Тебе не нравится?

— Раньше, пожалуй, было лучше; хотя...

— Ты хочешь сказать, что мне не к лицу отставать от моды. Очень тонко! Что она стриженная, ты, по видимому, одобряешь.

— Энн стрижка к лицу.

— Ее брат много тебе рассказывал обо мне?

— Он говорил, что у тебя прелестный дом, что ты ухаживала за ним, как ангел.

— Не как ангел, а как светская молодая женщина. Это пока еще не одно и то же.

— Энн была так благодарна. Она тебе говорила?

— Да. Но по секрету скажу тебе, что мы, кажется, отравили Фрэнсиса домой циником. Цинизм у нас в моде. Ты заметил его во мне?

— По-моему, ты его напускаешь на себя.

— Ну, что ты! Я его отбрасываю, когда говорю с тобой. Ты всегда был невинным младенцем. Не улыбайся — был! Поэтому тебе и удалось от меня отделаться. Ну, не думала я, что мы еще увидимся.

— И я не думал. Жаль, что Энн еще не встала.

— Ты не говорил ей обо мне.

— Почему ты знаешь?

— По тому, как она смотрит на меня.

— К чему было говорить ей?

— Совершенно не к чему. Что прошло... А забавно все-таки с тобой встретиться. Ну, руку. Пойду к Холли.

Их руки встретились над его тарелкой с вареньем.

— Теперь мы не дети, Джон. Так до завтра. Мой дом тебе понравится: *A rivederci!*¹.

Поднимаясь по лестнице, она упорно ни о чем не думала.

— Можно войти, Холли?

— Флер! Милая!

На фоне подушки смуглело тонкое лицо, такое милое и умное. Флер подумалось, что нет человека, от которого труднее скрыть свои мысли, чем от Холли.

— Вот счета,— сказала она.— В десять мне предстоит разговор с этим ослом-чиновником. Это вы заказали столько окороков?

Тонкая смуглая рука взяла счета, и на лбу между большими серыми глазами появилась морщинка.

— Девять? Нет... да. Правильно. Вы видели Джона?

— Да. Единственная ранняя птица. Приходите все к нам завтра к завтраку.

¹ До свидания (итал.).

— А вы думаете, что это будет разумно, Флер?

— Я думаю, что это будет приятно.

Она встретила пыливый взгляд серых глаз твердо и с тайной злостью. Никто не посмеет прочесть у нее в мыслях, никто не посмеет вмешаться!

— Ну отлично, значит, ждем вас всех в час тридцать. А теперь мне надо бежать.

И она побежала, но так как ни с каким «ослом-чиновником» ей встретиться не предстояло, она вернулась в Грин-парк и села на скамейку.

Так вот какой Джон теперь! Ужасно похож на Джона — тогда! Глаза глубже, подбородок упрямей — вот, собственно, и вся разница. Он все еще сияет, он все еще верит во что-то. Он все еще восхищается ею. Д-да!

В листьях над ее головой зашумел ветерок. День выдался на редкость теплый — первый по-настоящему теплый день с самой пасхи! Что им дать на завтрак? Как поступить с папой? Он не должен здесь оставаться! Одно дело в совершенстве владеть собой; в совершенстве владеть собственным отцом куда труднее. На ее короткую юбку лег узор из листьев, солнце грело ей колени; она положила ногу на ногу и откинулась на спинку скамьи. Первый наряд Евы — узор из листьев... «Разумно?» — сказала Холли. Как знать?.. Омары? Нет, что-нибудь английское. Блинчики непременно. Чтобы отделаться от папы, нужно напроситься к нему в Мейплдерхем, вместе с Китом, на послезавтра; тогда он уедет, чтобы все для них приготовить. Мама еще не вернулась из Франции. Эти уедут в Уонсдон. Делать в городе нечего. Солнце пригревает затылок — хорошо! Пахнет травой.. жи-молостью! Ой-ой-ой!

Х

ПОСЛЕ ЗАВТРАКА

Что из всех человеческих отправлений самое многозначительное — это принятие пищи, подтвердит всякий, кто участвует в этих регулярных пытках. Невозможность выйти из-за стола превращает еду в самый страшный вид человеческой деятельности в обществе, члены которого настолько культурны, что способны проглатывать не только пищу, но и собственные чувства.

Такое представление, во всяком случае, сложилось у Флер во время этого завтрака. Испанский стиль ее комнаты напоминал ей, что не с Джоном она провела в Испании свой медовый месяц. Один курьез произошел еще до завтрака. Увидев Майкла, Джон воскликнул:

— Алло! Вот это интересно! Флер тоже была в тот день в Маунт-Вернон?

Это что такое? От нее что-то скрыли?

Тогда Майкл сказал:

— Помнишь, Флер? Молодой англичанин, которого я встретил в Маунт-Вернон?

— «Корабли, проходящие ночью», — сказала Флер. Маунт-Вернон! Так это они там встретились! А она нет!

— Маунт-Вернон — прелестное место. Но вам нужно показать Ричмонд, Энн. Можно бы поехать после завтрака. Тетя Уинифрид, вы, наверно, целый век не были в Ричмонде. На обратном пути можно заглянуть в Робин-Хилл, Джон.

— Твой старый дом, Джон? О, поедemте!

В эту минуту она ненавидела оживленное лицо Энн, на которое смотрел Джон.

— А вельможа? — сказал он.

— О, он в Монте-Карло, — быстро вставила Флер. — Я только вчера прочла. А ты, Майкл, поедешь?

— Боюсь, что не смогу. У меня заседание комитета. Да и в автомобиле места только на пять человек.

— Ах, как было бы замечательно!

Уж эта американская восторженность!

Утешением прозвучал невозмутимый голос Уинифрид, изрекший, что это будет приятная поездка, — в парке, вероятно, расцвели каштаны.

Правда, что у Майкла заседание? Флер часто знала, где он бывает, обычно знала более или менее, что он думает, но сейчас она была как-то не уверена. Накануне вечером, сообщая ему об этом приглашении к завтраку, она позаботилась сгладить впечатление более страстным, чем обычно, поцелуем — нечего ему забивать себе голову всякими глупостями относительно Джона. И еще, когда она сказала отцу: «Можно нам с Китом приехать к тебе послезавтра? Но ты, пожалуй, захочешь по-

пасть туда днем раньше, раз мамы нет дома», — как внимательно она вслушивалась в тон его ответа!

— Хм! Х-хорошо. Я поеду завтра утром.

Он что-нибудь почуял? Майкл что-нибудь почуял? Она повернулась к Джону.

— Ну, Джон, что ты скажешь про мой дом?

— Он очень похож на тебя.

— Это комплимент?

— Дому? Конечно.

— Значит, Фрэнсис не преувеличил?

— Нисколько.

— Ты еще не видел Кита. Сейчас позовем его. Кокер, попросите, пожалуйста, няню привести Кита, если он не спит... Ему в июле будет три года; уже ходит на большие прогулки. До чего мы постарели!

Появление Кита и его серебристой собаки вызвало звук вроде воркования, спешно, впрочем, заглушенного, так как трое из женщин были Форсайты, а Форсайты не воркуют. Он стоял в синем костюмчике, чем-то напоминающая маленького голландца, и, слегка хмурясь из-под светлых волос, оглядывал всю компанию.

— Подойди сюда, сын мой. Вот это — Джон, твой троюродный дядя.

Кит шагнул вперед.

— А рошадку привести?

— Лошадку, Кит. Нет, не надо. Дай ручку.

Ручонка потянулась кверху. Рука Джона потянулась вниз.

— У тебя ногти грязные.

Она увидела, что Джон вспыхнул, услышала слова Энн: «Ну не прелесть ли!» — и сказала:

— Кит, не дерзи. У тебя были бы такие же, если бы ты поработал кочегаром.

— Да, дружок, я их мою, мою, никак не отмою дочиста.

— Почему?

— Въелось в кожу.

— Покажи.

— Кит, поздоровайся с бабушкой Уинифрид.

— Нет.

— Милый мальчик! — сказала Уинифрид. — Ужасно скучно здороваться. Правда, Кит?

— Ну, теперь уходи; станешь вежливым мальчиком, тогда возвращайся.

— Хорофо.

Когда он скрылся, сопровождаемый серебристой собакой, все рассмеялись; Флер сказала тихонько:

— Вот дрянцо — бедный Джон! — И сквозь ресницы поймала на себе благодарный взгляд Джона.

В этот погожий день середины мая с Ричмонд-Хилла во всей красе открывался широкий вид на море зелени, привлекавший сюда с незапамятных времен, или, вернее, с времен Георга IV, столько Форсайтов в ландо и фаэтонах, в наемных каретах и автомобилях. Далеко внизу поблескивали излучины реки; только листва дубов отливала весенним золотом, остальная зелень уже потемнела, хоть и не было еще в ней июльской тяжести и синевы. До странности мало построек было видно среди полей и деревьев; в двенадцати милях от Лондона — и такие скудные признаки присутствия человека. Дух старой Англии, казалось, отгонял нетерпеливых застройщиков от этого места, освященного восторженными восклицаниями четырех поколений.

Из пяти человек, стоящих на высокой террасе, Уинифрид лучше других сумела выразить словами этот охраняющий дух. Она сказала:

— Какой красивый вид!

Вид, вид! А все-таки вид теперь понимали иначе, чем раньше, когда старый Джолион лазал по Альпам с квадратным ранцем коричневой кожи, который до сих пор служил его внуку; или когда Суизин, правя парой серых и важно поворачивая шею к сидящей рядом с ним даме, указывал хлыстом на реку и цедил: «Недурной видик!» Или когда Джемс, подобрав под подбородок длинные колени в какой-нибудь гондоле, недоверчиво поглядывал на Canale Grando в Венеции и бормотал: «Никогда мне не говорили, что вода такого цвета». Или когда Николас, прогуливаясь для моциона в Мэтлоке, заявлял, что нет в Англии более красивого ущелья. Да, вид стал не тем, чем был. Все началось с Джорджа Форсайта и Монтегью Дарти, которые, поворачиваясь к виду спиной, с веселым любопытством разглядывали привезенных на пикник молоденьких хористок; а теперь молодежь и вовсе об-

ходится без этого слова и просто восклицает: «Черт!» или что-нибудь в том же роде.

Но Энн, как истая американка, конечно, всплеснула руками и стала ахать:

— Ну какая прелесть, Джон! Как романтично!

Потом был парк, где Уинифрид, как заведенная, нараспев восторгалась каштанами и где каждая тропинка, и поляна с папоротником, и упавшее дерево наводили Джона или Холли на воспоминания о какой-нибудь поездке верхом.

— Посмотри, Энн, вот тут я мальчишкой соскочил на полном ходу с лошади, когда потерял стремя и разозлился, что меня подкидывает.

Или:

— Посмотри, Джон! По этой просеке мы с Вэлом скакали наперегонки. О! А вот упавшее дерево, мы через него прыгали. Все на старом месте.

И Энн добросовестно восхищалась при виде оленей и травы, столь непохожих на их американские разновидности.

Сердцу Флер парк не говорил ничего.

— Джон,— сказала она вдруг,— как ты думаешь попасть в Робин-Хилл?

— Скажу дворецкому, что хочу показать моей жене, где я провел детство; и дам ему парочку веских оснований. В дом идти мне не хочется, мебель вся новая, все не то.

— Нельзя ли пройти снизу, через рощу? — И глаза ее добавили: «Как тогда».

— Рисуем встретить кого-нибудь, и нас выставят.

«Парочка веских оснований» дала им доступ в имение с верхнего шоссе; владельцы находились в отъезде.

Шедевр Босини купался в своих самых теплых тонах. Шторы были спущены, так как солнце ударяло с фасада, где качелей у старого дуба теперь не было. В розарии Ирэн, который сменил папоротники старого Джолиона, завязывались бутоны, но распустилась только одна роза.

— «О роза, испанская гостья!»

У Флер сжалось сердце. Что подумал Джон, что вспомнил, говоря эти слова, нахмутив лоб? Вот здесь она сидела, между его отцом и его матерью, и думала, что когда-нибудь они с Джоном будут здесь жить; вместе бу-

дут смотреть, как цветут розы, как осыпаются листья старого дуба, вместе говорить своим гостям: «Посмотрите! Вон Эпсомский ипподром. Видите, за теми вон тополями!»

А теперь ей нельзя даже идти с ним рядом, он, как гид, все показывает этой девчонке, своей жене! Вместо этого она шла рядом с теткой. Уинифрид была чрезвычайно заинтригована. Она еще никогда не видела этого дома, который Сомс выстроил трудами Босини, который Ирэн разорила «этой своей несчастной историей», дом, где умерли старый дядя Джолион и кузен Джолион и где, точно в насмешку, жила Ирэн и родила этого молодого человека — Джона, очень, кстати сказать, симпатичного! Дом, занимающий такое большое место в форсайтских анналах. Он очень аристократичен и теперь принадлежит пэру Англии; и раз уж он ушел из владения семьи — это, пожалуй, неплохо. В фруктовом саду она сказала Флер:

— Твой дедушка однажды приезжал сюда посмотреть, как идет постройка. Я помню, он тогда сказал: «Недешево станет содержать такой дом». И он, наверно, был прав. Но все-таки жаль, что его продали. Все Ирэн, конечно. Она никогда не ценила семью. Вот если бы... — но она удержалась и не сказала: «Вы с Джоном поженились».

— Ну к чему Джону такое имение, тетя, и так близко от Лондона? Он поэт.

— Да, — проговорила Уинифрид не очень быстро, потому что в ее молодости быстрота была не в моде, — стекла, пожалуй, слишком много.

И они пошли вниз по лугу.

Роща! Вот и она, на том конце поля. И Флер задержалась, постояла около упавшего дерева, подождала, пока смогла сказать:

— Слышишь, Джон? Кукушка!

Крик кукушки и синие колокольчики под лиственницами! Рядом с ней неподвижно замер Джон. Да, и весна замерла. Опять кукушка, еще, еще!

— Вот тут мы набрали на твою маму, Джон, и кончилось наше счастье. О Джон!

Неужели такой короткий звук мог так много значить, столько сказать, так поразить? Его лицо! Она сейчас же вскочила на упавшее дерево.

— Не верь в привидения, милый!

И Джон вздрогнул и посмотрел на нее.

Она положила руки ему на плечи и соскочила на землю. Они пошли дальше по колокольчикам. И вслед им закуковала кукушка.

— Повторяется эта птица,— сказала Флер.

ХІ

БЛУЖДЕНИЯ

Инстинкт в отношении к дочери, ставший уже привычной защитной окраской, под которой Сомс укрывался от козней судьбы, еще накануне, когда Флер ушла из дому, пока он пил кофе, подсказал ему, что она что-то замышляет. Когда она с улицы помахала ему в окно бумагами, вид у нее был неестественный или, во всяком случае, такой, точно она что-то от него скрыла. Как не вполне искренний оттенок голоса дает собаке почуять, что от нее сейчас уйдут, так Сомс почуял неладное в слишком показном жесте этой руки с бумагами. Поэтому он допил кофе быстрее, чем полагалось бы человеку, с детства привязанному к варенью, и отправился на Грин-стрит. Поскольку там остановился этот молодой человек Джон, именно в этом фешенебельном квартале следовало искать причин всякого беспокойства. А кроме того, если было еще в мире место, где Сомс мог отвести душу, то это была гостиная его сестры Уинифрид, комната, в которую он сам в 1879 году так прочно внедрил личность Людовика XV, что, несмотря на джаз и на стремление Уинифрид идти в ногу с более строгой модой, неисправимое легкомыслие этого монарха все еще давало себя чувствовать.

Сомс сделал порядочный крюк, заглянул по пути в «Клуб знатоков» и пришел на Грин-стрит, когда Флер уже ушла. Первое же замечание Смизер усилило тревогу, которая выгнала его из дому.

— Мистер Сомс! Ах, какая жалость! Мисс Флер только что ушла. И никто еще не вставал, только мистер Джон.

— О,— сказал Сомс,— она его видела?

— Да, сэр. Он в столовой; может, пройдете?

Сомс покачал головой.

— Сколько времени они еще здесь пробудут, Смизер?

— Я как раз слышала, как миссис Вэл говорила, что они все уезжают в Уонсдон послезавтра. Мы останемся опять совсем одни; может, надумаете погостить у нас, мистер Сомс?

Сомс опять покачал головой.

— Я очень занят,— сказал он.

— И красавица же стала мисс Флер; такая она была сегодня румяная!

Сомс издал какой-то нечленораздельный звук. Новость пришлась ему не по душе, но он не мог сказать это вслух, когда перед ним был не человек, а целое учреждение. Трудно было установить, что известно Смизер. В свое время она проскрипела себе дорогу почти ко всем домашним тайнам, начиная с той поры, когда его собственные семейные дела снабжали дом Тимоти более чем достаточной пищей для сплетен. Да, а теперь не его ли семейные дела, да еще в двух изданиях, продолжают поставлять сырье? В эту минуту для него было что-то зловещее в том, что сын узурпатора Джолио-на находится здесь, в этом доме, наиболее близко напоминающем прежнее средоточие Форсайтов, дом Тимоти на Бэйсуотер-Род. Какая превратность во всем! И, вторично издав тот же нечленораздельный звук, он сказал:

— Кстати, этот мистер Стэйнфорд, вероятно, не заходил сюда больше?

— Как же, мистер Сомс, вчера заходил к мистеру Вэлу, но мистер Вэл уже уехал.

— Ах вот как? — Сомс сделал круглые глаза. — Что он на этот раз утащил?

— О, я была не так глупа, чтобы впустить его.

— Вы не дали ему загородный адрес мистера Вэла?

— О, нет сэр, он знал его.

— Ого!

— Доложить, что вы здесь, мистер Сомс? Миссис теперь уж, верно, почти оделась.

— Нет, не беспокойте ее.

— Вот обидно, сэр; она всегда так радуется вашему приходу.

Старуха Смизер фамильярничает! Добрая душа! Теперь таких слуг не осталось. И, притронувшись рукой к шляпе, Сомс проговорил.

— Ну, до свидания, Смизер, передайте ей привет! — И ушел.

«Так, — подумал он, — Флер с ним виделась!» Все начнется сначала. Он так и знал. И очень медленно, слегка надвинув шляпу на глаза, он направился к углу Хайд-парка. Это был для него сугубо критический момент: предстояло укрепиться в одном из двух одинаково опасных решений. С обычной склонностью забегать вперед во всех вопросах, угрожающих основным устоям жизни, — склонностью, унаследованной от его отца Джемса, — Сомс уже видел в мыслях исковерканное будущее дочери, с которым было неразрывно связано и его собственное.

«Такая она была сегодня румяная!» Когда она махала ему этими бумагами, она была бледна, слишком бледна! Дурацкий случай! И еще во время утреннего завтрака! Самое худшее время дня — самое интимное! Как прирожденный реалист, он уже опасался всего, что кроется в идее первого завтрака. Те, кто завтракает вместе, обычно и спят вместе. Начнет теперь выдумывать. И притом они уже не дети! Ну, все зависит от того, каковы их чувства, если они у них еще сохранились. А кто это знает? Кто, скажите на милость, может это знать? Он машинально зашагал вокруг памятника артиллерии. Этот большой белый монумент он еще ни разу не рассмотрел как следует, да и не испытывал к тому особого желания. Сейчас он показался ему очень жизненным и подходил к его настроению — не увиливал от правды; ничего напыщенного в этом оружии — короткая тявкающая игрушка; и эти темные мужские фигуры в стальных шлемах, исхудалые и стойкие! Ни признака красоты в этом памятнике, никаких ангелов с крыльями, ни Георгиев-победоносцев, ни драконов, ни вздыбленных коней, ни лат, ни султанов. Вот он громоздится, как большая белая жаба, на жизни народа. Гром, обращенный в бетон. Никаких иллюзий! Невредно посматривать на него эдак раз в день, чтобы не забыть, чего не надо делать. «Вот бы ткнуть в него носом всех этих кронпринцев и бравых вояк, — подумал он, — с их — как это? —

«славными, веселыми войнами». И, перейдя на солнечную сторону улицы, он вошел в парк и направился к Найтсбриджу.

Но как же Флер? Что ему делать — взять быка за рога или молчать и ждать? Одно из двух. Теперь он шел быстро, в лице и походке появилась сосредоточенность, словно он прислушивался к собственным мыслям, чтобы принять окончательное решение. Он вышел из парка и, окинув невидящим взором две-три лавки, где в свое время сделал не одну покупку, выгодную когда для него, а когда и для торговца, стал пробираться мимо Тэттерсола¹. Долговечное учреждение: здесь, кажется, и сейчас торгуют лошадьми. Сам он никогда лошадьми не увлекался, но нельзя было прожить несколько лет на Монпелье-сквер и не знать в лицо завсегдатаев Тэттерсола. Здание, вероятно, скоро снесут, как сносят все, что несовременно, и воздвигнут на его месте гараж или кино!

Что, если поговорить с Майклом? Нет! Более чем бесполезно. Впрочем, о Флер и этом мальчике он ни с кем не мог говорить — за этим тянулась слишком длинная повесть, и эта повесть была о нем самом. Монпелье-сквер! Он добрал до него — умышленно или нет, он сам не знал. Все было по-старому, только сильно приглажено с тех пор, как он был здесь последний раз, вскоре после войны. На постройках и отделке зданий немало заработали в последнее время, ни о чем другом нельзя этого сказать. Он пошел по правой стороне узкого сквера, где изведal когда-то столько трагических треволнений. Вот и дом, почти такой же, как был, чуть менее опрятный, чуть более разукрашенный. Зачем он женился на этой женщине? Почему так добивался этого? Что и говорить — она всячески старалась его отвадить. Но боже, как он хотел ее! Он до сих пор это помнит. И вначале... вначале он думал, и, может быть, она думала... но кто знает, он никогда не знал. А потом медленно — или скоро? — конец! Страшная история! Он стаял у решетки сквера и смотрел на дверь, в которую когда-то входил, словно из ее зеленой краски и медной дощечки с номером надеялся почерпнуть вдохновение, узнать, как задушить

¹ Большой конный двор в Лондоне.

в своей дочери любовь к сыну своей жены, — да, задушить, прежде чем любовь разрастется и сама ее задушит.

И как в те далекие дни и ночи, возвращаясь домой, он тщетно искал вдохновенного способа пробудить любовь, так теперь вдохновение не подсказывало ему, как убить любовь. И он сердито повернул к выходу из сквера.

Собственно говоря, беспокоиться решительно не о чем. Майкл, как-никак, хороший человек, и ее брак, насколько он понимает, далеко не из несчастных. Что до юного Джона, он, надо полагать, женился по любви — других оснований для женитьбы не было; по имеющимся у него сведениям, эта девушка и ее брат — музейные редкости: двое американцев почти без средств. А между тем оставалось недостижимое, и он не мог забыть, как Флер всегда его добивалась. Желание иметь то, чего у нее еще не было, всегда было самой характерной ее чертой. И как забыть тот час, шесть лет назад, забыть ее фигурку, скомканную и вдавившуюся в диван в темной комнате в тот вечер, когда он вернулся из Робин-Хилла и привез ей ответ. Мысленно проглядывая всю ее последующую жизнь, Сомс остро и тревожно ощутил, что она будто топталась все время на месте, что все ее разнообразные интересы, вплоть до Кита, были для нее не более чем суррогатом. Как вся ее эпоха, она передвигала ноги, но никуда не могла прийти, потому что не знала, куда ей хочется прийти. И все-таки за последнее время, после путешествия вокруг света, он как будто улавливал в ее поведении что-то более спокойное и устойчивое, словно она нашла какую-то линию и налаживает отношения хотя бы с собственной, раз заведенной жизнью. Взять, например, эту столовую — как хорошо она с ней справилась. И, обратив лицо к дому, Сомс вспомнил поляну недалеко от Мейплдерхема, где какой-то болван развел костер и сжег заросли дрока и где теперь сквозь обугленные их остатки нахально пробивалась свежая, зеленая трава. Как подумаешь — и во всем такая же картина! Война выжгла все и всех, но вот растения и люди понемногу пускают новые ростки, точно опять почувствовали, что, может быть, и стоит еще пожить. Ну конечно, даже к нему вернулось прежнее желание знатока приобретать хорошие вещи! Все зависит от того, что видишь впереди, и от того, можно ли есть и пить и не ждать, что





завтра умрешь. Этот план Дауэса, и локарнская за-
тея, и провал генеральной стачки — может быть, теперь
и наступит опять долгая полоса мира, как при Викто-
рии, и откроются какие-то возможности. Ему семьдесят
один год, но всегда можно сослаться на Тимоти, кото-
рый дожил до ста — неподвижная звезда на меняющем-
ся небосводе. А Флер — ей только двадцать пять, она
может пережить наш век, если она, то есть, вернее, век,
вовремя усмирит свои незаконные страсти, свои беспоря-
дочные стремления, все эти глупые, ни к чему не ведущие
метания. Если все устроится, еще возможно, что это
будет золотой век или хотя бы платиновый. Даже он,
чего доброго, доживет до подоходного налога в полкпро-
ны. «Нет, — думал он, путая дочь с веком, — нельзя ей
ставить на карту свою репутацию. Это недальновидно».
И, разогревшись от ходьбы, он решил, что не будет го-
ворить с ней и подождет — положится на здравый
смысл, в котором у нее, слава богу, нет недостатка. «Дер-
жать ухо остро и ни с кем не говорить, — подумал он, —
словами только напортишь».

Он опять дошел до памятника артиллерии и еще раз
обошел вокруг него. Нет! Неудачная вещь, думалось ему
теперь, — слишком натуральная и тяжеловесная. Мо-
жет эта белая машина способствовать повышению ак-
ций? В конце концов лучше было дать что-нибудь с кры-
льями. Что-нибудь такое, от чего людям хотелось бы
покупать акции или поступать в услужение; что помог-
ло бы принять жизнь, а не напоминало бы все время,
что один раз их уже взорвали на воздух и, наверно, опять
взорвут. Он где-то читал, что эти молодчики из артил-
лерии любят свои орудия и хотят, чтобы им о них напо-
минали. Но кто, кроме них, любит их орудия и жаждет
напоминания? Не молодчики из артиллерии будут каж-
дый день смотреть на эту штуку перед больницей Сент-
Джордж, а самые обыкновенные Том, Дик, Гарри, Питер,
Глэдис, Джон и Марджори. «Ошибка, — думал Сомс, —
и грубейшая. Что-нибудь успокаивающее, статуя Вулка-
на или воин на коне — вот что здесь требуется». И,
вспомнив Георга III на коне, он мрачно усмехнулся. Ду-
май не думай — памятник стоит и будет стоять. Но
скульпторам давно пора вернуться к нимфам и дельфи-
нам и прочим атрибутам налаженной жизни.

Когда за завтраком Флер высказала предположение, что ему потребуется день в Мейплдерхеме до того, как приедет она с Китом, он опять почувствовал, что за этим что-то кроется; но, радуясь ее приезду, промолчал и не упомянул про свой визит на Грин-стрит.

— Погода как будто установилась, — сказал он. — Тебе нужно на солнце после этой столовой. Все толкуют об ультрафиолетовых лучах. Прежде удовлетворялись просто солнцем. Скоро доктора откапают что-нибудь экстра розовое. Уж сидели бы спокойно!

— Милый, это их развлекает.

— Заново открывают то, что прекрасно знали наши бабушки, и называют по-новому! Вот, например, теперь нельзя ничего назвать питательным, потому что выдумали слово «витамин». Да твой дед всю жизнь ел по апельсину в день, потому что в начале прошлого века ему предписал это его старый доктор. Витамины! Ты смотри, как бы Кит не стал привередлив в еде. Хорошо еще, что ему не скоро в школу. Уж это школьное питание!

— Тебя так плохо кормили, папа?

— Плохо! Я вообще не знаю, как мы выросли. Основная еда у нас занимала двадцать минут, а через десять минут мы уже играли в футбол. Но в те времена никто не думал о пищеварении.

— Может быть, поэтому и стоит подумать о нем теперь?

— В хорошем пищеварении весь секрет жизни, — сказал Сомс.

Он посмотрел на дочь. Слава богу, она-то не тощая. Насколько ему известно, пищеварение у нее превосходное. Пусть воображает, что влюблена или не влюблена, но пока ее пищеварение не напоминает о себе, ничего не страшно.

— Главное — побольше ходить в наш век автомобилей, — сказал он.

— Да, — сказала Флер, — я сегодня хорошо прошла.

Не вызов ли она ему бросает поверх яблочной шарлотки? Если и так, он не поддастся.

— Я тоже, — сказал он, — где только не был. Вот теперь поиграем в гольф.

Она поглядела на него, а потом сказала странную вещь:

— Да, вероятно, я уж достаточно стара для гольфа. Ну что она хотела этим сказать?

XII

ЛИЧНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

В день званого завтрака и поездки в Робин-Хилл у Майкла действительно было заседание комитета, но, кроме того, у него были личные переживания, в которых он хотел разобраться. Есть люди, которые, раз обнаружив, что счастье их под угрозой, уже не могут судить без предубеждения о том, кто нарушил их покой. Майкл был не таков. Молодой англичанин, встреченный им в доме старого американца Джорджа Вашингтона, понравился ему не только потому, что он был англичанин: и теперь, когда он сидел за столом рядом с Флер — ее троюродный брат и первая любовь, — Майкл не мог переменить свое мнение. У молодого человека было симпатичное лицо — красивее, чем у него самого, — хорошие волосы, энергичный подбородок, прямой взгляд и скромные манеры; не было смысла закрывать глаза на все это. Свобода торговли в вопросах любви, принятая среди порядочных людей, исключала возможность даже мысленного применения более жестких норм протекционизма. К счастью, молодой человек женат на этой милой тоненькой девочке с глазами — по выражению миссис Вэл, — как у самой невинной русалки. Поэтому личные переживания Майкла касались больше Флер, чем Джона. Но нелегко было прочесть выражение ее лица, проследить извилины ее мыслей, добраться до ее сердца; и может быть, причиной всему этому Джон Форсайт? Он вспомнил, как сводная сестра этого мальчика, Джун Форсайт, стареющая, но вечно подвижная маленькая женщина, выпалила ему в лицо на Корк-стрит, что Флер должна была выйти замуж за ее маленького брата — он тогда впервые услышал об этом. Как болезненно поразило его открытие, что он играет всего только вторую скрипку в жизни любимой! Он вспомнил также кое-ка-

кие осторожные и предостерегающие намеки «Старого Форсайта». В устах этого образца скрытности и подавленных чувств они произвели на Майкла глубокое и прочное впечатление, еще усиленное неудачами его собственных попыток добраться до тайников сердца Флер. Он шел в комитет, но ум его был не целиком занят общественными вопросами. Какой причине, расстроившей этот юный роман, был он обязан своим счастьем? Это не было внезапное отвращение, или болезнь, или денежные затруднения; и не родство — ведь миссис Вэл Дарти, по-видимому, вышла за троюродного брата со всеобщего согласия. Нужно помнить, что Майкл остался в полном неведении относительно семейной тайны Сомса. Те из Форсайтов, с которыми он был знаком, не любили говорить о семейных делах и ни словом о ней не обмолвились. А Флер никогда не говорила о своей первой любви, а о том, почему из нее ничего не вышло, — и давно. И все же какая-то причина есть; и, не зная ее, нечего пытаться понять теперешние чувства Флер.

Его комитет заседал в связи с деятельностью министерства здравоохранения по регулированию рождаемости; и пока кругом доказывали, почему для других предосудительно то, что он сам постоянно делает, его осенила мысль: что, если пойти к Джун Форсайт и спросить ее? Найти ее можно по телефонной книге — имя редкое, не спутаешь.

— А вы что скажете, Монт?

— Что же, сэр, если нельзя вывозить детей в колонии или так или иначе форсировать эмиграцию, ничего не остается, как регулировать рождаемость. Мы, представители высших и средних классов, это и делаем и закрываем глаза на моральную сторону вопроса, если она существует; и я, право, не вижу, как мы можем делать упор на моральной стороне в отношении тех, у кого нет и четвертой части наших оснований обзаводиться целой кучей детей.

— Мой милый Монт, — ухмыляясь, сказал председатель, — не кажется ли вам, что вы расшатываете основу всех привилегий?

— Очень возможно, — сказал Майкл, ухмыляясь в ответ. — Я, конечно, считаю, что эмиграция детей куда лучше; но в этом, кажется, никто со мной не согласен.

Все хорошо знали, что эмиграция детей — конек «юного Монта», и без особого восторга ожидали минуты, когда он его оседлает. И так как никто лучше Майкла не отдавал себе отчета в том, что он чужак, поскольку считает невозможным в политике положение, когда и волки сыты и овцы целы, он больше не стал говорить. Предчувствуя, что они еще долго будут ходить вокруг да около и все-таки ни к чему не придут, он вскоре извинился и вышел.

Он нашел нужный адрес: «Мисс Джун Форсайт, Тополевый Дом, Чизик», и сел в хэммерсмитский автобус.

Как быстро все возвращается к нормальному состоянию! Невероятно трудно расшатать такой огромный, сложный и эластичный механизм, как жизнь нации. Автобус катил, покачиваясь, среди других бесчисленных машин и сонмищ пешеходов, и Майклу стало ясно, как крепки два основных устоя современного общества — всеобщая потребность есть, пить и двигаться и то обстоятельство, что столько народу умеет управлять автомобилем. «Революция? — подумал он. — Никогда еще она не имела так мало шансов. Машин ей не одолеть».

Техника — это раз навсегда заведенный порядок, а техника с каждым днем шагает вперед. Технически неграмотные массы и их вожди — мечтатели-коммунисты — могут на что-то надеяться только там, где техника и пути сообщения еще совсем слабо развиты, как в России. Сметливость, способности, владение техникой по самой природе своей на стороне капитала и частной инициативы, и значение их все возрастает.

Разыскать «Тополевый Дом» оказалось нелегко, а найдя его, Майкл увидел небольшой особняк с большим ателье окнами на север. Он стоял за двумя тополями, высокий, узкий, белый, как привидение. Дверь отворила какая-то иностранка. Да, мисс Форсайт в ателье, с мистером Блэйдом. Майкл послал свою карточку и остался ждать на сквозняке, чувствуя себя до крайности неловко, так как, добравшись наконец до места, он ломал себе голову, зачем он здесь. Как узнать то, что ему нужно, не показав вида, что он за этим и явился, было выше его понимания; ведь такого рода сведений можно добиться, только задавая вопросы в упор.

Его пригласили пройти наверх, и по дороге он стал

репетировать свою первую ложь. Он вошел в ателье — большая комната с обтянутыми зеленым полотном стенами, висящие и составленные на полу холсты, обычное возвышение для натуры, затемненный верхний свет и полдюжины кошек — и услышал легкое движение. Воздушная маленькая женщина в свободном зеленом одеянии, с короткими седыми волосами, встала с низкой скамеечки и шла к нему навстречу.

— Здравствуйте. Вы, конечно, знаете Харолда Блэйда?

Молодой человек, у ног которого она только что сидела, встал перед Майклом — квадратный, хмурый, смуглолицый, с тяжелым взглядом.

— Вы, наверное, знаете его прекрасные рафаэлитские работы.

— О да! — сказал Майкл, думая в то же время: «О нет!»

Молодой человек свирепо изрек:

— Он в жизни обо мне не слышал.

— Нет, в самом деле, — промямлил Майкл. — Но скажите мне, почему рафаэлитские? Меня всегда это интересовало.

— Почему! — воскликнула Джун. — Потому что он единственный человек, вернувший нам ценности прошлого; он заново открыл их.

— Простите, я мало что смыслю в вопросах искусства — мне казалось, на то у нас есть академики!

— Академики! — воскликнула Джун так страстно, что Майкл вздрогнул. — Ну, если вы еще верите в них...

— Да нет же, — сказал Майкл.

— Харолд — единственный рафаэлит; конечно, ему подражают, но он будет и последним. Так всегда бывает. Великие художники создают школы, но их школы очень немногочисленны.

Майкл с новым интересом взглянул на «первого и последнего рафаэлита». Лицо ему не понравилось, но в нем, как в лице припадочного, была какая-то сила.

— Разрешите посмотреть? Интересно, мой тесть знаком с вашими работами? Он большой коллекционер и вечно в поисках картин.

— Сомс! — сказала Джун, и Майкл опять вздрог-

нул.— Он начнет коллекционировать Харолда, когда нас никого в живых не будет. Вот, посмотрите!

Майкл отвернулся от рафаэлита, пожимавшего плотными плечами. Перед ним был, несомненно, портрет Джун. Большое сходство, гладкая манера письма, зеленые и серебристые тона, и вокруг головы — намек на сияние.

— Предельная чистота линий и красок! И вы думаете, это повесили бы в Академии?

«По-моему, как раз это и повесили бы», — подумал Майкл, стараясь выражением лица не выдать своего мнения.

— Мне нравится этот намек на сияние, — проговорил он.

Рафаэлит разразился резким, коротким смешком.

— Я пойду погуляю, — сказал он. — К ужину вернусь. До свидания.

— До свидания, — сказал Майкл не без облегчения.

— Конечно, — сказала Джун, когда они остались одни, — он единственный, кто мог бы написать портрет Флер. Он прекрасно уловил бы ее современный стиль. Может быть, она захочет. Вы знаете, все против него, ему так трудно бороться.

— Я спрошу ее. Но скажите, почему все против него?

— Потому что он прошел через все эти пустые новаторские увлечения и вернулся к чистой форме и цвету. Его считают ренегатом и обзывают академиком. Так бывает со всеми, у кого хватает мужества восстать против моды и творить, как подсказывает собственный гений. Я уже в точности знаю, что он сделает из Флер. Для него это была бы большая удача, потому что он очень горд, а ведь заказ исходил бы от Сомса. И для нее, конечно, прекрасно. Ей бы надо ухватиться за это, через десять лет он будет знаменит.

Майкл сомневался, что Флер за это «ухватится» или что Сомс даст заказ, и ответил осторожно:

— Я позондирую ее. Кстати, у нас сегодня завтракала ваша сестра Холли и ваш младший брат с женой.

— О! — сказала Джун. — Я еще не видела Джона. — И прибавила, глядя на Майкла честными синими глазами: — Зачем вы пришли ко мне?

Перед этим вызывающим взглядом вся дипломатия Майкла пошла насмарку.

— Откровенно говоря,— сказал он,— я хотел узнать у вас, почему Флер разошлась с вашим братом.

— Садитесь,— сказала Джун и, подперев рукой острый подбородок, посмотрела на него, переводя взгляд из стороны в сторону, как кошка.

— Я рада, что вы прямо спросили. Терпеть не могу, когда говорят обиняком. Разве вы не слышали про его мать? Ведь она была первой женой Сомса.

— О! — сказал Майкл.

— Ирэн,— и Майкл почувствовал, как при звуке этого имени в Джун шевельнулось что-то глубокое и первобытное.— Очень красивая. Они не ладили. Она ушла от него, а через много лет вышла за моего отца, а Сомс с ней развелся. То есть Сомс развелся с ней, а потом она вышла за моего отца. У них родился Джон. А потом, когда Джон и Флер влюбились друг в друга, Ирэн и мой отец были страшно огорчены, и Сомс тоже — по крайней мере я так полагаю.

— А потом? — спросил Майкл, когда она замолчала.

— Детям все рассказали; и тут как раз умер мой отец. Джон пожертвовал собой и увез мать в Америку, а Флер вышла замуж за вас.

Так вот оно что! Несмотря на краткость и отрывочность ее рассказа, он чувствовал, как много здесь кроется трагических переживаний. Бедные ребятки!

— Я всегда об этом жалела,— неожиданно сказала Джун.— Ирэн должна была бы пойти на это. Только... только они не были бы счастливы. Флер большая эгоистка. Вероятно, Ирэн поняла это.

Майкл попробовал возмутиться.

— Да,— сказала Джун,— вы хороший человек, я знаю, вы слишком хороши для нее.

— Неправда,— резко сказал Майкл.

— Нет, правда. Она не плохая, но очень эгоистична.

— Не забывайте, пожалуйста...

— Сядьте! Не обижайтесь на мои слова. Я просто, знаете ли, говорю правду. Конечно, все это было очень тяжело. Сомс и мой отец были двоюродные братья. А дети были отчаянно влюблены.

И снова от ее фигурки на Майкла повеяло глубоким

и первобытным чувством, и в нем самом проснулось что-то глубокое и первобытное.

— Грустно! — сказал он.

— Не знаю, — быстро подхватила Джун, — не знаю; может быть, все вышло к лучшему. Ведь вы счастливы?

Как под дулом револьвера, он встал навытяжку и от-рапортовал:

— Я-то да, но она?

Серебристо-зеленая фигурка выпрямилась. Джун схватила его за руку и сжала ее. В этом движении была ужасающая искренность, и Майкла это тронуло. Ведь он видел ее до сих пор всего два раза!

— Как бы там ни было, Джон женат. Какая у него жена?

— Внешность прелестная, кажется — очень милая.

— Американка, — глубокомысленно изрекла Джун. — А Флер наполовину французенка. Я рада, что у вас есть сын.

Майкл в жизни не встречал человека, чьи слова, сказанные без всякого умысла, вселяли бы в него такую тревогу. Почему она рада, что у него сын? Потому что это страховка... от чего?

— Ну, — пробормотал он, — очень рад, что я наконец узнал, в чем дело.

— Напрасно вам раньше не сказали; впрочем, вы и сейчас ничего не знаете. Нельзя понять, что такое семейные распри и чувства, если сам их не пережил. Я-то понимаю, хоть и сердилась из-за этих детей. Видите ли, в давние времена я сама держала сторону Ирэн против Сомса. Я хотела, чтобы она еще в самом начале ушла от него. Ей прескверно жилось, он был такой... такой слизняк, когда дело шло о его драгоценных правах; и гордости настоящей в нем не было. Подумать только, навязываться женщине, которая вас не хочет!

— Да, — повторил Майкл, — подумать только!

— В восьмидесятых и девяностых годах люди не понимали, до чего это противно. Хорошо, хоть теперь поняли.

— Поняли? — протянул Майкл. — Ну, не знаю!

— Конечно, поняли.

Майкл не решился возражать.

— Теперь в этом отношении куда лучше, чем было, нет того глупого мещанства. Странно, что Флер вам всего этого не рассказала.

— Никогда ни словом не упомянула.

— О!

Это прозвучало удручающе, так же как и все ее более пространные реплики. Она явно думала то же, что думал он сам: Флер была задета слишком глубоко, чтобы говорить об этом. Он даже не был уверен, знает ли Флер, что до него дошла ее история с Джоном.

И вдруг почувствовав, что с него довольно удручающих реплик, он поднялся.

— Большое спасибо, что сказали мне. А теперь простите, мне пора.

— Я зайду поговорить с Флер относительно портрета. Нельзя упускать такой случай для Харолда. Нужно же ему получать заказы.

— Разумеется! — сказал Майкл. Он надеялся, что Флер лучше его сумеет отказаться.

— Ну, до свидания!

Дойдя до двери, он оглянулся, и у него сжалось сердце: одна в этой громадной комнате, она казалась такой воздушной, такой маленькой! Серебристые волосы, напряженное личико, которому выражение восторженности, хоть и направленной не по адресу, все еще придавало молодой вид. Он что-то получил от нее, а ей ничего не оставил; и разбередил в ней какое-то давнишнее личное переживание, какое-то чувство, не менее, может быть, более сильное, чем его собственное.

До чего она, верно, одинока! Он помахал ей рукой.

Флер была уже дома, когда он пришел. И Майкл вдруг сообразил, что единственное объяснение его визита к Джун Форсайт — это она и Джон!

«Нужно написать этой маленькой женщине, попросить, чтобы не рассказывала», — подумал он. Не годится, чтобы Флер узнала, что он рылся в ее прошлом.

— Хорошо покатались? — спросил он.

— Очень. Энн напоминает мне Фрэнсиса, только глаза другие.

— Да, они оба мне понравились тогда в Маунт-Вернон. Странная была встреча, правда?

— Когда папа захворал?

Он почувствовал, что она знает, что встречу от нее скрыли. Если б можно было поговорить с ней по душам, если б она доверилась ему!

Но она сказала только:

— Скучно мне без столовой, Майкл.

XIII

В ОЖИДАНИИ ФЛЕР

Сказать, что Сомс больше любил свой дом у реки, когда его жены там не было, значило бы слишком примитивно сформулировать далеко не простое уравнение. Он был доволен, что женат на красивой женщине и отличной хозяйке, право же, неповинной в том, что она француженка и на двадцать пять лет моложе его. Но верно и то, что он гораздо лучше видел ее хорошие стороны, когда ее с ним не было. Он знал, что, не переставая подсмеиваться над ним на свой французский лад, она все же научилась до известной степени уважать его привычки и то положение, которое сама занимала как его жена. Привязанность? Нет, привязанности к нему у нее, вероятно, не было, но она дорожила своим домом, своей партией в бридж, своим положением в округе и хлопотами по дому и саду. Она была как кошка. А с деньгами обращалась великолепно — тратила их меньше и с большим толком, чем кто бы то ни было. Кроме того, она не становилась моложе, так что он перестал серьезно опасаться, что ее дружеские отношения с кем-нибудь зайдут слишком далеко и он об этом узнает. Шесть лет назад эта история с Проспером Профеном, чуть было не кончившаяся скандалом, научила ее осмотрительности.

Ему, собственно, было совершенно незачем уезжать из Лондона за день до приезда Флер; все колесики его хозяйства были раз навсегда смазаны и вертелись безотказно. Он завел за рекой коров и молочное хозяйство и теперь со своих пятнадцати акров получал все, кроме муки, рыбы и мяса, которое вообще потреблял умеренно.

Пятнадцать акров представляли собой если не «земельную собственность», то, во всяком случае, изобилие всяких продуктов. Владение его было типичным образцом многих и многих резиденций безземельных богачей.

У Сомса был хороший вкус, у Аннет, пожалуй, того лучше, особенно в отношении еды; так что трудно было найти дом, где кормили бы вкуснее.

В этот ясный, теплый день, когда цвел боярышник, листья еще только распускались и река вновь училась улыбаться по-летнему, кругом было не на шутку красиво. И Сомс прогуливался по зеленому газону и размышлял: почему это садовники вечно бродят с места на место? Все английские садовники, которых он мог припомнить, только и делали, что вот-вот собирались работать. Поэтому, очевидно, так часто и нанимают садовников-шотландцев. К нему подошла собака Флер; она порядком постарела и целыми днями охотилась на воображаемых блох. Относительно настоящих блох Сомс был очень щепетилен, и животное мыли так часто, что кожа у него стала совсем тонкая. Это был золотисто-рыжий пойнтер, такой редкой масти, что его постоянно принимали за помесь.

Прошел старший садовник с совком в руке.

— Здравствуйте, сэр!

— Здравствуйте,— ответил Сомс.— Ну, стачка кончилась!

— Да, сэр. Давно пора. Занимались бы лучше своим делом.

— Правильно. Как спаржа?

— Вот хочу вскопать третью грядку, да рабочих рук не найдешь.

Сомс взгляделся в лицо садовника, узкое, немного скошенное набок.

— Что? — сказал он.— Это когда у нас чуть не полтора миллиона безработных?

— И что они все делают — в толк не возьму,— сказал садовник.

— По большей части ходят по улицам и играют на разных инструментах.

— Совершенно верно, сэр, у меня сестра в Лондоне, она то же говорила. Я мог бы взять мальчишку, да как ему доверишь работу?

— А почему бы вам самому не заняться?

— Да тем, верно, и кончится; только, знаете ли, сад запускать не хотелось бы.— И он смущенно повертел в руках совок.

— К чему вам эта штука? Тут сорной травы днем с огнем не сыщешь.

Садовник улыбнулся.

— Не поверите, сэр,— сказал он,— чуть отвернулся, а она уж тут как тут.

— Завтра приезжает миссис Монт,— сказал Сомс.— Надо в комнаты цветов получше.

— Очень мало их цветет сейчас, сэр.

— У вас когда ни спросишь, всегда мало. Не полени-тесь, так что-нибудь найдете.

— Слушаю, сэр,— сказал садовник и пошел прочь.

«Куда он пошел? — подумал Сомс.— В жизни не видел такого человека. Впрочем, все они одинаковы». Когда-нибудь, по-видимому, они все же работают; может быть, рано утром? Разве что уж очень рано. Как бы там ни было, платить им приходится немало! И, заметив, что собака наклонила голову набок, он сказал:

— Гулять?

Они вместе пошли через калитку, прочь от реки. Птицы пели на разные голоса, не умолкали кукушки.

Они дошли до поляны, где на пасхе, в исключительно ясный день, кто-то устроил пожар. Отсюда была видна река, извивавшаяся среди тополей и ветел. Картина напоминала речной пейзаж Добиньи, который Сомс видел в частном собрании одного американца,— прекрасный пейзаж, лучшее из того, что он знал в этом жанре. Он заметил, как из трубы его кухни поднимается к небу дым, и порадовался ему больше, чем радовался бы дыму из любой другой трубы. Он сильно скучал о нем в прошлом году—в эти месяцы почти непрерывной жары, когда он колесил по всему свету с Флер, переезжая из одного чужого города в другой. Помешался этот Майкл на эмиграции! Как сторонник империи, Сомс в теории признавал ее преимущества; но на практике всякое место за пределами Англии казалось ему либо слишком глухим, либо слишком шумным. Англичанин имеет право на дым из своей собственной кухонной трубы. Вот, например, Ганг — какой несуразно громадный по сравнению с этой

серебристой извилистой лентой! Ему понравилась и река св. Лаврентия, и Гудзон, и Потомак, как он упорно продолжал его называть, но если сравнить — все они вспоминаются как беспорядочные водные пространства. И народ там беспорядочный. Иначе и быть не может в таких больших государствах. Сомс двинулся с поляны вниз, через узкую полосу леса, где раздавался возбужденный гомон грачей. Он мало что знал о птичьих повадках: был неспособен отвлечься от самого себя настолько, чтобы серьезно заняться существами, не имеющими к нему прямого отношения. Но он решил, что скорей всего тема их шумной сходки — еда: падает курс червяков или наблюдается инфляция, они и суетятся, как французы вокруг своего несчастного франка. Выйдя из леса, он очутился неподалеку от шлюза, у домика сторожа. И тут, среди запаха дыма, ниткой вьющегося из низкой скромной трубы, и плеска воды в заводи, и переклички дроздов и кукушек, собственнический инстинкт Сомса на время замолк. Он раскрыл складную трость, сел на нее и стал смотреть на зеленую тину, затянувшую стены пустого шлюза. Хитрая штука — шлюзы! Почему нельзя заключить в шлюзы человеческие чувства — запрудить их до поры до времени, а потом пустить, строго контролируя, по главному руслу жизни, не давая растекаться по заводям и даром пропадать на порогах? Эти несколько абстрактные размышления были прерваны собакой Флер, лизнувшей его повисшую в воздухе руку. До чего животные стали нынче похожи на людей — вечно хотят, чтобы на них обращали внимание; не далее как сегодня он заметил, как черная кошка Аннет смотрела в гипсовое лицо неапольской Психеи и тихо мяукала — наверно, просилась на колени.

Из домика вышла дочка сторожа и стала снимать с веревки белье. Женщины в деревне только и делают, кажется, что вешают на веревки белье, а потом опять снимают! Сомс глядел на нее — ловкие руки, ловкие движения, ловко сидит на ней платье из голубого ситца; лицо как с картины Боттичелли — сколько в Англии таких лиц! У нее, конечно, есть поклонник, а может быть, и два, и они гуляют в этом лесу и сидят на сырой траве и все такое прочее и, чего доброго, воображают, что счастливы; или она влезает на велосипед позади не-

го и носится по дорогам, задрав юбки до колен. И зовут ее, наверное, Глэдис, или Дорис, или как-нибудь в этом роде. Она увидела его и улыбнулась. Губы у нее были полные, улыбка ее красила. Сомс приподнял шляпу.

— Хороший вечер,— сказал он.

— Да, сэр.

Очень почтительна!

— Вода еще не сошла.

— Да, сэр.

А хорошенькая девушка! Что если б он был сторожем при шлюзе, а Флер — дочкой сторожа, вешала бы белье на веревку и говорила бы: «Да, сэр»? Что ж, а быть сторожем при шлюзе, пожалуй, еще лучшее из занятий, доступных бедным,—следить, как поднимается и спадает вода, жить в этом живописном домике и не знать никаких забот, кроме... кроме заботы о дочери! И он чуть не спросил у девушки: «Вы хорошая дочь?» Возможно ли в наше время такое — чтобы дочь думала сначала о вас, а потом о себе?

— Кукушки-то! — сказал он глубокомысленно.

— Да, сэр.

Теперь она снимала с веревки несколько откровенную принадлежность туалета, и Сомс опустил глаза, чтобы не смущать девушку; впрочем, она не выказывала ни малейшего смущения. Вероятно, в наше время смутить девушку вообще невозможно. И он встал и сложил трость.

— Ну, полагаю, погода продержится.

— Да, сэр.

— Всего хорошего.

— Всего хорошего, сэр.

В сопровождении собаки он двинулся к дому. Скромница, воды не замутит; но так ли она разговаривает со своим кавалером? Унизительно быть старым! В такой вечер нужно быть опять молодым и гулять в лесу с такой вот девушкой; и все, что было в нем от фавна, на мгновение наострило уши, облизнулось и с легким чувством стыда, пожав плечами, свернулось клубочком и затихло.

Сомс, которого природа не поскупилась наделить свойствами фавна, всегда отличался тем, что старательно замалчивал это обстоятельство. Как и вся его семья, кроме кузена Джорджа и дяди Суизина, он был скры-

тен в вопросах пола; Форсайты, как правило, не касались этих тем и не любили слушать, когда их касались другие. Заслышав зов пола, они внешне никак этого не показывали. Не пуританство, а известная присущая им шепетильность запрещала касаться этой темы; они и сами не знали, откуда она у них.

Пообедав в одиночестве, он закурил сигару и опять вышел из дому. Для мая месяца было совсем тепло, и света еще хватало, чтобы разглядеть коров на заречном лугу. Скоро они соберутся на ночлег у той вон колючей изгороди. А вот и лебеди плывут спать на остров, а за ними их серые лебедята. Благородные птицы!

Река белела; тьма словно задержалась в ветвях деревьев, перед тем как расплыться по земле и улететь в небо, где только что высохли последние капли заката. Очень тихо и чуть таинственно — сумерки! Только скворцы все верещат — противные создания; да и как требовать чувства собственного достоинства от существа с таким коротким хвостом! Пролетали ласточки, закусывая на ночь мошками и первыми мотыльками; и тополя были так неподвижны — словно перешептывались, — что Сомс поднял руку посмотреть, есть ли ветер. Ни дуновения! А потом сразу — ни реющих ласточек, ни скворцов; белесая дымка над рекой, на небе! В доме зажглись огни. Близко прогудел ночной жук. Пала роса, Сомс почувствовал ее — пора домой! И только он повернул к дому — тьма сгладила деревья, небо, реку. И Сомс подумал: «Уж только бы без этой таинственности, когда она придет. Не желаю, чтобы меня тревожили!» Она и малыш; могло бы быть так хорошо, если б не нависла мрачная тень этой давнишней любовной трагедии, которая корнями цеплялась за прошлое, а в будущем таила горькие плоды...

Он хорошо выспался, а на следующее утро ни за что не мог приняться, все устраивал то, что уже было устроено. Несколько раз он останавливался как вкопанный среди этого занятия, слушая, не едет ли автомобиль, и напоминал себе, что не надо тревожиться и ни о чем не надо спрашивать. Она, конечно, опять виделась вчера с этим Джоном, но спрашивать нельзя.

Сомс поднялся в картинную галерею и снял с крючка небольшую картину Ватто, которой Флер как-то при нем

восхищалась. Он снес ее вниз и поставил на мольберте у нее в спальне — молодой человек в широком лиловом камзоле с кружевными брыжами играет на тамбурине перед дамой в синем, с обнаженной грудью; а рядом ягненок. Прелестная вещица! Пусть заберет ее, когда поедет в город, и повесит у себя в гостиной, рядом с картинами Фрагонара и Шардена. Он подошел к белоснежной кровати и понюхал постельное белье. Должно бы пахнуть сильнее. Эта женщина, миссис Эджер, экономка, забыла положить саше; он так и знал — что-нибудь да упустят! Он подошел к шкафчику, достал с полки четыре пакетика, перевязанных узкими лиловыми лентами, и положил их в постель. Потом двинулся в ванную. Понравятся ли ей эти соли — последнее открытие Аннет; он-то считает, что они слишком пахучие. В остальном все как будто в порядке: мыло Роже и Галле, спуск в исправности. Ох, уж эти новые приспособления — вечно портятся; что можно выдумать лучше прежней цепочки! Какие перемены в способах умываться произошли на его глазах! Он, правда, не мог помнить дней, когда ванн не было; но отлично помнил, как его отец постоянно повторял: «Меня в детстве никогда не мыли в ванне. Первую ванну я поставил сам, как только завел собственный дом, — в тысяча восемьсот сороковом году; люди смотреть приходили. Говорят, теперь доктора против ванн, — не знаю». Джемс двадцать пять лет как умер, и доктора с тех пор не раз меняли мнения. Верно одно: ванна доставляет людям удовольствие, так не все ли равно, что говорят доктора. Кит любит купаться — не все дети любят. Сомс вышел из ванной, постоял, посмотрел на цветы, которые принес садовник; среди них выделялись три ранних розы. Розы были *forte*¹ садовника, или, вернее, его слабостью — ему больше ни до чего не было дела. Это самое худшее сейчас в людях — они специализируются до того, что теряют всякое понятие относительности, хоть это, как он слышал, и самая молодая теория. Он взял розу и глубоко вдохнул ее запах. Сколько теперь разных сортов — счет потеряешь! В его молодости их было наперечет: «*La France*», «*Maréchal Niel*» и «*Cloire de Dijon*», — вот, пожалуй,

¹ Сильная сторона; специальность (итал.).

и все; о них теперь забыли. И Сомс даже устал от этой мысли об изменчивости цветов и изобретательности человека. Уж очень много всего на свете!

А она все не едет! У этого Ригза — он оставил ей автомобиль, а сам приехал поездом, — конечно, лопнула шина; всегда у него лопается шина, когда не надо. Следующие полчаса Сомс не находил себе места и так загляделся на что-то в картинной галерее на самом верхнем этаже дома, что не слышал, как подъехал автомобиль. Голос Флер пробудил его от дум о ней.

— А-а! — сказал он в пролет лестницы. — Ты откуда явилась? Я уже целый час тебя жду.

— Да, милый, пришлось кое-что купить по дороге. Как здесь чудесно! Кит в саду.

— А, — сказал Сомс, спускаясь. — Ну, как ты вчера отдох... — Он сошел с последней ступеньки и осекся.

Она подставила ему лицо для поцелуя, а глаза ее глядели мимо. Сомс приложился губами к ее щеке. Словно ее нет здесь, где-то витает. И, слегка чмокнув ее в мягкую щеку, он подумал: «Она не думает обо мне — и зачем? Она молодая!»



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

СЫН ГОЛУБКИ

Трудно сказать, лежит ли мел в основе характера всех вообще англичан, но присутствие его в организме наших жокеев и тренеров — факт неопровержимый. Живут они по большей части среди меловых холмов Южной Англии, пьют много воды, имеют дело с лошадиными суставами, и известковый элемент стал для них чуть ли не профессиональным признаком; они часто отличаются костлявыми носами и подбородками.

Подбородок Гринуотера, отставного жокея, ведавшего конюшней Вэла Дарти, выступал вперед так, словно все долгие годы участия в скачках он использовал его, чтобы помочь усилиям своих коней и привлечь внимание судьи. Его тонкий с горбинкой нос украшал собой маску из темно-коричневой кожи и костей, узкие карие глаза горели ровным огоньком, гладкие черные волосы были зачесаны назад; росту он был пяти футов и семи дюймов, и за долгие сезоны, в течение которых он боялся есть, аскетическое выражение легло на его лицо поверх природной живости того порядка, какая наблюдается, скажем, у трясогузки. Он был женат, имел двух детей и относился к семье с молчаливой нежностью человека, тридцать пять лет прожившего в непосредственном общении с лошадьми. В свободное время он играл на флейте. Во всей Англии не было более надежного человека.

Вэл, заполучивший его в 1921 году, когда тот только что вышел в отставку, считал, что в людях Гринуотер разбирается еще лучше, чем в лошадях, ибо верит только тому, что видит в них, а видит не слишком много. Сейчас явилась особенная необходимость никому не доверять, так как в конюшне рос двухлетний жеребенок Ронлавель, сын Кафира и Голубки, от которого ждали так много, что говорить о нем вообще не полагалось. Тем более удивился Вэл, когда в понедельник на Аскотской неделе¹ его тренер заметил:

— Мистер Дарти, тут сегодня какой-то сукин сын смотрел лошадей на галопе.

— Еще недоставало!

— Кто-то проболтался. Раз начинают следить за такой маленькой конюшней — значит дело неладно. Послушайте моего совета — пошлите Рондавеля в Аскот и пускайте его в четверг, пусть попробует свои силы, а понюхать ипподрома ему не вредно. Потом дадим ему отдохнуть, а к Гудвуду² опять подтянем.

Зная мнение своего тренера, что в Англии в наше время скаковая лошадь, так же как и человек, не любит слишком долгих приготовлений, Вэл ответил:

— Бойтесь переработать его?

— Сейчас он в полном порядке, ничего не скажешь. Сегодня утром я велел Синнету попробовать его, так он ушел от остальных, как от стоячих. Поскачет как миленький; жаль, что вас не было.

— Ого! — сказал Вэл, отпирая дверь стойла. — Ну, красавец?

Сын Голубки повернул голову и оглядел хозяина блестящим глазом философа. Темно-серый, с одним белым чулком и белой звездой на лбу, он весь лоснился после утреннего туалета. Чудо, а не конь! Прямые ноги и хорошая мускулатура — результат повторения кровей Сент-Саймона в дальних поколениях его родословной. Редкие плечи для езды под гору. Не «картинка», как говорится, — линии недостаточно плавны, — но масса стиля. Умен, как человек, резв, как гончая. Вэл оглянулся на серьезное лицо тренера.

¹ Неделя скачек в Аскоте, близ Уиндзора, — середина июня.

² Гудвудские скачки — июль.

— Хорошо, Гринуотер. Я скажу хозяйке — поедem всем домом. С кем из жокеев вы сумеете сговориться в такой короткий срок?

— С Лэмом.

— А, — ухмыльнулся Вэл, — да вы, я вижу, уже все подготовили.

Только по дороге к дому он додумался наконец до возможного ответа на вопрос: «Кто мог узнать?» Через три дня после окончания генеральной стачки, еще до приезда Холли и Джона с женой, он сидел как-то над сче- тами, докуривая вторую трубку, когда горничная до- жила:

— К вам джентльмен, сэр.

— Как фамилия?

— Стэйнфорд, сэр.

Едва не сказав: «И вы оставили его одного в хол- ле!» — Вэл поспешил туда сам.

Его старый университетский товарищ разглядывал висящую над камином медаль.

— Алло! — сказал Вэл.

Невозмутимый посетитель обернулся.

Менее потертый, чем на Грин-стрит, словно он обре- новые возможности жить в долг, но те же морщинки на лице, то же презрительное спокойствие.

— А, Дарти! — сказал он. — Джо Лайтсон, букмекер рассказал мне, что у тебя здесь есть конюшня. Я и ре- шил заглянуть по дороге в Брайтон. Как поживает твой жеребенок от Голубки?

— Ничего, — сказал Вэл.

— Когда думаешь пускать его? Может, хочешь, я бу- ду у тебя посредником? Я бы справился куда лучше про- фессионалов.

Нет, он прямо-таки великолепен в своей наглости!

— Премного благодарен; но я почти не играю.

— Да неужели? Знаешь, Дарти, я не собирался опять надоедать тебе, но если бы ты мог ссудить меня два- дцатью пятью фунтами, они бы мне оченьгодились.

— Прости, но таких сумм я здесь не держу.

— Может быть, чек...

Чек — ну, нет, извините!

— Нет, — твердо сказал Вэл. — Выпить хочешь?

— Премного благодарен.

Наливая рюмки у буфета в столовой и одним глазом поглядывая на неподвижную фигуру гостя, Вэл принял решение.

— Послушай, Стэйнфорд,— начал он, но тут мужество ему изменило.— Как ты попал сюда?

— Автомобилем из Хоршэма. Да, кстати. У меня с собой ни пенни, платить шоферу нечем.

Вэла передернуло. Было во всем этом что-то бесконечно жалкое.

— Вот,— сказал он,— возьми, если хочешь, пятерку, но на большее, пожалуйста, не рассчитывай.— И он вдруг разразился: — Знаешь, я ведь не забыл, как в Оксфорде я раз дал тебе займы все свои деньги, когда мне и самому до черта туго приходилось, а ты их так и не вернул, хотя в том же триместре получил немало.

Изящные пальцы сомкнулись над банкнотом; тонкие губы приоткрылись в горькой улыбке.

— Оксфорд! Другая жизнь. Ну, Дарти, до свидания, пора двигаться; и спасибо. Желаю тебе удачного сезона.

Руки он не протянул. Вэл смотрел ему в спину, узкую и томную, пока она не скрылась за дверью.

Да! Вспомнив это, он понял. Стэйнфорд, очевидно, подслушал в деревне какие-то сплетни — уж, конечно, там не молчат об его конюшнях. В конце концов не так важно — Холли все равно не даст ему играть. Но не мешает Гринуотеру получше присматривать за этим жеребенком. В мире скачек достаточно честных людей, но сколько мерзавцев примазывается со стороны! Почему это лошади так притягивают к себе мерзавцев? Ведь красивее нет на земле создания! Но с красотой всегда так — какие мерзавцы увиваются около хорошеньких женщин! Ну, надо рассказать Холли. Остановиться можно, как всегда, в гостинице Уормсона, на реке; оттуда всего пятнадцать миль до ипподрома...

«Зобастый голубь» стоял немного отступя от Темзы, на Беркширском берегу, в старомодном цветнике, полном роз, левкоев, маков, гвоздики, флоксов и резеды. В теплый июньский день аромат из сада и от цветущего под окнами шиповника струился в старый кирпичный дом, выкрашенный в бледно-желтый цвет. Служба на Парк-

Лейн, в доме Джемса Форсайта, в последний период царствования Виктории, подкрепленная последующим браком с горничной Эмили — Фифин, дала Уормсону возможность так досконально изучить, что к чему, что ни одна гостиница на реке не представлялась более заманчивой для тех, чьи вкусы устояли перед современностью. Идеально чистое белье, двуспальные кровати, в которые даже летом клали медные грелки, сидр из яблок собственного сада, выдержанный в бочках от рома, — поистине отдых для всех чувств. Стены украшали гравюры «Модный брак», «Карьера повесы»¹, «Скачки в ночных сорочках», «Охота на лисицу» и большие групповые портреты знаменитых государственных деятелей времен Виктории, имена которых значились на объяснительной таблице. Гостиница могла похвастаться как санитарным состоянием, так и портвейном. В каждой спальне лежали душистые саше, кофе пили из старинной оловянной посуды, салфетки меняли после каждой еды. И плохо приходилось здесь паукам, ухверткам и неподходящим постояльцам. Уормсон, независимый по натуре, один из тех людей, которые расцветают, когда становятся хозяевами гостиниц, с красным лицом, обрамленным небольшими седыми баками, проникал во все поры дома, как теплое, но не жгучее солнце.

Энн Форсайт нашла, что все это восхитительно. За всю свою короткую жизнь, прожитую в большой стране, она еще никогда не встречала такого самодовольного уюта: покойная гладь реки, пение птиц, запах цветов, наивная беседка в саду, небо то синее, то белое от проплывающих облаков, толстый, ласковый сеттер и чувство, что завтра, и завтра, и завтра будет нескончаемо похоже на вчера.

— Просто поэма, Джон!

— Слегка комическая. Когда есть комический элемент, не чувствуешь скуки.

— Здесь я бы никогда не соскучилась.

— У нас в Англии, Энн, трагедия не в ходу.

— Почему?

¹ Серии гравюр знаменитого художника-сатирика XVIII века Хогарта.

— Как тебе сказать, трагедия — это крайность; а мы не любим крайностей. Трагедия суха, а в Англии сыро.

Она стояла, облокотившись на стену, в нижнем конце сада; чуть повернув подбородок, опирающийся на ладонь, она оглянулась на него.

— Отец Флер Монт живет на реке, да? Это далеко отсюда?

— Мейплдерхем? Миль десять, кажется.

— Интересно, увидим ли мы ее на скачках? По-моему, она очаровательна.

— Да, — сказал Джон.

— Как это ты не влюбился в нее, Джон?

— Мы же были чуть не детьми, когда я с ней познакомился.

— Она в тебя влюбилась, по-моему.

— Почему ты думаешь?

— По тому, как она смотрит на тебя. Она не любит мистера Монта; просто хорошо к нему относится.

— О! — сказал Джон.

С тех пор как в роще Робин Хилла Флер таким странным голосом сказала «Джон!», он испытал разнообразные ощущения. В нем было и желание схватить ее — такую, какой она стояла, покачиваясь, на упавшем дереве, положив руки ему на плечи, — и унести с собой прямо в прошлое. В нем было и отвращение перед этим желанием. В нем было и чувство, что можно отойти в сторону и сложить песенку про них обоих, и еще что-то, что говорило: «Выбрось эту дурь из головы и принимайся за дело!» Признаться, он запутался. Выходит, что прошлое не умирает, как он думал, а продолжает жить наряду с настоящим, а порой, может быть, превращается в будущее. Можно ли жить ради того, чего нет? В душе его царило смятение, лихорадочные сквознячки пронизывали его. Все это тяжело лежало у него на совести, ибо если что было у Джона, так это совесть.

— Когда мы заживем своим домом, — сказал он, — заведем у себя все эти старомодные цветы. Ничего нет лучше их.

— Ах да, Джон, пожалуйста, поселимся своим домом. Но ты уверен, что тебе хочется? Тебя не тянет путешествовать и писать стихи?

— Это не работа. Да и стихи мои недостаточно хороши. Тут надо настроение Гатераса Дж. Хопкинса:

Презреньем отделенный от людей,
Живу один и в песнях одинок.

— Напрасно ты скромничаешь, Джон.

— Это не скромность, Энн; это — чувство юмора.

— Нельзя ли нам выкупаться до обеда? Вот было бы хорошо.

— Не знаю, какие тут порядки.

— А мы сначала выкупаемся, а потом спросим.

— Хорошо. Беги переоденься. Я попробую открыть эту калитку.

Плеснула рыба, длинное белое облако задело верхушки тополей за рекой. В точно такой вечер, шесть лет назад, он шел по берегу с Флер, простился с ней, дождал, пока она не оглянулась, не помахала ему рукой. Он и сейчас ее видел, полную того особого изящества, благодаря которому все ее движения надолго сохранялись в памяти. А теперь вот — Энн! А Энн в воде неотразима!..

Небо над «Зобастым голубем» темнело; в гаражах затихли машины; все лодки стояли на причале; только вода не стояла, да ветер вел тихие разговоры в камышах и листьях. В доме царил уют. Лежа на спине, чуть похрапывали Уормсон и Фифин. У Холли на тумбочке горела лампа, и при свете ее она читала «Худшее в мире путешествие»¹, а рядом с ней Вэлу снилось, что он хочет погладить лошадиную морду, а она под его рукой становится короткая, как у леопарда. И спала Энн, уткнувшись лицом в плечо Джону, а Джон широко раскрытыми глазами смотрел на щели в ставнях, через которые пробивался лунный свет.

А в своем стойле в Аскоте сын Голубки, впервые покинувший родные края, размышлял о превратностях лошадиной жизни, открывал и закрывал глаза и бесшумно дышал в пахнущую соломкой тьму — на черную кошку, которую он захватил с собой, чтобы не было скучно.

¹ Книга Черри-Гаррарда об антарктической экспедиции 1910—1913 гг.

СОМС НА СКАЧКАХ

По мнению Уинифрида Дарти, аскотский дебют жеребенка, возвращенного в конюшнях ее сына, был достаточным поводом для сбора тех членов ее семьи, которые, по врожденному благоразумию, могли безопасно посещать скачки; но она была потрясена, когда услышала по телефону от Флер: «И папа едет; он никогда не бывал на скачках, особенного нетерпения не выказывает».

— О,— сказала она,— хороших мест теперь не достать — поздно. Ну ничего, Джек о нем позаботится. А Майкл?

— Майкл не сможет поехать, он погряз в трущобах; новый лозунг — «Шире мостовые»!

— Он такой славный,— сказала Уинифрид.— Поедем пораньше, милая, чтоб успеть позавтракать до скачек. Хорошо бы на автомобиле.

— Папина машина в городе, мы за вами заедем.

— Чудесно,— сказала Уинифрид.— У папы есть серый цилиндр? Нет? О, но это необходимо; они в этом году в моде. Ты не говори ему ничего, но купи непременно. Его номер семь с четвертью; и знаешь, милая, скажи там, чтоб цилиндр погрели и сдавили с боков, а то они всегда слишком круглые для его головы. Денег лишних пускай не берет: Джек будет ставить за всех.

Флер сомневалась, что ее отец вообще захочет ставить; он просто выразил желание посмотреть, что это за штука.

— Так смешно, когда он говорит о скачках,— сказала Уинифрид,— совсем как твой дедушка.

Для Джемса, правда, это было не так уж смешно — ему три раза пришлось уплатить скаковые долги за Монтегью Дарти.

Сомс и Уинифрид заняли задние сиденья, Флер с Имоджин — передние, а Джек Кардиган уселся рядом с Ригзом. Чтобы избежать большого движения, они выбрали кружную дорогу через Хэрроу и въехали в город как раз в тот момент, когда на дороге стало особенно тесно. Сомс, который держал свой серый цилиндр на коленях, надел его и сказал:

— Опять этот Ригз!

— О нет, дядя,— сказала Имоджин,— это Джек виноват. Когда ему нужно ехать через Итон, он всегда норовит сначала проехать через Хэрроу.

— О! А! — сказал Сомс.— Он там учился. Надо бы записать Кита.

— Вот славно! — сказала Имоджин.— Наши мальчики как раз кончат, когда он поступит. Как вам идет этот цилиндр, дядя!

Сомс опять снял его.

— Никчемный предмет,— сказал он.— Не понимаю, с чего это Флер вздумала мне его купить.

— Дорогой мой,— сказала Уинифрид,— тебе его хватит на много лет. Джек носит свой с самой войны. Главное — убережь его от моли от сезона до сезона. Какая масса автомобилей! По-моему, все-таки удивительно, что в наше время у стольких есть на это деньги.

При виде этих денег, утекающих из Лондона, Сомс испытывал бы больше удовольствия, если бы не задумывался, откуда, черт возьми, они берутся. Добыча угля прекратилась, заводы закрываются по всей стране — и эта выставка денег и мод хоть и действует успокоительно, но все же как-то неприлична.

Со своего места около шофера Джек Кардиган начал объяснять какое-то приспособление, называемое «Тото». Выходило, что это машина, которая сама ставит за вас деньги. Забавный малый этот Джек Кардиган — сделал себе из спорта профессию. Такой мог уродиться только в Англии! И, нагнувшись вперед, Сомс сказал Флер:

— Тебе там не дуется?

Она почти всю дорогу молчала, и он знал, почему: вероятнее всего, на скачках будет Джон Форсайт. В Мейплдерхеме ему два раза попались на глаза письма, адресованные ею: «Миссис Вэл Дарти, Уонсдон, Сэссекс».

Он заметил, что эти две недели она была то слишком суетлива, то очень уж тиха. Раз, когда он заговорил с ней о будущем Кита, она сказала: «Знаешь, папа, по-моему — не стоит и придумывать, он все равно сделает по-своему; теперь с родителями не считаются. Вот хоть я, посмотри!»

И он посмотрел на нее и не стал возражать.

Он все еще был занят созерцанием ее затылка, когда

они въехали в какую-то ограду и ему волей-неволей пришлось вынести свой цилиндр на суд публики. Ну и толпа! Здесь, на дальней стороне ипподрома, тесными рядами стояли люди, которые, насколько он мог понять, вообще ничего не увидят и будут так или иначе мокнуть до самого вечера. И это называется удовольствием! Он следом за своими стал пересекать ипподром против главной трибуны. Так вот они, букмекеры! Смешные людишки! На каждом написано его имя, чтобы не спутали,— это и не лишнее: ему они все казались одинаковыми, с толстыми шеями и красными лицами либо с длинными шеями и тощими лицами, по одному того и другого сорта от каждой фирмы — как пары клоунов в цирке. Изредка среди наступившего затишья один из них испускал громкий вой и устремлял в пространство голодный взгляд. Смешные людишки! Они прошли перед королевскими ложами, куда букмекеры, по-видимому, не допускались. Замелькали серые цилиндры. Здесь, он слышал, бывает много красивых женщин. Он только что начал их высматривать, когда Уинифрид сжала его локоть.

— Смотри, Сомс, королевская семья!

Чтобы не глазеть на эти нарядные коляски, на которые и так все глазели, Сомс отвел взгляд и увидел, что они с Уинифрид остались одни.

— А куда же девались остальные? — спросил он.

— Вероятно, пошли в паддок.

— Зачем?

— Посмотреть лошадей, милый.

Сомс и забыл о лошадях.

— Какой смысл в наше время разъезжать в экипажах? — пробормотал он.

— По-моему, это так интересно, — сказала Уинифрид. — Хочешь, мы тоже пойдем в паддок?

Сомс, который отнюдь не намерен был терять из виду свою дочь, последовал за Уинифрид к тому, что она называла паддоком.

Был один из тех дней, когда никак не скажешь, пойдет дождь или нет, поэтому женские туалеты разочаровали Сомса: он не увидел ничего, что сравнилось бы с его дочерью, и только что собрался сделать какое-то пренебрежительное замечание, как услышал позади себя голос:

— Посмотри-ка, Джон! Вон Флер Монт!

Сомс наступил на ногу Уинифрид и замер. В двух шагах от него, и тоже в сером цилиндре, шел этот мальчик между своей женой и сестрой. На Сомса нахлынули воспоминания, как двадцать семь лет назад он пил чай в Робин-Хилле у своего кузена Джолиона, отца этого юноши, и как вошли Холли и Вэл и сели и глядели на него, точно на странную, неведомую птицу. Вот они прошли все трое в кольцо людей, непонятно что разглядывающих. А вот, совсем близко от них, и другая тройка — Джек Кардиган, Имоджин и Флер.

— Дорогой мой,—сказала Уинифрид,—ты стоишь на моей ноге.

— Я нечаянно,—пробурчал Сомс.— Пойдем на другую сторону, там свободнее.

Публика смотрела, как проводят лошадей; но Сомс, выглядывая из-за плеча Уинифрид, интересовался только своей дочерью. Она еще не увидела молодого человека, но явно высматривает его — взгляд ее почти не задерживается на лошадях; это, впрочем, и не удивительно — все они, как одна, лоснящиеся и гибкие, смирные, как ягнята; около каждой вертится по мальчишке. А! Его точно ножом полоснуло — Флер внезапно ожила; и так же внезапно затаила свое возвращение к жизни даже от самой себя. Как она стоит — тихо-тихо, и не сводит глаз с этого молодого человека, поглощенного разговором с женой.

— Это вот фаворит, Сомс. Мне Джек говорил. Как ты его находишь?

— Не вижу ничего особенного — голова и четыре ноги.

Уинифрид засмеялась. Сомс такой забавный!

— Джек уходит; знаешь, милый, если мы думаем ставить, пожалуй, пойдем обратно. Я уже выбрала, на какую.

— Я ничего не выбрал,—сказал Сомс.— Просто слабоумные какие-то; они и лошадей-то одну от другой не отличают!

— О, ты еще не знаешь,—сказала Уинифрид,— вот Джек тебе...

— Нет, благодарю.

Он видел, как Флер двинулась с места и подошла к

той группе. Но, верный своему решению не показывать вида, хмуро побрел назад, к главной трибуне. Какой невероятный шум они подняли теперь там, у дорожки! И как тесно стало на этой громадной трибуне! На самом верху ее он заметил кучку отчаянно жестикулирующих сумасшедших — верно, какая-нибудь сигнализация. Вдруг за оградой, внизу, стрелой пронеслось что-то яркое. Лошади — одна, две, три... десять, а то и больше, на каждой номер; и на шеях у них, как обезьяны, сидят яркие человечки. Пронеслись — и, наверно, сейчас пронесутся обратно; и уйма денег перейдет из рук в руки. А потом все начнется сначала, и деньги вернутся на свое место. И какая им от этого радость — непонятно! Есть, кажется, люди — тысячи людей, — которые проводят в этом всю жизнь; видно, много в стране свободных денег и времени. Как это Тимоти говорил: «Консоли идут в гору». Так нет, не пошли; напротив того, даже упали на один пункт, и еще упадут, если горняки не прекратят забастовку. Над ухом у него раздался голос Джека Кардигана:

— Вы на какую будете ставить, дядя Сомс?

— Я почему знаю?

— Надо поставить, а то неинтересно.

— Поставьте что-нибудь за Флер и не приставайте ко мне. Мне поздно начинать. — И он раскрыл складную трость и уселся на нее. — Будет дождь, — прибавил он мрачно. Он остался один; Уинифрид с Имоджин следом за Флер прошли вдоль ограды к Холли и ее компании... Флер и этот юноша стояли рядом. И он вспомнил, что когда Босини не отходил от Ирэн, он, как и теперь, не подавал вида, безнадежно надеясь, что сможет пройти по водам, если не будет смотреть в глубину. А воды предательски разверзлись и поглотили его; и неужели, неужели теперь опять? Губы его дрогнули, и он протянул вперед руку. На нее упали мелкие капли дождя.

«Пошли!»

Слава богу, гам прекратился. Забавный переход от такого шума к полной тишине. Вообще забавное зрелище — точно взрослые дети! Кто-то пронзительно вскрикнул во весь голос, где-то засмеялись, потом на трибунах начал нарастать шум; вокруг Сомса люди вытягивали шеи. «Фаворит возьмет!» — «Ну нет!» Еще громче; то-

пот — промелькнуло яркое пятно. И Сомс подумал: «Ну, конец!» Может, и все в жизни так. Тишина — гам — что-то мелькнуло — тишина. Вся жизнь — скачки, зрелище, только смотреть некому! Риск и расплата! И он провел рукой сначала по одной плоской щеке, потом по другой. Расплата! Все равно, кому расплачиваться, лишь бы не Флер. Но в том-то и дело — есть долги, которые не поручишь платить другому! О чем только думала природа, когда создавала человеческое сердце!

Время тянулось, а он так и не видел Флер. Словно она заподозрила его намерение следить за ней. В «Золотом кубке»¹ скакала «лучшая лошадь века», и говорили, что этот заезд никак нельзя пропустить. Сомса опять потащили к лужайке, где проводили лошадей.

— Вот эта? — спросил он, указывая на высокую кобылу, которую он по двум белым бабкам сумел отличить от других. Никто ему не ответил, и он обнаружил, что три человека оттеснили его от Уинифрид и Кардиганов и с некоторым любопытством на него посматривают.

— Вот она! — сказал один из них.

Сомс повернул голову. А, так вот она какая, лучшая лошадь века! Вон та гнедая; той же масти, как те, что ходили парой у них в запряжке, когда он еще жил на Парк-Лейн. У его отца всегда были гнедые, потому что у старого Джолиона были караковые, у Николаса — вороные, у Суизина — серые, а у Роджера... он уже забыл, какие были у Роджера, — что-то слегка эксцентричное — верно, пегие! Иногда они говорили о лошадях, или, вернее, о том, сколько заплатили за них. Суизин был когда-то судьей на скачках — так он по крайней мере утверждал. Сомс никогда этому не верил, он вообще никогда не верил Суизину. Но он прекрасно помнил, как на Роу лошадь однажды понесла Джорджа и сбросила его на клумбу — каким образом, никто так и не смог объяснить. Совсем в духе Джорджа, с его страстью ко всяким нелепым выходкам! Сам он никогда не интересовался лошадьми. Ирэн, та очень любила ездить верхом — похоже на нее! После того как она вышла за него замуж, ей больше не пришлось покататься... Послышался голос:

— Ну, что вы о ней скажете, дядя Сомс?

¹ Заезд на 2,5 мили (4 км).

Вэл со своей дурацкой улыбкой, и Джек Кардиган, и еще какой-то тощий темнолицый мужчина с длинным носом и подбородком. Сомс осторожно сказал:

— Лошадь не плоха.

Пусть не воображают, что им удастся поймать его!

— Как думаешь, Вэл, выдержит он? Заезд нелегкий.

— Не беспокойся, выдержит.

— Тягаться-то не с кем, — сказал тощий.

— А француз, Гринуотер?

— Не классная лошадь, капитан Кардиган. И эта не так уж хороша, как о ней кричат, но сегодня она не может проиграть.

— Ну, будем надеяться, что она побьет француза; не все же кубки им увозить из Англии.

В душе Сомса что-то откликнулось. Раз это будет против француза, надо помочь по мере сил.

— Поставьте-ка мне на него пять фунтов, — неожиданно обратился он к Джеку Кардигану.

— Вот это дело, дядя Сомс! Шансы у них примерно равны. Посмотрите, какая у нее голова и перед, грудь какая широкая. Круп, пожалуй, хуже, но все-таки лошадь замечательная.

— Какой из них француз? — спросил Сомс. — Тот? О! А! Нет, не нравится. Этот заезд я посмотрю.

Джек Кардиган ухватил его повыше локтя — пальцы у него были, как железные.

— Марш со мной, — сказал он.

Сомса повели, затащили, выше, чем прежде, дали бинокль Имоджин — его же подарок — и оставили одного. Он изумился, обнаружив, как ясно и далеко видит. Какая уйма автомобилей и какая уйма народа! «Национальное времяпрепровождение» — так, кажется, это называют. Вот проходят лошади, каждую ведет в поводу человек. Что и говорить, красивые создания! Английская лошадь против французской лошади — в этом есть какой-то смысл. Он порадовался, что Аннет еще не вернулась из Франции, иначе она была бы здесь с ним. Теперь они идут легким галопом. Сомс добросовестно постарался отличить одну от другой, но если не считать номеров, они все были до черта похожи. «Нет — решил он, — буду смотреть только на этих двух и еще на ту вот высокую», — он выбрал ее за кличку — Понс Асинорум.





Он не без труда заучил цвета камзолов трех нужных жокеев и навел бинокль на группу лошадей у старта. Однако, как только они пошли, все спуталось, он видел только, что одна лошадь идет впереди других. Стоило ли стараться заучивать цвета! Он смотрел, как они скачут — все вперед, и вперед, и вперед — и волновался, потому что ничего не мог разобрать, а окружающие, по видимому, прекрасно во всем разбирались. Вот они выходят на прямую. «Фаворит ведет!» — «Смотрите на француза!» Теперь Сомс мог различить знакомые цвета. Впереди те две! Рука его дрогнула, и он уронил бинокль. Вот они идут — почти голова в голову! О черт, неужели не он — не Англия? Нет! Да! Да нет же! Без всякого поощрения с его стороны сердце его колотилось до боли. «Глупо, — подумал он. — Француз! Нет, фаворит выигрывает! Выигрывает!» Почти напротив него лошадь вырвалась вперед. Вот молодчина! Ура! Да здравствует Англия! Сомс едва успел прикрыть рот рукой, слова так и просились наружу. Кто-то заговорил с ним. Он не обратил внимания. И бережно уложив в футляр бинокль Имоджин, он снял свой серый цилиндр и заглянул в него. Там ничего не оказалось, кроме темного пятна на рыжеватой полоске кожи в том месте, где она промокла от пота.

III

ДВУХЛЕТКИ

Тем временем в паддоке, в той его части, где было меньше народу, готовили к скачкам двухлеток.

— Джон, пойдем посмотрим, как седлают Рондавелю, — сказала Флер.

И рассмеялась, когда он оглянулся.

— Нет, Энн при тебе весь день и всю ночь. Разок можно пойти и со мной.

В дальнем углу паддока, высоко подняв благородную голову, стоял сын Голубки; ему осторожно вкладывали мундштук, а Гринуотер собственноручно прилаживал на нем седло.

— Никому на свете не живется лучше, чем скаковой лошади, — говорил Джон. — Посмотри, какие у нее гла-

за — умные, ясные, живые. У ломовых лошадей такой разочарованный, многострадальный вид, у этих — никогда. Они любят свое дело, это поддерживает их настроение.

— Не читай проповедей, Джон! Ты так и думал, что мы здесь встретимся?

— Да.

— И все-таки приехал. Какая храбрость!

— Тебе непременно хочется говорить в таком тоне?

— А в каком же? Ты заметил, Джон, скаковые лошади, когда стоят, никогда не сгибают колен; оно и понятно, они молодые. Между прочим, есть одно обстоятельство, которое должно бы умерить твои восторги. Они всегда подчиняются чужой воле.

— А кто от этого свободен?

Какое у него жесткое, упрямое лицо!

— Посмотрим, как его поведут.

Они подошли к Вэлу, тот хмуро сказал:

— Ставить будете?

— Ты как, Джон?

— Да; десять фунтов.

— Ну и я так. Двадцать фунтов за нас двоих, Вэл. Вэл вздохнул.

— Посмотрите вы на него! Видали вы когда-нибудь более независимого двухлетка? Помяните мое слово, он далеко пойдет. А мне не разрешают ставить больше двадцати пяти фунтов! Черт!

Он отошел от них и заговорил с Гринуотером.

— Более независимого, — сказала Флер. — Несовременная черта — правда, Джон?

— Не знаю; если посмотреть поглубже...

— О, ты слишком долго прожил в глуши. Вот и Фрэнсис был на редкость цельный; Энн, вероятно, такая же. Напрасно ты не отведал Нью-Йорка — стоило бы, судя по их литературе.

— Я не сужу по книгам; по-моему, между литературой и жизнью нет ничего общего.

— Будем надеяться, что ты прав. Откуда бы посмотреть этот заезд?

— Встанем вон там, у ограды. Меня интересует финиш. Я что-то не вижу Энн.

Флер крепко сжала губы, чтобы не сказать: «А ну ее к черту!»

— Ждать некогда, у ограды не останется места.

Они протиснулись к ограде, почти против самого выигрышного столба, и стояли молча — как враги, думалось Флер.

— Вот они!

Мимо них пронеслись двухлетки, так быстро и так близко, что разглядеть их толком не было возможности.

— Рондавель хорошо идет, — сказал Джон, — и этот вот, гнедой, мне нравится.

Флер лениво проводила их глазами, она слишком остро чувствовала, что она одна с ним — совсем одна, отгороженная чужими людьми от взглядов знакомых. Она напрягла все силы, чтобы успеть насладиться этим мимолетным уединением. Она просунула руку ему под локоть и заставила себя проговорить:

— Я даже нервничаю, Джон. Он просто обязан прийти первым.

Понял он, что, когда он стал наводить бинокль, ее рука осталась висеть в воздухе?

— Отсюда ничего не разберешь. — Потом он опять прижал к себе локтем ее руку. Понял он? Что он понял?

— Пошли!!

Флер прижалась теснее.

Тишина — гам — выкрикивают одно имя, другое! Но для Флер ничего не существовало — она прижималась к Джону. Лошади пронеслись обратно, мелькнуло яркое пятно. Но она ничего не видела, глаза ее были закрыты.

— Шут его дерь, — услышала она его голос, — выиграл!

— О Джон!

— Интересно, что мы получим.

Флер посмотрела на него, на ее бледных щеках выступило по красному пятну, глаза глядели очень ясно.

— Получим! Ты правда хотел это сказать, Джон?

И хотя он двинулся следом за ней к паддоку, по его недоумевающему взгляду она поняла, что он не хотел это сказать.

Вся компания, кроме Сомса, была в сборе. Джек Кардиган объяснял, что выдача была несообразно низкая, так как на Рондавеля почти никто не ставил, — кто-то

что-то пронюхал; он, по-видимому, находил, что это заслуживает всяческого порицания.

— Надеюсь, дядя Сомс не увлекся свыше меры,— сказал он.— Его с «Золотого кубка» никто не видел. Вот здорово будет, если окажется, что он взял да ахнул пятьсот фунтов!

Флер недовольно сказала:

— Папа, вероятно, устал и ждет в машине. Нам, тетя, тоже пора бы двигаться, чтобы не попасть в самый разъезд.

Она повернулась к Энн.

— Когда увидимся?

Энн взглянула на Джона, он буркнул:

— О, как-нибудь увидимся.

— Да, мы тогда сговоримся. До свидания, милая! До свидания, Джон! Поздравь от меня Вэла,— и, кивнув им на прощание, Флер первая двинулась к выходу. Ярость, кипевшая в ее сердце, никак не проявилась: нельзя было дать заметить отцу, что с ней происходит что-то необычное.

Сомс действительно ждал в автомобиле. Столь противное его принципам волнение от «Золотого кубка» заставило его присесть на трибуне. Там он и просидел два следующих заезда, лениво наблюдая, как волнуется внизу толпа и как лошади быстро скачут в один конец и еще быстрее возвращаются. Отсюда, в милом его сердцу уединении, он мог если не с восторгом, то хотя бы с интересом спокойно разглядывать поразительно новую для него картину. Национальное времяпрепровождение — он знал, что сейчас каждый норовит на что-нибудь поставить. На одного человека, хоть изредка посещающего скачки, очевидно, приходится двадцать, которые на них ни разу не были, но все же как-то научились проигрывать деньги. Нельзя купить газету или зайти в парикмахерскую, без того чтобы не услышать о скачках. В Лондоне и на Юге, в Центральных графствах и на Севере все этим увлекаются, просаживают на лошадей шиллинги, доллары и соверены. Большинство этих людей, наверно, в жизни не видали скаковой лошади, а может, и вообще никакой лошади; скачки — это, видно, своего рода религия, а теперь, когда их не сегодня-завтра обложат налогом,— даже государственная ре-

лигия. Какой-то врожденный дух противоречия заставил Сомса слегка содрогнуться. Конечно, эти надрывающиеся обыватели, там, внизу, под смешными шляпами и зонтиками, были ему глубоко безразличны, но мысль, что теперь им обеспечена санкция царствия небесного или хотя бы его суррогата — современного государства, — сильно его встревожила. Точно Англия и в самом деле повернулась лицом к фактам. Опасный симптом! Теперь, чего доброго, закон распространится и на проституцию! Обложить налогом так называемые пороки — все равно что признать их частью человеческой природы. И хотя Сомс, как истый Форсайт, давно знал, что так оно и есть, но признать это открыто было бы чересчур по-французски. Допустить, что человеческая природа несовершенна, — это какое-то пораженчество; стоит только пойти по этой дорожке — неизвестно, где остановишься. Однако, по всему видно, налог даст порядочный доход — а доходы ох как нужны; и он не знал, на чем остановиться. Сам бы он этого не сделал, но не ополчаться же за это на правительство! К тому же правительство, как и он сам, по-видимому, поняло, что всякий азарт — самое мощное противоядие от революции; пока человек может заключать пари, у него остается шанс приобрести что-то задаром, а стремление к этому и есть та движущая сила, которая скрывается за всякой попыткой перевернуть мир вверх ногами. Кроме того, надо идти в ногу с веком, будь то вперед или назад — что, впрочем, почти одно и то же. Главное — не вдаваться в крайности.

В эти размеренные мысли внезапно вторглись совершенно неразмеренные чувства. Там, внизу, к ограде направлялись Флер и этот молодой человек. Из-под полей своего серого цилиндра он с болью глядел на них, вынужденный признать, что это самая красивая пара на всем ипподроме. У ограды они остановились — молча; и Сомс, который в минуты волнения сам становился молчаливее, чем когда-либо, воспринял это как дурной знак. Неужели и вправду дело неладно и страсть притаилась в своем неподвижном коконе, чтобы вылететь из него на краткий час легкокрылой бабочкой? Что кроется за их молчанием? Вот пошли лошади. Этот серый, говорят, принадлежит его племяннику. И к чему толь-

ко он держит лошадей! Когда Флер сказала, что едет на скачки, он знал, что из этого получится. Теперь он жалел, что поехал. Впрочем, нет! Лучше узнать все, что можно. В плотной толпе у ограды он мог различить только серый цилиндр молодого человека и черную с белым шляпу дочери. На минуту его внимание отвлекли лошади: почему и не посмотреть, как обгонят лошадь Вэла? Говорят, он многого ждет от нее — лишняя причина для Сомса не ждать от нее ничего хорошего. Вот они скачут, все сбились в кучу. Сколько их, черт возьми! И этот серый — удобный цвет, не спутаешь! Э, да он выигрывает! Выиграл!

— Гм,— сказал он вслух,— это лошадь моего племянника.

Ответа не последовало, и он стал надеяться, что никто не слышал. И опять взгляд его обратился на тех двоих у ограды. Да, вот они уходят молча, Флер впереди. Может быть... может быть, они уже не ладят, как прежде? Надо надеяться на лучшее. Но боже, как он устал! Пойти подождать их в автомобиле.

Там он и сидел в полумраке, когда они явились, громко болтая о всяких пустяках,— глупый вид у людей, когда они выигрывают деньги. А они, оказывается, все выиграли!

— А вы не ставили на него, дядя Сомс?

— Я думал о другом,— сказал Сомс, глядя на дочь.

— Мы уж подозревали, не вы ли нам подстроили такую безобразно маленькую выдачу.

— Как? — угрюмо сказал Сомс.— Вы что же, решили, что я ставил против него?

Джек Кардиган откинул назад голову и расхохотался.

— Ничего не вижу смешного,— буркнул Сомс.

— Я тоже, Джек,— сказала Флер.— Откуда папе знать что-нибудь о скачках?

— Простите меня, сэр, я сейчас вам все объясню.

— Боже упаси,— сказал Сомс.

— Нет, но тут что-то неладно. Помните вы этого Стэйнфорда, который стибрил у мамы табакерку?

— Помню.

— Так он, оказывается, был у Вэла в Уонсдоне, и Вэл думает, не пришло ли ему в голову, что Рондавель

незаурядный конь? В прошлый понедельник какой-то тип околачивался там, когда его пробовали на галопе. Поэтому они и выпустили жеребенка сегодня, а не стали ждать до Гудвудских скачек. И все-таки опоздали, кто-то нас перехитрил. Мы получили только вчетверо.

Для Сомса все это было китайской грамотой, он понял только, что этот томный негодяй Стэйнфорд каким-то образом опять явился причиной встречи Флер с Джоном: ведь он знал от Унифрида, что во время стачки Вэл и его компания остановились на Грин-стрит специально, чтобы повидаться со Стэйномфордом. Он горько раскаивался, что не подозвал тогда полисмена и не отправил этого типа в тюрьму.

Из-за коварства «этого Ригза» им не скоро удалось выбраться из гущи машин, и на Саут-сквер они попали только в семь часов. Их встретили новостью, что у Кита жар. С ним сейчас мистер Монт. Флер бросилась в детскую. Смыв с себя грязь за целый день, Сомс уселся в гостиной и стал тревожно ждать их доклада. У Флер в детстве бывал жар, и нередко он приводил к чему-нибудь. Если жар Кита не приведет ни к чему серьезному, он может пойти ей на пользу — привяжет ее мысли к дому. Сомс откинулся на спинку кресла перед картиной Фрагонара — изящная вещица, но бездушная, как все произведения этой эпохи! Зачем Флер изменила стиль этой комнаты с китайского на Louis Quinze? Очевидно, разнообразия ради. Нынешняя молодежь ни к чему не привязывается надолго: какой-то микроб в крови «безработных богачей» и «безработных бедняков» и вообще, по-видимому, у всех на свете. Никто не желает оставаться на месте, даже после смерти, судя по всем этим спиритическим сеансам. Почему люди не могут спокойно заниматься своим делом, хотя бы лежать в могиле! Они так жадно хотят жить, что жизни и не получается. Солнечный луч, дымный от пыли, косо упал на стену перед ним; красиво это — солнечный луч, но какая масса пыли, даже в такой вылизанной комнате! И подумать, что от какого-то микроба, который меньше, чем одна из этих пылинок, у ребенка может подняться температура! Сомс всей душой надеялся, что у Кита нет ничего заразного. И он стал мысленно перебирать все детские болезни — свинка, корь, ветряная

оспа, коклюш. Флер их все перенесла, но скарлатины избежала. И Сомс стал беспокоиться. Не мог ведь Кит подхватить скарлатину, он слишком мал. Но няньки такие небрежные — как знать? И он вдруг затосковал по Аннет. Что она делает во Франции столько времени? Она незаменима, когда кто-нибудь болеет, у нее есть отличные рецепты. Надо отдать справедливость французам — доктора у них толковые, когда дадут себе труд вникнуть в дело. Снадобье, которое они прописали ему в Довиле от прострела, замечательно помогло. А после визита этот маленький доктор сказал: «Завтра зайду пообедать!» — так по крайней мере ему послышалось. Потом выяснилось, что он хотел сказать: «Завтра зайду проведать». Не говорят ни на одном языке, кроме своего дурацкого французского, и еще делают обиженное лицо, когда вы сами не можете на нем объясняться.

Сомса долго продержали без известий; наконец пришел Майкл.

— Ну?

— Что ж, сэр, очень смахивает на корь.

— Гм! И где только он мог ее подцепить?

— Няня просто ума не приложит; но Кит страшно общительный. Стоит ему завидеть другого ребенка, как он бежит к нему.

— Это плохо, — сказал Сомс. — У вас тут рядом трущобы.

— Да, — сказал Майкл, — справа трущобы, слева трущобы, прямо трущобы — куда пойдешь?

Сомс сделал большие глаза.

— Хорошо еще, что не подлежит регистрации, — сказал он.

— Что, трущобы?

— Нет, корь. — Если он чего боялся, так это болезни, подлежащей регистрации: явятся представители власти, будут всюду совать свой нос, еще, чего доброго, заставят сделать дезинфекцию.

— Как себя чувствует мальчуган?

— Преисполнен жалости к самому себе.

— По-моему, — сказал Сомс, — блохи не так уж безвредны, как о них говорят. Эта его собака могла подцепить коревую блоху. Как это доктора до сих пор не обратили внимания на блох?

— Как это они еще не обратили внимания на трущобы,— сказал Майкл,— от них и блохи.

Сомс опять сделал большие глаза. Теперь его зять, как видно, помешался на трущобах! Очень беспокойно, когда в нем начинает проявляться общественный дух. Может быть, он сам бывает в этих местах и принес на себе блоху или еще какую-нибудь заразу.

— За доктором послали?

— Да, ждем с минуты на минуту.

— Толковый или шарлатан, как все?

— Тот же, которого мы приглашали к Флер.

— О! А! Помню — слишком много мнит о себе, но не глуп. Уж эти доктора!

В изящной комнате воцарилось молчание: они ждали звонка; и Сомс размышлял. Рассказать Майклу о том, что сегодня случилось? Он открыл было рот, но из него не вылетело ни звука. Уж сколько раз Майкл поражал его своими взглядами. И он все смотрел на зятя, а тот глядел в окно. Занятое у него лицо, некрасивое, но приятное, эти острые уши и брови, разбегающиеся вверх,— не думает вечно о себе, как все красивые молодые люди. Красивые мужчины всегда эгоисты — верно, избалованы. Хотел бы он знать, о чем задумался этот молодой человек!

— Вот он! — сказал Майкл, вскакивая с места.

Сомс опять остался один. На сколько времени, он не знал,— он был утомлен и вздремнул, несмотря на тревогу. Звук открывающейся двери разбудил его, и он успел принять озабоченный вид прежде, чем Флер заговорила:

— Почти наверно корь, папа.

— О,— протянул Сомс.— Как насчет ухода?

— Няня и я, конечно.

— Значит, тебе нельзя будет выходить?

«А ты разве не рад этому?» — словно сказало ее лицо. Как она читает у него в мыслях!

Видит бог, он не рад ничему, что огорчает ее, а между тем...

— Бедный малыш,— сказал он уклончиво.— Нужно вызвать твою мать. Постараюсь найти что-нибудь, чтобы развлечь его.

— Не стоит, папа, у него слишком сильный жар, у бедняжки. Обед подан, я буду обедать наверху.

Сомс встал и подошел к ней.

— Ты не тревожься,— сказал он.— У всех детей...

Флер подняла руку.

— Не подходи близко, папа. Нет, я не тревожусь.

— Поцелуй его от меня,— сказал Сомс.— Впрочем, ему все равно.

Флер взглянула на него. Губы ее чуть-чуть улыбнулись. Веки мигнули два раза. Потом она повернулась и вышла, и Сомс подумал:

«Она — вот бедняжка! Я ничем не могу помочь!»
О ней, а не о внуке были все его мысли.

IV

В «ЛУГАХ»

В «Лугах» св. Августина когда-то, без сомнения, росли цветы, и по воскресеньям туда приезжали горожане погулять и нарвать душистый букет. Теперь же, если там еще и можно было увидеть цветы, то разве только в алтаре церкви преподобного Хилери или у миссис Хилери на обеденном столе. Остальная часть многочисленного населения знала об этих редкостных творениях природы только понаслышке да изредка, заведя их в корзинах, восклицала: «Эх, хороши цветочки!»

В день Аскотских скачек, когда Майкл, верный своему обещанию, явился навестить дядю, его спешно повели смотреть, как двадцать маленьких «августинцев» отправляют в крытом грузовике провести две недели среди цветов в их естественном состоянии. В толпе ребят стояла его тетя Мэй — женщина высокого роста, стриженная, с рыжеватыми седеющими волосами и с тем слегка восторженным выражением, с которым обычно слушают музыку. Улыбка у нее была очень добрая, и все любили ее за эту улыбку и за манеру удивленно вздергивать тонкие брови, словно недоумевая: «Ну что же дальше?» В самом начале века Хилери нашел ее в доме приходского священника в Хэнтингдоншире, и двадцати лет она вышла за него замуж. С тех пор она не знала свободного часа. Два ее сына и дочь уже поступили в школу, так что во время учебного года семью ее составляли все-

го только несколько сот августинцев. Хилери случалось говорить: «Не налюбуюсь на Мэй. Теперь, когда она остриглась, у нее оказалось столько свободного времени, что мы думаем заняться разведением морских свинок. Если бы она еще позволила мне не бриться, мы бы действительно успели кое-что сделать».

Увидев Майкла, она улыбнулась ему и вздернула брови.

— Молодое поколение Лондона,— вполголоса сообщила она,— отбывает в Ледерхед. Правда, милые?

Майкла и в самом деле удивил здоровый и опрятный вид двадцати юных августинцев. Судя по улицам, с которых их собрали, и по матерям, которые пришли их проводить, семьи, очевидно, приложили немало усилий, чтобы снарядить их в дорогу.

Он стоял и приветливо улыбался, пока ребят выводили на раскаленный тротуар под восхищенными взорами матерей и сестер. Ими набили грузовик, открытый только сзади, и четыре молодые воспитательницы втиснулись в него следом за ними.

— «Двадцать четыре цыпленка в этот пирог запекли»,— вспомнил Майкл детскую песенку.

Тетка его рассмеялась.

— Да, бедняжки, и жарко им будет! Но правда, они славные? — Она понизила голос.— А знаешь, что они скажут через две недели, когда вернутся? «Да, да, спасибо, было очень хорошо, только малость скучно. Нам больше нравится на улицах». Каждый год та же история.

— А зачем их тогда возить, тетя Мэй?

— Они поправляются физически; вид у них крепкий, но на самом деле они не могут похвастаться здоровьем. А потом так ужасно, что они никогда не видят природы. Конечно, Майкл, мы выросли в деревне и не можем понять, что представляют для детей лондонские улицы — без пяти минут рай, знаешь ли.

Грузовик тронулся, вслед ему махали платками, выкрикивали напутствия.

— Матери любят, когда увозят ребят,— сказала тетя Мэй,— это льстит их самолюбию. Ну так. Что тебе еще показать? Улицу, которую мы только что купили и собираемся потрошить и фаршировать заново? Хилери, верно, там с архитектором.

— Кому принадлежала улица? — спросил Майкл.

— Владелец жил на Капри. Вряд ли он когда и видел ее. На днях он умер, и мы получили ее за сравнительно небольшие деньги, если принять во внимание близость к центру. Земельные участки стоят недешево.

— Вы заплатили за нее?

— О нет! — Она вздернула брови. — Отсрочили чек до второго пришествия.

— Боже правый!

— Никак нельзя было упустить эту улицу. Мы внесли аванс, остальную сумму надо достать к сентябрю.

— Сколько? — спросил Майкл.

— Тридцать две тысячи.

Майкл ахнул.

— Ничего, милый, достанем. Хилери в этом отношении молодец. Вот и пришли.

Это была изогнутая улица, на которой, по мере того как они медленно шли вперед, каждый дом казался Майклу более ветхим, чем предыдущий. Закопченные, с обвалившейся штукатуркой, сломанными решетками и разбитыми окнами, словно брошенные на произвол судьбы, как наполовину выгоревший корабль, они поражали взгляд и сердце своей заброшенностью.

— Что за люди тут живут, тетя Мэй?

— Всякие—по три-четыре семьи в каждом доме. Торговцы с Ковент-Гардена, разносчики, фабричные работницы — мало ли кто. Прозаических насекомых изобилие, Майкл. Работницы трогательные — хранят свои платья в бумажных пакетах. Многие очень недурно одеваются. Иначе, положим, их бы уволили, бедных.

— Но неужели у людей еще может быть желание здесь жить?

Брови тетки задумчиво сдвинулись.

— Тут, милый, не в желании дело. Просто экономические соображения. Где еще они могли бы жить так дешево? И даже больше: куда им вообще идти, если их выселят? Тут неподалеку власти недавно снесли целую улицу и построили громадный многоквартирный дом для рабочих; но тем, кто раньше жил на этой улице, квартирная плата оказалась не по карману, и они попросту рассосались по другим трущобам. А кроме того, им, знаешь ли, не по вкусу эти дома-казармы, и я их понимаю.

Им хочется иметь целый домик, а если нельзя — целый этаж в невысоком доме. Или хотя бы комнату. Это — свойство английского характера, и оно не изменится, пока мы не научимся лучше проектировать рабочие жилища. Англичане любят нижние этажи, наверно, потому, что привыкли. А, вот и Хилери!

Хилери Черрел, в темно-серой куртке с расстегнутым отложным воротничком и без шляпы, стоял в подъезде одного из домов и беседовал с каким-то худощавым мужчиной, узкое лицо которого очень понравилось Майклу.

— А, Майкл, ну что ты скажешь о Слэнт-стрит, мой милый? Все эти дома до единого мы выпотрошим и вычистим так, что будет любо-дорого смотреть.

— Сколько времени они останутся чистыми, дядя Хилери?

— О, в этом отношении беспокоиться не приходится, — сказал Хилери, — у нас уже есть некоторый опыт. Предоставь им только эту возможность, люди с радостью будут поддерживать у себя чистоту. Они и так чудеса творят. Зайди посмотри, только не прикасайся к стенам. Ты, Мэй, останься, поговори с Джемсом. Здесь живет ирландка; у нас их немного. Можно войти, миссис Корриган?

— Неужели же нельзя? Рада видеть ваше преподобие, хоть не больно у меня сегодня прибрано.

Плотная женщина с черными седеющими волосами, засучив по локоть рукава на мощных руках, оторвалась от какого-то дела, которым была занята в комнате, до невероятия заставленной и грязной. На большой постели спали, по-видимому, трое, и еще кто-то на койке; еда, очевидно, приготавлилась в небольшом закопченном камине, над которым хранились на полке трофеи памятных событий за целую жизнь. На веревке сушилось белье. На заплатанных, закоптелых стенах не было ни одной картины.

— Мой племянник Майкл Монт, миссис Корриган; он член парламента.

Ирландка подбоченилась.

— Неужто?

Бесконечное снисхождение, с которым это было сказано, поразило Майкла в самое сердце.

— А верно мы слышали, будто ваше преподобие ку-

пили всю улицу? А что вы с ней будете делать? Уж не выселять ли нас надумали?

— Ни в коем случае, миссис Корриган.

— Ну я так и знала. Я им говорила: «Скорей всего хочет почистить у нас внутри, а на улицу в жизни не выставит».

— Когда подойдет очередь этого дома, миссис Корриган,— а ждать, я думаю, не очень долго,— мы подыщем вам хорошее помещение, вы там поживете, а потом вернетесь к новым стенам, полам и потолкам, и будет у вас хорошая плита, и стирать будет удобно, и клопов не останется.

— Эх, вот это бы я посмотрела!

— Скоро увидите. Вот взгляни, Майкл, если я тут проткну пальцем обои, что только оттуда не ползет! Нельзя вам пробивать дырки в стенах, миссис Корриган.

— Что правда, то правда,— ответила миссис Корриган.— Как начал Корриган в прошлый раз вколачивать гвоздь, так что было! Там их не оберешься.

— Ну, миссис Корриган, рад видеть вас в добром здоровье. Всего хорошего, да скажите мужу, если его ослу нужен отдых, у нас в садике всегда найдется место. За хмелем в этом году поедете?

— А как же,— ответила миссис Корриган.— Всего вам хорошего, ваше преподобие; всего хорошего, сэр!

На голой обшарпанной площадке Хилери Черрел сказал:

— Соль земли, Майкл. Но подумай, каково жить в такой атмосфере! Хорошо еще, что они все лишены чувства обоняния.

Майкл засмеялся, глубоко вдыхая несколько менее спертый воздух.

— Сколько, по вашим подсчетам, надо времени, чтобы обновить эту улицу, дядя Хилери?

— Года три.

— А как вы думаете достать деньги?

— Выиграю, выпрошу, украду. Вот здесь живут три работницы с фабрики «Петтер и Поплин». Их, конечно, нет дома. Чистенько, правда? Бумажные пакеты оценил?

— Послушайте, дядя, вы бы осудили девушку, которая пошла бы на что угодно, лишь бы не жить в таком доме?

— Нет,— сказал преподобный Хилери,— как перед богом говорю, не осудил бы.

— Вот за это я вас и люблю, дядя Хилери. Вы заставляете меня опять уверовать в церковь.

— Милый ты мой! Реформация — ничто по сравнению с тем, что творится последнее время в церковных делах. То ли еще увидишь! Я, впрочем, держусь того мнения, что в небольших дозах отделение церкви от государства было бы нам совсем не вредно. Пойдем к нам завтракать и поговорим о плане перестройки трущоб. И Джемса прихватим.

Вот видишь ли,— продолжал он, когда они уселись вокруг обеденного стола в столовой его домика,— есть, я уверен, немало людей, которые с удовольствием вложили бы небольшую часть своего состояния под два с половиной процента, рассчитывая со временем получать четыре, будь у них уверенность, что тем самым они обеспечивают ликвидацию трущоб. Мы проделали кой-какие опыты и нашли, что вполне можем привести эти развалины в жилой вид, почти не повышая квартирной платы, и при этом выплачивать два с половиной процента нашим кредиторам. Если это возможно здесь, то возможно и во всех других районах, где частные общества по перестройке трущоб стали бы, как и мы, следовать тому принципу, что жителей трущоб никуда переселять не надо. Но нужны, разумеется, деньги — основной фонд перестройки трущоб — двухпроцентные облигации с купонами, подлежащие погашению через двадцать лет: из этого фонда общества по мере надобности брали бы средства для скупки и обновления трущобных участков.

— А как вы думаете погашать облигации через двадцать лет?

— О, так же, как и правительство,— выпуском новых.

— Однако,— сказал Майкл,— местные власти обладают большими полномочиями, у них больше шансов собрать эти деньги.

Хилери покачал головой.

— Полномочия — да; но власти медлительны, Майкл, по сравнению с ними улитка кажется скороходом. Кроме того, они как раз занимаются переселением, так как взимают слишком высокую квартирную плату. Да это и не в английском духе, голубчик. Не любим мы

почему-то быть обязанными властям и нести перед ними ответственность. А для муниципалитетов остается достаточно работы в трущобах, они и делают много полезного, но без помощи им с этим делом не сладить. Тут нужно человеческое отношение, нужно чувство юмора и вера, а это уж вопрос частной инициативы в каждом городе, где есть трущобы.

— А кто вам даст этот основной фонд? — спросил Майкл, поглядывая на брови тети Мэй, которые уже начали подергиваться.

— А вот,—подмигивая, сказал Хилери,—тут-то можно начать разговор о тебе. Я, собственно, затем и пригласил тебя сегодня.

— Вот так так! — сказал Майкл, чуть не подскочив над тарелкой с кашей.

— Совершенно верно,—сказал Хилери.— Но разве ты бы не мог устроить, чтобы объединенная комиссия от обеих палат выпустила воззвание? Основываясь на проделанной нами работе, Джемс сможет дать тебе точные цифры. Пусть сами посмотрят, что тут творится. Ведь не может быть, Майкл, чтобы не нашлось десяти справедливых людей, которые дадут подбить себя на такое дело.

— Десять апостолов,—слабо ввернул Майкл.

— Пусть так, но Христа, собственно, незачем вмешивать в это дело, тут нет ничего абстрактного или сентиментального; ты бы мог к ним подъехать с любой стороны. Например, старый сэр Тимоти Фэнфилд с восторгом повоевал бы с трущобными домовладельцами. Дальше: мы ведь электрифицировали все кухни и собираемся продолжать в том же духе — значит, есть приманка и для старика Шропшира. Да и нет надобности создавать комиссию только из членов обеих палат — в нее согласился бы войти сэр Томас Морсел, да, я думаю, и любой из известных врачей; можно бы завербовать парочку банкиров с примесью квакерской крови; и всюду найдется достаточно отставных генерал-губернаторов не у дел. Да если бы тебе еще удалось залучить в председатели члена королевской фамилии — дело было бы в шляпе.

— Бедный Майкл! — сказал ласковый голос тети Мэй.— Дай ты ему доесть кашу, Хилери!

Но Майкл не собирался братья за ложку: он видел, что здесь заваривается каша другого рода.

— Основной капитал для перестройки трущоб,— продолжал Хилери,— обслуживающий все общества по перестройке трущоб, существующие и проектируемые, если только они следуют принципу не переселять теперешних жильцов. Понимаешь, какой это создаст нам престиж в глазах жильцов? Мы пускаем их по верному пути и уж, конечно, будем следить, чтобы они опять не запустили своих жилищ.

— И вы думаете, это в ваших силах?—сказал Майкл.

— А ты наслушался разговоров, что в ваннах хранят уголь и овощи и все такое? Поверь мне, Майкл, все это преувеличено. Во всяком случае, у нас, частных работников, большое преимущество перед властями. Им приходится править — мы пытаемся руководить.

— Подогреть тебе кашу, милый? — предложила тетя Мэй.

Майкл отказался. Он понял, что тут и без подогревания жарко будет. Опять крестовый поход! В дяде Хилери, он всегда это знал, сохранилась кровь крестоносцев— во времена великих походов его предки именовались Керуаль, а теперь имя перешло в Чаруэл, а произносилось Черрел, согласно здравому английскому обычаю доставлять неприятности иностранцам.

— Я не для того хочу завербовать тебя, Майкл, чтобы ты сделал себе на этом карьеру, ведь ты, как-никак, аристократ.

— Спасибо на добром слове,— отозвался Майкл.

— Нет. Мне кажется, тебе просто нужно что-то делать, чтобы оправдать свое положение.

— Вы совершенно правы,— смиренно сказал Майкл,— вопрос только в том, это ли нужно делать.

— Безусловно, это,— сказал Хилери, размахивая ложечкой для соли, на которой был выгравирован герб Чаруэлов.— А что же иначе?

— Вы никогда не слышали о фоггартизме, дядя Хилери?

— Нет; что это такое?

— Не может быть! — сказал Майкл.— Нет, вы правда ничего о нем не слышали?

— Фоггартизм? К фанатизму отношения не имеет?

— Нет,— твердо сказал Майкл.— Вы здесь, конечно,

погрязли в нищете и пороках, но все-таки это уж слишком. Вы-то, тетя Мэй, знаете, что это такое?

Брови тети Мэй опять напряженно сдвинулись.

— Кажется, припоминаю,— сказала она,— кто-то, по-моему, говорил, что это галиматья!

Майкл простонал:

— А вы, мистер Джемс?

— Насколько я помню, это что-то, связанное с валютой?

— Вот полюбуйте́сь,— сказал Майкл,— три интеллигентных, общественно настроенных человека никогда не слышали о фоггартизме, а я больше года только о нем и слышу.

— Ну что ж,— сказал Хилери,— а ты слышал о моем плане перестройки трущоб?

— Нет, конечно.

— По-моему,— сказала тетя Мэй,— вы сейчас покурите, а я приготовлю кофе. Я вспомнила, Майкл: твоя мама говорила, что не дождется, когда ты бросишь им заниматься. Я только забыла название. Это насчет того, что городских детей надо отнимать у родителей.

— Отчасти и это,— сказал удрученный Майкл.

— Не надо забывать, милый, что чем беднее люди, тем больше они держатся за своих детей.

— Весь смысл и радость их жизни,—вставил Хилери.

— А чем беднее дети, тем больше они держатся за свои мостовые, как я тебе уж говорила.

Майкл сунул руки в карманы.

— Никуда я не гожусь,— сказал он безнадежным тоном.— Нашли с кем связываться, дядя Хилери.

Хилери и его жена очень быстро встали и оба положили руки ему на плечо.

— Голубчик! — сказала тетя Мэй.

— Да что с тобой? — сказал Хилери.— Возьми папироску.

— Ничего,— сказал Майкл, ухмыляясь,— это полезно.

Папироска ли была полезна или что другое, но он послушался и прикурил у Хилери.

— Тетя Мэй, какое самое жалостное на свете зрелище, не считая, конечно, пары, танцующей чарльстон?

— Самое жалостное зрелище? — задумчиво повторила тетя Мэй. — О, пожалуй, богач, слушающий плохой граммофон.

— Неверно, — сказал Майкл. — Самое жалостное зрелище на свете — это политический деятель, уверенный в своей правоте. Вот он перед вами!

— Мэй, не зевай! Закипела твоя машинка. Мэй делает прекрасный кофе, Майкл, лучшее средство от плохого настроения. Выпей чашку, а потом мы с Джемсом покажем тебе дома, которые мы уже обновили. Джемс, пойдем-ка со мной на минутку.

— Упорство его вызывает восторги, — вполголоса продекламировал Майкл, когда они исчезли.

— Не только восторги, милый, но и страх.

— И все-таки из всех людей, которых я знаю, я бы больше всего хотел быть дядей Хилери.

— Он и правда милый, — сказала тетя Мэй. — Кофе налить?

— Во что он, собственно, верит, тетя Мэй?

— О, на это у него почти не остается времени.

— Да, по этой линии церковь еще может на что-то надеяться. Все остальное — только попытки переплюнуть математику, как теория Эйнштейна. Правоверная религия была придумана для монастырей, а монастырей больше нет.

— Религия, — задумчиво протянула тетя Мэй, — в свое время сожгла много хороших людей, и не только в монастырях.

— Совершенно верно, когда религия вышла за монастырские стены, она превратилась в самую непримиримую политику, потом стала кастовым признаком, а теперь это кроссворд. Когда их разгадываешь, в чувствах нет ни малейшей необходимости.

Тетя Мэй улыбнулась.

— У тебя ужасные формулировки, милый.

— У нас в палате, тетя Мэй, мы только формулировками и занимаемся, от них всякая движущая сила гибнет. Но вернемся к трущобам; вы правда советуете мне попробовать?

— Если хочешь спокойной жизни — тогда нет.

— Пожалуй, что и не хочу. После войны хотел, а теперь нет. Но, видите ли, я попробовал насаждать фог-

гартизм, а ни один здравомыслящий человек на него и смотреть не хочет. Не могу я опять браться за безнадежное дело. Как вы думаете, есть шансы получить поддержку общества?

— Шансы минимальные, голубчик.

— А вы на моем месте взяли бы?

— Я, голубчик, пристрастна — Хилери так этого хочется; но и помимо этого мне думается, что ни в одном другом деле я не потерпела бы поражения с такой радостью. То есть это не совсем точно; просто нет ничего важнее, как создать для городского населения приличные жилищные условия.

— Вроде как перейти в лагерь противника, — пробормотал Майкл. — Мы не должны связывать свое будущее с городами.

— Оно все равно с ними связано, что бы ни делать. «Лучше синицу в руки», и такая большая синица, Майкл! А, вот и Хилери!

Хилери и архитектор потащили Майкла в «Луга». Моросил дождь, и этот лишенный цветов квартал выглядел более безрадостным, чем когда-либо. По дороге Хилери прославлял добродетели своих прихожан. Они пьют, но куда меньше, чем было бы естественно в данных обстоятельствах; они грязные, но он, живя в их условиях, был бы грязнее. Они не ходят в церковь — но кто, скажите, ждет от них иного? Они так мало бьют своих жен, что об этом и говорить не стоит; они очень добры и очень неразумны по отношению к своим детям. Они обладают чудотворным умением прожить, не имея прожиточного минимума. Они помогают друг другу гораздо лучше, чем те, у кого есть на это средства; никогда не пользуются сберегательной кассой, так как сберегать им нечего; и не заботятся о завтрашнем дне, который может оказаться хуже сегодняшнего. Учреждений они гнушаются. Уровень их нравственности вполне нормальный для людей, живущих в такой тесноте. Философского мышления у них хоть отбавляй, религиозности, собственно, никакой. Их развлечения — это кино, улица, дешевые папиросы, бары и воскресные газеты. Они любят попеть, не прочь потанцевать, если представится случай. У них свои понятия о честности, требующие особого изучения. Несчастные? Да, пожалуй, и нет, раз они махнули рукой на вся-

кое будущее, в этой ли жизни, или в иной,—реалисты они до кончиков своих заросших ногтей. Англичане? Да, почти все, и по преимуществу уроженцы Лондона. Кое-кто в молодости пришел из деревни и, конечно, не вернется туда в старости.

— Ты их полюбил бы, Майкл; их нельзя не полюбить, если узнаешь поближе. А теперь, голубчик, до свидания, и обдумай все это. На вас, молодежь, только и надеяться Англии. Всего тебе хорошего!

И слова эти еще звучали у Майкла в ушах, когда он вернулся домой и узнал, что его сынишка заболел корью.

V КОРЬ

Диагноз болезни Кита скоро подтвердился, и Флер перешла на положение затворницы.

Развлечения, которые Сомс старался найти для внука, прибывали почти каждый день. У одного были уши кролика и морда собаки, у другого хвост мула легко отделялся от туловища льва, третье издавало звук, похожий на жужжанье роя пчел; четвертое умещалось в жилетном кармане, но при желании растягивалось на целый фут. Все утра в городе Сомс проводил в добывании этих сокровищ, а также самых лучших мандаринов, винограда «мускат» и меда, качество которого оправдывало бы этикетку. Он жил на Грин-стрит, куда в ответ на умело составленную телеграмму о болезни мальчика явилась и Аннет. Сомс, который еще не целиком ушел в духовную жизнь, искренне ей обрадовался. Но после одной ночи он почувствовал, что может уступить ее Флер. Для нее будет облегчением знать, что мать с ней рядом. Может быть, к тому времени, когда кончится ее затворничество, этот молодой человек окажется вне ее поля зрения. Такая серьезная домашняя забота может даже заставить ее забыть о нем. Сомс был недостаточно философом, чтобы до конца понять томление своей дочери. В глазах человека, родившегося в 1855 году, любовь была чисто личным чувством, или если не была таковым, то должна была быть. Ему и в голову не приходило, что в тоске Флер по Джону могла проявиться ее жажда жизни,

всей жизни и только жизни; что Джон олицетворял собой ее первое серьезное поражение в борьбе за совершенную полноту — поражение, за которое, может быть, еще не поздно было расквитаться. Душа современной молодежи, пресыщенная и сложная, была для Сомса книгой если не за семью печатями, то с еще не разрезанными страницами. «Желать невозможного» стало принципом, когда для него всякие принципы уже утратили свое значение. Сознание, что есть предел человеческой жизни и счастью, было у него в крови, и его собственный опыт лишний раз убеждал его в этом. Он, правда, не определял жизнь как «наилучшее использование скверной ситуации», но, хотя был твердо убежден, что когда у вас есть почти все, то нужно добиваться остального, он все же считал, что нечего выходить из себя, если это не удастся. Яд поизносившейся религиозности, который до конца жизни заставлял истинно неверующих старых Форсайтов повторять положенные молитвы в смутной надежде, что после смерти они что-то за это получат, — этот яд до сих пор оказывал свое сдерживающее действие в организме их ненабожного отпрыска Сомса; так что, хоть он и был в общем уверен, что ничего не получит после смерти, но все же не считал, что получит все до смерти. Он сильно отстал от взглядов нового века, в число которых отнюдь не входила покорность судьбе, от века, который либо верил, опираясь на спиритизм, что есть немало шансов получить кое-что и после смерти, либо считал, что, так как умираешь раз и навсегда, надо постараться получить все, пока жив. Покорность судьбе! Сомс, разумеется, стал бы отрицать, что верит в такие вещи; и уж конечно он считал, что для дочери его все недостаточно хорошо! А вместе с тем в глубине души он чувствовал, что предел есть, а Флер этого чувства не знала, — и этой небольшой разницей, вызванной несходством двух эпох, и объяснялось, почему он не мог уследить за ее метаниями.

Даже в детской, огорченная и встревоженная тоскливым бредом лихорадящего сынишки, Флер продолжала метаться. Когда она сидела у кровати, а он метался и лепетал и жаловался, что ему жарко, дух ее тоже метался, роптал и жаловался. По распоряжению доктора она каждый день, приняв ванну и переодевшись, гуляла в

течение часа одна; если не считать этого, она была совершенно отрезана от мира, только уход за Китом немного утолял боль в ее сердце. Майкл был к ней бесконечно внимателен и ласков; и в ее манере держаться ничто не выдавало желания, чтобы на месте его был другой. Она твердо придерживалась своей программы не дать ни о чем догадаться, но для нее было большим облегчением не видеть на себе полный заботы пытливый взгляд отца. Она никому не писала, но получила от Джона коротенькое сочувственное письмо.

«Уонсдон, 22 июня.

Милая Флер,

Мы с большим огорчением узнали о болезни Кита. Ты, должно быть, очень переволновалась. Бедный малыш! От всей души надеемся, что самое неприятное уже позади. У меня в памяти корь осталась как два отвратительных дня, а потом масса чего-то вкусного и мягкого. Но он, наверно, еще слишком мал и понимает только, что ему очень не по себе.

Рондавелю скачки, говорят, пошли на пользу. Приятно, что мы побывали там вместе.

До свидания, Флер, желаю тебе всего лучшего.

Любящий тебя друг Джон».

Она сохранила это письмо, как хранила когда-то его прежние письма, но не носила с собой, как те; на слове «друг» появился мутный кружок, подозрительно похожий на слезу; кроме того, Майкл мог застать ее в любой стадии туалета. И она убрала письмо в шкатулку с драгоценностями, ключ от которой хранился только у нее.

Эти дни она много читала вслух Киту и еще больше сама, так как чувствовала, что за последнее время отстала от новейших течений в литературе; и развлечение она находила не столько в персонажах, слишком полных жизни, чтобы быть живыми, сколько в попытке угнаться за современностью. Так много было души в этих персонажах, и такой замысловатой души, что она никак не могла сосредоточиться на них, чтобы понять, почему же они не живые. Майкл приносил ей книгу за книгой и сообщал: «Говорят, умно написано», или: «Вот последняя вещь Нэйзинга», или: «Опять наш старый приятель Кэлвин —

не так солено, как та его книга, но все-таки здорово». И она сидела и держала их на коленях и постепенно начинала чувствовать, что знает достаточно, чтобы при случае сказать: «О да, «Мегеры» я читала, очень напоминает Пруста», или: «Любовь-хамелеон»? Да, это сильнее, чем ее «Зеленые пещеры», но все-таки не то, что «Обнаженные души», или: «Непременно прочтите «Карусель», дорогая, там такой изумительно непонятный конец».

Порой она беседовала с Аннет, но сдержанно, как подобает дочери с матерью после известного возраста; беседы их, собственно, сводились к выяснению проблем, так или иначе касающихся туалетов. Будущее, по словам Аннет, было полно тайны. Короче или длиннее юбки будут носить осенью? Если короче, то ее лично это не коснется; для Флер это, конечно, имеет значение, но сама она дошла до предела — выше колен юбку она не наденет. Что касается фасона шляп, то и тут ничего нельзя сказать определенно. Самая элегантная кокетка Парижа, по слухам, ратует за большие поля, но против нее орудуют темные силы — автомобильная езда и мадам де Мишель-Анж, «qui est toute pour la vieille cloche¹». Флер интересовало, слышала ли она что-нибудь новое относительно стрижки. Аннет, которая еще не остриглась, хотя голова ее уже давно трепетала на плахе, призналась, что она *désespérée*². Все теперь зависит от беретов. Если они привьются, женщины будут продолжать стричься; если нет — возможно, что волосы опять войдут в моду. Во всяком случае, модным оттенком будет чистое золото; «et cela est impossible. Ton père aurait une apoplexie»³. Так или иначе, Аннет опасалась, что осуждена до конца дней своих носить длинные волосы. Может быть, добрый бог поставит ей за это хорошую отметку.

— Если тебе хочется остричься, мама, я бы не стала смущаться. Папа просто консерватор — он сам не знает, что ему нравится, пусть испытает новое ощущение.

Аннет скорчила гримасу.

¹ Которая никак не желает отказаться от шляп без полей (франц.).

² Совсем сбилась с толку (франц.).

³ А это будет невыполнимо: твоего отца хватил бы удар (франц.).

— Ma chère, je n'en sais rien¹. Твой отец на все способен.

Человек, «способный на все», ежедневно приходил на полчаса, сидел перед картиной Фрагонара, выпытывая новости у Майкла или Аннет, потом неожиданно изрекал: «Ну, привет Флер; рад слышать, что малышу получше!» Или: «Боли у него, наверно, от газов. А все-таки лучше пригласили бы опять этого, как его... Привет Флер». И в холле он останавливался на минутку около саркофага, прислушивался. Потом, поправив шляпу, бормотал что-то вроде: «Ничего не поделаешь!» или «Мало она бывает на воздухе», — и уходил.

А Флер с облегчением, которого она сама стыдилась, смотрела из окна детской, как он удаляется угрюмой, размеренной походкой. Бедный, старый папа! Не его вина, что сейчас он олицетворяет в ее глазах угрюмую, размеренную поступь семейной добродетели. Да, надежда Сомса, что вынужденное сидение дома исцелит ее, что-то не оправдывалась. После первых тревожных дней, когда у Кита еще держалась высокая температура, Флер испытала как раз обратное. Ее чувство к Джону, в котором был теперь элемент страсти, незнакомой ей до замужества, росло, как всегда растут такие чувства, когда ум не занят, а тело лишено воздуха и движения. Оно расцветало, как пересаженный в теплицу цветок. Мысль, что ее обобрали, не давала ей покоя. Неужели им с Джоном никогда не вкусить золотого яблока? Неужели оно так и будет висеть, недостижимое, среди темной глянцевитой листвы, совсем не похожей на листву яблони? Она достала свой старый ящик с акварельными красками — давно она не извлекала его на свет — и изобразила фантастическое дерево с большими золотыми плодами.

За этим занятием застал ее Майкл.

— А здорово, — сказал он. — Ты напрасно забросила акварель, старушка.

Флер ответила напряженно, словно прислушиваясь к тому, что крылось за его словами:

— Просто от нечего делать.

— А какие это фрукты?

Флер рассмеялась.

¹ Ну, не знаю, милая (франц.).

— Вот в том-то и суть! Но это, Майкл, душа, а не тело фруктового дерева.

— Как я не сообразил,— устыдился Майкл.— Во всяком случае, можно мне повесить его в кабинете, когда будет готово? Сделано с большим чувством.

В душе Флер шевельнулась благодарность.

— Сделать надпись «Несъедобный плод»?

— Ни в коем случае, он такой сочный и вкусный на вид; только есть его пришлось бы над миской, как манго.

Флер опять засмеялась.

— Как тогда на пароходе,— сказала она и подставила щеку наклонившемуся над ней Майклу. Пусть хоть он не догадывается о ее чувствах.

И, правда, французская кровь в ней никогда не остывала в близости с тем, кто будил нежность, но не любовь; а пряная горечь, которой была окрашена кровь почти всех Форсайтов, помогала ей видеть забавную сторону ее положения. Она по-прежнему была далеко не несчастной женой хорошего товарища и прекрасного человека, который, что бы она ни сделала, сам никогда не поступит низко или невеликодушно. Брезгливое отвращение к нелюбимым мужьям, о котором она читала в старинных романах и которым, она знала, так грешила первая жена ее отца, казалось ей порядочной нелепостью. Совместительство было в моде; духовная верность, логически распространяющаяся на движения тела, была чем-то от каменного века или, во всяком случае, от века Виктории и мещанства. Следуя по этому пути, никогда не достигнешь полноты жизни. А между тем, откровенное язычество, воспеваемое некоторыми мастерами французской и английской литературы, тоже претило Флер своей неумолимо логичной привычкой во всем доходить до конца. Для этого в ее крови не хватало яда, Флер отнюдь не была одержима манией пола; до сих пор она почти и не сталкивалась с этим мучительным вопросом. Но теперь в ее чувстве к Джону было не только прежнее, но и новое; и целые дни проходили в планах: как бы, снова вырвавшись на свободу, увидеть его и услышать его голос, и прижаться к нему, как прижималась она к нему у ограды ипподрома, когда мимо них стрелой проносились лошади.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

Майкл между тем был не так ослеплен, как она думала, потому что, когда двое живут вместе и один из них еще влюблен, он чутьем улавливает всякую перемену, как газель чует засуху. Еще были неприятно свежи воспоминания об этом завтраке и о визите к Джун. Он старался найти утешение в общественной жизни — великом болеутоляющем средстве от жизни личной — и решил не жалеть сил для осуществления планов дяди Хилери по перестройке трущоб. Подобрал необходимую литературу и сознавая, что общественные группы действуют по принципу центрифуги, он стал обдумывать, с кого начать свой поход. Какую фигуру видного общественного деятеля поставить ему в центре комитета? Сэр Тимоти Фэнфилд и маркиз Шропшир очень пригодятся в свое время, но, хотя они достаточно известны своими причудами, не им пробить дорогу к широкой публике. Необходима известная доля магнетизма. Им не обладал ни один из банкиров, которых он мог припомнить, уж конечно, ни один юрист или представитель духовенства, а всякому военному, который пустился бы в реформы, было обеспечено презрение общества до тех пор, пока его реформы не претворятся в жизнь, то есть фактически до самой смерти. Хорошо бы адмирала, но до них не добраться. На отставных премьер-министров слишком большой спрос, к тому же им идет во вред принадлежность к той или иной партии; а литературные кумиры либо слишком стары, либо слишком заняты собой, либо ленивы, либо очень уж неустойчивы в своих взглядах. Остаются врачи, дельцы, генерал-губернаторы, герцоги и владельцы газет. Вот тут-то Майкл решил обратиться за советом к своему отцу.

Сэр Лоренс, который во время болезни Кита тоже почти каждый день заходил на Саут-сквер, вставил в глаз монокль и добрых две минуты молчал.

— Что ты понимаешь под магнетизмом, Майкл? Лучи заходящего или восходящего солнца?

— По возможности и то и другое, папа.

— Трудно,— сказал сэр Лоренс,— трудно. Верно одно — умный человек для вас слишком большая роскошь.

— То есть как?

— Слишком тяжело пришлось публике от умных людей. Да в Англии, Майкл, ум не так уж и ценят. Характер, мой милый, характер!

Майкл застонал.

— Знаю, знаю,— сказал сэр Лоренс,— вы, молодежь, считаете, что это понятие устарелое.— И вдруг он так вздернул свободную бровь, что монокль упал на стол.— Эврика! Уилфрид Бентуорт! Как раз подходит — «последний из помещиков возглавляет трущобную реформу» — вот это здорово, как теперь говорят.

— Старик Бентуорт? — нерешительно повторил Майкл.

— Он не старше меня — шестьдесят восемь, и не имеет никакого касательства к политике.

— Но ведь он глуп?

— Ну, заговорило молодое поколение! Грубоват и смахивает на лакея с усами, но глуп — нет. Три раза отказывался от звания пэра. Подумай, какое впечатление это произведет на публику!

— Уилфрид Бентуорт? Никогда бы я не вспомнил о нем — всегда думал, что он честный человек и больше ничего,— удивлялся Майкл.

— Но он и правда честный!

— Да, но он всегда сам об этом говорит.

— Это верно,— сказал сэр Лоренс,— но нельзя же совсем без недостатков. У него двадцать тысяч акров, он увлекается вопросом откорма скота. Состоит членом правления железной дороги, почетный председатель крикетного клуба в своем графстве, попечитель крупной больницы. Его все знают. Члены королевского дома приезжают к нему охотиться, родословную ведет еще от саксов и больше, чем кто бы то ни было в наше время, приближается к типу Джона Буля. Во всякой другой стране его участие погубило бы любой проект, но в Англии... Да, если тебе удастся его залучить, дело твое наполовину сделано.

Майкл с веселой усмешкой взглянул на своего родителя. Вполне ли Барт понимает современную Англию? Он

наспех окинул мысленным взором разные области общественной жизни. А ведь — честное слово — понимает!

— Как к нему подъехать, папа? А сами вы не хотели бы войти в комитет? Вы с ним знакомы, мы могли бы отправиться вместе.

— Если тебе правда этого хочется, — в тоне сэра Лоренса прозвучала грустная нотка, — я согласен. Пора мне опять заняться делом.

— Чудесно! Я начинаю понимать ваше мнение о Бентуорте. Вне всяких подозрений: богат настолько, что выиграть ему на этом деле нечего, и недостаточно умен, чтобы обмануть кого-нибудь, если б и захотел.

Сэр Лоренс кивнул.

— Еще прибавь его внешность; это колоссально много значит в глазах народа, который махнул рукой на сельское хозяйство. Нам все еще мила мысль о говядине. Этим объясняется немало случаев подбора наших вождей за последнее время. Народ, который оторвался от корня и плывет по течению, сам не зная куда, ищет в своих вождях грубости, говядины, грога или хотя бы портвейна. В этом есть что-то умильное, Майкл. Что у нас сегодня — четверг? Помнится, в этот день у Бентуорта заседание правления. Что ж, будем ковать железо, пока горячо? Мы почти наверно поймем его в клубе

— Отлично! — сказал Майкл, и они отправились.

— Этот клуб, собственно, объединяет путешественников, — говорил сэр Лоренс, поднимаясь по ступеням «Бэртон-Клуба», — а Бентуорт, кажется, на милую не отъезжал от Англии. Видишь, в каком он почете. Впрочем, я несправедлив. Сейчас вспомнил — он в бурскую войну командовал отрядом кавалерии. Что, «помещик» в клубе, Смайлмен?

— Да, сэр Лоренс, только что пришел.

«Последний из помещиков» действительно оказался у телеграфного аппарата. Его румяное лицо с подстриженными белыми усами и жесткими белыми бачками словно говорило, что не он пришел за новостями, а они явились к нему. Казалось, пусть обесценивается валюта и падают правительства, пусть вспыхивают войны и проваливаются стачки, но не согнется плотная фигура, не дрогнут спокойные голубые глаза под приподнятыми у наружных концов бровями. Большая лысина, коротко под-

стриженные остатки волос, выбрит как никто; а усы, достигающие как раз до углов губ, придавали необычайную твердость добродушному выражению обветренной физиономии.

Переводя взгляд с него на своего отца — тонкого, быстрого, верткого, смуглого, полного причуд, как болото бекасов, — Майкл смутился. Да, Уилфриду Бентуорту вряд ли свойственны причуды! «И как ему удалось не впутаться в политику — ума не приложу!» — думал Майкл.

— Бентуорт, это мой сын, государственный деятель в пеленках. Мы пришли просить вас возглавить безнадежное предприятие. Не улыбайтесь! Вам не отвертеться, как говорят в наш просвещенный век. Мы намерены прикрыть вами прорыв.

— А? Что? Садитесь. Вы о чем?

— Дело идет о трущобах; «не поймите превратно», как сказала дама. Начинай, Майкл.

Майкл начал. Он развил тезисы Хилери, привел ряд цифр, разукрасил их всеми живописными подробностями, какие смог припомнить, и все время чувствовал себя мухой, которая нападает на быка и с интересом следит за его хвостом.

— И когда в стенку вбивают гвоздь, сэр, — закончил он, — оттуда так и ползет.

— Боже милостивый, — сказал вдруг «помещик», — боже милостивый!

— Насчет «милости» приходится усомниться, — ввернул сэр Лоренс.

«Помещик» уставился на него.

— Богохульник вы эдакий, — сказал он. — Я незнаком с Черрелом; говорят, он выжил из ума.

— Нет, я не сказал бы, — мягко возразил сэр Лоренс, — он просто оригинален, как почти все представители старинных фамилий.

Образчик старой Англии, сидевший напротив него, подмигнул.

— Вы ведь знаете, — продолжал сэр Лоренс, — род Черрелов был уже стар, когда этот пройдоха-адвокат, первый Монт, положил нам начало при Иакове Первом.

— О, — сказал «помещик», — так это ему вы обязаны жизнью? Не знал.

— Вы никогда не занимались трущобами, сэр? — спросил Майкл, чувствуя, что нельзя их пускать в странствия по лабиринтам родословных.

— Что? Нет. Надо бы, наверно. Бедняги!

— Тут важна не столько гуманитарная сторона, — нашелся Майкл, — сколько ухудшение породы.

— М-м, — сказал «помещик», — а вы что-нибудь понимаете в улучшении породы?

Майкл покачал головой.

— Ну, так поверьте мне, тут почти все дело в наследственности. Население трущоб можно откормить, но переделать его характер невозможно.

— Не думаю, что у них такой уж плохой характер, — сказал Майкл, — детишки почти все светловолосые, а это, по всей вероятности, значит, что в них сохранились англосаксонские черты.

Он заметил, как его отец подмигнул. «Ай да дипломат!» — казалось, говорил он.

— Кого вы имеете в виду для комитета? — неожиданно спросил «помещик».

— Моего отца, — сказал Майкл. — Думали еще о маркизе Шропшир.

— Да из него песок сыплется!

— Но он еще молодцом, — сказал сэр Лоренс. — У него хватит резвости электрифицировать весь мир.

— Еще кто?

— Сэр Тимоти Фэнфилд...

— Ох и бесцеремонный старикашка! Да?

— Сэр Томас Морсел...

— Гм!

Майкл поспешил добавить:

— Или какой-нибудь другой представитель медицинского мира, о ком вы лучшего мнения, сэр.

— Нет таких. Вы это уверены — насчет клопов?

— Безусловно!

— Что ж, надо мне повидать Черелла. Он, я слышал, способен кого угодно заговорить до потери сознания.

— Хилери хороший человек, — вставил сэр Лоренс, — правда, хороший.

— Итак, Монт, если он придется мне по вкусу, я согласен. Я не люблю паразитов.

— Серьезное национальное начинание, сэр,— начал Майкл,— и никто...

«Помещик» покачал головой.

— Не заблуждайтесь,— сказал он.— Может, соберете несколько фунтов, может, отделаетесь от нескольких клопов; но национальные начинания—этого у нас не существует...

— Крепкий старик,— сказал сэр Лоренс, спускаясь по ступеням клуба.— Ни разу в жизни не выказал энтузиазма. Из него выйдет превосходный председатель. Помоему, ты убедил его, Майкл. Ты хорошо сыграл на клопах. Теперь можно поговорить с маркизом. К Бентуорту и герцог пошел бы на службу. Они знают, что он более древнего рода, чем они сами, и что-то в нем есть еще.

— Да, но что?

— Как тебе сказать, он не думает о себе; неизменно спокоен, и ему в высшей степени наплевать на все и на всех.

— Не может быть, что только в этом дело.

— Ну, скажу еще. Дело в том, что он мыслит, как мыслит Англия, а не так, как ей мыслится, что она мыслит.

— Ого!—сказал Майкл.—Ну и диагноз! Пообедаем, сэр?

— Да, зайдем в «Партенеум». Когда меня принимали в члены, я думал, что и заходить сюда не буду, а вот, знаешь ли, провожу тут довольно много времени. Во всем Лондоне не найти места, которое больше напоминало бы Восток. Йог не нашел бы к чему придраться. Я прихожу сюда и сижу в трансе, пока не наступит время уходить. Ни звука, никто не подойдет. Нет неизменного, материального комфорта. Преобладающий цвет—цвет Ганга. И непостижимой мудрости здесь больше, чем где бы то ни было на Западе. Не будем заказывать ничего экстренного. Клубный обед готовится с расчетом умерить всякие восторги. Завтрак получить нельзя, если член клуба приводит гостя. Где-то ведь нужно положить предел гостеприимству.

— Теперь,— начал он снова, когда они умили свои восторги,— можно пойти к маркизу. Я не встречался с ним после этой истории с Марджори Феррар. Будем надеяться, что у него нет подагры...

На Керзон-стрит им сказали, что маркиз пообедал и прошел в кабинет.

— Если он уснул, не будите,— сказал сэр Лоренс.

— Его светлость никогда не спит, сэр Лоренс.

Маркиз писал что-то, когда они вошли; он отложил перо и выглянул из-за письменного стола.

— А, Монт,— сказал он,— очень рад! — Потом осекся.— Надеюсь, не по поводу моей внучки?

— Совсем нет, маркиз. Нам просто нужна ваша помощь в общественном начинании в пользу бедных. Дело идет о трущобах.

Маркиз покачал головой.

— Не люблю вмешиваться в дела бедных: чем беднее люди, тем больше надо считаться с их чувствами.

— Мы совершенно с вами согласны, сэр; но позвольте моему сыну объяснить в чем дело.

— Так, садитесь.— Маркиз встал, поставил ногу на стул и, опершись локтем о колено, склонил голову набок.

Во второй раз за этот день Майкл пустился в объяснения.

— Бентуорт? — сказал маркиз.— У него шортгорны¹ не плохи; крепкий старик, но отстал от века.

— Поэтому мы и приглашаем вас, маркиз.

— Дорогой мой Монт, я стар.

— Мы пришли к вам именно потому, что вы так молоды.

— Честно говоря, сэр,— сказал Майкл,— мы думали, что вам захочется вступить в инициативный комитет, потому что, по плану моего дяди, предусмотрена электрификация кухонь; нам нужен человек авторитетный в этом деле, который смог бы продвигать его.

— А,— сказал маркиз,— Хилери Черрел — я как-то слышал его проповедь в соборе святого Павла. Очень занимательно! А как относятся к электрификации обитатели трущоб?

— Пока ее нет—разумеется, никак; но когда дело будет сделано, они сумеют ее оценить.

— Гм,— сказал маркиз.— На своего дядюшку вы, надо полагать, возлагаете большие надежды?

¹ Порода крупного рогатого скота.

— О да,— подхватил Майкл,— а на электрификацию тем более.

Маркиз кивнул.

— С этого и надо начинать. Я подумаю. Горе в том, что у меня нет денег; а я не люблю взывать к другим, когда сам не могу оказать сколько-нибудь существенного содействия.

Отец с сыном переглянулись. Отговорка была уважительная, и они ее не предусмотрели.

— Вряд ли вы слышали,— продолжал маркиз,— чтобы кто-нибудь хотел купить кружева *point de Venise*¹, настоящие? Или,— прибавил он,— у меня есть картина Морланда...

— Морланд? — воскликнул Майкл.— Мой тесть как раз недавно говорил, что ему нужен Морланд.

— А помещение у него хорошее? — печально спросил маркиз.— Это белый пони.

— О да, сэр; он серьезный коллекционер.

— И можно надеяться, что со временем картина перейдет государству?

— Есть все основания так полагать.

— Ну что же, может быть, он зайдет посмотреть? Картина еще ни разу не переходила из рук в руки. Если он даст мне рыночную цену, какая бы она ни была, это может разрешить нашу задачу.

— Вы очень добры.

— Нисколько,— сказал маркиз.— Я верю в электричество и ненавижу дым. Кажется, его фамилия Форсайт? Тут был процесс — моя внучка. Но это дело прошлое. Я полагаю, вы теперь помирились?

— Да, сэр. Я ее видел недели две назад, и мы очень хорошо поболтали.

— У вас, современной молодежи, память короткая,— сказал маркиз,— новое поколение как будто уж и войну забыло. Вот не знаю, хорошо ли это. Вы как думаете, Монт?

— «*Tout casse, tout passe...*»², маркиз.

— О, я не жалуясь,— сказал маркиз,— скорее наоборот. Кстати, вам в этот комитет нужно бы человека новой формации, с большими деньгами.

¹ Венецианские (франц.).

² Все проходит (франц.).

— А у вас есть такой на примете?

— Мой сосед, некий Монтросс — полагаю, что настоящая фамилия его короче, — он мог бы вам пригодиться. Нажил миллионы на резиновых подвязках. Знает секрет, как заставить их служить ровно столько, сколько нужно. Он иногда с тоской на меня поглядывает — я, видите ли, их не ношу. Может быть, если вы сошлетесь на меня... У него есть жена и еще нет титула. Полагаю, он не отказался бы поработать на пользу общества.

— Как будто и правда человек подходящий, — сказал сэр Лоренс. — Как вы думаете, можно рискнуть теперь же?

— Попробуйте, — сказал маркиз, — попробуйте. Я слышал, он много сидит дома. Не стоит останавливаться на полдороге; если нам действительно предстоит электрифицировать не одну и не две кухни, на это потребуются колоссальные суммы. Человек, который оказал бы в этом существенное содействие, заслуживает титула больше, чем многие другие.

— Вполне с вами согласен, — сказал сэр Лоренс, — истинная услуга обществу. Титулом, полагаю, соблазнять его не следует?

Маркиз покачал головой, опиравшейся о ладонь.

— По нашим временам — нет, — сказал он. — Только назовите имена его коллег. На интерес его к самому делу рассчитывать не приходится.

— Ну, не знаю, как благодарить вас. Мы дадим вам знать, примет ли Уилфрид Бентуорт пост председателя, и вообще будем держать вас в курсе дела.

Маркиз снял ногу со стула и слегка поклонился в сторону Майкла.

— Приятно, когда молодых политических деятелей интересует будущее Англии, ведь никакая политика не избавит ее от будущего. А кстати, вы свою кухню электрифицировали?

— Мы с женой думали об этом, сэр.

— Тут не думать надо, — сказал маркиз, — а делать.

— Сделаем непременно.

— Надо действовать, пока не кончилась стачка, — сказал маркиз. — Не знаю, есть ли что короче, чем память общества.

— Фью! — сказал сэр Лоренс у подъезда соседнего

дома.— Да он все молодеет. Ну, будем считать, что фамилия здешнего владельца была раньше Мосс. А если так, спрашивается: хватит ли у нас ума на это дело?

И они не слишком уверенным взглядом окинули особняк, перед которым стояли.

— Самое лучшее идти напрямик,— сказал Майкл.— Поговорить о трущобах, назвать людей, которых мы надеемся завербовать, а остальное предоставить ему.

— По-моему,— сказал сэр Лоренс,— лучше сказать «завербовали», а не «надеемся завербовать».

— Стоит вам назвать имена, папа, как он поймет, что нам нужны его деньги.

— Это он и так поймет, мой милый.

— А деньги у него есть, это верно?

— Фирма Монтросс! Они изготавливают не только резиновые подвязки.

— Я думаю, лучше всего совершенно открыто бить на его великодушие. Вы ведь знаете, они очень великодушный народ.

— Нечего нам тут стоять, Майкл, и обсуждать, из чего соткана душа иудейского племени. Ну-ка, звони!

Майкл позвонил.

— Мистер Монтросс дома? Благодарю вас. Передайте ему, пожалуйста, эти карточки и спросите, можно ли нам зайти к нему ненадолго?

Комната, в которую их ввели, была, очевидно, особо предназначена для подобных посещений: в ней не было ничего такого, что можно с легкостью унести; стулья были удобные, картины и бюсты ценные, но большие.

Сэр Лоренс разглядывал один из бюстов, а Майкл— одну из картин, когда послышался голос:

— К вашим услугам, джентльмены.

Мистер Монтросс был невысок ростом и немного напоминал худого моржа, который был когда-то брюнетом, но теперь поседел; у него был нос с легкой горбинкой, грустные карие глаза и густые нависшие седеющие усы и брови.

— Нас направил к вам ваш сосед, сэр, маркиз Шропшир,— сразу начал Майкл.— Мы хотим образовать комитет, который обратился бы с воззванием для сбора средств на перестройку трущоб.— И он в третий раз пустился излагать подробности дела.

— А почему вы обратились именно ко мне, джентльмены? — спросил мистер Монтросс, когда он кончил. Майкл на секунду запнулся.

— Потому что вы богаты, сэр, — сказал он просто.

— Это хорошо! — сказал мистер Монтросс. — Видите ли, я сам вышел из трущоб, мистер Монт, — так, кажется? — да, мистер Монт, я вышел оттуда и хорошо знаком с этими людьми. Я думал, не поэтому ли вы ко мне обратились.

— Прекрасно, сэр, — сказал Майкл, — но мы, конечно, и понятия не имели.

— Так вот, это люди без будущего.

— Это-то мы и хотим изменить, сэр.

— Если вырвать их из трущоб и пересадить в другую страну, тогда может быть; но если оставить их на улицах... — мистер Монтросс покачал головой. — Я ведь знаю этих людей, мистер Монт; если б они думали о будущем, то не могли бы жить. А если не думать о будущем — выходит, что его и нет.

— А как же вы сами? — сказал сэр Лоренс.

Мистер Монтросс перевел взгляд с Майкла на визитные карточки, которые держал в руке, потом поднял свои грустные глаза.

— Сэр Лоренс Монт, не так ли? Я еврей, это другое дело. Еврей всегда выйдет в люди, если он настоящий еврей. Почему польским и русским евреям не так легко выйти в люди — это у них на лицах написано, слишком в них много славянской или монгольской крови. Чистокровный еврей, как я, всегда выбьется.

Сэр Лоренс и Майкл переглянулись, словно хотели сказать: «Какой славный!»

— Я рос бедным мальчиком в скверной трущобе, — продолжал мистер Монтросс, перехватив их взгляд, — а теперь я... да, миллионер; но достиг я этого не тем, что швырял деньги на ветер. Я люблю помогать людям, которые и сами о себе заботятся.

— Так, значит, — со вздохом сказал Майкл, — вас никак не прельщает наш план, сэр?

— Я посоветуюсь с женой, — тоже со вздохом ответил мистер Монтросс. — Всего лучшего, джентльмены, я извещу вас письмом.

Уже темнело, когда оба Монта медленно двинулись к Маунт-стрит.

— Ну? — сказал Майкл.

Сэр Лоренс подмигнул.

— Честный человек, — сказал он. — Наше счастье, что у него есть жена.

— То есть?

— Будущая баронесса Монтросс уговорит его. Иначе ему незачем было бы с ней советоваться. Итого четверо, а сэр Тимоти — дело верное: владельцы трущобных домов его *bêtes noires*¹. Не хватает еще троих. Епископа всегда можно подыскать, только вот забыл, какой из них сейчас в моде; известный врач нам непременно нужен, и хорошо бы какого-нибудь банкира, а впрочем, может быть, обойдемся и твоим дядей, Лайонелем Черрелом, — он досконально изучил в судах темные стороны финансовых операций; и для Элисон мы нашли бы работу. А теперь, мой милый, спокойной ночи! Давно я так не уставал.

На углу они расстались, и Майкл направился к Вестминстеру. Он прошел вдоль стрельчатой решетки парка за Букингемским дворцом и мимо конюшен в направлении Виктория-стрит. Тут везде были премиленькие трущобы, хотя за последнее время, он слышал, за них взялись городские власти. Он шел кварталом, где за них взялись так основательно, что снесли целую кучу ветхих домов. Майкл смотрел на остатки стен, расцвеченных, как мозаикой, несодранными обоями. Что случилось с племенем, которое выгнали из этих развалин? Куда понесли они свои трагические жизни, из которых они умеют делать такую веселую комедию? Он добрался до широкого потока Виктория-стрит, пересек ее и, выбрав путь, которого, как ему было известно, следовало избегать, скоро очутился там, где покрытые коркой времени старухи дышали воздухом, сидя на ступеньках, и узкие переулки вводили в неисследованные глубины. Майкл исследовал их мысленно, но не на деле. Он задержался на углу одного из переулков, стараясь представить себе, каково тут жить. Это ему не удалось, и он быстро зашагал дальше и повернул к себе на Саут-сквер, к своему жи-

¹ Объект ненависти (франц.).

лицу—такому безупречно чистому, с лавровыми деревьями в кадках, под датской крышей. И ему стало больно от чувства, знакомого людям, которым не безразлично их собственное счастье.

«Флер сказала бы,— думал он, усевшись на саркофаг, так как и он утомился,— сказала бы, что раз у этих людей нет эстетического чувства и нет традиций, ради которых стоило бы мыться, то они по крайней мере так же счастливы, как мы. Она сказала бы, что они извлекают столько же удовольствия из своей полуголодной жизни, сколько мы из ванн, джаза, поэзии и коктейлей. И в общем она права. Но признать это — какая капитуляция! Если это действительно так, то куда мы все идем? Если жизнь с клопами и мухами — все равно что жизнь без клопов и без мух, к чему тогда «порошок Китинга»¹ и все другие мечтания поэтов? «Новый Иерусалим» Блэйка², конечно, возник на основе «Китинга», а в основе «Китинга» лежит нежная кожа. Значит, совсем не цинично утверждать, что цивилизация не для толстокожих. Может, у людей есть и души, но кожа у них есть несомненно, и прогресс реален, только если думать о нем, исходя из этого!»

Так думал Майкл, свесив ноги с саркофага; и, размышляя о коже Флер, гладкой и чистой, он пошел наверх.

Она только что приняла вечернюю ванну и стояла у окна своей спальни. Думала. О чем? О луне над сквером?

— Бедная узница,— сказал он, обнимая ее.

— Как странно шумит город по вечерам, Майкл. И, как подумаешь,— этот шум производят семь миллионов отдельных людей; и у каждого своя дорога.

— А между тем все мы идем в одну сторону.

— Никуда мы не идем,— сказала Флер.— Просто быстро двигаемся.

— Какое-то направление все же есть, девочка.

— Да, конечно,— перемена.

— К лучшему или к худшему; но и это уже направление.

— Может быть, мы все идем к пропасти, а потом — ух!

¹ Распространенный порошок от клопов.

² Уильям Блэйк (1757—1827) — английский поэт-мистик.

— Как гадарские свиньи? ¹.

— Ну, а если и так?

— Я согласен,— сказал удрученный Майкл,— все мы висим на волоске; но ведь есть еще здравый смысл.

— Здравый смысл — когда есть страсть?

Майкл разжал руки.

— Я думал, ты всегда стоишь за здравый смысл. Страсть? Страсть к обладанию? Или страсть к знанию?

— И то и другое,— сказала Флер.— Такое уж теперь время, а я дитя своего времени. Ты вот нет, Майкл.

— Ты уверена? — сказал Майкл, отпуская ее.— Но если тебе хочется знать или иметь что-нибудь определенное, Флер, лучше скажи мне.

После минутного молчания она просунула руку ему под локоть и прижалась губами к его уху.

— Только луну с неба, милый. Пойдем спать.

VII

ДВА ВИЗИТА

В тот самый день, когда Флер освободилась от обязанностей сиделки, к ней явилась совершенно неожиданная посетительница. Флер, правда, сохранила о ней смутное воспоминание, неразрывно связанное с днем своей свадьбы, но никак не предполагала снова с ней увидеться. Услышав слова лакея: «Мисс Джун Форсайт, мэм», и обнаружив ее перед картиной Фрагонара, она как будто пережила легкое землетрясение.

При ее появлении серебристая фигурка обернулась и протянула руку в нитяной перчатке.

— Неглубокая живопись,— сказала она, указывая на картину подбородком,— но комната ваша мне нравится. Прекрасно подошла бы для картин Харолда Блэйда. Вы знаете его работы?

Флер покачала головой.

— О, а я думала, всякий...— маленькая женщина запнулась, словно увидела край пропасти.

— Что же вы не сядете? — сказала Флер.— У вас по-прежнему галерея около Корк-стрит?

¹ По евангельской легенде, Христос в стране Гадара исцелил бесноватых, а бесов вселил в стадо свиней, после чего все стадо бросилось с обрыва в море.

— О нет, там место было никудышное. Продала за половину той цены, которую заплатил за нее отец.

— А что случилось с этим польским американцем — Борис Струмо... дальше не помню, — в котором вы приняли такое участие?

— Ах, он? Он погиб безвозвратно. Женился и работает только для заработка. Получает большие деньги за картины, а пишет гадость. Так, значит, Джон с женой... — Она опять запнулась, и Флер попробовала заглянуть в ту пропасть, над которой Джун занесла было ногу.

— Да, — сказала она, твердо глядя в бегающие глаза Джун. — Джон, по-видимому, совсем расстался с Америкой. Не могу себе представить, как с этим примирится его жена.

— А, — сказала Джун, — Холли говорила мне, что и вы побывали в Америке. Вы там виделись с Джоном?

— Почти.

— Как вам понравилась Америка?

— Очень бодрит.

Джун потянула носом.

— Там картины покупают? То есть как вы думаете, у Харолда Блэйда были бы шансы продать там свои работы?

— Не зная его работ...

— Ну, конечно, я забыла; так странно, что вы их не знаете.

Она наклонилась к Флер, и глаза ее засияли.

— Мне так хочется, чтобы он написал ваш портрет — получилось бы изумительное произведение. Ваш отец непременно должен это устроить. При вашем положении в обществе, Флер, да еще после прошлогоднего процесса, — Флер едва заметно передернуло, — бедный Харолд сразу мог бы создать себе имя. Он гениален, — добавила Джун, нахмуря лоб, — обязательно приходите посмотреть его работы.

— Я с удовольствием, — сказала Флер. — Вы уже видели Джона?

— Нет. Жду их в пятницу. Надеюсь, что она мне понравится. Мне обычно все иностранцы нравятся, кроме американцев и французов; то есть, конечно, бывают исключения.

— Ну разумеется, — сказала Флер. — Когда вы бываете дома?

— Харолд уходит каждый день от пяти до семи — ведь он работает у меня в студии. Лучше я вам покажу его картины, когда его не будет: он такой обидчивый, как всякий истинный гений. Я еще хочу, чтобы он написал портрет жены Джона. Женщины ему особенно удаются.

— В таком случае, может быть, лучше сначала Джону познакомиться с ним и с его работами?

Джун уставилась было на нее, потом быстро перевела взгляд на картину Фрагонара.

— Когда мне ждать вашего отца? — спросила она.

— Может быть, я лучше сама зайду сначала?

— Сомсу обычно нравится не то, что хорошо, — задумчиво произнесла Джун. — Но если вы ему скажете, что хотите позировать, он, конечно... он вас вечно балует.

Флер улыбнулась.

— Так я зайду. Скорее на будущей неделе. — И мысленно добавила: «А скорей всего в пятницу».

Джун собралась уходить.

— Мне нравится ваш дом и ваш муж. Где он?

— Майкл? Наверно, в трущобах. Он сейчас увлечен проектом их перестройки.

— Вот молодец. Можно взглянуть на вашего сына?

— Простите, у него только что кончилась корь.

Джун вздохнула.

— Много времени прошло с тех пор, как я болела корью. Отлично помню, как болел Джон. Я тогда привезла ему книжки с приключениями... — Она вдруг взглянула на Флер. — Вам его жена нравится? По-моему, глупо так рано жениться. Я все говорю Харолду, чтоб не женился, — с браком кончается все интересное. — Ее бегающий взгляд добавил: «Или начинается, а я этого не испытала». И вдруг она протянула Флер обе руки.

— Ну, приходите. Не знаю, понравятся ли ему ваши волосы!

Флер улыбнулась.

— Боюсь, что не смогу их отрастить для его удовольствия. А вот и папа идет! — Она видела, как Сомс прошел мимо окна.

— Без большой нужды я бы не стала с ним встречаться,— сказала Джун.

— Думаю, что это и его позиция. Если вы просто выйдете, он не обратит внимания.

— О! — сказала Джун и вышла.

Флер из окна смотрела, как она удаляется, словно ей некогда касаться земли.

Через минуту вошел Сомс.

— Что здесь понадобилось этой женщине? — спросил он.— Она как буревестник.

— Ничего особенного, милый. У нее новый художник, которого она пытается рекламировать.

— Опять какой-нибудь «несчастненький». Всю жизнь она ими славилась, с тех самых пор...— Он запнулся, чуть не произнеся имя Босини.— Только тогда и ходит, когда ей что-нибудь нужно. А что получила?

— Не больше, чем я, милый.

Сомс замолчал, смутно сознавая, что и сам не без греха. И правда, к чему куда-нибудь ходить, если не затем, чтобы получить что-нибудь? Это один из основных жизненных принципов.

— Я ходил взглянуть на эту картину Морланда,— сказал он,— несомненно, оригинал... Я, собственно, купил ее,— и он погрузился в задумчивость...

Узнав от Майкла, что у маркиза Шропшир продается Морланд, он сразу же сказал:

— А я и не собирался его покупать.

— Я так понял, сэр. Вы на днях что-то об этом говорили. Белый пони.

— Ну конечно,— сказал Сомс.— Сколько он за него просит?

— Кажется, рыночную цену.

— Такой не существует. Оригинал?

— Он говорит, что картина никогда не переходила из рук в руки.

Сомс задумался вслух:— Маркиз Шропшир, кажется, дед той рыжей особы?

— Да, но совсем ручной. Он говорил, что хотел бы показать его вам.

— Верю,— сказал Сомс и замолк...

— Где этот Морланд? — спросил он через несколько дней.

— В доме маркиза, сэр, на Керзон-стрит.

— О! А! Ну что ж, надо посмотреть.

После завтрака на Грин-стрит, где он жил до сих пор, Сомс прошел на Керзон-стрит и дал лакею карточку, на которой написал карандашом: «Мой зять Майкл Монт говорил, что вы хотели показать мне вашего Морланда».

Лакей вернулся и распахнул одну из дверей со словами:

— Пожалуйста сюда, сэр. Морланд висит над буфетом.

В громадной столовой, где даже громоздкая мебель казалась маленькой, Морланд совсем пропадал между двумя натюрмортами голландского происхождения и соответствующих размеров. Композиция картины была проста—белая лошадь в конюшне, голубь подбирает зерно, мальчик ест яблоко, сидя на опрокинутой корзине. С первого же взгляда Сомс убедился, что перед ним оригинал и даже не реставрированный — общий тон был достаточно темный. Сомс стоял спиной к свету и внимательно разглядывал картину. На Морланда сейчас не такой большой спрос, как раньше; с другой стороны, картины его своеобразны и удобного размера. Если в галерее не так много места и хочется, чтоб этот период был представлен, Морланд, пожалуй, выгоднее всего после Констэбля — хорошего Крома-старшего дьявольски трудно найти. А Морланд — всегда Морланд, как Милле — всегда Милле, и ничем иным не станет. Как все коллекционеры периода экспериментов, Сомс снова и снова убеждался, что покупать следует не только то, что сейчас ценно, но то, что останется ценным. Те из современных художников, думал он, которые пишут современные вещи, будут похоронены и забыты еще раньше, чем сам он сойдет в могилу; да и не мог он найти в них ничего хорошего, сколько ни старался. Те из современных художников, которые пишут старомодные вещи — а к ним принадлежит большая часть академиков, — те, конечно, осмотрительнее; но кто скажет, сохранятся ли их имена? Нет. Безопасно одно — покупать мертвых, и притом таких мертвых, которым суждено жить. А так как Сомс не был одинок в своих выводах, то тем самым большинству из живых художников была обеспечена безвременная

кончина. И действительно, они уже поговаривали о том, что картин сейчас не продать ни за какие деньги.

Он разглядывал картину, сложив пальцы наподобие трубки, когда послышался легкий шум; и, обернувшись, он увидел низенького старика в диагональном костюме, который точно так же разглядывал его самого.

Сомс опустил руку и, твердо решив не говорить «ваша светлость» или что бы там ни полагалось, сказал:

— Я смотрел на хвост — не плохо написан.

Маркиз тоже опустил руку и взглянул на визитную карточку, которую держал в другой.

— Мистер Форсайт? Да. Мой дед купил ее у самого художника. Сзади есть надпись. Мне не хочется с ним расставаться, но время сейчас трудное. Хотите посмотреть его с обратной стороны?

— Да, — сказал Сомс, — я всегда смотрю на обратную сторону.

— Иногда это лучшее, что есть в картине, — проговорил маркиз, с трудом снимая Морланда.

Сомс улыбнулся уголком рта; он не желал, чтобы у этого старика создалось ложное впечатление, будто он подлизывается.

— А сказывается наследственность, мистер Форсайт, — продолжал тот, нагнув голову набок, — когда приходится продавать фамильные ценности.

— Я могу и не смотреть с той стороны, — сказал Сомс, — сразу видно, что это оригинал.

— Так вот, если желаете приобрести его, мы можем сговориться просто как джентльмен с джентльменом. Вы, я слышал, в курсе всех цен.

Сомс нагнул голову и посмотрел на обратную сторону картины. Слова старика были до того обезоруживающие, что он никак не мог решить, надо ли ему разоружаться.

«Джордж Морланд — лорду Джорджу Феррару, — прочел он. — Стоимость — Z 80 — получена. 1797».

— Титул он получил позднее, — сказал маркиз. — Хорошо, что он уплатил Морланду, — великие повесы были наши предки, мистер Форсайт; то было время великих повес!

От лестной мысли, что «Гордый Доссет» был великий повеса, Сомс слегка оттаял.

— И Морланд был великий повеса,—сказал он.— Но в то время были настоящие художники, можно было не бояться покупать картины. Теперь не то.

— Ну не скажите, не скажите,—возразил маркиз,— еще есть чего ждать от электрификации искусства. Все мы захвачены движением, мистер Форсайт.

— Да,—мрачно подтвердил Сомс,—но долго на такой скорости не удержаться — это неестественно. Скоро мы опять остановимся.

— Вот не знаю. Все же нужно идти в ногу с веком, не правда ли?

— Скорость—это еще не беда,—сказал Сомс, сам на себя удивляясь,—если только она приведет куда-нибудь.

Маркиз прислонил картину к буфету, поставил ногу на стул и оперся локтем о колено.

— Ваш зять говорил вам, зачем мне нужны деньги? Он задумал электрифицировать кухни в трущобах. Как-никак, мистер Форсайт, мы все же чище и гуманнее, чем были наши деды. Сколько же, вы думаете, стоит эта картина?

— Можно узнать мнение Думетриуса.

— Этого, с Хэймаркета? Разве он лучше осведомлен, чем вы?

— Не сказал бы,—честно признался Сомс.—Но если бы вы упомянули, что картиной интересуюсь я, он за пять гиней оценил бы ее и, возможно, сам предложил бы купить ее у вас.

— Мне не так уж интересно, чтобы знали, что я продаю картины.

— Ну,—сказал Сомс,—я не хочу, чтобы вы выручили меньше, чем могли бы. Но если бы я поручил Думетриусу достать мне Морланда, больше пятисот фунтов я бы не дал. Предлагаю вам шестьсот.

Маркиз вздернул голову.

— Не слишком ли щедро? Скажем лучше — пятьсот пятьдесят?

Сомс покачал головой.

— Не будем торговаться,—сказал он.— Шестьсот. Чек можете получить теперь же, и я заберу картину. Будет висеть у меня в галерее, в Мейплдерхеме.

Маркиз снял ногу со стула и вздохнул.

— Право же, я очень вам обязан. Приятно думать, что она попадет в хорошую обстановку.

— Когда бы вам ни вздумалось приехать посмотреть на нее...

Сомс осекся. Старик одной ногой в могиле, другой в палате лордов (что, впрочем, почти одно и то же) — да разве ему захочется ехать!

— Это было бы прелестно,—сказал маркиз, глядя по сторонам, как того и ждал Сомс.— У вас там есть своя электростанция?

— Есть,— и Сомс достал чековую книжку.— Будьте добры сказать, чтобы вызвали такси. Если вы немного сдвинете натюрморты, ничего не будет заметно.

Прислушиваясь к отзвуку этих малоубедительных слов, они произвели обмен ценностями, и Сомс, забрав Морланда, в такси вернулся на Грин-стрит. Дорогой он подумал, не надул ли его маркиз, предложив сговориться как джентльмен с джентльменом. Приятный в своем роде старик, но вертляв, как птица, и так зорко поглядывает, сложив пальцы трубкой...

И теперь, в гостиной у дочери, он сказал:

— Что я слышу, Майкл занялся электрификацией кухонь в трущобах?

Флер улыбнулась; иронический оттенок ее улыбки не понравился Сомсу.

— Майкл по уши увяз.

— В долгах?

— О нет, увлекается трущобами, как раньше — фоггартизмом. Я почти не вижу его.

Сомс мысленно ахнул. Ко всем его мыслям о ней примешивался теперь Джон Форсайт. Правда ли ее огорчает, что Майкл поглощен общественной жизнью, или она притворяется и видит в этом только предлог, чтоб жить своей личной жизнью?

— О трущобах, конечно, пора подумать,— сказал он.— И ему нужно чем-нибудь заняться.

Флер пожала плечами.

— Майкл не от мира сего.

— Этого я не знаю,—сказал Сомс,— но он довольно-таки... э-э... доверчив.

— О тебе этого нельзя сказать, папа, правда? Мне ты ни капельки не доверяешь.

— Не доверяю! — растерялся Сомс. — Почему?

— Почему!

С горя Сомс воззрился на Фрагонара. Ох, хитра! Догадалась!

— Джун, верно, хочет, чтоб я купил какую-нибудь картину, — сказал он.

— Она хочет, чтобы ты заказал мой портрет.

— Вот что? Как фамилия ее «несчастненького»?

— Кажется, Блэйд.

— Никогда не слышал.

— Ну, так, наверно, услышишь.

— Да, — пробормотал Сомс, — она как пиявка. Это в крови.

— В крови Форсайтов? Значит, и ты и я такие, милый?

Сомс отвел взгляд от картины и в упор посмотрел в глаза дочери.

— Да, и ты и я.

— Вот хорошо-то, — сказала Флер.

VIII

ЗАБАВНАЯ ВСТРЕЧА

Сомс был недалек от истины, когда усомнился, действительно ли очередное увлечение Майкла так уж огорчает Флер. Она совсем не была оторчена. Трущобы отвлекали внимание Майкла от нее самой, не давали ему заняться регулированием рождаемости, до которого, казалось ей, страна еще не вполне доросла, и имели все шансы на популярность, чего не хватало фоггартизму. Трущобы были тут же, под самым носом; а на то, что под самым носом, может обратить внимание даже парламент. Вопрос касался городов, а следовательно — затрагивал шесть седьмых всех избирателей. Фоггартизм, ориентирующийся на земледелие, необходимое для пополнения жизненных сил и для производства продуктов питания как в Англии, так и в колониях, касался всего населения, но интересовал только одну седьмую часть избирателей. А Флер, будучи реалисткой до мозга костей, уже давно убедилась, что главная забота политических

деятелей — это чтобы их избирали и переизбирали. Избиратели — это магнит первой величины, они бессознательно направляют в ту или иную сторону все политические суждения и планы, а если это не так, то напрасно, — не они ли являются пробным камнем всякой демократии? С другой стороны, комитет, который формировал Майкл, должен был, казалось, дать лучшую из всех доступных ей возможностей продвижения в обществе.

— Если им нужно где-нибудь собираться, — сказала она, — почему не у нас?

— Чудесно! — ответил Майкл. — Близко и от палаты и от клубов. Вот спасибо, старушка!

Флер честно добавила:

— О, я буду очень рада. Можете начинать, как только я увезу Кита на море. Нора Кэрфью сдает мне на три недели свою дачку в Лоринге.

Она не добавила: «А оттуда всего пять миль до Уонсдона».

В пятницу утром она позвонила Джун:

— Я в понедельник уезжаю на море; я могла бы зайти сегодня, но вы, кажется, говорили, что придет Джон. Верно? Потому что в таком случае...

— Он придет в половине пятого, но ему нужно на обратный поезд в шесть двадцать.

— И жена его будет?

— Нет. Он хотел только посмотреть работы Харолда.

— А! Ну так я лучше зайду в воскресенье.

— Да, в воскресенье будет удобно, и Харолд вас увидит. Он никогда не выходит по воскресеньям — не выносит воскресного вида улиц.

Флер положила трубку и взяла со стола расписание. Да, есть такой поезд! Вот будет совпадение, если она поедет им же, чтобы осмотреть дачу Норы Кэрфью. Даже Джун не успеет проболтаться о их разговоре по телефону.

За завтраком она не сказала Майклу о своей поездке — вдруг ему вздумается тоже поехать или хотя бы проводить ее. Она знала, что днем он будет в палате, так не проще ли оставить ему записку, что она поехала проверить, успеют ли прибрать дачу к понедельнику. И после завтрака она нагнулась и поцеловала его в лоб без малейшего сознания измены. Будет только справед-

ливо, если она увидит Джона после этих унылых недель. Когда бы она ни увидела Джона, которого у нее украли, это будет только справедливо. И ближе к вечеру, когда она стала складывать в саквояж вещи, нужные ей для ночевки, два красных пятна горели у нее на щеках, мысли блуждали. Она выпила чаю, оставила записку с адресом отеля в Нетлфолде и рано поехала на вокзал Виктория. Дав на чай проводнику, чтобы обеспечить себе пустое купе, она оставила саквояж на своем месте у окна, а сама заняла позицию возле книжного киоска, недалеко от выхода на платформу. И пока она там стояла, разглядывая новинки, порожденные воображением, все помыслы ее были направлены на мир реальный. После притворного, призрачного существования ей предстояло полтора часа настоящей жизни. Кто осудит ее, если она сворует их у воровки-судьбы? А если кто и осудит, ей все равно. Стрелка вокзальных часов подвигалась вперед, а Флер перелистывала один роман за другим, в каждом находила молодых женщин в затруднительных положениях, и в голове ее бродили смутные аналогии с ее собственным положением. Осталось три минуты! Неужели он не придет? Эта несчастная Джун могла уговорить его остаться ночевать! Наконец она в отчаянии схватила книжку под названием «Скрипка obbligato», которое, во всяком случае, сулило нечто передовое, и заплатила за нее. И тут, получая сдачу, она увидела Джона. Она повернулась и быстро пошла на платформу, зная, что он идет еще быстрее. Она дала ему первому заметить ее.

— Флер!

— Джон! Куда ты едешь?

— В Уонсдон.

— О, а я в Нетлфолд, присмотреть моему младенцу дачу в Лоринге. Вот мой чемоданчик— сюда, живо! Поехали!

Дверь захлопнулась, и она протянула ему обе руки.

— Правда, необыкновенно и забавно?

Джон сжал ее руки, потом сразу выпустил.

— Я был у Джун. Она все такая же, дай бог ей здоровья!

— Да, она заходила ко мне на днях, хочет, чтобы я позировала ее очередному любимцу.

— Стоит. Я сказал, что закажу ему портрет Энн.

— Правда? Он даже ее достоин изобразить?

И сейчас же пожалела; не с этого она думала начать! А впрочем, надо же начать с чего-нибудь, надо же как-то занять губы, чтобы не дать им коснуться его глаз, его волос, его губ! И она заговорила: корь Кита, комитет Майкла, «Скрипка *obbligato*» и последователи Пруста; лошади Вэла, стихи Джона, запах Англии, который так важен поэту,—какая-то отчаянная мешанина из чего угодно, из всего на свете.

— Понимаешь, Джон, мне нужно выговориться, я месяц была в заключении.

И все это время она чувствовала, что даром теряет минуты, которые могла бы провести без слов, сердце к сердцу с ним, если правда, что сердце доходит до середины тела. И все время духовным хоботком искала, нащупывала мед и шафран его души. Найдет ли она что-нибудь, или весь запас бережется для этой несчастной американки, которая ждет его дома и к которой он — увы! — возвращается? Но Джон не подавал ей знака. То был не прежний, непосредственный Джон, он научился скрытности. По непонятному капризу памяти она вдруг вспомнила, как ее совсем маленькой девочкой привезли в дом Тимоти на Бэйсуотер-Род и как старая тетя Эстер — неподвижная фигура в черных кружевах и стеклярусе,—сидя в кресле времен Виктории, тихим тягучим голосом говорила ее отцу: «О да, милый, твой дядя Джолион, до того как жениться, был очень увлечен нашей близкой подругой, Эллис Рид; но у нее была чахотка, и он, конечно, понял, что не может на ней жениться,—это было бы неосмотрительно, из-за детей. А потом она умерла, и он женился на Эдит Мур». Странно, как это засело в то время в сознании десятилетней девочки! И она вгляделась в Джона. Старый Джолион, как его звали в семье, был его дедом. В альбоме у Холли она видела его портрет — голова куполом, белые усы, глаза, вдвинутые глубоко под брови, как у Джона. «Это было бы неосмотрительно!» Вот он, век Виктории! Может быть, и Джон от века Виктории? Ей подумалось, что она никогда не узнает, что такое Джон. И она сразу стала осторожней. Один лишний или преждевременный шаг — и она снова упустит его, и теперь уже навсегда! Нет, он

не современен! Кто его знает, может быть, в «состав» его входит что-нибудь абсолютное, а не относительное, а абсолютное всегда смущало, почти пугало Флер. Но недаром она шесть лет тянула лямку светской жизни — она умела быстро приспособиться к новой роли. Она заговорила спокойнее, стала даже растягивать слова. В глазах пропал огонь и появилась усмешка. Какого мнения Джон о воспитании мальчиков — ведь не успеешь оглянуться, у него и свой будет? Ей самой было больно от этих слов, и, произнося их, она старалась прочесть что-нибудь на его лице. Но оно ничего ей не сказала.

— Кита мы записали в Уинчестер. Ты веришь в классическое образование, Джон? Или считаешь, что эти школы устарели?

— Именно. И это не плохо.

— То есть?

— Туда бы я и отдал своего сына.

— Понимаю,— сказала Флер.— Знаешь, Джон, ты и правда изменился. По-моему, шесть лет назад ты бы этого не сказал.

— Возможно. Живя вдали от Англии, начинаешь верить в искусственные преграды. Нельзя давать идеям носиться в пустом пространстве. В Англии их сдерживают, в этом и есть ее прелесть.

— До идей мне нет дела,— сказала Флер,— но глупость я не люблю. Классические школы...

— Да нет же, уверяю тебя. Кой-какие свойства они, конечно, губят, но это к лучшему.

Флер наклонилась вперед и сказала лукаво:

— Ты, кажется, стал моралистом, мой милый?

Джон сердито ответил:

— Да нет, ничего особенного!

— Помнишь нашу прогулку вдоль реки?

— Я уже говорил тебе — я все помню.

Флер едва не прижала руку к сердцу: так оно вдруг подскочило.

— Мы чуть не поссорились тогда, потому что я сказала, что ненавижу людей за их тупую жестокость и желаю им свариться в собственном соку.

— Да, а я сказал, что мне жаль их. Ну и что же?

— Сдерживать себя глупо,— сказала Флер и сейчас

же добавила:— Потому я и против классических школ. Там сдержанности учат.

— В светской жизни она может пригодиться, Флер.— И в глазах его мелькнула веселая искорка.

Флер прикусила губу. Ну ничего! Но она заставит его пожалеть об этих словах; и его раскаяние даст ей в руки хороший козырь.

— Я отлично знаю, что я выскочка,— сказала она,— меня во всеулышание так называли.

— Что?

— Ну да; был даже процесс по этому поводу.

— Кто посмел?..

— О дорогой мой, это дела давно минувшие. Но ты же не мог не знать — Фрэнсис Уилмот, наверно...

Джон в ужасе отшатнулся.

— Флер, не могла же ты подумать, что я...

— Ну конечно. Почему бы нет?

И правда, козырь! Джон схватил ее за руку.

— Флер, скажи, что ты не думаешь, что я нарочно...

Флер пожала плечами.

— Мой милый, ты слишком долго жил среди дикарей. Мы тут каждый день колем друг друга насмерть, и хоть бы что.

Он выпустил ее руку, и она взглянула на него из-под опущенных век.

— Я пошутила, Джон. Дикарей иногда не вредно подразнить. *Parlons d'autre chose*¹. Присмотрел ты себе место, где хозяйничать?

— Почти.

— Где?

— Около четырех миль от Уонсдона, на южной стороне холмов, ферма Грин-Хилл. Есть фрукты—несколько теплиц — и клочок пахотной земли.

— Так это, должно быть, недалеко оттуда, куда я повезу Кита,— на море, и только в пяти милях от Уонсдона. Нет, Джон, не пугайся. Мы пробудем там не больше трех недель.

— Пугаться? Напротив, я очень рад. Мы к тебе приедем. На Гудвудских скачках мы все равно встретимся.

— Я все думала...— Флер замолчала и украдкой

¹ Поговорим о чем-нибудь другом (франц.).

взглянула на него.— Ведь можем мы быть просто друзьями, правда?

Не поднимая головы, Джон ответил:

— Надеюсь.

Прояснилось его лицо, прозвучи его голос искренне — как по-иному, насколько спокойнее билось бы ее сердце!

— Значит, все в порядке,— сказала она тихо.— Я с самого Аскота хотела сказать тебе это. Так оно и есть, так и будет; что-либо другое было бы глупо, правда? Век романтики миновал.

— Гм!

— Что ты хочешь выразить этим малоприятным звуком?

— Я считаю совершенно лишним рассуждать о том, что один век такой, другой — этакий. Человеческие чувства все равно не меняются.

— Ты в этом уверен? Такая жизнь, какую ведем мы, влияет на них. Ничто в мире не стоит дороже одной-двух пролитых слез, Джон. Это мне теперь ясно. Но я и забыла — ты ненавидишь цинизм. Расскажи мне про Энн. Ей еще не разонравилась Англия?

— Напротив. Она, видишь ли, чистая южанка, а Юг еще не стал современным, то есть, во всяком случае, в какой-то своей части. Больше всего ей нравится здесь трава, птицы и деревни. Она совсем не скучает по родине. И, конечно, увлечена верховой ездой.

— И английский язык она, вероятно, быстро усваивает?

В ответ на его удивленный взгляд лицо ее приняло самое невинное выражение.

— Мне хотелось бы, чтобы ты полюбила ее,— сказал он серьезно.

— О, так, без сомнения, и будет, когда я узнаю ее поближе.

Но в сердце ее поднялась волна жгучего презрения. Что она такое, по его мнению? Полюбить ее! Женщину, которую он обнимает, которая будет матерью его детей. Полюбить! И она заговорила о красотах Бокс-Хилла. Весь остаток пути до Пулборо, где Джон вышел, она была осторожна, как кошка, говорила легким дружеским тоном, глядела ясными, невинными глазами и почти не дрогнула, прощаясь:

— Итак, au revoir в Гудвуде, если не раньше. Забавная все-таки получилась встреча!

Но по пути в гостиницу, проезжая в станционном экипаже сквозь пропахший устрицами туман, она крепко сжала губы, и глаза ее под нахмуренными бровями были влажны.

IX

А ДЖОН!..

А Джон, которому предстояло пройти пешком пять с лишним миль, пустился в путь, и в ушах его, отбивая такт, звучала старая английская песня:

Как счастлив мог бы я быть с любой,
Когда б не мешала другая!

Вот до чего он запутался, непреднамеренно, просто следуя порывам своей честной натуры! Флер — его первая любовь. Энн — вторая. Но Энн его жена, а Флер — замужем за другим. Мужчина не может быть влюблен одновременно в двух женщин; напрашивался вывод, что он не влюблен ни в ту, ни в другую. Откуда же тогда эти странные ощущения в его крови? Или то, что говорят, неверно? Французское или староанглийское разрешение вопроса не пришло ему в голову. Он женат на Энн, он любит Энн, она прелесть! Вот и все. Почему же тогда, шагая по траве вдоль дороги, он думал почти исключительно о Флер? Какой бы ни представлялась она циничной, или непосредственной, или просто милой, она ввела его в заблуждение не больше, чем в душе того хотела. Он знал, что у нее сохранилось к нему прежнее чувство, знал и то, что сохранилось и его чувство к ней или хотя бы какая-то доля его. Но ведь он любит и другую женщину. Джон был не глупее других мужчин и не больше их обманывал себя. Как и многие мужчины до него, он решил не закрывать глаза на факты и делать то, что считает правильным, — или, вернее, не делать того, что считает неправильным. Что именно неправильно, в этом он тоже не сомневался. Его беда была проще: он владел своими мыслями и чувствами ничуть не лучше, чем любой мужчина. В конце концов не его вина, что когда-то

он безраздельно любил Флер или что она безраздельно любила его; и не его вина, что он любит свою родину и устал жить вдали от нее.

Не его вина, что он полюбил снова и женился на той, которую полюбил. И не его, казалось бы, вина, что вид, и голос, и аромат, и близость Флер пробудили в нем что-то от прежнего чувства. И все же такая двойственность претила ему, и он шел, то ускоряя, то замедляя шаг, а солнце двигалось по небу и пригревало ему затылок, который после солнечного удара в Гренаде навсегда остался чувствительным. Раз он постоял, прислонившись к изгороди. Он еще не так давно вернулся в Англию, чтобы оставаться равнодушным к ее красоте в такой дивный день. Он часто останавливался и прислонялся к какой-нибудь изгороди и вообще, как говорил Вэл, спал наяву.

Подошел уже первый день матча между Итоном и Хэрроу¹, которого никогда в свое время не пропускал его отец, но сенокос только что кончился, и в воздухе еще стоял запах сена. К югу перед ним растянулись холмы, освещенные по северным склонам. Под деревьями, у самой изгороди, стояли, медленно помахивая хвостами, рыжие сэссекские коровы. Вдали на склонах тоже пасся скот. Покой окутал землю. Под косыми лучами солнца хлеб на ближнем поле отливал неземными оттенками — не то зеленью, не то золотом. И среди мирной красоты вечера Джон остро почувствовал разрушительную силу любви — чувства до того сладкого, тревожного и захватывающего, что оно отнимает у природы и краски и покой, а жертвы его отравляют жизнь окружающим и сами ни на что не годны. Работать — и созерцать природу во всех ее образах! Почему он не может уйти от женщин? Почему, как в анекдоте, который рассказывала Холли, где бедную девушку пришло провожать на вокзал все ее семейство, — почему он не может уехать и сказать: «Слава тебе господи, с этим добром я разделался!»

Кусали мошки, и он пошел дальше. Рассказать Энн, что он ехал с Флер? Умолчать об этом — значило бы подчеркнуть значение этой встречи; но рассказывать почему-то не хотелось. И тут он набрел на Энн; она сидела

¹ 9 июля.

на заборе, без шляпы, засунув руки в карманы джемпера, очень прямая и гибкая.

— Помоги мне слезть, Джон!

Он помог и не сразу выпустил ее. И сейчас же сказал:

— Угадай, с кем я ехал в поезде? С Флер Монт. Мы встретились на вокзале. Она на будущей неделе привезет сынишку в Лоринг, чтобы подправить его.

— О, как жаль!

— Почему?

— Потому что я люблю тебя, Джон.— Она вздернула подбородок, и теперь ее прямой точеный носик казался совсем тупым.

— Не понимаю...— начал Джон.

— Другая женщина, Джон. Я еще в Аскоте заметила... Наверно, я старомодна, Джон.

— Это ничего, я тоже.

Глаза ее, не до конца укрощенные американской цивилизацией, обратились на него, и она взяла его под руку.

— У Рондавелия пропал аппетит. Гринуотер очень расстроен. А я никак не усвою английское произношение, а счень хочу. Я теперь англичанка и по закону и по происхождению, французского только и есть, что одна прабабка. Если у нас будут дети, они будут англичане, и жить мы будем в Англии. Ты окончательно решил купить ферму Грин-Хилл?

— Да, и теперь уж возьмусь за дело серьезно. Два раза играл в игрушки, довольно с меня.

— Разве в Северной Каролине ты играл?

— Не совсем. Но теперь другое дело; там это было не так важно. Что такое в конце концов персики? А здесь вопрос серьезный. Я намерен наживать деньги.

— Чудно! — сказала Энн.— Но я никак не ожидала, что ты это скажешь.

— Прибыль — единственный критерий. Буду разводить помидоры, лук, спаржу и маслины; из пахотной земли выжму все, что можно, и, если смогу, еще прикуплю.

— Джон! Сколько энергии! — И она схватила его за подбородок.

— Ладно, ладно,— свирепо сказал Джон.— Вот посмотришь, шучу я или нет.

— А дом ты предоставишь мне? Я так чудесно все устрою!

— Идет.

— Так поцелуй меня.

Полуоткрыв губы, она смотрела ему в глаза чуть косящим взглядом, придававшим ее глазам их особую манящую прелесть, и он подумал: «Все очень просто. То, другое,— нелепость! Иначе и быть не может!» Он поцеловал ее в лоб и в губы, но и тут, казалось, видел, как дрогнула Флер, прощаясь с ним, слышал ее слова: «Au revoir! А забавная все-таки получилась встреча!»

— Зайдем посмотреть Рондавеля,— сказал он.

Когда они вошли в конюшню, серый жеребенок стоял у дальней стены стойла и вяло разглядывал морковку, которую протягивал ему Гринуотер.

— Никуда не годится! — через плечо бросил им тренер.— Не быть ему в Гудвуде. Заболел жеребенок.

Как это Флер сказала: «Au revoir в Гудвуде, если не раньше!»

— Может, у него просто голова болит, Гринуотер? — сказала Энн.

— Нет, мэм, у него жар. Ну, да ничего, еще успеет взять приз в Ньюмаркете¹.

Джон погладил жеребенка по ляжке.

— Эх ты, бедняга! Вот чудеса! На ощупь чувствуешь, что он не в порядке.

— Это всегда так,— сказал Гринуотер.— Но с чего бы? Во всей округе, насколько я знаю, нет ни одной больной лошади. Самое капризное существо на свете—лошадь! К Аскотским скачкам его не тренировали—взял да и пришел первым. Теперь готовили его к Гудвуду — а он расклеился. Мистер Дарти хочет, чтобы я дал ему какого-то южноафриканского снадобья, а я о нем и не слышал.

— У них там лошади очень много болеют,— сказал Джон.

— Вот видите,— продолжал тренер, протягивая руку к ушам жеребенка,— совсем невеселый! Много бы я дал, чтобы знать, с чего он захворал.

Джон и Энн ушли, а он остался стоять около уныло-

¹ Октябрьские скачки.

го жеребенка, вытянув вперед темное ястребиное лицо, словно стараясь разгадать ощущения своего любимца.

В тот вечер Джон поднялся к себе, совершенно одурелый от взглядов Вэла на коммунизм, лейбористскую партию и личные свойства сына Голубки да еще целой диссертации на тему о болезнях лошадей в Южной Африке. Он вошел в полутемную спальню. У окна стояла белая фигура; при его приближении она обернулась и бросилась ему на шею.

— Джон, только не разлюби меня!

— С чего бы?

— Ведь ты мужчина. А потом — верность теперь не в моде.

— Брось! — мягко сказал Джон. — Настолько же в моде, как и во всякое другое время.

— Я рада, что мы не едем в Гудвуд. Я боюсь ее. Она такая умная.

— Флер?

— Конечно, ты был в нее влюблен, Джон, я это чувствую; лучше бы ты сказал мне.

Джон облокотился на окно рядом с ней.

— Почему? — сказал он устало.

Она не ответила. Они стояли рядом в теплой тишине ночи, мотыльки задевали их крыльями, крик ночной птицы прорезал молчание, да изредка было слышно, как в конюшне переступает с ноги на ногу лошадь. Вдруг Энн протянула вперед руку.

— Вот там — где-то — она не спит и хочет тебя. Нехорошо мне, Джон!

— Не расстраивай себя, родная!

— Но мне, право же, плохо, Джон.

Прижалась к нему, как ребенок, щекой к щеке, темный завиток щекотал ему шею. И вдруг обернулась, отчаянно ища губами его губы.

— Люби меня!

Но когда она уснула, Джон еще долго лежал с открытыми глазами. В окно прокрался лунный свет, и в комнату вошел призрак — призрак в костюме с картины Гойи, кружился, придерживая руками широкое платье, манил глазами, а губы словно шептали: «И меня! И меня!»

И, приподнявшись на локте, он решительно посмот-

рел на темную головку на подушке. Нет! Ничего, кроме нее, нет — не должно быть — в этой комнате. Только не уходить от действительности!

Х

НЕПРИЯТНОСТИ

На следующий день, в понедельник, за завтраком Вэл сказал Холли:

— Вот послушай-ка!

«Дорогой Дарти,

Я, кажется, могу оказать тебе услугу. У меня имеются кой-какие сведения относительно твоего жеребенка от Голубки и вообще о твоей конюшне, и стоят они гораздо больше, чем те пятьдесят фунтов, которые ты, я надеюсь, согласишься мне за них заплатить. Думаешь ли ты приехать в город на этой неделе? Если да, нельзя ли нам встретиться у Брюмеля? Или, если хочешь, я могу прийти на Грин-стрит. Дело важное.

Искренне тебе преданный Обри Стэйнфорд»

— Опять этот человек!

— Не обращай внимания, Вэл!

— Ну, не знаю,—мрачно протянул Вэл.— Какая-то шайка что-то слишком заинтересовалась этим жеребенком. Гринуотер волнуется. Я уж лучше постараюсь выяснить, в чем тут дело.

— Так посоветуйся сначала с дядей. Он еще не уехал от твоей мамы.

Вэл скорчил гримасу.

— Да,—сказала Холли,— но от него ты узнаешь, что можно делать и чего нельзя. Против таких людей не стоит действовать в одиночку.

— Ну, ладно. Пари держу, что тут дело нечисто. Кто-то еще в Аскоте знал о Рондавеле.

Он поехал в Лондон утренним поездом и к завтраку был уже у матери. Она и Аннет завтракали в гостях, но Сомс был дома и не слишком радушно пожал ему руку.

— Этот молодой человек с женой все еще у вас?

— Да,—сказал Вэл.

— Что, он никогда не соберется чем-нибудь заняться?

Узнав, что Джон как раз собирается заняться делом, он проворчал:

— Сельское хозяйство? В Англии? Это еще зачем ему понадобилось? Только швырять деньги на ветер. Лучше ехал бы обратно в Америку или еще в какую новую страну. Почему бы ему не попробовать Южной Африки? Там его сводный брат умер.

— Он больше не уедет из Англии, дядя Сомс,— по-видимому, проникся нежной любовью к родине.

Сомс пожевал молча.

— Дилетанты все эти молодые Форсайты,— сказал он.— Сколько у него годовых?

— Столько же, сколько у Холли и ее сводной сестры, около двух тысяч, пока жива его мать.

Сомс заглянул в рюмку и извлек из нее микроскопический кусочек пробки. Его мать! Он слышал, что она опять в Париже. Она-то имеет теперь по меньшей мере три тысячи годовых. Он помнил время, когда у нее не было ничего, кроме несчастных пятидесяти фунтов в год, но оказалось, что и этого было слишком много,— не они ли навели ее на мысль о самостоятельности? Опять в Париже! Булонский лес, зеленая Ниобея, исходящая слезами,— он хорошо ее помнил,— и сцена, которая произошла тогда между ними...

— А ты зачем приехал в город?

— Вот, дядя Сомс.

Сомс укрепил на носу очки, которые совсем недавно начал надевать для чтения, прочел письмо и вернул его племяннику.

— Видал я в свое время нахалов, но этот тип!..

— Как вы мне советуете поступить?

— Брось письмо в корзину, забудь о нем.

Вэл покачал головой.

— Стэйнфорд как-то заезжал ко мне в Уонсдон. Я ничего ему не сказал; но вы помните, что в Аскоте мы смогли получить только вчетверо, а ведь это был первый дебют Рондавея. А теперь, перед самым Гудвудом, жеребенок заболел; что-то тут кроется.

— Так что же ты намерен делать?

— Я думал повидаться с ним, и, может быть, вы бы

не отказались присутствовать при нашем разговоре, чтобы не дать мне свалить дурака.

— Это, пожалуй, не глупо. Такого беззастенчивого мерзавца, как этот, мне еще не приходилось встречать.

— Чистокровный аристократ, дядя Сомс, порода скрывается.

— Гм,—буркнул Сомс.—Ну что же, пригласи его сюда, если уж непременно хочешь с ним говорить, но сначала вынеси из комнаты все ценное и скажи Смизер, пусть уберет зонты.

В то утро он проводил Флер и внука на взморье и скучал, особенно после того, как, проводив их, посмотрел карту Сэссекса и обнаружил, что Флер будет жить в двух шагах от Уонсдона и от этого молодого человека, который теперь не выходил у него из головы, о чем бы он ни думал. Возможность взять реванш с «этого мерзавца» Стэйнфорда сулила какое-то развлечение. Как только посланный ушел, он пододвинул стул к окну, откуда видна была улица. Про зонты он так и не сказал ничего — решил, что это будет недостойно,— но сосчитал их. День был теплый, шел дождь, и в открытое окно столовой с Грин-стрит струился влажный воздух, чуть отдающий запахами кухни.

— Идет,— сказал он вдруг.— Экая томная фигура!

Вэл пересек комнату и стал за его стулом. Сомс заерзал на своем месте. Этот тип и его племянник вместе учились — кто их знает, может быть, у них есть и еще какие-нибудь общие пороки.

— Ого,— сказал Вэл вполголоса,— вид у него и правда больной.

На «томной фигуре» был тот же темный костюм и шляпа, в которых Сомс видел его в первый раз; та же небрежная элегантность, поднятая бровь и полужакрытые глаза по-прежнему излучали презрение на горькие складки в углах рта. И ни с чем не сравнимое выражение обреченного, которому только и осталось, что презирать всякое чувство, как и в тот раз, пробудили в Сомсе крошечную искру жалости.

— Надо предложить ему выпить,— сказал он.

Вэл двинулся к буфету.

Раздался звонок, голоса в передней; потом появилась Смизер, красная, запыхавшаяся, с виноватым лицом.

— Вы примете этого джентльмена, сэр, который унес сами знаете что, сэр?

— Проведите его сюда, Смизер.

Вэл повернул к двери, Сомс остался сидеть.

«Томная фигура» появилась в дверях, кивнула Вэлу и подняла брови в сторону Сомса. Тот сказал:

— Здравствуйте, мистер Стэйнфорд.

— Мистер Форсайт, если не ошибаюсь?

— Коньяку или виски, Стэйнфорд?

— Спасибо, коньяку.

— Давай покурим. Ты хотел меня видеть. Мистер Форсайт — мой дядя и мой поверенный.

Сомс заметил, как Стэйнфорд улыбнулся, словно говоря: «Да ну? Вот удивительные люди!» Он закурил предложенную сигару, и воцарилось молчание.

— Ну? — не выдержал Вэл.

— Очень сожалею, Дарти, что твой жеребенок от Голубки расклеился.

— А откуда это тебе известно?

— Вот именно. Но прежде чем я тебе это сообщу, будь добр дать мне пятьдесят фунтов и обещание, что мое имя не будет упомянуто.

Сомс и Вэл остолбенели. Наконец Вэл сказал:

— А какая у меня гарантия, что твои сведения стоят пятьдесят фунтов или хотя бы пять?

— То, что я знаю, что твой жеребенок болен.

Как ни мало был Сомс знаком с миром скачек, он все же понял силу этого аргумента.

— Ты хочешь сказать, что знаешь, где моя конюшня протекает?

Стэйнфорд кивнул.

— В университете мы были друзьями,— сказал Вэл.— Чего ты ожидал бы от меня, если бы я располагал такими же сведениями о твоей конюшне?

— Дорогой Дарти, величины несоизмеримые. Ты богат, я — нет.

Избитые фразы вертелись на языке у Сомса. Он проглотил их. Что толку разговаривать с таким типом!

— Пятьдесят фунтов — большие деньги,— сказал Вэл.— Твои сведения действительно ценны?

— Да, клянусь честью.

Сомс громко фыркнул.

— Если я куплю у тебя эту течь,— продолжал Вэл,— можешь ты гарантировать, что она не обнаружится в другом месте?

— Мало вероятия, чтобы у тебя в конюшне оказались две трубы с течью.

— Мне и в одну не верится.

— Одна-то есть.

Сомс увидел, как его племянник подошел к столу и стал отсчитывать банковые билеты.

— Сначала скажи мне, что ты знаешь, и я заплачу тебе, если найду, что твои сведения правдоподобны. Имя твое упомянуто не будет.

Сомс увидел, как томные брови поднялись.

— Я доверчивый человек, Дарти, не то, что ты. Дай расчет конюху по фамилии Синнет—вот где твоя конюшня протекает.

— Синнет?—сказал Вэл.—Мой лучший конюх! Чем ты можешь доказать?

Стэйнфорд извлек грязный листок почтовой бумаги и протянул его Вэлу. Тот прочел вслух:

— «Серый жеребенок болен, все в порядке —в Гудвуде ему не быть». Все в порядке? — повторил он.— Так, значит, он это подстроил?

Стэйнфорд пожал плечами.

— Можешь ты мне дать эту записку? — спросил Вэл.

— Если ты пообещаешь не показывать ему.

Вэл кивнул и взял записку.

— Ты знаешь его почерк? — спросил Сомс.— Очень это все подозрительно.

— Нет еще,— сказал Вэл и, к ужасу Сомса, положил в протянутую руку пачку банкнот. Сомс ясно слышал легкий вздох облегчения. Вэл вдруг сказал:

— Ты с ним сговорился в тот день, когда заезжал ко мне?

Стэйнфорд чуть заметно улыбнулся, еще раз пожал плечами и повернул к двери.

— До свидания, Дарти,— сказал он.

Сомс раскрыл рот. Так реванш окончен! Он ушел!

— Послушай,— сказал он.— Не выпускай же его! Это чудовищно!

— Ой, до чего смешно,— сказал вдруг Вэл и захохотал.— Ой, до чего смешно!

— Смешно,— проворчал Сомс.— Куда идет мир, не понимаю.

— Не горюйте, дядя Сомс. На пятьдесят фунтов он меня обчистил, но за такое не жаль и заплатить. Синнет, мой лучший конюх!

Сомс все ворчал.

— Совратить твоего работника и тебя же заставить платить за это! Дальше идти некуда!

— В том-то и прелесть, дядя Сомс. Ну, поеду домой и выгоню этого мошенника.

— Я бы на твоём месте не постеснялся сказать ему, откуда мне все известно.

— Ну, не знаю. Ведь Стэйнфорд еле на ногах держится. Я не моралист, но думается мне, что свое слово я сдержу.

Сомс помолчал, потом искоса взглянул на племянника.

— Делай как знаешь. Но не мешало бы его засадить.

С этими словами он прошел в переднюю и пересчитал вонты. Все были целы, он взял один из них и вышел на улицу. Его тянуло на воздух. Если не считать истории с Элдерсоном, он сталкивался с явной бесчестностью не часто и только у представителей низших классов. Можно оправдать какого-нибудь бродягу, или даже клерка, или домашнюю прислугу. У них много соблазнов и никаких традиций. Но чего ждать от жизни, если даже на аристократа нельзя положиться в таком простом вопросе, как честность! Каждый день приходится читать о преступлениях, и можно с уверенностью сказать, что на одно дело, которое доходит до суда, десятки остаются нераскрытыми. А если прибавить все темные дела, что творятся в Сити, все сделки на комиссиях, подкуп полиции, торговлю титулами — с этим, впрочем, как будто покончено,— все мошенничества с подрядами... Прямо волосы дыбом встают! Можно издеваться над прежним временем, и, конечно, наше время таит больше соблазнов, но что-то простое и честное ушло из жизни безвозвратно. Люди добиваются своего всеми правдами и неправдами, не желают больше ждать, когда удача сама придет к ним в руки. Все так спешат нажиться или прожиться! Деньги—во что бы то ни стало! Каких только не продают теперь шарлатанских средств, каких только книг не

печатают, махнув рукой на правду и на приличия. А рекламы! Боже милостивый!

Эти мрачные размышления завели его в Вестминстер. Можно, пожалуй, зайти на Саут-сквер узнать, сообщила ли Флер по телефону, как доехала.

В холле на саркофаге лежало восемь шляп разных цветов и фасонов. Что тут еще творится? Из столовой доносился шум голосов, потом загудело — кто-то произносил речь. У Майкла какое-то собрание, а в доме только что была корь!

— Что у вас тут творится? — спросил он Кокера.

— Кажется, что-то насчет трущоб, сэр; мистер Монт говорил, они собираются их обновлять.

— Положите мою шляпу отдельно, — сказал Сомс. — От миссис Монт было что-нибудь?

— Она звонила, сэр. Доехали хорошо. Собаку, кажется, тошнило дорогой. Упрямый пес.

— Ну, — сказал Сомс, — я пока посижу в кабинете.

Войдя в кабинет, он заметил на письменном столе акварель: серебристый фон, дерево с большими темно-зелеными листьями и шаровидными золотыми плодами — сделано по-любительски, но что-то есть. В нижнем углу надпись рукой его дочери:

«Золотое яблоко. Ф. М. 1926».

Он и понятия не имел, что она так хорошо владеет акварелью! Вот умница! И он прислонил рисунок так, чтобы получше рассмотреть его. Яблоко? Что-то не похоже. Совершенно несъедобные плоды и сияют, точно фонари. Запретный плод! Такой Ева могла дать Адаму. Может быть, это символ? Воплощение ее тайных мыслей? И, глядя на рисунок, он погрузился в мрачное раздумье, из которого его вывел звук открывающейся двери. Вошел Майкл.

— Здравствуйте, сэр!

— Здравствуйте, — ответил Сомс. — Это что за штука?

ХІ

ВЗЯЛИСЬ ЗА ТРУЩОБЫ

Живя в эпоху, когда почти все подчинено комитетам, Майкл мог с уверенностью сказать, чему подчиняются сами комитеты. Нельзя собрать комитет непосредственно

после обеда, ибо тогда члены комитета будут спать; или непосредственно перед обедом, ибо тогда они будут раздражительны. Нужно дать членам комитета свободно поговорить о чем вздумается, пока они не устанут слушать друг друга. Но должен быть кто-нибудь, предпочтительно председатель, кто бы мало говорил, побольше думал и уж, конечно, не спал бы, когда наступит подходящий момент, чтобы предложить среднюю линию действия, которую измученные члены обычно и принимают.

Залучив епископа и сэра Годфри Бедвина — специалиста-туберкулезника — и получив отказ от своего дяди Лайонеля Черрела, который сразу сообразил, что его жену леди Элисон хотят втянуть в работу, Майкл созвал первое собрание у себя в три часа, в день отъезда Флер на взморье. Явился Хилери и молоденькая девушка в роли секретарши. Началось с неожиданностей. Члены комитета в полном составе расселись вокруг испанского стола и стали беседовать. Майклу было ясно, что и епископ, и сэр Тимоти Фэнфилд метят на роль председателя, и он под столом легонько толкнул отца, опасаясь, как бы первый из них не выдвинул кандидатуру второго — в надежде, что тот выдвинет кандидатуру первого. Сэр Лоренс шепнул ему:

— Голубчик, это моя нога.

— Я знаю, — шепнул Майкл в ответ, — не начать ли?

Сэр Лоренс выронил монокль и сказал:

— Правильно! Джентльмены, я предлагаю избрать председателем Уилфрида Бентуорта. Как вы, маркиз, поддерживаете?

Маркиз кивнул.

Удар был принят благосклонно, и «помещик» проследовал на председательское место. Он начал так:

— Я буду краток. Вам всем известно столько же, сколько и мне, то есть почти ничего. Идея принадлежит мистеру Хилери Черрелу, его я и попрошу познакомить нас с нею. Трущобы плодят инвалидов, к тому же они кишат паразитами, и я со своей стороны готов сделать все, что в моих силах, чтобы искоренить это зло. Мистер Черрел, предоставляю вам слово.

Хилери не заставил себя просить; он горячо, остроумно и обстоятельно изложил свои взгляды, особенно на-

пирая на человеческий подход к проблеме, которой, как он сказал, «до сих пор занимались только муниципальные власти, синие книги¹ и всякие ханжи». Речь его произвела впечатление — все заговорили наперебой. «Помещик», который сидел, подняв голову, крепко сдвинув пятки, расставив колени и прижав локти к бокам, изрек:

— К делу! Курить можно, Монт?—и, отказавшись от предложенных Майклом сигар и папирос, набил трубку и несколько минут курил молча.

— Значит,— сказал он вдруг,— мы все считаем, что первая наша задача — это создать фонд.

Так как никто еще этого мнения не высказывал, все сейчас же согласилось.

— В таком случае надо приступить к делу и составить текст воззвания.— И он добавил, указывая трубкой на сэра Лоренса:— Вы ловко владеете пером, Монт; вот вы, и епископ, и Черрел — пройдите, пожалуйста, в другую комнату и набросайте нам проект. В выражениях не стесняйтесь, но никакой слезливости.

Когда выделенная тройка удалилась, разговор завязался снова. Майкл слышал, что «помещик» и сэр Годфри Бедвин говорят о преимуществах клеевой краски, а маркиз обсуждает с мистером Монтроссом электрификацию его кухни. Сэр Тимоти Фэнфилд уставился на картину Гойи. Ему было лет семьдесят, он был высок и худ, имел тонкий нос крючком, смуглое лицо и большие белые усы; служил когда-то в гвардии и теперь был в отставке.

Слегка опасаясь его мнения о Гойе, Майкл поспешил сказать:

— Вот, сэр Тимоти, горняки-то все бастуют.

— Да, расстрелять их надо. Люблю рабочего человека; а вот вождей расстрелял бы немедленно.

— А как насчет шахтовладельцев? — осведомился Майкл.

— Их вождей тоже расстрелял бы. Никогда у нас не будет мира в промышленности, пока мы не расстреляем кого-нибудь. Жаль, мы во время войны мало людей пе-

¹ Парламентские или правительственные отчеты.

рестреляли. Пацифистов, коммунистов, спекулянтов — я бы их всех поставил к стенке!

— Как я рад, что вы состоите в нашем комитете, сэр,— тихонько сказал Майкл,— нам нужен человек с решительными взглядами.

— А! — сказал сэр Тимоти и заговорил тише, указывая подбородком на другой конец стола.— Между нами говоря, слишком он либерален, наш «помещик». Этих мерзавцев надо брать за горло. Я знал одного субъекта—сам владелец половины трущобного квартала, а имел наглость просить меня пожертвовать денег на миссионеров в Китае. Я ему сказал, что его расстрелять надо. Вот нахал! Ну, ему это не понравилось.

— Да что вы! — сказал Майкл.

В эту минуту девушка дернула его за рукав — пора начинать записывать?

Майкл решил, что рано.

Сэр Тимоти опять уставился на картину.

— Фамильный портрет? — спросил он.

— Нет,— ответил Майкл,— это Гойя.

— Скажите на милость! Гой — это по-еврейски христианин. Так это что же, христианка?

— Нет, сэр. Фамилия испанского художника.

— Понятия не имел, что у них есть художники, кроме Мурильо и Веласкеса; ну, таких, как эти, теперь не бывает. Новых художников, знаете ли, четвертовать бы надо. Вот еще...— и он опять понизил голос,— епископ! Тоже! Вечно они гнут свою линию — то против регулирования рождаемости, то всякие миссии. Рост неимущего населения надо пресекать в корне. Так или иначе — не давать им рожать детей; да расстрелять парочку домовладельцев — действовать с обоих концов сразу. Но вот увидите — побоятся! Вы знаете что-нибудь о муравьях?

— Только то, что они трудолюбивы,— сказал Майкл.

— Я их изучаю. Приезжайте ко мне в Хэмпшир, я вам покажу мои диапозитивы. Самое интересное насекомое на свете.— Он опять понизил голос.— Это кто там беседует со старым маркизом? Что? Этот резинщик? Кажется, еврей? А он зачем сюда втерся? Неправильно составлен этот комитет, мистер Монт. Шропшир премиальный старичок, но...— сэр Тимоти постучал себя по лбу,—

вконец помешался на электричестве. И доктор у вас есть. Поют они сладко, да толку мало. Вам нужен комитет, который бы не стеснялся с этими мерзавцами. Чаю? Не пью. Повесить бы того негодяя, который изобрел чай.

В эту минуту в комнату вернулась редакционная комиссия. Майкл облегченно вздохнул и встал с места.

— Алло! — сказал «помещик». — Ну, вы времени не теряли.

Выражение скромного достоинства, промелькнувшее на лицах редакционной комиссии, не обмануло Майкла. Он знал, что Хилери еще дома заготовил проект воззвания. Бумагу вручили председателю, и он, надев роговые очки, стал читать ее вслух так, точно это был список гончих или программа скачек. Майкл невольно почувствовал, что в этом есть и хорошая сторона, — «помещик» и выразительное чтение никак не совмещались в его сознании. Кончив читать, «помещик» сказал:

— Теперь мы можем обсудить один параграф за другим. Но время идет, господа. Я лично считаю, что тут сказано все, что нужно. Ваше мнение, Шропшир?

Маркиз наклонился вперед и посучил бородку.

— Проект превосходный, одно замечание: мало подчеркнуто значение электрификации кухонь. Вот и сэр Годфри скажет. Нельзя требовать, чтобы эти бедные люди жили чисто, пока мы не избавим их от дыма, вони и мух.

— Ну что же, Шропшир, сформулируйте, и можно будет добавить.

Маркиз стал писать. Майкл увидел, что сэр Тимоти крутит усы.

— Я недоволен! — разразился он вдруг. — Надо написать так, чтобы у этих домовладельцев глаза на лоб полезли. На то мы и собрались, чтобы прищемить им хвост. Слишком мягко выражаетесь.

— М-м! — сказал «помещик». — Что же вы предлагаете, Фэнфилд?

Сэр Тимоти прочел по заметкам на манжете:

— «Мы твердо убеждены, что всякого, кто владеет домами в трущобах, нужно расстрелять». Эти господа...

— Не пойдет, — сказал «помещик».

— Почему?

— Дома в трущобах принадлежат всяким почтенным лицам — вдовам, синдикатам, герцогам; да мало ли кому! Нельзя называть их господами и предлагать их расстреливать. Не годится.

Слово взял епископ.

— Не лучше ли выразить это следующим образом: «Нижеподписавшиеся глубоко сожалеют, что лица, владеющие домами в трущобах, так мало сознают свою ответственность перед обществом».

— Боже ты мой! — вырвалось у сэра Тимоти.

— Полагаю, что можно завернуть и покрепче, — сказал сэр Лоренс, — но нам бы сюда нужно юриста, чтобы в точности знать, как далеко мы можем зайти.

Майкл обратился к председателю.

— У меня есть юрист, сэр, здесь, в доме, — мой тесть. Я видел, он только что пришел. Полагаю, что он не откажется.

— «Старый Форсайт»! — сказал сэр Лоренс. — Как раз то, что нужно. Его бы надо к нам в комитет, Бен-туорт. Он дока по части дел об оскорблении личности.

— А, — сказал маркиз, — мистер Форсайт! Умная голова, безусловно.

— Так давайте включим его, — сказал «помещик», — юрист всегда пригодится.

Майкл вышел.

Не найдя Сомса перед Фрагонаром, он поднялся к себе в кабинет и был встречен вопросом тестя:

— Это что за штука?

— Правда, хорошо, сэр? Это работа Флер — много чувства.

— Да, — проворчал Сомс, — на мой взгляд, даже слишком.

— Вы, наверно, заметили шляпы в передней. Мой комитет по перестройке трущоб как раз составляет воззвание, и они были бы страшно благодарны вам, сэр, если бы вы зашли к нам и как юрист просмотрели бы кое-какие упоминания о домовладельцах. Они, видите ли, боятся, как бы не написать лишнего. И еще, если вы не будете возражать, они с радостью включили бы вас в число членов.

— Так и включили бы? — сказал Сомс. — А кто это они?

Майкл назвал имена.

Сомс повел носом.

— Ух, сколько титулов! А это не опрометчивая затея?

— О нет, сэр. Одно то, что мы приглашаем вас, доказывает обратное. А кроме того, Уилфрид Бентуорт, наш председатель, три раза отказывался от титула.

— Ну, не знаю,— сказал Сомс.— Пойду посмотрю на них.

— Вы очень добры. Я думаю, что вид их вас вполне успокоит.— И он повел Сомса вниз.

— Совершенно не в моем духе,— сказал Сомс, переступая порог. Его приветствовали молчаливыми кивками и поклонами. У него сложилось впечатление, что до его прихода они все время пререкались.

— Мистер... мистер Форсайт,— сказал один из них, по-видимому, Бентуорт.— Мы просим вас как юриста войти в наш комитет и указать нам... э-э... линию, сдерживать наших бретеров, таких вот, как Фэнфилд, вы меня понимаете...— И он взглянул поверх черепаховых очков на сэра Тимоти.— Вот ознакомьтесь, будьте добры!

Он передал бумагу Сомсу, который тем временем уселся на стул, пододвинутый ему девушкой-секретаршей. Сомс стал читать.

«Полагая, что есть обстоятельства, оправдывающие владение недвижимым имуществом в трущобах, мы все же глубоко сожалеем о том явном равнодушии, с которым большинство владельцев относится к этому великому национальному злу. Активное сотрудничество домовладельцев помогло бы нам осуществить многое, что сейчас неосуществимо. Мы не хотим вызывать у кого бы то ни было чувство омерзения к ним, но мы стремимся к тому, чтобы они поняли, что должны посильно помочь стереть с нашей цивилизации это позорное пятно».

Сомс прочел текст еще раз, придерживая двумя пальцами кончик носа, потом сказал:

— «Мы не хотим вызывать у кого бы то ни было чувство омерзения». Не хотите, так не надо; зачем же об этом говорить? Слово «омерзение»... Гм!

— Совершенно верно,— сказал председатель.— Вот видите, как ценно ваше участие, мистер Форсайт.

— Совсем нет,— сказал Сомс, глядя по сторонам.— Я еще не решил вступить в члены.

— Послушайте-ка, сэр! — И Сомс увидел, что к нему наклоняется человек, похожий на генерала из детской книжки.— Вы что же, считаете, что нельзя употребить такое мягкое слово, как «омерзение», когда мы отлично знаем, что их расстрелять надо?

Сомс вяло улыбнулся; чего-чего, а милитаризма он терпеть не мог.

— Можете употреблять его, если вам так хочется,— сказал он,— только ни я, ни какой другой здравомыслящий человек тогда в комитете не останется.

При этих словах по крайней мере четыре члена комитета заговорили сразу. Разве он сказал что-нибудь слишком резкое?

— Итак, эти слова мы снимем,— сказал председатель.— Теперь, Шропшир, давайте ваш параграф о кухнях. Это важно.

Маркиз начал читать; Сомс поглядывал на него почти благосклонно. Они хорошо поладили в деле с Морландом. Параграф возражений не вызвал и был принят.

— Итак, как будто все. И мне пора.

— Минутку, господин председатель.— Сомс увидел, что эти слова исходят из-под моржовых усов.— Я знаю этих людей лучше, чем кто-либо из вас. Я сам начал жизнь в трущобах и хочу вам кое-что сказать. Предположим, вы соберете денег, предположим, вы обновите несколько улиц, но обновите ли вы этих людей? Нет, джентльмены, не обновите.

— Их детей, мистер Монтросс, детей,— сказал человек, в котором Сомс узнал одного из тех, кто венчал его дочь с Майклом.

— Я не против воззвания, мистер Черрел, но я сам вышел из низов, и я не мечтатель и вижу, какая нам предстоит задача. Я вложу в это дело деньги, джентльмены, но я хочу предупредить вас, что делаю это с открытыми глазами.

Сомс увидел, что глаза эти, карие и грустные, устремлены на него, и ему захотелось сказать: «Не сомневаюсь!» Но, взглянув на сэра Лоренса, он убедился, что и «Старый Монт» думает то же, и крепче сжал губы.

— Прекрасно,— сказал председатель.— Так как же, мистер Форсайт, вы с нами?

Сомс оглядел сидящих за столом.

— Я ознакомлюсь с делом,— сказал он,— и дам вам ответ.

В ту же минуту члены комитета встали и направились к своим шляпам, а он остался один с маркизом перед картиной Гойи.

— Кажется, Гойя, мистер Форсайт, и хороший. Что, я ошибаюсь или он действительно принадлежал когда-то Берлингфорду?

— Да,— сказал изумленный Сомс.— Я купил его в тысяча девятьсот десятом году, когда лорд Берлингфорд распродал свои картины.

— Я так и думал. Бедный Берлингфорд! И устроил же он тогда скандал в палате лордов. Но они с тех пор ничего другого и не делали. Как это все было по-английски!

— Очень уж они медлительны,— пробормотал Сомс, у которого о политических событиях сохранились самые смутные воспоминания.

— Может, это и к лучшему,— сказал маркиз.— Есть когда раскаяться.

— Если желаете, я могу показать вам тут еще несколько картин.

— Покажите,— сказал маркиз; и Сомс повел его через холл, который к тому времени очистился от шляп.

— Ватто, Фрагонар, Патер, Шарден,— говорил Сомс. Маркиз, слегка нагнув голову набок, переводил взгляд с одной картины на другую.

— Очаровательно! — сказал он.— Какой был восхитительный и ничемный век! Что ни говорите, только французы умеют показать порок в привлекательном свете, да еще, может быть, японцы — до того как их испортили. Скажите, мистер Форсайт, можете вы назвать хоть одного англичанина, которому это удалось бы?

Сомс никогда не задумывался над этим вопросом и не был уверен, желательно ли это для англичанина; он не знал, что ответить, но маркиз заговорил сам:

— А между тем, французы самый семейственный народ.

— Моя жена француженка,— сказал Сомс, глядя на кончик своего носа.

— Да что вы! — сказал маркиз.— Как приятно!

Сомс опять собирался ответить, но маркиз продолжал:

— Как они выезжают на пикники по воскресеньям — всей семьей, с хлебом и сыром, с колбасой, с вином! Поистине замечательный народ!

— Мне больше нравятся англичане,—заявил Сомс.— Не так, может быть, живописны, но...— Он замолчал, не перечислив добродетелей своей нации.

— Основатель моего рода, мистер Форсайт, был, несомненно, француз, даже не нормандец. Есть легенда, что его наняли к Вильгельму Руфусу¹, когда тот стал сесть, и велели поддерживать рыжий цвет его волос. По-видимому, это ему удалось, так как впоследствии его наделили земельными угодьями. С тех пор у нас в семье повелись рыжие. Моя внучка...— он птичьим глазком поглядел на Сомса,—впрочем, они, помнится, были не в ладах с вашей дочерью.

— Да,—свирепо подтвердил Сомс,— были не в ладах.

— Теперь, я слышал, помирились.

— Не думаю,—сказал Сомс,— но это дело прошлое.

Сейчас, осаждаемый новыми страхами, он почти готов был пожалеть об этом.

— Ну, мистер Форсайт, вы мне доставили истинное удовольствие тем, что показали картины. Ваш зять говорил мне, что хочет электрифицировать свою кухню. Поверьте, ничто так не способствует хорошему пищеварению, как кухарка, которая никогда не горячится. Не забудьте передать это миссис Форсайт!

— Передам,—сказал Сомс,— но французы консервативный народ.

— Прискорбно, но верно,—согласился маркиз, протягивая руку.— Всего вам лучшего!

— Всего лучшего! — сказал Сомс и остался стоять у окна, глядя вслед быстрой фигурке старика в серо-зеленом костюме с таким ощущением, словно он сам слегка подвергся электрификации.

¹ Вильгельм II Руфус (Рыжий) — английский король (1087—1100).

ДИВНАЯ НОЧЬ

В Лоринге у волнореза сидела Флер. Мало что так раздражало ее, как море. Она его не чувствовала. Море, о котором говорят, что оно вечно меняется, угнетало ее своим однообразием — синее, мокрое, неотвязное. И хотя она сидела лицом к нему, мысленно она от него отворачивалась. Она прожила здесь неделю и не видала Джона. Они знали, где она, но навестила ее только Холли; и верное чутье подсказало Флер причину — должно быть, Энн поняла. А теперь она знала от Холли, что и Гудвуда ждать нечего. Не везло ни в чем, и все существо ее возмущалось. Она пребывала в грустном состоянии полной неопределенности. Знай она в точности, чего хочет, она могла бы с собой сладить; но она не знала. Даже о Ките уже не нужно было особенно заботиться: он совсем окреп и целые дни возился в песке с ведром и лопаткѣй.

«Больше не могу,— подумала она,— поеду в город. Майкл мне обрадуется».

Она позавтракала пораньше и поехала; в поезде читала мемуары, автор которых с успехом погубил репутацию ряда умерших лиц. Книга была модная и развлекала ее больше, чем она ожидала, судя по заглавию; и по мере того как все меньше ощущался в воздухе запах устриц, настроение ее поднималось. В сумочке у нее были письма от отца и от Майкла, она достала их, чтобы перечитать.

«Радость моя!

(Так начиналось письмо Майкла. Да, наверно, она еще и сейчас его радость.)

Я здоров, «чего и вам с Китом желаю». Но скучаю без тебя ужасно, как всегда, и думаю в скором времени к тебе заявиться, если только ты не заявишься первая. Не знаю, видала ли ты в понедельник в газетах наше воззвание. Облигации уже понемножку расходятся. Комитет на прощание раскошелился. Морж выложил пять тысяч, маркиз прислал чек на шестьсот, который ему дал за Морланда твой отец, сам он и Барт дали по двести пятьдесят. «Помещик» дал пятьсот, Бедвин и сэр Тимо-

ти по сотне, а епископ дал двадцать и свое благословение. Так что для начала у нас шесть тысяч восемьсот двадцать с одного комитета — не так уж скверно. Думаю, что дело пойдет. Воззвание отпечатано и рассылается всем, кто когда-нибудь на что-нибудь жертвует; среди прочих средств пропаганды мы имеем обещание «Полифема» показать фильм о трущобах, если мы сумеем его выпустить. Дядя Хилери настроен радужно. Забавно было наблюдать за твоим отцом — он долго думал, а потом побывал-таки в «Лугах». Вернулся, говорит — не знает; квартал весь разваливается, пятьсот фунтов на каждый дом — и то будет мало. Я в тот вечер напустил на него дядюшку, и он совсем растаял под влиянием Хилери. Но на следующее утро был сильно сердит, говорил, что, раз он подписал воззвание, его имя появится в газетах, а это будто бы может повредить ему: «Подумают, что я с ума спятил». Но в общем в комитет он вступил и со временем привыкнет. Компания, надо сказать, неважная; по-моему, их только и связывает, что мысль о клопах. Сегодня опять было собрание. Блайт эол не на шутку, говорит, что я изменил ему и фоггартизму. Конечно, это неправда, но надо же, черт возьми, заниматься чем-нибудь настоящим!

Крепко целую тебя и Кита. *Майкл.*

Рисунок твой окантован и висит у меня над письменным столом, очень хорошо получилось. Отец твой прямо поразился. *М.»*

Над письменным столом — «Золотое яблоко»! Вот ирония! Бедный Майкл — если б он знал!

Письмо отца было короткое, как и все его письма:

«Дорогая моя дочь,

Твоя мать уехала домой, а я пока остался на Грин-стрит в связи с этой затеей Майкла. Право, не знаю, стоящее ли это дело; о трущобах болтают много вздора. Все же я нахожу, что его дядя Хилери приятный человек, хоть и священник, и среди членов комитета есть неплохие имена. Там посмотрим.

Я не знал, что ты еще работаешь акварелью. Рисунок сделан очень недурно, хотя тема мне не ясна. Для яблок фрукты слишком мягкие и яркие. Ну, тебе лучше знать, что ты хотела изобразить. Я был рад услышать,

что Кит хорошо поправился и что морской воздух идет тебе на пользу.

Любящий тебя отец С. Ф.»

Знать, что хотела изобразить! Только бы знать! И только бы не знал отец! Вот какие мысли не давали ей покоя, и она разорвала письмо и через окно разметала его по графству Сэрри. Он следил за ней, как рысь, как любовник; а ей сейчас не хотелось, чтобы за ней следили.

Багажа у нее не было, и с вокзала она в такси поехала в Чизик. Джун хоть будет знать что-нибудь об этих двоих: все ли еще они в Уонсдоне, вообще, где они.

Как ясно она помнила особнячок Джун с того единственного раза, что была в нем, когда они с Джоном...

Джун была в холле, собиралась уходить.

— О, это вы! — сказала она. — Вы так и не пришли тогда в воскресенье!

— Да, слишком много дел набралось перед отъездом.

— Сейчас здесь живут Джон и Энн. Харолд пишет с нее прелестный портрет. Вещь получается исключительная. Она, по-моему, милая малютка (насколько помнила Флер, «она» была на несколько дюймов выше самой Джун) и хорошенькая. Сейчас мне нужно пойти купить ему кое-что необходимое, но я через четверть часа вернусь. Если хотите, подождите меня в столовой, а потом вместе пойдем наверх, и я покажу ему вас. Он единственный человек, который сейчас работает по-настоящему.

— Хорошо, что хоть один есть, — сказала Флер.

— Вот репродукции с его картин, — и Джун раскрыла большой альбом, лежавший на маленьком обеденном столе. — Какая прелесть, правда? И все его работы такие. Вы посмотрите, а я сейчас вернусь.

И, слегка тронув Флер за плечо, она умчалась.

Флер не стала просматривать альбом, она посмотрела в окно, окинула взглядом комнату. Как она помнила ее — и это вот круглое зеркало, старинное, тусклое, в которое она смотрелась семь лет назад, поджидая Джона, и бурную сцену, происшедшую тогда между ними в этой комнате, слишком тесной для бурь! Джон живет здесь! Сердце ее громко билось. Она опять поглядела на себя в тусклое зеркало. Ведь она хороша, не хуже, чем была тогда! Даже лучше! Черты лица определились, нет преж-

ней девичьей расплывчатости. Как бы дать ему знать, что она здесь? Как бы повидать его одного хоть минутку? Сейчас вернется эта восторженная слепая дурочка (так Флер мысленно окрестила Джун). И быстрый ум принял быстрое решение: если Джон здесь, она найдет его! Она поправила волосы на висках, жемчуг на шее, провела по носу пуховкой почти без пудры, вышла в холл и прислушалась. Ни звука! И она стала медленно подниматься по лестнице. Он может быть в своей комнате или в ателье—больше укрыться некуда. На первой площадке справа — спальня, слева — спальня, прямо — ванная; двери открыты. Пусто! И в сердце у нее тоже пусто. Наверху помещалось только ателье. Если Джон там, то там же и художник и эта девчонка, его жена. Стоит ли? Она пошла было вниз, потом вернулась. Да! Стоит! Медленно, очень тихо она пошла дальше. Дверь в ателье открыта, слышно быстрое, знакомое шарканье ног художника перед мольбертом. На минуту она закрыла глаза, потом опять пошла. На площадке у открытой двери остановилась. Дальше идти было незачем: в комнате, прямо против нее, висело широкое зеркало, и в нем, оставаясь невидимой, она увидала: в углу низкого дивана сидел Джон с незакуренной трубкой в руке и глядел в пространство. На возвышении стояла его жена; она была в белом платье, в руках держала лилию на длинном стебле, цветок доставал ей почти до подбородка. О, какая хорошенькая и смуглая, глаза темные, лицо в рамке темных волос. Но лицо Джона! Что выражает оно? Мысли ушли глубоко под маску, как глубоко под брови ушли глаза. Ей вспомнилось — так иногда смотрят львята: ничего не видят вблизи, а вдали видят... что? Глаза Энн — как это Холли про них сказала: «Как у самой славной русалки» — скользнули по его лицу, и тотчас же его взгляд оторвался от пространства и улыбнулся в ответ. Тогда Флер повернулась, быстро спустилась по лестнице и выбежала на улицу. Дождаться Джун — выслушивать ее панегирики — знакомиться с художником — сдерживать себя при этой девчонке? Нет! Забравшись на империял автобуса, она увидела, как из-за угла выскользнула Джун, и злобно порадовалась ее разочарованию: когда тебе сделали больно, хочется причинить боль другому. Автобус повез ее

прочь, по Кингз-Род, через Хэммерсмит, потеющий под послеобеденным солнцем, прочь в большой город, с его миллионами жизней и интересов, неприступный, равнодушный, как судьба.

Она сошла у Кенсингтонского сада. Может быть, если нагуляться до боли в ногах, перестанет болеть сердце. И она пошла быстро, не глядя на цветы и нянюшек, на почтенных старичков и старушек. Но ноги у нее были крепкие, и она слишком быстро дошла до угла Хайд-парка — к великой, впрочем, радости одного из старичков, который все время старался не отставать от нее, потому что в его возрасте возбуждение было ему полезно. Она пересекла улицу, вошла в Грин-парк и замедлила шаг. И на ходу презирала себя. Презирала! Она, считавшая, что сердце — это так *vieux jeu*; постигшая, казалось бы, искусство сдерживать или обгонять свои чувства!

Она добралась до дому, а дома было пусто: Майкла нет. Прошла наверх, велела подать себе турецкого кофе, залезла в теплую ванну и лежала, куря папиросы. Это принесло ей некоторое облегчение. Все ее друзья пользовались этим средством. Вдоволь насладившись, она надела халатик и пошла в кабинет Майкла. Вот и ее «Золотое яблоко» — очень мило окантовано. Сейчас плод казался ей особенно несъедобным. Как улыбался глазами Джон в ответ на улыбку этой женщины! Подбирать объедки! И пробовать не хочется. Зелено яблоко, зелено! Даже белая обезьяна отказалась бы от таких фруктов. И несколько минут она стояла, глядя в упор в глаза обезьяне на китайской картине — почти что человечесьи глаза, и все-таки не человечесьи, потому что смотрело ими создание, понятия не имевшее о логике. Современный художник не мог бы изобразить такие глаза. У китайского живописца, работавшего столько лет назад, была и логика и чувство традиции. Он увидел беспокойство зверя под более острым углом, чем то доступно людям теперь, и запечатлел его навеки.

А Флер, прелестная в ярко-зеленом халатике, прикусила уголок губы и пошла в свою комнату — одеваться. Она выбрала самое красивое платье. Если заветное желание ее невыполнимо, если нельзя получить то, от чего она стала бы и спокойна и логична, пусть будет хотя бы удовольствие, быстрота, развлечение — хватать их

обеими руками, пить жадным ртом! И она уселась перед зеркалом с намерением всячески себя приукрасить. Сделала маникюр, получше уложила волосы, надушила брови; губы не подкрасила и едва заметно напудрила лицо, а шею, потемневшую от приморского солнца,— побольше.

Там и застал ее Майкл — шедевр современного искусства, такое совершенство, что дотронуться страшно.

— Флер!—сказал он, и только; но слова были бы лишни.

— Я считаю, что заслужила свободный вечер. Одевайся поскорей, Майкл, и пойдем пообедаем, где позабавнее, а потом в театр и в клуб. Тебе ведь сегодня не нужно идти в палату?

Он думал пойти туда, но было что-то в ее голосе, что удержало бы его и от более важных дел.

Вдыхая ее аромат, он сказал:

— Дивно! Я только что из трущоб. Сию секунду, родная! — И умчался.

Пока длилась секунда, она думала о нем и о том, какой он хороший. И, думая о нем, видела глаза, и волосы, и улыбку Джона.

Место «позабавнее» был ресторанчик, полный актеров. Со многими Флер и Майкл были знакомы, и перед тем как разойтись по театрам, они подходили и говорили: «Вот приятная встреча!» — и, что самое странное, их лица и впрямь это выражали. Но такая уж публика — актеры! У них лица что угодно выразят. И все повторяли: «Постановку нашу видели? Непременно сходите—гадость ужасная!» или «Замечательная пьеса!» А потом, заметив через плечо других знакомых, восклицали: «А! Вот приятная встреча!» Их нельзя было упрекнуть в скучной логичности. Флер выпила коктейль и два бокала шампанского. Когда они вышли, щеки ее слегка горели. «Такая милашка» уже полчаса как началась, когда они до нее добрались, но это значения не имело — из того, что они увидели, они поняли не больше, чем могли бы понять из пропущенного первого акта. Театр был переполнен, в публике говорили, что «пьеса продержится много лет». В ней была песенка, которую распевал весь город, танцовщик, ноги которого могли складываться под самым острым углом,—и ни капли логики. Майкл и Флер

вышли, напевая все ту же песенку, взяли такси и поехали в танцевальный клуб, где состояли членами не столько потому, что когда-либо там бывали, сколько следуя моде. Клуб был для избранных, среди членов числился и один министр, вступивший в него из чувства долга. В момент их прихода танцевали чарльстон, семь пар в разных углах комнаты пошатывались на расслабленных коленях.

— Ой-ой-ой,— сказал Майкл.— Ну, дальше в пустоту идти некуда! Что тут интересного?

— Пустота, милый! Мы живем в пустое время— разве ты не знал?

— И нет предела?

— Предел,— сказала Флер,— это то, чего нельзя преступить; а пустоту можно совершенствовать до бесконечности.

Сами по себе слова ничего не значили — цинизм, как-никак, был в моде, но от тона их Майкл содрогнулся: в тоне прозвучала личная нотка. Неужели она находит, что жизнь ее так уж пуста? Почему бы?

— Говорят,— сказала Флер,— скоро будут танцевать новый американский танец, называется «Белый луч», он еще менее содержателен.

— Не может быть,— сказал Майкл,— этого образчика врожденного идиотизма не превзойти. Посмотри-ка вон на ту пару!

Пара, о которой шла речь, покачиваясь, двигалась к ним, выгнув колени так, точно в них провалились их души; в глазах, устремленных на Флер и Майкла, было не больше выражения, чем в четырех стеклянных шариках. От талии вниз они излучали странную серьезность, а выше казались просто мертвыми. Музыка кончилась, каждая из семи пар остановилась и стала хлопать в ладоши, не поднимая рук, точно боясь нарушить достигнутую выше талии пустоту.

— Неправда,— сказал вдруг Майкл.

— Что?

— Что это характерно для нашего века — ни красоты, ни веселья, ни искусства, ни даже изюминки — делай глупое лицо и дрожи коленками.

— Потому что ты сам не умеешь.

— А ты что, умеешь?

— Ну, конечно,— сказала Флер,— нельзя же отставать.

— Только ради всего святого, чтобы я тебя не видел. В этот момент все семь пар перестали хлопать в ладоши, оркестр заиграл мелодию, под которую коленки не сгибались. Флер с Майклом пошли танцевать. Протанцевали два фокстрота и вальс, потом ушли.

— В конце концов,— говорила Флер в такси,— в танцах забываешься. В этом была вся прелесть столовой. Найди мне опять работу, Майкл; Кита я смогу привезти через неделю.

— Хочешь вместе со мной секретарствовать по нашему фонду перестройки трущоб? Ты была бы незаменима для устройства балов, базаров, утренников.

— Ну что ж! А их стоит перестраивать?

— По-моему, да. Ты не знаешь Хилери. Надо пригласить их с тетей Мэй к завтраку. После этого сама решишь.

Он просунул руку под ее обнаженный локоть и прибавил:

— Флер, я тебе еще не очень надоел, а?

Тон его голоса, просительный, тревожный, тронул ее, и она прижала его руку локтем.

— Ты мне никогда не надоешь, Майкл.

— Ты хочешь сказать, что никогда у тебя не будет ко мне такого определенного чувства?

Именно это она и хотела сказать и потому поспешила возразить:

— Нет, мой хороший; я хочу сказать, что понимаю, когда у меня есть что-нибудь или даже кто-нибудь стоящий.

Майкл вздохнул, взял ее руку и поднес к губам.

— Если б не быть такой сложной! — воскликнула Флер.— Счастье твое, что ты цельная натура. Это величайшее благо. Только, пожалуйста, Майкл, никогда не становись серьезным. Это было бы просто бедствие.

— Да, в конце концов все — комедия.

— Будем надеяться,— сказала Флер, и такси остановилось.— Какая дивная ночь!

Расплатившись с шофером, Майкл взглянул на освещенную фигуру Флер в открытых дверях. Дивная ночь! Да — для него.

В следующий понедельник, узнав от Майкла, что наутро Флер с Китом приезжают домой, Сомс сказал:

— Я давно хотел познакомиться с этой частью света. Нынче к вечеру поеду туда на автомобиле и завтра привезу их. Флер ничего не говорите. Я извещу ее из Нетлфолда. Там, я слышал, есть отель.

— И очень неплохой,— сказал Майкл.— Но он, наверно, будет переполнен: ведь завтра начало скачек.

— Я предупрежу по телефону. Для меня номер найдется.

Он позвонил, и номер для него нашелся — кто-то другой его не получил. Выехал он часов в пять, узнав от Ригза, что ехать предстоит два с половиной часа. С утра погода была типично английская, но к тому времени, как они достигли Доркинга, прояснилось, стало приятно. В течение многих лет Сомс почти не заглядывал в ту часть Англии, которая лежала за прямой линией, соединяющей его имение на реке с центром Лондона; и так как в этот день он был менее обычного озабочен, то мог даже заняться более или менее объективными наблюдениями. Местность, конечно, пестрая и бугристая, неисправимо зеленая и совсем не похожа на Индию, Канаду или Японию. Говорят, меньше чем полторы тысячи лет тому назад здесь были чащи, вереск, болота. Что тут будет еще через полторы тысячи лет? Опять чащи, вереск, болота или сплошной громадный пригород — как знать? Где-то он читал, что люди будут жить под землей, а по воскресеньям вылезать на поверхность и дышать воздухом, летая на собственных аэропланах. Что-то не верится. Англичане не смогут прожить без открытых окон и хорошего сквозняка, и, по его мнению, играть в мяч под землей всегда будет душно, а в воздухе — невозможно. Те, что пишут пророческие статьи и книги, всегда забывают, что у людей есть страсти. Он пари готов держать, что и в 3400 году страстью англичанина будет: играть в гольф, ругать погоду, сидеть на сквозняках и изменять текст молитвенников.

И тут он вспомнил, что старый Грэдмен сильно постарел; надо подыскивать ему заместителя. По управлению

имуществом семьи делать, в сущности, нечего — нужна только абсолютная честность. А где ее найдешь? Если она и существует, установить это можно только путем длительных экспериментов. К тому же человек должен быть молодой — сам он вряд ли долго протянет. И, подъезжая к Биллингсхерсту со скоростью сорока миль в час, он вспомнил, как старый Грэдмен вез его со скоростью шести миль с вокзала Пэддингтон на Парк-Лейн; ехали в наемной карете, в ногах была постелена мокрая солома, и было это лет шестьдесят назад, когда сам старый Грэдмен был двадцатилетним юнцом, пытался отрастить баки и целые дни писал круглым канцелярским почерком. Столб, на нем дощечка: «Пять дубов»; ни одного дуба не видно! Ну и гонит этот Ригз! Не сегодня-завтра опрокинет машину — сам жалеть будет. Но велеть ему ехать тише как будто и недостойно, в автомобиле нет ни одной женщины; и Сомс сидел неподвижно, лицо его выражало легкое презрение — своего рода страховка от собственных ощущений. Через Пулборо, зигзагами вниз, по мостику, через речку, в совсем незнакомую местность. Непривычный вид — справа и слева плоские луга, — зимой тут, конечно, будет болото; на лугах — темно-рыжий скот, и черный с белым, и розово-пегий; а дальше к югу — высокие холмы необычного голубовато-зеленого оттенка, будто внутри они белые; выходы мела то тут, то там; и, наверно, на холмах есть овцы — отец его всегда почтительно отзывался о южноанглийской баранине. Очень хорошее освещение, все серебрится, красивая в общем местность, здесь чувствуешь, будто тело становится легче, и голова не такая тяжелая. Так вот где обосновался его племянник и этот молодой человек, Джон Форсайт. Ну что ж, бывает хуже — очень своеобразно; точно такой местности он как будто не видел. И нехотя, из присущего его натуре чувства справедливости, Сомс одобрил их выбор. Как этот Ригз бьет машину на подъеме, а подъем трудный; мелькают разработки мела и разработки гравия, поросшие травой холмы и полосы леса в низинах, сторожка у ворот парка, потом большой буквый лес. Очень красиво, очень тихо; живого — только деревья, развесистые деревья, очень тенистые, очень зеленые! Дальше какая-то большущая церковь и нагромождение высоких стен и башен — по-видимому, замок

Эрендл, мрачный, тяжелый; чем дальше от него отъедешь, тем, наверно, красивее он выглядит; потом опять через реку, и опять в гору, и дальше во весь дух в Нетл-Фолд, и вот отель, и впереди — море!

Сомс вышел из машины.

— Когда обедают?

— Уже начали, сэр.

— Одеваться полагается?

— Да, сэр. Сегодня бал-маскарад, сэр, по случаю скачек.

— Тоже затея! Оставьте мне столик; я сейчас приду.

Когда-то он вычитал в старинном романе, что отличительный признак джентльмена — умение одеться к обеду в десять минут, и притом самому завязать себе галстук. Он это твердо запомнил. Через двенадцать минут он сидел за столом. Уже кончали обедать, одеты все были как обычно. Сомс ел не спеша, поглядывая в окно на сад и расстилавшееся за ним море. Он не питал неприязни к морю — не то что Флер; недаром он семь лет прожил в Брайтоне и каждый день ездил на работу в Лондон. То было время, когда его покинула первая жена и он старался забыть свой позор. Странно, почему это позор всегда достается в удел тому, кто обижен? Людей восхищает безнравственность, сколько бы они ни утверждали обратное. Покинутый муж, покинутая жена вызывают пренебрежение. Что это — остаток дикости в человеческой природе или просто реакция против официальной нравственности судей и духовенства и так далее? Нравственность иногда уважают, но официальную нравственность — нет! Он читал это во взглядах людей после своего несчастья; убедился в этом во время процесса против Марджори Феррар. Выходит, что люди прибегают к защите закона, но втайне недолюбливают его, так как он обязывает. Та же история и с налогами: без них не обойтись, но когда есть возможность не заплатить — отчего же?

После обеда он сидел в почти пустом салоне, курил сигару и просматривал иллюстрированные журналы: дамы с детьми или собаками, разодетые дамы в невероятных позах, раздетые дамы в еще более невероятных позах; титулованные мужчины, мужчины на аэропланах, государственные мужи в неприятных ситуациях, скако-

вые лошади; большие дома и люди, выстроившиеся перед ними в ряд, и тут же напечатанные имена их, и прочие признаки царства небесного на земле. Остальные гости, верно, «расфуфыриваются» для бала (как сказал бы Майкл); подумать только — в их возрасте, и рядиться! Но дураков на свете много — это он давно знал! Флер удивится, когда он нагрянет к ней завтра утром. Скоро она приедет к нему на Темзу — сейчас там самое лучшее время, — и, может быть, ему удастся уговорить ее поехать с ним в автомобиле куда-нибудь на Запад и отвлечь ее мысли от этой части Англии и этого молодого человека. Он часто сам себе обещал поездку на родину старых Форсайтов; только вряд ли Флер интересуется такая примитивная картина, как владения бедных фермеров. Журнал выпал у него из рук, и он загляделся в широкое окно на засыпающие цветы. Немного уж, верно, лет ему осталось прожить. Говорят, теперь живут дольше, чем раньше, но как прожить дольше старых Форсайтов, он, право, не знал. В среднем десятеро их прожили по восемьдесят семь лет — чудовищный возраст! А между тем как будто и странно будет умереть через пятнадцать лет, когда, вот как сейчас, цветут цветы и внук так хорошо подрастает. В старости начинаешь страдать от чувства, что недостаточно всем насладился. Вот, например, коровы, и грачи, и хорошие запахи. Почему это, когда стареешь, так близка и нужна становится природа? Впрочем, Флер, она, вероятно, никогда не будет нужна — ей нужны люди; хотя это у нее, может быть, и пройдет, когда она раз навсегда убедится, как мало в них интересного. Сумерки окутали сад и раздумья Сомса. На набережной былолюдно, играл оркестр. Оркестр играл и за его спиной, где-то в отеле. Наверно, танцуют! Пойти посмотреть — а потом спать. Во время кругосветного путешествия с Флер он часто высовывал нос на палубу и смотрел, как танцуют; странное это занятие в наше время: шимми, чарльстон — так, кажется, — ужас! Он вспомнил танцкласс, где маленьким мальчиком его обучали польке, мазурке, манерам и гимнастике. И бледная улыбка поползла у него по щекам. Мисс Ширс, маленькая старушка, обучавшая его и Уинифрида, — да она умерла бы на месте, доведись ей дожить до современных танцев! Старые танцы теперь презирают; он, по правде говоря, и сам

их раньше презирал, но по сравнению с теперешними — ходить взад и вперед и дрожать в коленях — это все-таки были танцы. Взять хоть шотландский матлот, где надо было вертеться и подвывать, или старый галоп под песню «Джон Пиль молодец» — забористые были танцы, приходилось менять воротничок. Теперь воротничков не меняют — знай себе прохлаждаются. Станный способ наслаждаться жизнью в эпоху, когда только об этом и кричат. Он вспомнил, как еще до первого брака забрел как-то случайно в один из старых танцевальных клубов «Атеней» и видел, как Джордж Форсайт и его приятели кружат своих дам в вальсе так, что у тех ноги пола не касаются. В то время девушки в этих клубах все были профессиональные ночные бабочки. Сейчас, говорят, совсем не так. Но верно одно: люди притворяются — притворяются прожигателями жизни и все такое, а жить не живут; все только думают, как бы пожить.

Музыка джаза смолкла, потом опять зазвучала, он встал. Взглянуть одним глазом — и спать.

Зал был расположен где-то в стороне, Сомс пошел коридором. В конце его вихрем кружились звуки и краски. Танцевали «расфуфыренные» на совесть мефистофели, испанки, итальянские крестьяне, пьеро. Ошалелый взгляд с трудом охватывал расхаживающую, вертящуюся толпу; ошалелый слух решил, что мелодия пытается изобразить вальс. Он вспомнил, что вальс идет на счет три, вспомнил, как танцевали вальс в прежнее время, слишком ясно вспомнил бал у Роджера и Ирэн, свою жену, вальсирующую в объятиях Босини; до сих пор он не забыл выражения ее лица, и как волновалась ее грудь, и запах гардений, приколотых к ее платью, и лицо этого человека, когда она поднимала на него свои темные глаза, и как ничего для них не существовало, кроме их преступного счастья; вспомнил балкон, на который он бежал от этого зрелища, и полисмена внизу, на красной дорожке, постеленной через тротуар.

— «Вечно» — хороший вальс! — сказал кто-то у него за спиной. И правда неплохой, такой нежный. Из-за плеча крупной дамы, пытающейся, по-видимому, изобразить из себя фею, он опять стал разглядывать танцующих. Что это? Вот там! Флер! Флер в своем костюме с картины Гойи! Виноградного цвета платье — *La Vendi-*

тіа, сбор винограда,— разлетается от колен, лицо почти касается лица шейха. Флер! И этот шейх, этот мавр в широком белом одеянии! Чтобы не застонать, Сомс закашлялся. Эта пара! Так близко, и словно ничего для них не существует. Как Ирэн с Босини, так она с этим Джоном! Они миновали его и не заметили за внушительной фигурой феи. Сомс старался не потерять их в движущейся, снующей толпе. Вот они опять близко, глаза ее почти закрыты, он еле узнал их; а над легкой косынкой, прикрывающей ее плечи,— глаза Джона, глубокие, напряженные! А жена его где? И в то же мгновение Сомс увидел ее — она тоже танцевала, но все оглядывалась на них — русалка в чем-то длинном, зеленом, с удивленными ревнивыми глазами. И понятно, когда у нее перед носом плывет юбка Флер, волнуется ее грудь, излучают томление глаза! «Вечно!» Неужели никогда не кончится эта проклятая мелодия, не кончат танцевать эти двое, которые с каждым тактом словно все теснее прижимаются друг к другу! И из боязни быть замеченным Сомс повернул прочь и стал медленно подниматься к себе в номер. Взглянул одним глазом. Довольно!

Оркестр на набережной перестал играть, публика расходилась, огни гасли. За окном шумело — должно быть, подходил прилив. Сомс тронул рукой крахмальную сорочку, там, где болело; и замер на месте. «Вечно!» Страх перед неисчислимыми последствиями заливал его сознание, как рокочущий морской прилив. Дочь отверженная; внука у него отняли; память о прошлом отравлена; надежды пошли прахом! «Вечно!» Как бы не так! Не допустит он! Никогда! И мрачное самообладание, которое только два или три раза в жизни изменяло ему, и всегда с плачевным результатом, опять изменило ему на мгновение, так что всякий, кто вошел бы сейчас в полутемный голый номер отеля, счел бы его за безумного. Припадок прошел. Что толку лезть на стену! Еще хуже: только заболеешь, а ему нужны все его силы. Для чего? Чтобы сидеть смирно, ничего не делать; чтобы ждать, что будет. Венера! Не прикасаться к богине — злобной, ревнивой, с пустыми темными глазами! Он прикоснулся к ней в прошлом, и она ответила ударом. Не прикасаться! Владеть наболевшим, тревожным сердцем! И просто ждать, что будет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

СОМС ДАЕТ СОВЕТЫ

Вернувшись в Нетлфолд после своей вылазки в Лондон, Флер продолжала изнывать у «соленой морской волны». Ни Джон, ни жена его так и не приехали ее проведать. Никаких сомнений: на нее наклеили ярдычок «яд». Два раза ходила она гулять к ферме Грин-Хилл в надежде, что повторится «забавная встреча». Видела там уютный старый дом и солидные дворовые постройки; сбоку их защищал склон холма, впереди открывался широкий вид на море. Тихий, удобный, гостеприимный уголок вызвал в ней враждебное чувство. *Ей* тут никогда не быть хозяйкой; значит, и дом этот ей враг, одна из тех сил, что борются против нее. Пока жизнь Джона не устроена, ей есть на что надеяться. Как только он осядет на этом мирном клочке земли, им прочно завладеет его жена, и он уйдет у нее из рук, на этот раз окончательно — уже два раза обжегся! Но как ни болело ее сердце, она все еще не понимала ясно, чего же в конце концов она добивается. Пока не нужно было ничего решать, казалось возможным многое, что в глубине души она считала невозможным. Даже потеря имени и чести не рисовалась ей как последняя степень безумия. Вновь пережить Испанию с Джоном! При этой мысли руки ее сжимались, раскрывались губы. Странствовать вдвоем, а тем временем изменчивое, снисходитель-

ное общество наших дней все забудет, а может, и простит! Любой вид общения с ним — от корректной платонической дружбы до полной потери себя; от преступной и тайной связи до спокойных открытых свиданий, пусть коротких, только не слишком редко. Волнение в крови подсказывало ей, что все возможно, если и не вполне вероятно, лишь бы теперь не потерять его навсегда.

Среди этих лихорадочных метаний точкой опоры явилось письмо от тети Уинифрида:

«...Из письма Вэла я узнала, что в Гудвуд они не поедут,— их прелестный двухлеток не в форме. Так обидно! Самые интересные скачки за весь год. Пишет, что они очень заняты переговорами о ферме, которую думает купить этот Джон Форсайт. Вэл с Холли радуются, что они будут жить так близко, но боюсь, как бы американочка не заскучала. Холли пишет, что они собираются на веселый маскарад в Нетлфолдский отель. Энн будет русалкой — ей пойдет, у нее такие прямые ножки; Холли будет *madame Vigée le Brun*, а Вэл говорит, что оденется «жучком» или совсем не поедет. От всей души надеюсь, что он не сделает себе красный нос. У Джона Форсайта есть костюм араба, который он вывез из Египта».

«...А у меня,— подумала Флер,— есть платье, в котором я приходила в его комнату в Уонсдоне». Как жалеет она теперь, что не вышла из этой комнаты его женой,— после этого ничто не могло бы разлучить их. Но они тогда были такими невинными младенцами!

Дело в том, что она сейчас же решила тоже поехать на этот маскарад. Она приехала первая и злорадно наблюдала за лицами Джона и Энн, когда встретила их у входа в зал. Ее виноградное платье! Она увидела, что Джон его помнит, и поскорее стала расхваливать костюм Энн: «Самая настоящая русалка!» А что касается Джона — ему для полного сходства не хватает еще одной-двух жен! Вплоть до этого вальса она вела себя безукоризненно; и потом тоже старалась казаться безукоризненной всем, кроме Джона. Для него одного она затаила (так она, по крайней мере, надеялась) и близость, и ласку, и томление взгляда; но за эти несколько минут она дала ему ясно почувствовать, что любит его.

— Вечно! — только и сказала она, когда они наконец остановились.

И после этого танца Флер ускользнула домой: духу не хватило смотреть, как он будет танцевать со своей русалкой. Вся дрожа, пробралась она к себе, упала на кровать, разрыдалась беззвучно. И в путаных видениях мелькало и мучило загорелое лицо, и глаза, и ноги русалки. Наконец она затихла. Хоть несколько минут она владела им, сердцем к сердцу. Все лучше, чем ничего!

Встала она поздно, бледная и как будто успокоившаяся. В десять часов неожиданное появление автомобиля Сомса заставило ее окончательно укрыться под маской. Она встретила его словами преувеличенной благодарности, которой совершенно не чувствовала.

— Папа! Вот чудесно! Откуда ты?

— Из Нетлфолда. Я там ночевал.

— В отеле?

— Да.

— Подумай, я сама вчера вечером была там на балу.

— О,— сказал Сомс,— на маскараде? Мне о нем говорили. Весело было?

— Так себе; я рано уехала. Если б я знала, что ты там! Что же ты не предупредил, что приедешь за нами?

— Мне просто вздумалось, что для мальчика так будет лучше, чем ехать поездом.

И Флер так и не поняла, что он видел и видел ли вообще что-нибудь.

К счастью, всю дорогу в город Кит болтал без умолку, а Сомс дремал, сильно утомленный целой ночью тревог, колебаний и бессонницы. Вид дома на Саут-сквер, такого спокойно изысканного, горячая радость Майкла и ответные излияния Флер вернули ему некоторую долю душевного равновесия. Что ни говори, а несчастные семьи не так выглядят; это много значило для определения будущего, заглянуть в которое он уже не находил в себе сил.

После завтрака он пошел в кабинет Майкла поговорить о перестройке трущоб. Во время разговора, сидя перед акварелью Флер, Сомс вновь открыл истину, что отдельные люди интереснее, чем собрание их, именуемое государством. Не благополучие нации владело его

мыслями, а творец этих загадочных фруктов. Как помещать ей отведавать их?

— Да, сэр. Ведь правда, совсем не плохо? Хорошо, если бы Флер серьезно взялась за акварель.

Сомс вздрогнул.

— Хорошо, если б она хоть за что-нибудь взялась серьезно, чтоб голова у нее была занята.

Майкл взглянул на него. «Как собака, когда хочет понять», — подумал Сомс. Вдруг он увидел, что молодой человек провел языком по губам.

— Вы, кажется, хотите мне что-то сказать, сэр? Я помню, что вы мне говорили несколько недель тому назад. Это на ту же тему?

— Да, — ответил Сомс, следя за его глазами. — Не принимайте слишком близко к сердцу, но у меня есть основания полагать, что она так и не отделалась от своего прежнего чувства. Не знаю, много ли вам известно об этом детском увлечении.

— Да как будто все.

Опять он увидел, как Майкл облизнул себе губы.

— О! От нее?

— Нет. Флер ни слова не говорила. От мисс Джун Форсайт.

— Эта женщина! Она-то уж, конечно, все выложила. Но Флер вас любит.

— Привыкла.

Это слово озадачило Сомса: даже трогательно!

— Ну-с, — сказал он, — я и вида не подал. Может быть, вас интересует, почему мне так кажется?

— Нет, сэр.

Сомс взглянул на него и быстро отвел глаза. Да, горькая минута для мужа его дочери! Стоит ли нарочно приближать критический момент, когда чувство, смутное, но глубокое, подсказывает, что пройти через него так или иначе придется? Сам он умеет ждать, а вот сумеет ли этот представитель молодого поколения, такой легкомысленный, рассеянный? Впрочем, он джентльмен. Хоть в это Сомс уверовал твердо. И тем утешался, глядя на «Белую обезьяну» на стене, которая уж никак не могла претендовать на это звание.

— Ничего не поделаешь, — пробормотал он, — подождем...

— И не «увидим», сэр! Только не это. Я могу ждать и не видеть или уж выяснить все начистоту.

— Нет,— веско произнес Сомс,— не выясняйте. Я мог ошибиться. Все говорит против этого. Она же понимает, что ей выгодно.

— Не надо! — воскликнул Майкл и встал.

— Ну, ну,— тихо сказал Сомс,— я вас расстроил. Все зависит от вашей выдержки.

У Майкла вырвался невеселый смешок.

— Вы второй раз вокруг света не поедете, сэр. Может быть, теперь лучше поехать мне, и притом одному?

Сомс посмотрел на него.

— Нельзя так,— сказал он.— Она к вам сильно привязана; просто она мечется, а может, и этого нет. Будьте мужчиной, сохраняйте спокойствие.— Теперь он обращался к спине молодого человека, это оказалось легче.— Она, знаете ли, всегда была избалованным ребенком; мало ли чего избалованные дети не заберут себе в голову, но значения это не имеет. Не могли бы вы заинтересовать ее этими трущобами?

Майкл обернулся.

— Как далеко это зашло?

— Ну вот! — сказал Сомс.— Никуда не зашло, насколько я знаю. Просто я случайно видел вчера, как она танцевала с ним в этом отеле, и обратил внимание на ее... ее лицо.

Слово «глаза» показалось ему слишком сильным.

— А потом не забудьте,— поспешил он добавить,— у него есть жена — симпатичная маленькая женщина; и он, я слышал, собирается осесть на своей ферме. Это займет все его время. Может, увезти мне Флер на август и сентябрь в Шотландию? Стачка стачкой, но все же можно найти куда поехать.

— Нет, сэр, к чему оттягивать беду? Так или иначе — надо кончать.

Сомс ответил не сразу.

— Никогда не следует забегать вперед,— сказал он наконец.— Вы, молодежь, всегда торопитесь. Можно такого наделать, что потом не распутаешь. Если б еще что-нибудь новое,— продолжал он робко,— а то на минуту воскресла несчастная история; и опять умрет, как и в

первый раз, если не вмешиваться. Пусть побольше двигается, да постарайтесь занять ее ум.

На лице молодого человека появилось странное выражение. «И вы, сэр, на опыте убедились в действительности этих средств?» — словно говорило оно. Эта Джун еще, чего доброго, разболтала и его прошлое!

— Обещайте мне все-таки никому ничего не говорить о нашей беседе и не делать ничего опрометчивого.

Майкл покачал головой.

— Обещать ничего не могу, смотря как пойдет дальше; но совет ваш я запомню, сэр.

Этим Сомсу и пришлось удовлетвориться.

Повинуясь рожденному любовью инстинкту, который руководил им во всем, что касалось Флер, он на следующий день простился с нею чуть ли не равнодушно и уехал в Мейплдерхем. Он подробно рассказал Аннет обо всем, кроме самого главного: сказать ей все ему и в голову не пришло.

В эти последние дни июля в его имении было чем насладиться; он, как приехал, отправился в лодке на рыбную ловлю. И, созерцая свою удочку и скользящую, зеленую от отражений воду, почувствовал, что отдыхает. Камыши, водяные лилии, стрекозы, коровы на его собственном лугу, неумолчное воркование лесных голубей, их всегдашнее «так ту телку, Дэвид», вдали жужжание косилки садовника; плеснет водяная крыса, удлиняются тени тополей и ветел, стелется запах травы и светлых цветов прибрежной бузины, медленно проплывают белые речные облака — тихо, очень тихо... И что-то от покоя природы снизошло в его душу, так что исчезновение поплавка резким рывком вернуло его к действительности.

«Верно, что-нибудь несъедобное», — подумал он, вытаскивая удочку.

II

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ УМА

Все на свете комедия? Так ли? Майкл и сам не знал. Говоря Сомсу, что он не может ждать и видеть, он выразил вполне естественное отвращение. Следить, шпионить, рассчитывать — невозможно! Пойти к Флер и попросить

ее честно рассказать ему о своих чувствах — вот что ему хотелось бы сделать. Но он не мог не знать, как глубоко и тревожно любит ее его тесть и как он умен; к тому же его собственное чувство было слишком сильно, чтобы подвергнуть опасности то, что в одинаковой мере составляло счастье «Старого Форсайта» и его собственное. Старик показал себя таким молодцом, когда вытащил сам себя с корнем и повез Флер вокруг света, что заслуживал всяческого уважения. Итак, оставалось ждать и не пытаться видеть — самая трудная роль, наименее активная. «Постарайтесь занять ее ум!» Легко сказать! Вспоминая собственные ощущения перед свадьбой, он плохо представлял себе, как это можно сделать. К тому же ум Флер было особенно трудно занять чем-нибудь, не ею самой выбранным. Трущобы? Нет! По своему сугубо трезвому складу она уклонялась от социальных проблем, считая их бесполезными и отвлеченными. С конкретной задачей вроде столовой, где можно было блеснуть, она справилась бы превосходно; но никогда она не станет работать, не видя близкой цели и без блеска! Он представлял себе, как ее ясные глаза глядят на трущобы так же, как глядели на фоггартизм и на его эксперимент с безработными. Можно познакомить ее с Хилери и тетей Мэй, но толку из этого не выйдет.

Ночь принесла с собой первый острый вопрос. Какими же будут их отношения, если чувства ее и правда заняты другим? Ждать и не видеть означало продолжение женатой жизни. Он подозревал, что Сомс это и хотел посоветовать. Подхлестываемый желанием, уязвленный и оглушенный ревностью, которую нужно было скрывать, и не желая обидеть Флер, он ждал знака, чувствуя, что она должна понять, почему он ждет. Знак был подан, и он обрадовался, но это его не убедило. Хотя...

Проснулся он в гораздо лучшем настроении. За завтраком он спросил ее, чем она хочет заняться, раз она теперь дома и сезон кончился. Интересует ли ее вообще затея с трущобами, ведь работы там сколько угодно; и Хилери с Мэй должны ей понравиться.

— Ну что ж! Лишь бы какое-нибудь полезное дело, Майкл!

Он поехал с ней в «Луга». Результат превзошел его ожидания.





Дело в том, что его дядя и тетка были человеческими зданиями, подобных которым Флер еще не видывала, — крепко построенные, сцементированные традицией, но широко открытые солнцу и воздуху, увенчанные крышей из хорошего вкуса и пробитые окнами юмора. Майкл, хоть и родной им по складу, не обладал ни их уравновешенностью, ни деятельной уверенностью. Флер сразу поняла, что эта пара живет в большем единении, чем кто-либо из известных ей людей, словно за двадцать лет совместной жизни они сковали себе одно орудие, чтобы с помощью его открыть нечто новое — способ прожить не только для себя. Они были не глупы, но умные разговоры в их присутствии казались лишними, оторванными от жизни. Они — особенно Хилери — очень много знали о цветах, типографском деле, архитектуре, горах, сточных трубах, электричестве, ценах на продукты, итальянских городах; умели лечить собак, играть на разных инструментах, оказывать первую и даже вторую помощь, занимать детей и смешить стариков. На любую тему — от религии до нравственности — они говорили свободно и с той терпимостью, которая дается опытом чужих страданий и забвением своих собственных. Умная Флер отдала им должное. Хорошие люди, но не скучные — очень странно! Отдавая им должное, она и сама невольно им подражала. Их позиция в жизни была выше ее собственной — это она признала и готова была хотя бы на словах показать свое восхищение. Но слова невысоко ценились в «Лугах». Руки, ноги, ум и сердце — вот что требовалось в первую очередь. Все же, чтобы занять свой ум, она согласилась взять предложенную ей работу. И тут начались неприятности. Работа была не по ней и не сулила карьеры. Все ее старания поставить себя на место миссис Корриган или маленьких Топмарш были напрасны. Работницы от «Петтер и Поплин», хранившие свои платья в бумажных пакетах, раздражали ее и своим говором и своим молчанием. Каждый новый тип на один день казался ей занятым, потом просто не нравился. Все же она очень старалась — и для себя, и чтобы обмануть Майкла. Так прошло больше недели, а потом ее осенила мысль.

— Знаешь, Майкл, я чувствую, что мне было бы настолько интереснее самой устроить в деревне что-нибудь

вроде дома отдыха, куда могли бы приезжать девушки подышать воздухом и вообще.

Майклу, помнившему ее работу по столовой, мысль показалась блестящей. Флер она скорее казалась удачным выходом из положения, как сказал бы ее отец. Ее расчетливый ум учел все возможности. Она может уезжать туда без всяких помех и придилок, и никто не будет знать, как она проводит время. Для отношений с Джоном нужна была какая-то база под убедительной вывеской. Она сейчас же начала учиться водить машину — ведь дом отдыха нужно устроить не слишком близко от Джона, чтобы не возбудить подозрений. Она попросила отца финансировать предприятие. Сначала неуверенно, потом почти с радостью Сомс согласился. Если он будет оплачивать аренду и налог, остальное она доложит из своего кармана. Такая политика лучше всяких других доводов помогла ей убедить его в искренности своих намерений: он наотрез отказывался верить, что люди могут интересоваться чем-нибудь, что не стоит им денег. Внимательно изучив карту, она остановила свой выбор на окрестностях Доркинга. Бокс-Хилл славился воздухом и красивыми окрестностями и был на расстоянии часа быстрой езды от Уонсдона. В три недели она нашла и обставила дешевый нежилой дом — у самого шоссе, в обращенном к Лондону конце Бокс-Хилла; при доме был хороший сад и конюшня, которую ничего не стоило превратить в гараж. Флер закончила свое шоферское образование и подыскала мужа с женой, которым можно было безнаказанно поручить роль сторожей. Она много советовалась с Майклом и Черрелами. Как кошка старательно скрывает от всех в доме место, где она собирается произвести на свет котят, так Флер скрывала свои сложные планы за этими приготовлениями. К концу августа «Дом отдыха прихода «Луга», как его окрестили, был открыт.

Все это время Флер пробавлялась самыми скудными сведениями о Джоне. Узнала из письма Холли, что переговоры о ферме Грин-Хилл затягиваются из-за цены, хотя Джон все определеннее склоняется к покупке; что Энн с каждым днем все больше становится англичанкой и сельской жительницей; Рондавель опять в форме и должен выиграть в Донкастере — Вэл

уже заключил на него рискованное пари на дерби будущего года.

Флер ответила письмом, составленным с таким расчетом, чтобы произвести впечатление, что сейчас ее не интересует ничего на свете, кроме ее работы. Они все должны к ней приехать и убедиться, что ее «Дом отдыха» превзошел столовую. Все «такие милые», все «страшно интересно». Она хотела дать им почувствовать, что не боится за себя, что мысли о Джоне не волнуют ее и что у нее есть серьезный интерес в жизни. Майкл, не свободный от наивности, присущей хорошему характеру, все больше поддавался обману. Ему казалось, что ум ее действительно занят, а тело и вовсе, раз она почти каждый день приезжает из Доркинга, а конец недели проводит с ним вместе либо в Мейплдерхеме, где жил Кит с дедом и бабушкой, либо в Липпингхолле, где с ней всегда носились. Когда в тихую погоду он катал ее в лодке, к нему возвращалось чувство безопасности. У «Старого Форсайта» просто разыгралось воображение; старик, и правда, что твоя насадка, когда дело касается Флер,— квохчет и встречает разъяренным взглядом каждого, кто подходит близко!

Парламент был распущен, и вся работа Майкла теперь ограничивалась трущобами. Эти дни на реке, навсегда связанной для него с порой сватовства, были самыми счастливыми с начала стачки — стачки, которая в уменьшенном масштабе все тянулась, так утомительно, что о ней перестали говорить, благо погода стояла теплая.

А Сомс? Спокойная приветливость дочери и его успокоила. Он поглядывал на Майкла и помалкивал, соображаясь с лучшими английскими традициями и собственным достоинством. Он сам напомнил, что опекаемый Джун «несчастненький» должен был писать портрет Флер. Он чувствовал, что это еще больше займет ее ум. Впрочем, ему бы следовало сначала познакомиться с работами художника, хотя это, очевидно, связано с визитом к Джун.

— Если бы ее не было дома,— сказал он Флер,— я бы, пожалуй, заглянул в его ателье.

— Так устроить это, папа?

— Как-нибудь потактичнее,— сказал Сомс,— а то она еще взбеленится.

И вот, приехав к нему в следующую субботу, Флер сказала:

— Хочешь, милый, поедem вместе в понедельник и зайдем туда. Рафаэлит будет дома, а Джун не будет. Она жаждет видеть тебя не больше, чем ты ее.

— Гм,—сказал Сомс,—она всегда отличалась откровенностью.

Они поехали в город в его машине. Составив себе мнение, Сомс должен был вернуться, а Флер ехать дальше, домой. Рафаэлит встретил их на верху лестницы. Сомс решил, что он похож на матадора (хотя он в жизни ни одного не видел): короткие баки, широкое бледное лицо, на котором было написано: «Если вы воображаете, что способны оценить мою работу, так вы ошибаетесь». А у Сомса на лице было написано: «Если вы воображаете, что мне так уж интересно оценить вашу работу, так вы ошиблись вдвойне». И, оставив его с Флер, он стал смотреть по сторонам. Признаться, впечатление у него сложилось благоприятное. Судя по картинам, художник совершенно отмахнулся от современности. Поверхность гладкая, перспектива соблюдена, краски богатые. Он уловил новую нотку, или, вернее, воскресшую старую. Талант у этого малого бесспорно есть; долговечен ли он, этого по нашим временам не скажешь, но картины его более приемлемы для общежития, чем все, что он видел за последнее время. Дойдя до портрета Джун, он постоял, нагнув голову набок, потом сказал с бледной улыбкой:

— Хорошо уловили сходство.—Ему приятна была мысль, что Джун, вероятно, не заметила того, что заметил он. Но когда взгляд его упал на портрет Энн, его лицо потемнело, и он быстро взглянул на Флер, а та сказала:

— Да, папа? Как ты это находишь?

У Сомса мелькнула мысль: «Не потому ли она согласна позировать, что хочет встречаться с ним?»

— Готов? — спросил он.

Рафаэлит ответил:

— Да. Завтра отправляю.

Лицо Сомса опять посветлело. Значит, не страшно!

— Очень хорошая работа!—проговорил он.—Лилия сделана превосходно,—и перешел к наброску с женщины, которая открыла им дверь.

— Вполне можно узнать! Совсем не плохо.

Такими сдержанными замечаниями он давал понять, что хотя в общем одобряет, но несуразную цену платить не намерен. Улучив момент, когда Флер не могла их слышать, он сказал:

— Так вы хотите писать портрет моей дочери? Ваша цена?

— Сто пятьдесят.

— Многовато по нынешним временам — вы человек молодой. Впрочем, лишь бы было хорошо сделано.

Рафаэлит отвесил иронический поклон.

— Да, — сказал Сомс. — Конечно, вы думаете, что все ваши вещи — шедевры. В жизни не встречал художника, который держался бы другого мнения. Не заставляйте ее подолгу позировать, у нее много дела. Значит, решено. До свидания. Не провожайте.

Выходя, он сказал Флер:

— Ну, я сговорился. Можешь начинать, когда хочешь. Он работает лучше, чем можно бы предположить по его виду. Строгий, я бы сказал, мужчина.

— Художнику нужно быть строгим, папа, а то подумают, что он заискивает.

— Возможно, — сказал Сомс. — Теперь я поеду домой, раз ты не хочешь, чтобы я тебя подвез. До свидания! Береги себя и не переутомляйся. — И подставив ей щеку для поцелуя, он сел в автомобиль.

Флер пошла на восток, к остановке автобуса, а машина его двинулась к западу, и он не видел, как дочь остановилась, дала ему отъехать и повернула обратно к дому Джун.

III

ТЕРПЕНИЕ

Точно так же, как в нашем старом-престаром мире невозможно разобраться в происхождении людей и явлений, так же темны и причины человеческих поступков; и психолог, пытающийся свести их к какому-нибудь одному мотиву, похож на Сомса, полагавшего, что дочь его хочет позировать художнику, чтобы увидеть свое изображение в раме на стене. Он знал, что рано или поздно — и чаще всего рано — все вешают свое изображе-

ние на стену. Но Флер, отнюдь, впрочем, не возражавшей против стены и рамы, руководили куда более сложные побуждения. Эта сложность и заставила ее вернуться к Джун. Та просидела все время у себя в спальне, чтобы не встретить своего родича, и теперь была радостно возбуждена.

— Цена, конечно, невысокая, — сказала она, — по-настоящему Харолд должен бы получать за портреты ничуть не меньше, чем Том или Липпен. Но все-таки для него так важно иметь какую-то работу, пока он еще не может занять подобающее ему положение. Зачем вы вернулись?

— Отчасти чтобы повидать вас, — сказала Флер, — а отчасти потому, что мы забыли условиться насчет первого сеанса. Я думаю, мне всего удобнее будет приходить в три часа.

— Да, — протянула Джун неуверенно, не потому, что она сомневалась, а потому, что не сама предложила. — Думаю, что Харолду это подойдет. Не правда ли, его работы изумительны?

— Мне особенно понравился портрет Энн. Его, кажется, завтра забирают?

— Да, Джон за ним приедет.

Флер поспешно взглянула в тусклое зеркало, чтобы убедиться, что лицо ее ничего не выражает.

— Как, по-вашему, в чем мне позировать?

Джун всю ее окинула взглядом.

— О, он, наверное, придумает для вас что-нибудь необычное.

— Да, но какого цвета? В чем-нибудь надо же прийти.

— Пойдемте спросим его.

Рафаэлит стоял перед портретом Энн. Он оглянулся на них, только что не говоря: «О боже! Эти женщины!» — и хмуро кивнул, когда ему предложили начинать сеансы в три часа.

— В чем ей приходить? — спросила Джун.

Рафаэлит воззрился на Флер, будто определяя, где у нее кончаются ребра и начинаются кости бедра.

— Серебро и золото, — изрек он наконец.

Джун всплеснула руками.

— Ну не чудо ли? Он сразу вас понял. Ваша золотая с серебром комната. Харолд, как вы угадали?

— У меня есть старый маскарадный костюм,— сказала Флер,— серебряный с золотом и с бубенчиками, только я его не надевала с тех пор, как вышла замуж.

— Маскарадный! — воскликнула Джун.— Как раз подходит. Если он красивый. Ведь бывают очень безобразные.

— О, он красивый и очаровательно звенит.

— Этого он не сможет передать,— сказала Джун. Потом добавила мечтательно: — Но вы могли бы дать намек на это, Харолд,— как Леонардо.

— Леонардо!

— О, конечно! Я знаю, он не...

Рафаэлит перебил ее.

— Губы не мажьте,— сказал он Флер.

— Не буду,— покорно согласилась Флер.— Джун, до чего мне нравится портрет Энн! Вы не подумали, что теперь она непременно захочет иметь портрет Джона?

— Конечно, я его уговорю завтра, когда он придет.

— Он ведь собирается фермерствовать—этим отговорится. Мужчины терпеть не могут позировать.

— Это все чепуха,— сказала Джун.— В старину даже очень любили. Сейчас и начинать, пока он не устроился. Прекрасная получится пара.

За спиной рафаэлита Флер прикусила губу.

— И пусть надевает рубашку с отложным воротничком. Голубую — правда, Харолд? — подойдет к его волосам.

— Розовую, в зеленую крапинку,—пробормотал рафаэлит.

Джун кивнула.

— Джон придет к завтраку, так что к вашему приходу его уже здесь не будет.

— Вот и отлично. Au revoir!..

Она протянула рафаэлиту руку, что, казалось, его удивило.

— До свидания, Джун!

Джун неожиданно подошла к ней и поцеловала ее в подбородок. Лицо ее в эту минуту было мягкое и розовое, и глаза мягкие; а губы теплые, словно вся она была пропитана теплом.

Уходя, Флер думала: «Может, надо было попросить ее не говорить Джону, что я буду приходить?» Но, конечно, Джун, теплая, восторженная, не скажет Джону ничего такого, что могло бы пойти во вред ее рафаэлиту. Она стояла, изучая местность вокруг «Тополей». В эту тихую заводь можно было попасть только одной дорогой: она ныряла сюда и выходила обратно. Вот здесь ее не будет видно из окон, и она увидит Джона, когда он будет уходить после завтрака, в какую бы сторону он ни пошел. Но ему придется взять такси, ведь будет картина. Ей стало горько от мысли, что она, его первая любовь, теперь должна идти на уловки, чтобы увидеться с ним. Но иначе его никогда не увидишь! Ах, какая она была дуручка в Уонсдоне в те далекие дни, когда их комнаты были рядом! Один шаг—и никакая сила не могла бы отнять у нее Джона: ни его мать, ни старинная распря, ни ее отец — ничто! И не стояли тогда между ними ни его, ни ее обеты, ни Майкл, ни Кит, ни девочка с глазами русалки; ничего не было, только юность и чистота. И ей пришло в голову, что юность и чистота слишком высоко ценятся.

Она так и не додумалась до способа увидеть его, не выдав преднамеренного плана. Придется еще немножко потерпеть. Пусть только Джон попадет художнику в лапы, и возможностей найдется много.

В три часа она явилась с костюмом и прошла в комнату Джун переодеться.

— В самый раз,—сказала Джун.— Прелесть, как оригинально. Харолд прямо влюбится.

— Не знаю,—сказала Флер. Пока что темперамент рафаэлита казался ей не очень-то влюбчивым. Они прошли в ателье, ни разу не упомянув о Джоне.

Портрета Энн не было. И как только Джун вышла принести «как раз то, что нужно» для фона, Флер сказала:

— Ну? Будете вы писать портрет моего кузена Джона?

Рафаэлит кивнул.

— Он не хотел, она его заставила.

— Когда начинаете?

— Завтра,—сказал рафаэлит.— Он будет приходить по утрам, одну неделю. Что в неделю сделаешь?

— Если у него только неделя, ему бы лучше поселиться здесь.

— Не хочет без жены, а жена простужена.

— О,— сказала Флер, и мысль ее быстро заработала.— Так тогда ему, вероятно, удобнее позировать днем? Я могу приходить утром; даже лучше — чувствуешь себя свежее. Джун могла бы известить его по телефону.

Рафаэлит пробурчал что-то, что могло быть истолковано как согласие. Уходя, она сказала Джун:

— Я хочу приходить к десяти утра, тогда день у меня освобождается для моего дома отдыха в Доркинге. Вы не могли бы устроить, чтобы Джон приезжал днем? Ему было бы удобнее. Только не говорите ему, что я здесь бываю, за одну неделю мой портрет вряд ли станет узнаваемым.

— О,— сказала Джун,— вот это неверно. Харолд всегда с самого начала дает сходство; но он, конечно, будет ставить холст лицом к стене, он всегда так делает, пока работает над картиной.

— Хорошо! Он уже сегодня кое-что сделал. Так если вы беретесь позвонить Джону, я приеду завтра в десять.

И она терпела еще целый день. А через два дня кивнула на холст, прислоненный лицом к стене, и спросила:

— Ну, как ведет себя мой кузен?

— Плохо,— сказал рафаэлит.— Ему не интересно. Наверно, ум не тем занят.

— Он ведь, знаете, поэт,— сказала Флер.

Рафаэлит взглянул на нее глазами припадочного:

— Поэт! Голова у него неправильной формы — челюсть длинна, и глаза сидят слишком глубоко.

— А зато какие волосы! Вы разве не находите, что он приятная натура?

— Приятная! — повторил рафаэлит.— Я все пишу, будь оно красиво или страшно как смертный грех. Возьмите рафаэлевского папу¹ — видали вы когда-нибудь лучший портрет или более уродливого человека? Уродство не приятно, но оно существует.

— Понятно,— сказала Флер.

— Я всегда говорю понятные вещи. Единственное, что сейчас истинно ново,— это трюизмы. Поэтому мое

¹ Портрет папы Льва Десятого.

творчество значительно и кажется новым. Люди так далеко отошли от понятного, что только понятное их и ошарашивает. Советую вам над этим подумать.

— В этом много правды,— сказала Флер.

— Конечно,— сказал рафаэлит,— трюизм нужно выразить сильно и ясно. Если вы на это не способны, лучше ходить и ныть да ломаться по гостиным, как делают гагаисты. Трагикомический они народ — стараются доказать, что коктейль лучше старого бренди. Я вчера встретил человека, который сказал мне, что четыре года писал стихотворение в двадцать две строки, которые никто не может понять. Это ли не трагикомедия? Но он себе на нем составит имя, и о нем будут говорить, пока кто-нибудь в пять лет не напишет двадцать три строки еще более заумные... Голову выше... Молчаливый тип ваш кузен.

— Молчание — большой талант,— сказала Флер.

Рафаэлит ухмыльнулся.

— Вы, верно, думаете, что я им не одарен. Но вы ошибаетесь, сударыня. Я недавно две недели прожил, не открывая рта, кроме как для еды, а если говорил, так «да» или «нет». Она даже испугалась.

— Неважно вы с ней обращаетесь,— сказала Флер.

— Неважно. Ей моя душа нужна. Самая гадкая черта в женщинах — о присутствующих, конечно, не говорят — мало им своей души.

— Может, у них и нет ее,— сказала Флер.

— Магометанская точка зрения — что ж, не так уж глупо. Женщине вечно нужна душа мужчины, ребенка, собаки. Мужчины довольствуются телом.

— Меня больше интересует ваша теория трюизмов, мистер Блэйд.

— Вторая теория не по зубам? А? Попал в точку? Плечо немножко поверните. Нет, влево... Так ведь это тоже трюизм, что женщине вечно нужна чья-то душа, — только люди об этом забыли. Вот хоть Сикстинская мадонна! У младенца своя душа, а мадонна парит над душой младенца. Тем и хороша картина, помимо линий и красок. Она утверждает великий трюизм; но его уже никто не видит. Вернее, никто из профессионалов — у них ум за разум зашел.

— Какой же трюизм вы собираетесь утвердить в моем портрете?

— А вы не беспокойтесь,— сказал рафаэлит.— Какой-нибудь да окажется, когда будет готово, хотя, пока я работаю, я и сам не знаю, какой именно. Темперамент не скроешь. Хотите отдохнуть?

— Ужасно. Какой трюизм вы воплотили в портрете жены моего кузена?

— Мама родная! — сказал рафаэлит.— Ну и допрос!

— Ведь вы не сделали для нее исключения? Какой-нибудь трюизм да есть?

— Во всяком случае, что нужно, я передал. Она не настоящая американка.

— То есть как?

— Какие-нибудь предки другие — может быть, ирландцы или бретонцы. И на русалку похожа.

— Она, кажется, росла где-то в глуши,— сухо сказала Флер.

Рафаэлит поглядел на нее.

— Не нравится вам эта леди?

— Нравится, конечно, но вы разве не замечали, что живописные люди обычно скучны? А мой кузен — какой будет его трюизм?

— Совесть,— сказал рафаэлит.— Этот молодой человек далеко пойдет по пути праведному. Он не спокоен.

Резкое движение встряхнуло все бубенчики на костюме Флер.

— Какое страшное пророчество! Ну, будем продолжать?

IV

РАЗГОВОР В АВТОМОБИЛЕ

И еще один день Флер терпела; потом после утреннего сеанса забыла в ателье сумочку. Она заехала за ней в тот же день, попозже. Джон еще не ушел. Он только что кончил позировать и стоял, потягиваясь и зевая.

— Еще разок, Джон! Я каждое утро жалею, что у меня не твой рот. Мистер Блэйд, я забыла здесь сумочку; в ней у меня чековая книжка, она мне сегодня понадобится в Доркинге. Кстати, завтра я, вероятно, на полчаса опоздаю. Ты знал, Джон, что мы с тобой товарищи

по несчастью? Мы будто в прятки играли. Как дела? Я слышала, Энн простужена. Передай, что я очень ей сочувствую. Как подвигается портрет? Можно взглянуть одним глазком, мистер Блэйд, мне интересно, выявляется ли трюизм? О! Будет замечательно! Я уже вижу линию.

— Да ну? — сказал рафаэлит. — А я нет.

— Вот моя несчастная сумочка. Если ты кончил, Джон, могу подвезти тебя до Доркинга; там попадешь на более ранний поезд. Поедем, повеселишь меня дорогой. Я так давно тебя не видела!

На Хэммерсмитском мосту к Флер вернулось самообладание, которого внешне она и не теряла. Она легко болтала на легкие темы, давая Джону время привыкнуть к ее близости.

— Я езжу туда каждый день к вечеру, делаю там, что нужно, а рано утром возвращаюсь в город. Так что до Доркинга я всегда могу тебя довезти. Почему бы нам не видеться изредка? Мы же друзья, Джон?

— Наши встречи не особенно-то способствуют счастью, Флер.

— Милый мой, что такое счастье? Если можно без вреда наполнить свою жизнь, почему не делать этого?

— Без вреда?

— Рафаэлит считает, что у тебя жуткая совесть, Джон.

— Рафаэлит нахал.

— Да, но умный нахал. Ты и правда изменился, у тебя раньше не было этой морщинки между глазами, и челюсть стала очень уж мощная. Послушай, Джон, милый, будь мне другом, как говорится, и давай больше ни о чем не думать... Всегда с удовольствием проезжаю Уимблдонский луг — за него еще не взялись. Ты купил эту ферму?

— Почти.

— Хочешь, поедем через Робин-Хилл? Посмотрим на него сквозь деревья. Может, вдохновишься, напишешь поэму.

— Никогда больше не буду писать стихов. С этим покончено.

— Глупости, Джон. Тебя только нужно расшевелить. Правда, я хорошо веду машину? Ведь я только месяц как выучилась.

— Ты все хорошо делаешь, Флер.

— Говоришь, точно тебе это не нравится. Ты знаешь, что мы никогда с тобой не танцевали до этого вечера в Нетлфолде? Доведется ли еще когда-нибудь потанцевать?

— Вероятно, нет.

— Джон-оптимист! Ага, улыбнулся! Смотри-ка, церковь! Тебя тут крестили?

— Меня вообще не крестили.

— Ах да. Ведь это был период, когда к таким вещам относились серьезно. Меня, кажется, два раза мучили— и в католическую веру, и в англиканскую. Вот я и получилась не такая религиозная, как ты, Джон.

— Я? Я не религиозен.

— А по-моему, да. Во всяком случае, у тебя есть моральные устои.

— В самом деле?

— Джон, ты мне напоминаешь вывески на владениях американцев: «Стой.— Гляди.— Берегись.— Не входи!» Ты, наверное, считаешь меня ужасно легкомысленной.

— Нет, Флер. Куда там! Ты имеешь понятие о прямой, соединяющей две точки.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты знаешь, чего хочешь.

— Это тебе рафаэлит сообщил?

— Нет, он только подтвердил мою мысль.

— Ах, вот как? Не в меру болтлив этот молодой человек. Он развивал тебе свою теорию, что женщине нужна чужая душа, а мужчина довольствуется телом?

— Развивал.

— Он прав?

— Обидно с ним соглашаться, но, пожалуй, отчасти и прав.

— Ну так я тебе скажу, что теперь есть сколько угодно женщин, которые держат свою душу при себе и довольствуются чужими телами.

— Ты из их числа, Флер?

— Может быть, еще что спросишь? Вон Робин-Хилл! Источник песен и сказаний о Форсайтах стоял среди деревьев, серый и важный; заходящее солнце косо освещало фасад, зеленые шторы были еще спущены.

Джон вздохнул.

— Хорошо мне здесь жилось.

— Пока не явилась я и не испортила все.

— Нет, это кошунство.

Флер дотронулась до его плеча.

— Ужасно мило с твоей стороны, Джон, голубчик. Ты всегда был милый, и я всегда буду любить тебя — совершенно невинно. Роща хороша. Гениальная мысль осенила бога — создать лиственницы.

— Да, Холли говорит, что дедушка больше всего любил здесь рощу.

— Старый Джолион — тот, который не женился на своей возлюбленной, потому что у нее была чахотка?

— Этого я никогда не слышал. Но он был чудесный старик, мои родители его страшно любили.

— Я видела его карточки. Пожалуйста, не отращи себе такого подбородка, Джон. У всех Форсайтов они такие. Подбородка Джун я просто боюсь.

— Джун редкий человек.

— Ой, Джон, до чего ты благороден!

— Это плохо?

— Просто придает всему невероятную серьезность в мире, который того не стоит. Нет, Лонгфелло можешь не цитировать. Ты, когда вернешься, скажешь Энн, что ехал со мной?

— А почему бы нет?

— Я и так доставляю ей неприятности, правда? Можешь не отвечать, Джон. Но, по-моему, это нехорошо с ее стороны. Мне так мало нужно, и твоя позиция так надежна.

— Надежна? — Флер показалось, будто он прикусил это слово, и минуту она была счастлива.

— Сейчас ты похож на львенка. У львят есть совесть? Рафаэлиту будет над чем поработать. И все-таки мне думается, не такая у тебя совесть, чтобы сказать Энн. Зачем ее расстраивать, если у нее природная склонность ко всяким волнениям? — По молчанию, бывшему ей ответом, она поняла, что сделала ошибку. На этот раз осечка, как говорят в детективных романах.

И через Эпсом и Ледерхед они проехали молча.

— Ты все так же любишь Англию, Джон?

— Больше.

— Что и говорить — страна замечательная.

— Ни за что не применил бы к ней это слово — великая и прекрасная страна.

— Майкл говорит, что ее душа — трава.

— Да, и если у меня будет ферма, я до этой души доберусь.

— Не могу вообразить тебя настоящим фермером.

— Ты, верно, вообще не можешь вообразить меня чем-нибудь настоящим. Дилетант!

— Не говори гадостей. Просто у тебя, по-моему, слишком тонкая организация для фермера.

— Нет. Я хочу работать на земле — и буду.

— Это у тебя, наверно, атавизм, Джон. Первые Форсайты были фермерами. Мой отец хочет свезти меня посмотреть, где они жили.

— Ты ухватила за эту мысль?

— Я не сентиментальна; ты разве это не понял? Интересно, ты хоть что-нибудь во мне понял? — И, склонившись над рулем, сказала тихо: — Ах, почему мы должны разговаривать в таком тоне!

— Я говорил, что ничего не выйдет.

— Нет, Джон, изредка я должна тебя видеть. Это не страшно. Время от времени я хочу и буду с тобой встречаться. Это мое право.

Слезы выступили у нее на глазах и медленно покатались по щекам. Джон дотронулся до ее руки.

— Флер! Не надо!

— Теперь я тебя высажу в Норт-Доркинге, и ты как раз поспеешь на пять сорок шесть. Вот мой дом. В следующий раз я тебе его непременно покажу. Я стараюсь быть умницей, Джон; и ты должен мне помочь... Ну, вот и приехали! До свидания, Джон, голубчик, и не расстраивай из-за меня Энн, умоляю!

Жесткое рукопожатие, и он ушел. Флер повернула прочь от станции и медленно поехала назад по дороге.

Она поставила машину в гараж и вошла в «Дом отдыха». Еще не кончилось время летних отпусков, и там отдыхали семь молодых женщин, умучившихся на службе у Петтера, Поплина и им подобных.

Они сидели за ужином, и до слуха Флер доносилось веселое жужжание. У этих девушек ничего нет, а у нее есть все, кроме того единственного, что ей больше всего

нужно. Прислушиваясь к их говору и смеху, она на минуту устыдилась. Нет, она бы с ними не поменялась, а между тем ей казалось, что без этой одной вещи и жить нельзя. И пока она обходила дом, расставляла цветы, отдавала распоряжения на завтра, осматривала спальни, снизу долетал смех, веселый и безудержный, и будто дразнил ее.

V

ОПЯТЬ РАЗГОВОР В АВТОМОБИЛЕ

Джон был не столь высокого мнения о себе, чтобы спокойно дать любить себя одновременно двум хорошеньким и милым молодым женщинам. Из Пулборо, где он теперь каждый день оставлял машину Вэла, он поехал домой с печалью в сердце и путаницей в мыслях. Его шесть свиданий с Флер, с тех пор как он вернулся в Англию, шли по линии какого-то мучительного *crescendo*¹. Танцуя с ней, он понял ее состояние, но все еще не подозревал, что она сознательно его преследует, а собственные его чувства не становились ему яснее, сколько бы он ни копался у себя в сердце. Сказать ли Энн о сегодняшней встрече? Много раз тихо и мягко она давала ему понять, что боится Флер. К чему множить ее страхи, когда на то нет реальных оснований? Идея портрета принадлежит не ему, и только в течение ближайших дней он может еще встретиться с Флер. После этого они будут видаться два-три раза в год. «Не говори Энн, умоляю». Ну как после этого сказать? Ведь должен же он в какой-то мере уважать желания Флер. Она не по своей воле отказалась от него; не полюбила Майкла, как он полюбил Энн. Он так ничего и не придумал, пока ехал в Уонсдон. Когда-то мать сказала ему: «Никогда не лги, Джон, лицо тебя все равно выдаст». И теперь, хоть он и не сказал Энн, ее глаза, всюду следовавшие за ним, заметили, что он что-то от нее скрывает. Простуда ее вылилась в бронхит, так что она еще не выходила из своей комнаты, и безделье плохо действовало ей на нервы. Сей-

¹ Нарастание (итал.).

час же после обеда Джон опять пошел наверх и стал ей читать вслух. Он читал «Худшее в мире путешествие», а она лежала на боку, подперев рукой лицо, и смотрела на него. Дым топящегося камина, запах ароматических лекарств, монотонное гудение собственного голоса, повествующего о похождениях яйца пингвина, — все усыпляло его, и наконец книга выпала у него из рук.

— Поспи, Джон, ты устал.

Джон откинулся на стуле, но не уснул. Он твердо знал, что у этой девочки, его жены, есть выдержка. Она умела молчать, когда ей было больно. Наблюдая за ней, он видел: она поняла, что находится в опасности, и теперь — так ему казалось — выжидала. Энн всегда знала, чего хочет. Ей присуща была настойчивость, не усложненная, как у Флер, современными веяниями; и решимость у нее была. Юные годы на родине, в Южной Каролине, она прожила просто и самостоятельно; и, не в пример большинству американских девушек, не слишком весело. Ее больно поразило, что не она была его первой любовью и что его первая любовь до сих пор его любит; это он знал. Она с самого начала не скрывала, что тревожится, но теперь, по-видимому, заняла выжидательную позицию. И еще Джон не мог не знать, что, несмотря на два года брака, она и теперь сильно в него влюблена. Он слышал, что девушки-американки редко знают человека, за которого выходят замуж, но порой ему казалось, что Энн знает его лучше, чем он сам. Если так, что она знает? Что он такое? Он хочет с пользой прожить свою жизнь; он хочет быть честным и добрым. Но, может, он все только хочет? Может, он обманщик? Не то, чем она его считает? Мысли были душные и тяжелые, как воздух в комнате. Что толку думать! Лучше и правда поспать. Он проснулся со словами:

— Алло! Я храпел?

— Нет, но вздрагивал во сне, как собака.

Джон встал и подошел к окну.

— Мне что-то снилось. Хороший вечер. Лучшее время года — сентябрь, если погода ясная.

— Да, я люблю осень. Твоя мама скоро придет?

— Не раньше, чем мы устроимся. Она, по-моему, считает, что нам без нее лучше.

— Маме всегда, наверно, кажется, что она de trop¹, когда на самом деле этого нет.

— Лучше так, чем наоборот.

— Да. Не знаю, смогла бы я тоже так?

Джон обернулся. Она сидела в постели, смотрела прямо перед собой, хмурилась. Он подошел и поцеловал ее.

— Не раскрывайся, родная! — и натянул одеяло.

Она откинулась на подушку, смотрела на него — и опять он спросил себя, что она видит...

На следующий день Джун встретила его словами:

— Так Флер была здесь вчера и подвезла тебя? Я ей сегодня сказала свое мнение на этот счет.

— Какое же мнение? — спросил Джон.

— Что нельзя начинать все снова-здорово. Она избалована, ей нельзя доверять.

Он сердито повел глазами.

— Оставь, пожалуйста, Флер в покое.

— Я всегда всех оставляю в покое, — сказала Джун, — но я у себя дома и должна была сказать, что думаю.

— Тогда мне лучше прекратить сеансы.

— Нет, Джон, не глупи. Сеансов прекращать нельзя ни тебе, ни ей. Харолд вконец расстроится.

— А ну его, Харолда!

Джун взяла его за отворот пиджака.

— Я совсем не то хотела сказать. Портреты получатся изумительные. Я только хотела сказать, что вам не надо здесь встречаться.

— Ты сказала это Флер?

— Да.

Джон рассмеялся, и смех его прозвучал жестко.

— Мы не дети, Джун.

— Ты Энн сказал?

— Нет.

— Вот видишь!

— Что?

Лицо у него стало упрямое и злое.

— Ты очень похож на своего отца и деда, Джон, — они терпеть не могли, когда им что-нибудь говорили.

¹ Лишняя (франц.).

— А ты?

— Если нужно, отчего же.

— Так вот, прошу тебя, не вмешивайся.

Щеки Джун залились румянцем, из глаз брызнули слезы; она смигнула их, встряхнулась и холодно сказала:

— Я никогда не вмешиваюсь.

— Правда?

Она еще гуще порозовела и вдруг погладила его по рукаву. Это тронуло Джона, он улыбнулся.

Весь сеанс он был не спокоен, а рафаэлит писал, и Джун входила и выходила, и лицо ее то хмурилось, то тосковало. Он думал, как поступить, если Флер опять за ним заедет. Но Флер не заехала, и он отправился домой один. Следующий день был воскресенье, и он не приезжал в город; но в понедельник, выходя от Джун после сеанса, он увидел, что автомобиль Флер стоит у подъезда.

— Сегодня я уж тебе покажу мой дом. Вероятно, Джун с тобой говорила, но я раскаявшаяся грешница, Джон. Полежай! — И Джон полез.

День был серый, ни освещение, ни обстановка не располагали к проявлению чувств, и «раскаявшаяся грешница» играла свою роль превосходно. Ни одно слово не выходило за пределы дружеской беседы. Она болтала об Америке, ее языке, ее книгах. Джон утверждал, что Америка неумеренна в своих ограничениях и в своем бунте против ограничений.

— Одним словом, — сказала Флер, — Америка молода.

— Да; но, насколько я понимаю, она с каждым днем молодеет.

— Мне Америка понравилась.

— О, мне так очень понравилась. А как выгодно я там продал мой фруктовый сад!

— Странно, что ты вернулся, Джон. Ведь ты такой... старомодный.

— В чем?

— Ну хотя бы в вопросах пола — я, хоть убей, не смогла бы обсуждать их с тобой.

— А с другими можешь?

— О, почти со всеми. Ну, что ты хмуришься? Тебе

нелегко пришлось бы в Лондоне или, скажем, в Нью-Йорке.

— Ненавижу, когда без нужды болтают на эти темы,— сердито сказал Джон.— Только французы понимают то, что связано с полом. Нельзя говорить об этом так, как говорят здесь или в Америке; это слишком реальный фактор.

Флер украдкой на него взглянула.

— Так оставим эту скользкую тему. Я даже не знаю, смогла ли бы я говорить с тобой об искусстве.

— Ты видала статую Сент-Годенса в Вашингтоне?

— Да, но это для нас *vieux jeu*.

— Ах так? — проворчал Джон.— Чего же нужно людям?

— Ты знаешь так же хорошо, как и я.

— То есть — чтобы было непонятно?

— Если хочешь! Главное, что искусство теперь только тема для разговора; а о том, что каждому с первого взгляда понятно, не стоит и говорить — значит, это не искусство.

— По-моему, это глупо.

— Возможно. Но так забавнее.

— Раз ты сама это сознаешь, что же тут для тебя забавного?

— Опять скользкая тема? Попробуем еще! Пари держу, что тебе не по вкусу последние дамские моды.

— Почему? Вполне рациональная мода.

— Ого! Неужели на чем-то сошлись?

— Конечно, вы все были бы лучше без шляп. Голову мыть вам ведь теперь несложно.

— О, не отнимай у нас шляпы, Джон! Что останется от нашего стоицизма? Если бы нам не нужно было искать шляп, которые нам к лицу, жить стало бы слишком легко.

— Но они вам не к лицу.

— Согласна, голубчик; но я лучше тебя знаю женскую натуру. Надо же младенцу точить обо что-то зубки.

— Флер, ты слишком умна, чтобы жить в Лондоне.

— Мой милый мальчик, современная женщина нигде не живет. Она парит в собственном эфире.

— Но иногда все же спускается на землю.

Флер ответила не сразу, потом взглянула на него:

— Да, Джон, иногда спускается на землю.—И взгляд ее словно опять сказал: «Ах, почему мы должны разговаривать в таком тоне!»

Она показала ему дом так, чтобы у него создалось впечатление, будто она считается с удобствами других. Даже ее мимолетные разговоры с отдыхающими носили этот характер. Уходя, Джон чувствовал, как у него покалывает ладонь, и думал: «Ей нравится представляться легкомысленной, но в душе...» Всю дорогу домой он видел Сэссекс как в тумане, вспоминая, как улыбались ему ее ясные глаза, как смешно дрогнули ее губы, когда она сказала: «До свидания, мой хороший!» Как знать, может быть, она того и добивалась?

Холли выехала встретить его в наемном автомобиле.

— Очень обидно, Джон, Вэл забрал машину. Он завтра не сможет отвезти тебя в город и привезти, как обещал. Пришлось поехать сегодня. А если он кончит свои дела в Лондоне, то в среду прямо проедет в Ньюмаркет. Случилась очень неприятная вещь. Старый товарищ по университету подделал его подпись на стофунтовом чеке, а Вэл ему оказал не одну услугу.

— Причина уважительная,— сказал Джон.—Что же он думает предпринять?

— Еще сам не знает, но он уже третий раз делает Вэлу гадость.

— А вы вполне уверены?

— В банке описали его наружность — точь-в-точь сходится. Он, очевидно, думает, что Вэл все стерпит. Но дальше так невозможно.

— Я думаю!

— Да, мой милый, но что делать? Подать в суд на старого товарища? У Вэла странное чувство, что он сам только случайно не свихнулся.

Джон опешил. Если человек не свихнулся — это случайность?

— Был этот тип на войне? — спросил он.

— Вряд ли. По всему видно, человек он никудышный. Я как-то видела его —вконец развинченный, самодовольный.

— Серьезная неприятность для Вэла,—сказал Джон.

— Он хочет посоветоваться со своим дядей, отцом Флер. Кстаги, ты за последнее время видел Флер?

— Да. Сегодня видел. Она довезла меня до Доркин-га и показала мне свой дом.

От взгляда его не ускользнуло выражение лица Холли: тень раздумья, легшая между бровями.

— Мне что, нельзя с ней видеться? — сказал он резко.

— Только тебе об этом судить, милый.

Джон не ответил, но, как только увидел Энн, рассказал ей. Ни лицо ее, ни голос не дрогнули, она спросила только, как поживает Флер и как ему понравился дом. В эту ночь, когда она, казалось, уснула, он лежал без сна, снедаемый сомнениями. Так если человек не свихнулся — это случайность, да?

VI

СОМСА ОСЕНЯЮТ ГЕНИАЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Первое, что Сомс спросил племянника, встретившись с ним на Грин-стрит, было:

— Как он мог вообще достать чек? У тебя чековые книжки где попало валяются?

— Боюсь, что так, дядя Сомс, особенно в деревне.

— Гм,— сказал Сомс,— тогда поделом тебе. А твоя подпись?

— Он написал мне из Брайтона, спрашивая, когда можно со мной повидаться.

— Нужно было, чтобы ответ подписала твоя жена.

Вэл застонал:

— Не думал же я, что он пойдет на подделку.

— Раз дошел до такого, на что угодно пойдет. Когда ты отказал ему, он, вероятно, все-таки приехал из Брайтона?

— Да; только меня не было дома.

— Ну конечно; и он стянул бланк. Что ж, если хочешь задержать его, подавай в суд. Получит три года.

— Это убьет его,— сказал Вэл,— на что он похож!

— Еще, может, наоборот,— поправится. Он когда-нибудь сидел в тюрьме?

— Насколько мне известно — нет.

— Гм!

За этой глубокомысленной репликой последовало молчание.

— Не могу я подавать в суд,— заговорил вдруг Вэл,— старый товарищ! Конечно, господь уберег и все такое, а ведь не так трудно скатиться по этой дорожке.

Сомс уставился на него.

— Да,— сказал он,— тебе, полагаю, было бы нетрудно. Твой отец вечно попадал во всякие истории.

Вэл нахмурился. Ему сразу вспомнился вечер в «Пандемониуме», когда он в компании с другим товарищем видел своего отца пьяным.

— Но так или иначе,— сказал он,— надо что-то сделать, чтобы это не повторилось. Не выгляди он таким дохлым, можно бы просто вздуть его.

Сомс покачал головой.

— Оскорбление действием, к тому же его, вероятно, уже нет в Англии.

— Нет, я по пути сюда справился в его клубе — он в городе.

— Ты его видел?

— Нет, я хотел сначала повидать вас.

Невольнo польщенный, Сомс иронически заметил:

— Может быть, у него есть, как говорится, другое, лучшее «я»?

— Честное слово, дядя Сомс, это гениальная мысль!

Сомс покачал головой.

— Впрочем, по лицу этого не скажешь.

— Не знаю,— сказал Вэл,— он как-никак из хорошей семьи.

— Это сейчас ничего не значит. А кстати, пока я не забыл; помнишь ты этого молодого человека, Баттерфилда, в связи с элдерсоновским скандалом? Нет, конечно, не помнишь. Так вот, я хочу взять его из издательства, где он работает, и поставить под начало старого Грэдмена, чтобы он ознакомился с делами по управлению имуществом твоей матери и других членов нашей семьи. Старый Грэдмен тянет из последних, и этот человек сможет со временем сменить его — работа постоянная, и получать будет больше, чем теперь. Я могу на него положиться, а это, по нашим временам, важно. Я хотел, чтобы ты знал об этом.

— Тоже гениальная мысль, дядя Сомс. Но вернемся к первой: вы могли бы повидать Стэйнфорда и выяснить это дело?

— Почему именно я должен этим заниматься?

— Ваш авторитет не сравнить с моим.

— Гм! Как посмотришь, всегда неприятные дела достаются мне. Но, пожалуй, и правда лучше мне с ним поговорить, чем тебе.

Вэл широко улыбнулся.

— Я вздохну свободнее, если вы за это возьметесь.

— А я нет,— сказал Сомс.— Надо полагать, кассир в банке не напутал?

— Кто спутает Стэйнфорда с другим?

— Никто,— сказал Сомс.— Итак, если ты не хочешь подавать в суд, предоставь это дело мне.

Вэл ушел, а он задумался. Вот он до сих пор держит в руках дела всей семьи; интересно, что они будут делать, когда его не станет. Этот Баттерфилд, может, и гениальная мысль, но как знать,— впрочем, он ему необычайно предан, глаза у него, как у собаки! Надо заняться этим теперь же, пока старый Грэдмен не свалился. И нужно подарить старому Грэдмену какую-нибудь серебряную вещь, именную, пока он еще в состоянии оценить ее; а то обычно такие подарки получают, когда умрут или успеют выжить из ума. И еще: Баттерфилд знаком с Майклом — а значит, внимательно отнесется к делам Флер. Но как же быть с этим проклятым Стэйнфордом? Как взяться за это дело? Лучше попробовать пригласить его сюда, чем идти к нему в клуб. Раз у него хватило наглости остаться в Англии после такого бесовестного поступка, значит хватит наглости прийти и сюда — посмотреть, нельзя ли еще что сорвать. И Сомс, кисло улыбаясь, пошел к телефону.

— Мистер Стэйнфорд в клубе? Попросите его зайти на Грин-стрит, к мистеру Форсайту.

Убедившись, что в комнате нет ни одной ценной безделушки, он уселся в столовой и вызвал Смизер.

— Я жду этого мистера Стэйнфорда, Смизер. Если я позвоню, пока он будет здесь, бегите на улицу и зовите полисмена.— И добавил, заметив выражение ее лица:— Может быть, ничего и не случится, но как знать.

— Опасности нет, мистер Сомс?

— Ну разумеется, Смизер. Просто я могу найти нужным, чтобы его арестовали.

— Вы думаете, он опять что-нибудь унесет, сэр?

Сомс улыбнулся и движением руки указал, что все прибрано.

— Скорее всего он и не придет, а если придет, проводите его сюда.

Когда Смизер вышла, он уселся против часов — голландской работы, и такие тяжелые, что унести их невозможно; их «откопал» в свое время Джемс, они звонили каждые четверть часа, а на циферблате были луна и звезды. Теперь, перед третьей встречей, Сомс уже не так бодрился; два раза этот тип сумел выпутаться и, поскольку Вэл не хочет обращаться в суд, выпутается, очевидно, и в третий. И все же было что-то притягательное в перспективе сразиться с этим «пропащим» и что-то в самом человеке, заставлявшее воспринимать его чуть ли не в романтическом плане. Словно в образе этого томного мошенника еще раз явились ему излюбленный лозунг времени его молодости «скрывать всякое чувство» и вся светскость, присущая дому на Парк-Лейн с легкой руки его матери Эмили. И, наверно, этот тип не явится!

— Мистер Стэйнфорд, сэр.

Когда Смизер, вся красная от волнения, удалилась, Сомс не сразу нашелся, с чего начать; лицо у Стэйнфорда было как пергаментное, точно он вышел из могилы. Наконец Сомс сказал:

— Я хотел поговорить с вами об одном чеке. Кто-то подделал подпись моего племянника.

Брови поднялись, веки легли на глаза.

— Да. В суд Дарти не обратится.

Сомсу стало тошно.

— Вы так уверены, — сказал он, — а вот мой племянник еще не решил, как поступить.

— Мы вместе учились, мистер Форсайт.

— И вы на этом спекулируете? Есть, знаете ли, предел, мистер Стэйнфорд. А подделка была умелая для новичка.

В лице что-то дрогнуло; и Сомс извлек из кармана подделанный чек. Ну, конечно, недостаточно защищен, даже не перечеркнут. Теперь на чеках Вэла придется ставить штамп: «Обращения не имеет, платите такому-то». Но как припугнуть этого типа?

— Я пригласил сюда агента сыскной полиции, — ска-

зал он,— он войдет, как только я позвоню. Так продолжаться не может. Раз вы этого не понимаете...— И он сделал шаг к звонку.

На бледных губах возникла еле заметная горькая улыбка.

— Вы, мистер Форсайт, смею предположить, никогда не бывали в нужде?

— Нет,— брезгливо ответил Сомс.

— А я не выхожу из нее. Это очень утомительно.

— В таком случае,— сказал Сомс,— тюрьма вам покажется отдыхом.— Но уже произнося эти слова, он счел их лишними и, пожалуй, грубыми. Перед ним был вообще не человек, а тень, томная, скорбная тень. Все равно что терроризировать привидение!

— Послушайте,— сказал он,— дайте мне слово джентльмена оставить в покое моего племянника и всю нашу семью, тогда я не буду звонить.

— Очень хорошо, даю вам слово; верить или нет — ваше дело.

— Так, значит, на том и покончим,— сказал Сомс.— Но это последний раз. Доказательство я сохраняю.

— Жить нужно, мистер Форсайт.

— Не согласен,— сказал Сомс.

«Тень» издала неопределенный звук — скорее всего смех,— и Сомс опять остался один. Он быстро прошел к двери посмотреть, как тот выйдет на улицу. Жить? Нужно? Разве такому не лучше умереть? Разве большинству людей не лучше умереть? И, поразившись такой несуразной мысли, он прошел в гостиную. Сорок пять лет, как он обставил ее, и вот сейчас она, как и раньше, полна маркетри. На камине стоял небольшой старый дагерротип в глубокой эмалевой рамке — портрет его деда, «гордого Доссета», чуть тронутый розовым на щеках. Сомс остановился перед ним. Подбородок основателя клана Форсайтов удобно покоился между широко расставленными углами старомодного воротничка. Глаза с толстыми нижними веками — светлые, умные, чуть насмешливые; бакенбарды седые; рот, судя по портрету, может проглотить немало; старинный фрак тонкого сукна; руки делового человека. Кряжистый старик, сильный, самобытный. Чуть не сто лет этому портрету. Приятно видеть признаки сильного характера после этого томного,

пообносившегося экземпляра! Хорошо бы посмотреть на места, где родился и рос этот старик, перед тем как в конце восемнадцатого века всплыть на поверхность и основать род Форсайтов. Надо взять Ригза и съездить, а если Флер не поедет, еще, может, и лучше! Ей было бы скучно! Корни для молодежи ничего не значат. Да, нужно съездить посмотреть на корни Форсайтов, пока погода не испортилась. Но сначала надо устроить старого Грэдмена. Приятно будет повидать старика после такого переживания, он никогда не уходит из конторы раньше половины шестого. И, водворив дагерротип на место, Сомс поехал на такси в Полтри и по пути размышлял. Трудно стало вести дела, когда вас вечно подстерегают субъекты вроде Элдersona или этого Стэйнфорда. Вот так же и страна — не успеет выбраться из одной заварухи, как попадает в другую; стачка горняков кончится с зимними холодами, но тогда всплывет еще что-нибудь — война или другие беспорядки. И еще Флер... у нее большое состояние. Неужели он сделал ошибку, дав ей такую самостоятельность? Нет, мысль связать ее при помощи денег всегда ему претила. Как бы она ни поступала — она его единственный ребенок; можно сказать, его единственная любовь. Если ее не удержит от падения любовь к сыну и к нему, не говоря уже о муже, неужели поможет угроза лишить ее наследства? Как бы там ни было, дело с ней обстоит как будто лучше; возможно, что он ошибся.

Сити разгружался от дневной жизни. Служащие разбегались во все стороны, как кролики; хоть бы они утром вот так сбегались, а то стали нынче отлынивать от работы. Начинают в десять, а не в девять, как прежде; кончают в пять, а не в шесть. Положим, есть телефоны и еще всякие усовершенствования, и работы, возможно, выполняется не меньше; не пьют столько пива и хереса, как бывало, и не съедают столько бифштексов. Измельчала порода, как сравнишь с этим стариком, чей портрет он только что рассматривал, — торопливый пошел народ, узколобый; выражение лица нервное, тревожное — точно они вложили свой капитал в жизнь и оказалось, что акции-то падают. И ни одного сюртука не увидишь, ни одного цилиндра. Покрепче надвинув свой собственный, Сомс оставил такси у знакомого ту-

пичка в Полтри и вошел в контору «Кэткот, Кингсон и Форсайт».

Старый Грэдмен только что стянул рабочий пиджак со своей широкой согнутой спины.

— А, мистер Сомс, а я как раз собрался уходить. Разрешите, я сейчас надену сюртук.

Сюртук, судя по покрою, изготовления девятьсот первого года.

— Я теперь ухожу в половине шестого. Работы обычно не так уж много. Люблю соснуть до ужина. Рад вас видеть; вы нас совсем забыли.

— Да,— сказал Сомс,— я редко захожу. Но я вот думал... Случись что-нибудь с вами, или со мною, или с обоими, дела живо запутаются, Грэдмен.

— О, не хочется и думать об этом!

— А нужно; мы с вами не молоды.

— Ну, я-то не мальчишка, но вы, мистер Сомс,— разве это старость?

— Семьдесят один.

— Да, да! А кажется, только на днях я отвозил вас в школу в Слау. Я помню то время лучше, чем вчерашний день.

— Я тоже, Грэдмен; и это признак старости. Помните вы этого молодого человека, который заходил сюда сообщить мне об Элдерсоне?

— А, да. Славный молодой человек. Баттермилк или что-то в этом роде.

— Баттерфилд. Так вот, я решил дать его вам в помощники и хочу, чтобы вы ввели его в курс всех дел.

Старый клерк стоял тихо-тихо; лицо его, в рамке седых волос и бороды, ничего не выражало. Сомс заторопился:

— Это только на всякий случай. Когда-нибудь вам захочется уйти на покой...

Тяжелым жестом Грэдмен поднял руку.

— Моя надежда— умереть на посту,— сказал он.

— Ну, как хотите, Грэдмен. Вы, как и раньше, всем ведайте; но у нас будет на кого положиться, если вы захвораете, либо захотите отдохнуть, либо еще что.

— Лучше бы не надо, мистер Сомс. Молодой человек, у нас в конторе...

— Хороший человек, Грэдмен. К тому же он кое-чем

обязан мне и моему зятю. Он вам не помешает. Знаете, ведь никто не вечен.

Лицо старика странно сморщилось, голос скрипел больше обычного.

— Словно бы и рано вперед загадывать. Я вполне справляюсь с работой, мистер Сомс.

— О, я вас понимаю,— сказал Сомс,— я и сам это чувствую, но время никого не ждет, и надо подумать о будущем.

Из-под седых усов вырвался вздох.

— Что ж, мистер Сомс, раз вы решили, говорить больше нечего; но я недоволен.

— Пойдемте, я подвезу вас до станции.

— Спасибо, я лучше пройду, подышу воздухом. Вот только запру.

Сомс понял, что зализать надо не только ящики, но и чувства, и вышел.

Преданный старик! Проехать сразу же к Полкинфорду, выбрать что-нибудь ему в подарок.

В громадном магазине, так тесно уставленном серебром и золотом, что являлось сомнение, была ли здесь когда продана хоть одна вещь, Сомс огляделся. Надо подыскать что-нибудь стоящее — ничего вычурного, кричащего. Пунша старик, верно, не пьет — сектант! Может, подойдут эти два верблюда? Серебряные, с позолотой, у каждого по два горба, и из них торчат свечи. И между горбами выгравировать — «Джозефу Грэдмену от благодарной семьи Форсайтов». Грэдмен живет где-то около Зоологического сада! Гм! Верблюды? Нет! Лучше чашу. Если он не пьет пунша, может насыпать в нее розовых лепестков или ставить цветы.

— Мне нужна чаша,— сказал он,— очень хорошая.

— Сию минуту, сэр, у нас как раз есть то, что вам нужно.

Всегда у них есть как раз то, что вам нужно!

— Вот взгляните, сэр, литого серебра — очень строгий рисунок.

— Строгий! — сказал Сомс.— Я бы даром ее не взял.

— Совершенно верно, сэр, это, может быть, не совсем то, что вам нужно. Ну, а вот эта небольшая, но изящная чаша?

— Нет, нет, что-нибудь простое и устойчивое, чтобы вмещала около галлона.

— Мистер Бэнкуэйт, подите-ка сюда. Этому джентльмену нужна старинная чаша.

— Сию минуту, сэр, у нас как раз есть то, что вам нужно.

Сомс издал неясное ворчание.

— На старинные чаши спрос небольшой; но у нас есть одна, антикварная, из дома Роксборо.

— С гербом?— сказал Сомс.— Не годится. Мне нужно новую или, во всяком случае, без герба.

— А тогда вот эта вам подойдет, сэр.

— О боже! — сказал Сомс и указал кончиком зонта в противоположную сторону.— Вот это что такое?

Приказчик сделал огорченное лицо и достал вещь с застекленной полки.

На выпуклой, стянутой кверху ножке покоилась вместительная серебряная чаша. Сомс постучал по ней пальцем.

— Чистого серебра, сэр, и, как видите, очень гладкие края; форма достаточно скромная, внутри позолота лучшего качества. Я бы сказал, как раз то, что вам нужно.

— Неплохо. Сколько стоит?

Приказчик склонился над кабалистическим знаком.

— Тридцать пять фунтов, сэр.

— Вполне достаточно,— сказал Сомс. Понравится ли подарок старому Грэдмену, он не знал, но вещь не безвкусная, престиж семьи не пострадает.— Так я ее беру,— сказал он.— Выгравировайте на ней эти слова.— Он написал их.— Пошлите по этому адресу, а счет мне; и, пожалуйста, поскорее.

— Будет исполнено, сэр. Не интересуют ли вас эти бокалы? Очень оригинальные.

— Больше ничего! — сказал Сомс.— До свидания!— Он дал приказчику свою карточку, окинул магазин холодным взглядом и вышел. Одной заботой меньше!

Под брызгами сентябрьского солнца он шел по Пикадилли на запад, в Грин-парк. Эти мягкие осенние дни хорошо на него действовали. Ему не стало жарко, и холодно не было.

И платаны, чуть начинавшие желтеть, радовали его — хорошие деревья, стройные. Шагая по траве лу-

жаек, Сомс даже ощущал умиление. Звук быстрых, нагонявших его шагов вторгся в его сознание. Голос сказал:

— А, Форсайт! Вы на собрание к Майклу? Пойдемте вместе!

«Старый Монт», как всегда самоуверенный, болтливый! Вот и сейчас пошел трещать!

— Как вы смотрите на все эти перемены в Лондоне, Форсайт? Помните, широкие панталоны и кринолины — расцвет Лича¹ — старый Пэм² на коне? Сентябрь навевает воспоминания.

— Это все поверхностное, — сказал Сомс.

— Поверхностное? Иногда и мне так кажется. Но есть и существенная разница — разница между романами Остин и Тrolлопа и современными писателями. Приходов не осталось. Классы? Да, но грань между ними проводит человек, а не бог, как во времена Тrolлопа.

Сомс фыркнул. Вечно он так странно выражается!

— Если дальше пойдем такими темпами, скоро вообще никакой грани не будет, — сказал он.

— А вы, пожалуй, не правы, Форсайт. Я бы не удивился возвращению лошади.

— При чем тут лошадь? — пробурчал Сомс.

— Ждать нам остается только царства небесного на земле, — продолжал сэр Лоренс, помахивая тросточкой. — Тогда у нас опять начнется расцвет личности. А царство небесное уже почти наступило.

— Совершенно вас не понимаю, — сказал Сомс.

— Обучение бесплатное; женщины имеют право голоса; даже у рабочего есть — или скоро будет — автомобиль; трущобы обречены на гибель — благодаря вам, Форсайт; развлечения и новости проникают под каждую крышу; либеральная партия сдана в архив; свобода торговли стала величиной переменной; спорт доступен в любых количествах; догматам дали по шее; генеральной стачке тоже; бойскаутов что ни день, то больше; платья удобные; и волосы короткие — это все признаки царства небесного.

— Но при чем тут все-таки лошадь?

— Символ, дорогой мой Форсайт! Лошадь нельзя

¹ Английский карикатурист, сотрудник журнала «Панч» (1817—1864).

² Пальмерстон (1784—1865).

подвести ни под стандарт, ни под социализм. Начинается реакция против единообразия. Еще немножко царства небесного — и мы опять начнем заниматься своей душой и ездить цугом.

— Что это за шум? — сказал Сомс. — Будто кто-то взывает о помощи.

Сэр Лоренс вздернул бровь.

— Это пылесос в Букингемском дворце. В них много человеческого.

Сомс глухо заворчал — не умеет этот человек быть серьезным! Ну-ну, скоро, может быть, придется. Если Флер... Но не хотелось думать об этом «если».

— Что меня восхищает в англичанах, — вдруг заговорил сэр Лоренс, — это их эволюционизм. Они подаются вперед и назад, и снова вперед. Иностранцы считают их безнадежными консерваторами, но у них есть своя логика — это великая вещь, Форсайт. Как вы думаете поступить с вашими картинами, когда соберетесь на тот свет? Завещаете их государству?

— Смотря по тому, как оно со мной обойдется. Если они еще повысят налог на наследство, я изменю завещание.

— По принципу наших предков, а? Либо добровольная служба, либо никакой! Молодцы были наши предки.

— Насчет ваших не знаю, — сказал Сомс, — мои были просто фермеры. Я завтра еду взглянуть на них, — добавил он с вызовом.

— Чудесно! Надеюсь, вы застанете их дома.

— Мы опоздали, — сказал Сомс, заглядывая в окно столовой, из которого выглядывали члены комитета. — Половина седьмого! Ну и забавный народ!

— Мы всегда забавный народ, — сказал сэр Лоренс, входя за ним в дверь, — только не в собственных глазах. Это первая из жизненных основ, Форсайт.

VII

ЗАВТРА

Флер встретила их в холле. Оставив Джона в Доркинге, она с недозволенной скоростью прикатила обратно в Лондон, чтобы создать впечатление, что мысли ее заня-





ты исключительно благоустройством трущоб. «Помещик» уехал стрелять куропаток, и председательствовал епископ. Флер прошла к буфету и стала разливать чай, пока Майкл читал протокол предыдущего собрания. Епископ, сэр Годфри Бедвин, мистер Монтросс, ее свекор и сама она пили китайский чай; сэр Тимоти — виски с содовой; Майкл — ничего; маркиз, Хилери и ее отец — цейлонский чай; и каждый утверждал, что остальные портят себе пищеварение. Отец постоянно говорил ей, что она пьет китайский чай только потому, что он в моде; нравиться он ей, конечно, не может. Наливая каждому положенный напиток, она пыталась представить себе, что бы они подумали, если б знали, чем, кроме чая, заняты ее мысли. Завтра у Джона последний сеанс, и она делает решительный шаг! Два месяца — с тех пор, как они танцевали с ним в Нетлфолде, — она терпела, завтра это кончится. Завтра в этот час она потребует своего. Она знала, что для всякого контракта нужны две стороны, но это ее не смущало. Она верила верой красивой, влюбленной женщины. Ее воля исполнится, но никто не должен узнать об этом. И, передавая чашки, она улыбалась неведению этих умных старых людей. Они не узнают, никто не узнает; уж, конечно, не этот — молодой — человек, который прошлой ночью обнимал ее! И, думая о том, кому это еще только предстояло, она села у камина с чашкой чая и блокнотом, а сердце у нее колотилось, и полузакрытые глаза видели лицо Джона, обернувшееся к ней с порога вокзала. Свершение! Она, как Иаков, семь лет выслуживала свою любовь — семь долгих, долгих лет! И пока она сидела, слушая нудное гудение епископа и сэра Годфри, бессвязные восклицания сэра Тимоти, редкие, сдержанные замечания отца, — ясное, четкое, упрямое сознание, которым наделила ее французская кровь, было занято усовершенствованием механизма тайной жизни, которую они начнут завтра, вкусив запретного плода. Тайная жизнь — безопасная жизнь, если отбросить трусливые колебания, щепетильность и угрызения совести! Она так была в этом уверена, словно раз десять жила тайной жизнью. Она сама все устроит. У Джона не будет никаких забот. И никто не узнает!

— Флер, запиши это, пожалуйста.

— Хорошо.

И карандаш забежал по блокноту: «Спросить Майкла, что нужно было записать».

— Миссис Монт!

— Да, сэр Тимоти?

— Вы бы нам не устроили такой... ну как это называется?

— Утренник?

— Нет, нет! Ну, базар, что ли.

— С удовольствием.

Чем больше базаров она для них устроит, тем безупречнее ее репутация, тем больше свободы и тем вернее она заслужит свою тайную жизнь и сможет ею наслаждаться и смеяться над ними.

Заговорил Хилери. А он что подумал бы, если бы знал?

— По-моему, Флер, нам и утренник необходим. Публика такая добрая, всегда заплатит гинею, чтобы пойти туда, куда ее в другое время даром не затащишь. Вы как полагаете, епископ?

— Утренник — ну, конечно!

— Утренники — какая гадость!

— А мы подберем хорошую пьесу, мистер Форсайт, что-нибудь чуть старомодное — одну из вещей Л. С. Д. Составило бы нам рекламу. Ваше мнение, лорд Шропшир?

— Моя внучка Марджори могла бы вам помочь — и ей пошло бы на пользу.

— Гм! Если она этим займется, старомодно не будет.

И Флер увидела, что, говоря это, отец посмотрел на нее. Если б он только знал, как мало это ее теперь трогает; до чего мелкими кажутся ей тогдашние чувства.

— Мистер Монтросс, у вас есть на примете театр?

— Достать смогу, мистер Черрел.

— Отлично! Так поручим это дело вам с лордом Шропшир и моему племяннику. Флер, расскажите нам, как у вас дела в доме отдыха?

— Очень хорошо, дядя Хилери. Переполнено. Девушки такие милые.

— Распущенная, верно, публика?

— О нет, сэр Тимоти, они ведут себя примерно.

Если б мог этот усатый старик прочесть мысли «примерной» леди, которая их опекает!

— Ну, значит, так. Мы как будто кончили, сэр, вы разрешите? У меня свидание с одним американцем на счет муравьев. Мало мы, по-моему, встряхнули этих домовладельцев. Спокойной ночи!

Флер сделала Майклу знак остаться и пошла провожать сэра Тимоти.

— Который ваш зонтик, сэр Тимоти?

— Не знаю; вот этот как будто лучше других. Если будете устраивать базар, миссис Монт, хорошо бы вам продать на нем епископа. Терпеть не могу, когда люди мямлят, да еще на председательском месте.

Флер улыбнулась, он галантно приподнял шляпу. Все они были с ней галантны, и это ей льстило. Но если б они узнали?! Темнеют деревья сквера, только что зажгли фонари. Хорошо еще, что такая погода — сухая, теплая. Она стояла в дверях, глубоко дыша. Завтра в это время она будет неверной женой! Ну что ж, не больше, чем всегда была в тайных мечтах.

«Хорошо, что Кит в «Шелтере», — подумала она. Он-то никогда не узнает, никто не узнает! Никаких перемен ни в чем — только в ней и в Джоне. Сила жизни прорвется незаметным ручейком и потечет — куда? Не все ли равно?

— Мой милый Монт, с материальной точки зрения честность никогда не была лучшей политикой. Это мнение типично для времен Виктории. Удивительно в то время умели находить квадратуру круга.

— Согласен, маркиз, согласен; они лучше, чем кто-либо другой, умели думать, что хотели. В тучные годы это удастся.

Эта пара в холле, за ее спиной, — старые, высохшие! Не переставая улыбаться, она обернулась.

— Дорогая миссис Монт, здесь свежо! Вы не простудитесь?

— Нет, благодарю вас, сэр, мне тепло.

— Вот славно-то!

— Разрешите подвезти вас, милорд?

— Благодарствуйте, мистер Монтросс. Все мечтаю о собственном автомобиле. Вам с нами по дороге, Монт? Мистер Монтросс, вы знаете эту песенку: «Мы в дом к

Алисе все зайдём»? Мой мальчик-молочник ею прямо увлечен. Я все думаю, что это за Алиса? Подозрительная, по-моему, особа. Спокойной ночи, миссис Монт. У вас прелестный дом!

— Спокойной ночи, сэр!

Его рука; рука «моржа»; рука свекра.

— Кит здоров, Флер?

— Цветет.

— Спокойной ночи, милая!

Милая — мать его внука! «Завтра, завтра, завтра!» Дряхлый груз укрыт пледом, дверца захлопнулась — какая мягкая, бесшумная машина! Опять голоса.

— Привести вам такси, дядя Хилери?

— Нет, спасибо, Майкл, мы с епископом пройдемся.

— Я дойду с вами до угла. Идемте, сэр Годфри? До свидания, родная. Твой отец остался обедать. Я вернусь от Блайта часов в десять.

И вышли звери из ковчега по четыре!

— Не стой здесь, озябнешь! — Голос отца! Единственный, с кем ей страшно встретиться глазами. Нельзя снимать маску.

— Ну, папа, что сегодня делал? Пойдем в гостиную, скоро обедать.

— Как твой портрет? Не преувеличивает этот молодчик? Нужно бы мне зайти посмотреть.

— Подожди еще, папа. Он очень обидчивый.

— Все они такие. Я думал завтра поехать на Запад, поглядеть, откуда вышли Форсайты. Тебе вряд ли удалось бы вырваться и поехать со мной?

Флер слушала, не выдавая чувства облегчения.

— На сколько ты уезжаешь, папа?

— Вернусь на третий день. Туда меньше двухсот миль.

— Боюсь, что мой художник расстроится.

— Я и не думал, что это тебя соблазнит. Блеска ни малейшего. А я уже давно собирался. И погода стоит хорошая.

— Я уверена, что будет страшно интересно, милый; ты мне все потом расскажи. Но с этими сеансами и с домом отдыха я сейчас очень связана.

— Так я буду ждать тебя в воскресенье. Твоя мать уехала в гости — только и знают, что играть в бридж;

пробудет там до понеделника. Ты ведь знаешь, я всегда хочу тебя видеть,— добавил он просто.

И чтобы уйти от его взгляда, она встала.

— Сейчас, папа, я только сбегаю наверх переодеться. После этих собраний комитета я всегда чувствую, что нужно помыться. Не знаю почему.

— Пустая трата времени,— сказал Сомс.— Трущобы всегда будут. А все-таки занятие вам обоим.

— Да, Майкл наслаждается.

— Вот старый дурак этот сэр Тимоти! — И Сомс подошел к Фрагонару.— Ту картину Морланда я повесил. Маркиз — приятный старик. Я тебе, кажется, говорил, что оставляю свои картины государству? Тебе они не нужны. Когда-нибудь переедешь жить в этот Липпингхолл. Там картины не ко двору. Предки, да оленье рога, да лошади — вот там что. Да.

Тайная жизнь и Липпингхолл? Пусть еще долго, долго этого не будет!

— О, папа, Барт никогда не умрет!

— Н-да! Что и говорить, живуч. Ну, беги к себе!

Смывая пудру и пудрясь опять, Флер думала: «Милый папа! Какое счастье! Он будет далеко».

Теперь, когда она окончательно решилась, было сравнительно легко обманывать и спокойно улыбаться свеженапудренным лицом над тарелками челсийского фарфора.

— Где ты думаешь повесить свой портрет, когда он будет готов? — заговорил Сомс.

— О, ведь он твой, милый.

— Мой? Ну, конечно; но ты его повесь у себя. Майкл захочет.

Майкл — в неведении! Эта мысль ее больно кольнула. Что же, она будет с ним по-прежнему ласкова. К чему старомодная щепетильность?

— Спасибо, милый. Думаю, что он захочет повесить его в гостиной. Как раз подойдет: серебро и золото — мой маскарадный костюм.

— Помню,—сказал Сомс,—что-то с колокольчиками.

— Эта часть картины, по-моему, очень хорошо вышла.

— Что? А лицо ему разве не удалось?

— Не знаю, мне как-то не очень нравится.

И правда, в тот день, после сеанса, она стала сомневаться. В лице появилось что-то жадное, словно рафаэлит почуял, как в ней крепнет решение.

— Если плохо выйдет, я не возьму,— сказал Сомс. Флер улыбнулась. У рафаэлита найдется, что сказать на это.

— О, я уверена, что будет хорошо. Собственным портретом никто, наверно, не бывает доволен.

— Не знаю,— сказал Сомс,— не пробовал.

— А следовало бы, милый.

— Пустая трата времени! Он отослал портрет этой молодой женщины?

Флер не сморгнула.

— Жены Джона Форсайта? О да, уже давно.

Она ждала, что он скажет: «Ты с ними виделась это время?» — но он промолчал. И это смутило ее больше, чем смутил бы вопрос.

— Ко мне сегодня заходил твой кузен Вэл.

У Флер замерло сердце. Неужели говорили о ней?

— Его подпись подделали.

Какое счастье!

— Есть люди, абсолютно лишенные нравственных устоев,— продолжал Сомс. Она невольно вздернула белые плечи; но он не заметил.— Самая обыкновенная честность — куда она девалась, не знаю.

— Я сегодня слышала, папа, как лорд Шропшир говорил, что «честность — лучшая политика»,— это просто пережиток викторианства.

— Хоть он и старше меня на десять лет, не понимаю, с чего он это взял. Все теперь вывернуто наизнанку.

— Но если это лучшая политика, так особой добродетелью это никогда и не было, так ведь?

Сомс резко взглянул на ее улыбающееся лицо.

— Почему?

— Ой, не знаю! Куропатки из Липпингхолла, папа. Сомс потянул носом.

— Мало повисели. Ножки куропатки должны быть куда сочней.

— Да, я говорила кухарке, но у нее свой взгляд на вещи.

— А в хлебном соусе должно быть чуть побольше

лука. Викторианство, подумаешь! Он, верно, и меня называл бы викторианцем!

— А разве это не так, папа? Ты сорок шесть лет при ней прожил.

— Прожил двадцать пять без нее и еще проживу.

— Долго, долго проживешь,— мягко сказала Флер.

— Ну, это вряд ли.

— Нет, непременно! Но я рада, что ты не считаешь себя викторианцем. Я их не люблю: слишком много на себя надевали.

— Не скажи.

— Во всяком случае, завтра ты будешь в царствовании Георга.

— Да,— сказал Сомс.— Там, говорят, есть кладбище. Кстати, я купил место на нашем кладбище, в углу. Чего еще искать лучшего? Твоя мать, верно, захочет, чтобы ее отвезли хоронить во Францию.

— Кокер, налейте мистеру Форсайту хереса.

Сомс не спеша понюхал.

— Это еще из вин твоего деда. Он дожил до девяноста лет.

Если они с Джоном доживут до девяноста лет, так никто и не узнает?.. В десять часов, коснувшись губами его носа, она ушла к себе.

— Я устала, папа; а тебе завтра предстоит длинный день. Спокойной ночи, милый!

Счастье, что завтра он будет в царствовании Георга!

VIII

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Неожиданно затормозив машину на дороге между фермой Гейджа и рощей в Робин-Хилле, Флер сказала:

— Джон, милый, мне пришла фантазия. Давай выйдем и погуляем здесь. Вельможа в Шотландии.— Джон не двинулся, и она прибавила:— Мы теперь долго с тобой не увидимся, раз твой портрет готов.

Тогда Джон вышел, и она отворила калитку, за которой начиналась тропинка. В роще они постояли, прислушиваясь, не заметил ли кто их незаконного вторжения. Ясный сентябрьский день быстро меркнул. Послед-

ний сеанс затянулся, было поздно, и среди берез и лиственниц рощи сгущались сумерки. Флер ласково взяла его под руку.

— Слушай! Правда, тихо? Как будто и не прошло семи лет, Джон. А тебе хотелось бы? Опять были бы невинными младенцами?

Он ответил сердито:

— К чему вспоминать—все случается так, как нужно.

— Птицы ложатся спать. Тут совы водились?

— Да; скоро, наверно, услышим их.

— Как пахнет хорошо!

— Деревья и коровники!

— Ваниль и тмин, как говорят поэты. А коровники близко?

— Да.

— Тогда не стоит идти дальше.

— Вот упавшее дерево,—сказал Джон.— Можно сесть подождать, пока закричит сова.

Они сели рядом на старое дерево.

— Росы нет,—сказала Флер.— Скоро погода испортится. Люблю, когда веет засухой.

— Люблю, когда пахнет дождем.

— Мы с тобой никогда не любили одно и то же, Джон. А между тем — мы любили друг друга.— Она плечом почувствовала, как он вздрогнул.

— Вот и часы бьют! Уж поздно, Флер! Слышишь? Сова!

Крик раздался неожиданно близко, из-за тонких ветвей. Флер встала.

— Попробуем ее отыскать.

Она двинулась прочь от упавшего дерева.

— Ну, где ты? Побродим немножко, Джон.

Джон поднялся и побрел рядом с ней между лиственниц.

— Кажется, сюда — верно? Как быстро стемнело. Смотри — березы еще белеют. Люблю березы,—она положила ладонь на бледный ствол.— Какой он гладкий, Джон, словно кожа,—и, наклонившись вперед, прижалась к стволу щекой.— Вот потрогай мою щеку, а потом кору. Правда, не отличишь, если бы не тепло?

Джон поднял руку. Она повернулась и коснулась ее губами.

- Джон, поцелуй меня один раз.
— Ты ведь знаешь, я не могу поцеловать тебя «один раз», Флер.
— Тогда целуй меня без конца, Джон.
— Нет, нет, нет!
— Все случается так, как нужно,—это ты сказал.
— Флер, не надо! Я не вынесу.

Она засмеялась — нежно, еле слышно.

— И не нужно. Я семь лет этого ждала. Нет! Не закрывай лицо. Смотри на меня! Я все беру на себя. Женщина тебя соблазнила. Но, Джон, ты всегда был мой. Ну вот, так лучше. Теперь я вижу твои глаза. Бедный Джон! Поцелуй меня! — В долгом поцелуе она словно лишилась чувств; не знала даже, открыты его глаза или закрыты, как у нее.

— И опять прокричала сова.

Джон оторвался от ее губ. Он дрожал в ее объятиях, как испуганная лошадь.

Она прижалась губами к его уху, шептала:

— Ничего, Джон, ничего.— Услышала, как у него захватило дыхание, и ее теплые губы продолжали шептать:— Обними меня, Джон, обними меня!

Теперь не оставалось ни проблеска света; между темных перистых веток глядели звезды, и далеко внизу, там, где начинался подъем, дрожало и подбиралось к ним сквозь деревья неверное мерцание восходящей луны. Легкий шорох нарушил безмолвие, стих, раздался снова. Ближе, ближе Флер прижималась к нему.

— Не здесь, Флер, не здесь. Я не могу... не хочу...

— Нет, Джон, здесь, сейчас. Ты ведь мой.

Когда они снова сидели на упавшем дереве, сквозь деревья светила луна.

Джон сжимал руками виски, и ей не были видны его глаза.

— Никто никогда не узнает, Джон.

Он уронил руки и посмотрел ей в лицо.

— Я должен ей сказать.

— Джон!

— Должен!

— Не можешь, пока я не позволю. А я не позволяю.

— Что мы сделали? О Флер, что же мы сделали?

— Так суждено было. Когда я тебя увижу, Джон?

Он вскочил на ноги.

— Никогда, если только она не узнает. Никогда, Флер, никогда! Я не могу продолжать тайком!

В мгновение и Флер была на ногах. Они стояли, положив руки друг другу на плечи, точно в борьбе. Потом Джон вырвался и как безумный ринулся назад в рощу.

Она стояла, дрожа, не решаясь позвать. Стояла ошеломленная, ждала, что он вернется к ней, но он не шел.

Вдруг она застонала и опустилась на колени; и опять застонала. Он должен услышать и вернуться! Не мог, не мог он уйти от нее в такую минуту!

— Джон!

Ни звука. Она встала с колен, стояла, вглядываясь в побелевший сумрак. Прокричала сова; и Флер с ужасом увидела, что луна зацепилась за верхушки деревьев, следит за ней как живая. Задохнувшись рыданием, она заплакала тихо, как обиженный ребенок. Стояла, слушала изо всех сил. Ни шороха, ни шагов, ни крика совы, ни звука, только далеко и тихо проезжают по лондонской дороге машины. Что он, пошел к автомобилю или прячется от нее в этой роще, жуткой, полной теней?

— Джон! Джон!

Не отвечает! Она побежала к калитке. Вот машина — пуста! Она села и склонилась над рулем, чувствуя, что вся онемела. Что это значит? Что же, она проиграла в самый час победы? Не мог, не мог он оставить ее здесь! Машинально зажгла она фары. Прешли двое пешком, проехал велосипедист. А Флер так и сидела онемев. И это — свершение? Свершение, о котором она мечтала? Несколько мгновений торопливой, исступленной страсти — и это? К обиде и растерянности примешивался стыд, что в такую минуту он мог убежать от нее, и страх, что, добившись его, она его потеряла!

Наконец она пустила машину и тоскливо поехала вперед, посматривая на дорогу, безнадежно надеясь догнать Джона. Ехала очень медленно и, только добравшись до поворота на Доркинг, окончательно потеряла надежду. Как она вела машину остальную часть пути, она и сама не знала. Жизнь словно разом ее покинула.

ПОХМЕЛЬЕ

Джон, ринувшись назад в рощу, повернул налево, миновал пруд и, выйдя на опушку, полем побежал в гору, к дому, как будто он все еще там жил. Дом высился над террасой и газонами — неосвещенный, призрачный в лунном сиянии. За кустом рододендронов, где маленьким мальчиком Джон играл в прятки или с луком и стрелами охотился на жука-оленья, он опустился на землю, так как ноги вдруг отказались его держать, и сжал пылающие щеки горячими кулаками. Он давно уже знал и не знал, мечтал и боялся мечтать об этом! Подавляюще, внезапно, неотступно! «Так суждено было!» — сказала она. Ее можно всячески оправдать; но где оправдание для него? Он не находил его среди этих озаренных луной рододендронов. А, между тем, дело сделано! Чей он теперь? Он встал и, словно ища ответа, поглядел на дом, где родился, рос и играл. Побеленный луной, без огней, дом казался призраком, хранил много тайн. «А я не позволяю тебе сказать!.. Когда мы опять увидимся?» Значит, она хочет тайного любовника? Невозможно! Единственный абсолютно невозможный выход. Он будет принадлежать или одной, или другой, но не обеим. Все его существо разрывалось, но это решение было твердо. Он пошел, пригибаясь, позади кустов рододендрона, тянувшихся вдоль нижнего края лужайки, добрался до стены владения, через которую так часто перелезал в детстве, и, подтянувшись на руках, соскочил на верхнее шоссе. Никто его не заметил, и он поспешил прочь. Он глухо, смятенно жаждал попасть домой, в Уонсдон, — хотя что он будет делать, когда попадет туда, он и сам не знал. Он повернул на Кингстон.

Два часа в наемном автомобиле Джон напряженно думал. Как бы он теперь ни поступил, он изменит либо одной, либо другой. И, еще не овладев собой после пережитых страстных мгновений, он никак не мог разобраться в себе, а, между тем, — нужно!

В Уонсдон он попал в одиннадцать часов и, отпустив машину на шоссе, пошел к дому. Все легли спать, решив, очевидно, что будет еще один сеанс и он остался ночевать у Джун. Он увидел, что в комнате, служившей им с

Энн спальней, горит свет, и впервые ощутил всю тяжесть стыда за содеянное. У него не хватило духу окликнуть ее, и он бесшумно двинулся в обход дома, ища, где бы войти. Наконец он заметил открытое окно в одной из запасных комнат второго этажа, принес садовую лестницу, взобрался по ней и очутился в комнате. Этот поступок, достойный заправского вора, отчасти вернул ему самообладание. Он спустился в холл, вышел из дому, отнес лестницу на место, опять вошел и бесшумно пробрался наверх. Но, дойдя до спальни, замер. Щель под дверью не светилась. Энн, видно, легла. И вдруг он понял, что не смеет войти. Ощутить себя Иудой, целуя ее? Он снял ботинки, взял их в руки и опять пошел вниз, в столовую. Он с часу дня не ел, только выпил чашку чая и теперь достал печенья и вина. Настроение изменилось. Ни один мужчина не устоял бы против поцелуев Флер в залитой луною роще — ни один! Так неужели нужно одну из них больно обидеть? Почему не сделать, как хочет Флер, — не сохранить тайну? Оставаясь ее тайным любовником, он не обидит Флер. Скрыв от Энн, он не обидит Энн. Он ходил взад-вперед по комнате, как леопард в клетке. И все, что было в нем честного и разумного, возмущалось. Разве можно остаться мужем двух женщин, если одна из них знает? Разве Флер это выдержит? А ложь, увертки! А Майкл Монт — хороший, порядочный человек! Он и так причинил ему достаточно зла. Нет! Так или иначе — но честно! Он остановился у камина, облокотился о каменную доску. Как тихо! Только тикают старые часы, принадлежавшие еще его деду, — тикают, и проходит время, которое все исцеляет, которому так мало дела до земных тревог и волнений; тикают, и идут люди и события к своим назначенным пределам. Прямо перед ним на камине стоял портрет его деда, старого Джолиона, — самая последняя фотография, запечатлевшая старое лицо с огромным лбом, белые усы, впалые щеки, глубоко запавшие строгие глаза и мощный подбородок. Джон долго смотрел на него. «Наметь себе путь и не отступай!» — словно говорил глубокий ответный взгляд. Он прошел к письменному столу и сел писать:

«Прости, что я сегодня убежал, но, право же, так было лучше. Мне нужно было подумать. Я подумал.

Пока я уверен только в одном. Продолжать тайком — невозможно. О сегодняшнем я, конечно, не скажу ни слова, если ты мне не позволишь. Но, Флер, если я не смогу все рассказать, значит — конец. Ведь и ты не хотела бы другого, правда? Ответь, пожалуйста, на адрес почтового отделения в Нетлфолде.

Джон».

Он запечатал письмо, надписал адрес Флер в Доркинге и, натянув ботинки, тихо вышел опустить его. Вернувшись, он почувствовал такую усталость, что заснул в кресле, закутавшись в старое пальто. В щелях занавесок резвился лунный свет, тикали старые часы, но Джон спал без сновидений.

Он проснулся, когда светало; прокрался в ванную, бесшумно выкупался, побрился и вылез в окно, чтобы не оставлять парадную дверь незапертой. Пошел вверх по лощине, мимо заброшенной каменоломни, на холмы, как шел с Флер семь лет назад. До получения ее ответа он не знал, что делать, и боялся встретить взгляд Энн, пока не улеглось его смятение. Он шел к Чанктонбери-Рингу. Короткая трава была заткана обильной росой. Солнце только что взошло, и бесконечно прекрасно было вокруг, безлюдно и тихо. Красота терзала его. Он всей душой полюбил холмы, в них было особое обаяние, подобного которому он не находил нигде. Неужели ему теперь предстоит их покинуть, снова покинуть Англию, покинуть все и прилепиться к Флер? Если она заявит на него права, если решит предать их союз гласности, тогда, наверно, так и будет. И Джон шел в таком смятении, какого раньше и вообразить не мог. От Ринга он свернул в сторону, чтобы не набрести на утреннюю тренировку лошадей. И эта первая увертка поставила его перед необходимостью немедленно принять решение. Что ему делать, пока не придет ответ от Флер? Письмо ее попадет в Нетлфолд не раньше вечера или даже следующего утра. С тяжелым сердцем он решил вернуться домой к завтраку и сказать, что опоздал на поезд и ночью пробрался в дом, как вор, чтобы не тревожить их.

Этот день, когда он мучился и неустанно следил за собой, был одним из самых несчастных дней в его жизни.

ни; и он не мог отделаться от чувства, что Энн читает его мысли. Словно они провели этот день, украдкой наблюдая друг за другом,—невыносимо! Часа в четыре он попросил лошадь, чтобы съездить на ферму Грин-Хилл, и сказал, что вернется поздно. Он поехал в Нетлфолд и зашел на почту. Его ждала телеграмма:

«Нужно увидеться. Буду на ферме Грин-Хилл завтра в полдень. Не обмани. Ф.».»

Джон разорвал телеграмму и поехал обратно. Еще восемнадцать часов тоски и напряжения! Есть ли что в мире хуже неизвестности? Он ехал медленно, чтобы меньше времени пробыть дома, страшился ночи. У придорожной гостиницы остановился, закусил и поехал дальше, через ферму Грин-Хилл, чтобы хоть формально оправдать свои слова. Домой он приехал около десяти, когда луна уже стояла высоко в небе.

— Чудесная ночь,— сказал он, входя в гостиную.

— Луна просто изумительна,— ответила Холли.

Энн, сидевшая у камина, даже не подняла голову. «Знает,— подумал Джон,—что-то знает». Через несколько минут она сказала, что хочет спать, и встала. Джон остался поболтать с Холли. Вэл из Лондона проехал в Ньюмаркет, его ждали не раньше пятницы. Они сидели по обе стороны горящего камина. И, глядя в лицо сестры, прелестное и задумчивое, Джон почувствовал искушение. Она такая умная и отзывчивая. Рассказать ей все— и стало бы легче. Но удержало приказание Флер — тайна была не его.

— Ну, Джон, с фермой все в порядке?

— Получил еще кой-какие цифры. Сегодня ими займусь.

— Уж скорей бы это решалось, чтобы нам знать, что вы будете здесь близко. Страшно будет обидно, если это сорвется.

— Да; но на этот раз надо действовать наверняка.

— Энн спит и видит, как бы там жить. Она мало говорит, но это ничего не значит. Такой чудесный старый уголок.

— Мне лучшего и не нужно, только пусть будет выгодно.

— Ты поэтому и тянешь, Джон?

— А почему бы еще?

— Мне казалось... может, ты в душе боишься опять прочно осесть? Но ведь ты глава семьи, Джон, тебе нужно осесть.

— Глава семьи!

— Да, единственный сын единственного сына старшего сына — и так до самого первого Джолиона.

— Хорош глава! — горько вымолвил Джон.

— Да, хорошая голова.— И Холли быстро встала, наклонилась и поцеловала его в макушку.

— Спокойной ночи! Не засиживайся! Энн что-то не веселая.

Джон погасил лампу и остался сидеть, сгорбившись, в кресле у камина. Глава семьи! Дстойно он ведет себя! А если... Ха! Вот это и правда будет весело! Что сказал бы на это старик, чей портрет он разглядывал вчера вечером? Ох, какая путаница! Ведь в глубине души он знал, что Энн ему больше товарищ, что с ней, а не с Флер он может жить и работать и обрести себя. Безумие, мимолетное безумие нахлынуло на него из прошлого,— прошлое и ее воля, стремящаяся забрать и держать его! Он встал и раздвинул занавески. Там, между двумя вязами, светила луна, загадочная и всеильная, и в свете ее все словно уплывало вверх, на гребень холмов. Красота какая, тишина! Он распахнул стеклянную дверь и вышел; как темная жидкость, разлитая по побелевшей траве, резная тень вяза почти доходила до его ног. Наверху светилось окно их комнаты. Довольно трусить, надо идти. Он не был с ней вдвоем с тех пор, как... Если бы только знать наверное, как поступить. И тут он понял, что ошибся, поддавшись внезапному желанию убежать от Флер, надо было остаться и тут же все выяснить. А, между тем, кто в его положении мог бы поступить разумно и здраво? Он сделал шаг назад к двери и замер на месте. Между лунным светом и отсветом камина стояла Энн. Тоненькая, в плотно запахнутом легком халатике, она искала его глазами. Джон закрыл дверь и задернул занавеску.

— Прости, родная, не простудись, меня лунный свет выманил.— Она проскользнула к дальнему концу камина и стояла, не сводя с него глаз.

— Джон, у меня будет ребенок.

— Что!..

— Да. В прошлом месяце я тебе не сказала, потому что не была уверена.

— Энн!

Она подняла руку.

— Подожди минутку!

Джон стиснул спинку стула, он знал, что она сейчас скажет.

— Что-то произошло между тобой и Флер.

Затаив дыхание, Джон смотрел ей в глаза: темные, испуганные, немигающие, они отвечали на его взгляд.

— Все произошло, да?

Джон опустил голову.

— Вчера? Не объясняй, не оправдывай ни себя, ни ее. Только — что же теперь будет?

Не поднимая головы, Джон ответил:

— Это зависит от тебя.

— От меня?

— После того, что ты только что сказала. Ах, Энн, почему ты не сказала мне раньше?

— Да, я опоздала.

Он понял, что она хотела сказать,— она приберегала это как средство защиты. И, чувствуя, что ему нет прощения, он сказал:

— Прости меня, Энн, прости!

— О Джон, я не знаю.

— Клянусь, что больше ее не увижу.

Теперь он поднял глаза и увидел, что она опустилась на колени перед огнем, тянется к нему рукой, словно озябла. Он упал на колени с нею рядом.

— По-моему,— сказал он,— любовь самое жестокое, что есть на свете.

— Да.

Она закрыла лицо рукой; и бесконечно долго, казалось, он стоял на коленях, ожидая движения, знака, слова. Наконец она опустила руку.

— Ничего. Прошло. Только подожди целовать меня.

ГОРЬКОЕ ЯБЛОКО

Утром, за повседневными делами, Флер ожила. Стоя под лучами солнца среди мальв и подсолнухов сада при «Доме отдыха», она с лихорадочной энергией переживала прошлое и будущее. Понятно, что Джон растерялся. Она взяла его с бою. Он старинного склада, болезненно-честный; он не может легко смотреть на вещи. Но раз уж он согрешил против совести, он поймет, что случившееся важнее всего, что может еще случиться. Важен только первый шаг! Они всегда принадлежали друг другу. Ее совесть не мучает; что же ему страдать, когда его смятение уляжется? Может, и лучше, что он убежал от нее, он сам увидит безвыходность своего положения. Пережитое волнение ничуть не поколебало ее планов. Джон теперь завоеван, он не выдаст их тайны, если не получит на то ее разрешения. Ему ничего не остается, как пойти на единственно возможное — на тайную связь. Измена налицо; а один раз или много — не все ли равно? Но взамен за потерю самоуважения она даст ему всю свою любовь, все силы своего ума. Она выведет его в люди. Несмотря на эту американскую малышку, он должен добиться успеха в своем хозяйстве, стать видным человеком в графстве, а может, и во всей стране. Она будет сама осмотрительность ради него и себя, ради Майкла, и Кита, и отца.

С большим букетом осенних цветов, за которые цеплялась пчела, она вернулась в дом, чтобы поставить их в воду. На столе в передней жена сторожа приготовила кучу пакетиков с порошком от моли, которой много развелось в доме, пустовавшем целый год. Флер стала рассовывать их по ящикам.

Со второй почтой пришло письмо Джона.

Она прочла его, и два красных пятна запылали у нее на щеках. Он написал это раньше, чем уснул, это все его смятение! Но надо увидаться с ним сейчас же — сейчас же! Она вывела из гаража машину, поехала в деревню, где ее не знали, и отправила Джону телеграмму в Нетлфолд до востребования. Какой ужас, что надо ждать до завтра! Но она знала, что он заедет на почту только вечером или даже на следующее утро.

Никогда еще так не тянулось время. Теперь ее опять одолевали сомнения. Неужели она переоценила свои силы, слишком положила на свою мгновенную победу, одержанную в минуту забытья, недооценила твердость решений Джона? Она вспомнила, как в те далекие дни ей не удалось переломить его решения отказаться от нее. И, не в силах сидеть на месте, она одна поднялась на Бокс-Хилл и там, среди тисов и зарослей брусники, бродила до изнеможения, пока солнце не склонилось к западу. В бледнеющем свете лесное безлюдье стало ей в тягость, у нее не было настоящей любви к природе, да и плохой природа утешитель, когда на сердце тревожно. Приятно было очутиться в доме, послушать болтовню девушек за ужином. Интересы это не представляло, но хоть не наводило уныния, как простор и тени за окнами. Она вдруг вспомнила, что пропустила сеанс и не дала о себе знать. Рафаэлит, верно, злится; может быть, он надел ее костюм на манекен и пишет с него звук серебряных бубенчиков... Бубенчики! Майкл! Бедный Майкл! Но стоит ли жалеть его, когда он годами владел ею, хотя она в душе принадлежала другому? Спать она легла рано. Хоть бы проспать подольше, а потом сразу ехать! Что это за сила играет сердцами, рвет их на части, бросает трепетные — велит им ждать и болеть, и болеть и ждать! Интересно, приходилось ли благой викторианской мисс, о которой теперь опять так много кричат, — приходилось ли ей переживать то, что пережила она с тех пор, как в первый раз перед этой нелепой Юноной — или Венерой? — в галерее на Корк-стрит увидела посланного ей судьбой? Викторианская мисс с ее устоями! Допустим — о, безусловно! — что у нее, Флер Монт, устоев нет; а все-таки она не изливалась всем и каждому. Не противилась, не буянила. Разве не заслужила она немножко счастья? Пусть немножко, больше она и не требует. Все проходит, сердца изнашиваются! Но прижиматься сердцем к желанному сердцу, как вчера, а потом сразу потерять его? Быть не может. Заснула она не скоро, и луна — свидетель ее победы — заглядывала в щели занавесок, нагоняла сны.

Она проснулась, лежала и думала повышенно интенсивно, как всегда бывает рано утром. Люди осудят ее,

если узнают; а возможно ли, собственно, устроить так, чтобы не узнали? Что, если Джон так и не согласится на тайную связь? Что же тогда? Готова она бросить все и идти за ним? Для нее это было бы страшнее, чем для других. Это остракизм. Ведь за всем этим непрестанно маячила все та же преграда семейной распри: ее отец и его мать, и неприемлемость для них союза между ней и Джоном. И все, что было в ней светского, содрогнулось и отпрянуло перед суровой действительностью. Деньги? Денег у них будет достаточно. Но положение, друзья, поклонники — как добиться всего этого вновь? А Кит? Его она потеряет. Монты возьмут его себе. Она села в постели, с потрясающей ясностью видя во мраке истину, никогда раньше не являвшуюся ей в таком неприкрытом виде, — что всякая победа требует жертв. Потом она возмутилась. Нет, Джон поймет, Джон образумится! Тайком они изведуют, должны изведать счастье или хотя бы не изголодаться свыше меры. Он будет не целиком с нею, она — не целиком с ним, но каждый будет знать, что другое — только притворство. Но будет ли он только притворяться? Всем ли существом он тянется к ней? Разве не так же сильно тянется он к жене? До ужаса ясно вставало перед ней лицо Энн, странный, такой красивый разрез темных живых глаз. Нет! Не нужно о ней думать! От этого слабеешь, труднее будет отвоевать Джона. Лениво потянулась, просыпаясь, заря; чирикнула птица; в комнату вполз рассвет. Флер легла на спину, снова покорившись тупой боли ожидания. Встала не отдохнувшая. Утро ясное, сухое, только роса на траве! В десять можно выезжать. В движении ждать будет легче, как бы медленно ни пришлось ехать. Она дала нужные распоряжения на день, вывела машину и пустилась в путь. Сверялась с часами, чтобы приехать ровно в полдень. Листья желтели, осень наступала ранняя. Так ли она одета? Понравится ли ему мягкий тон ее платья цвета переспелых яблок? Красное красивее, но красный цвет привлекает внимание. А сегодня привлекать внимание нельзя. Последнюю милю она еле тащилась и наконец остановила машину на обсаженной деревьями дороге, там, где кончался фруктовый сад фермы Грин-Хилл и начинались поля. Очень внимательно изучила свое лицо в маленьком зеркальце из сумочки. Где

это она читала, что зеркало отражает лицо в самом невыгодном свете? Счастье, если это так. Она вспомнила, что Джон как-то говорил, что терпеть не может губную помаду; и, не подкрасив губ, убрала зеркальце и вышла из машины. Она медленно двинулась к воротам. Отсюда шла широкая дорога, отделявшая дом от сеновала и других надворных построек, расположенных за ним по склону холма. Они вытянулись в ряд на мягком осеннем солнце — внушительные, сухие, заброшенные; ни скота не видно, ни одной курицы. Даже для непосвященной Флер было ясно, что нелегкая работа ждет того, кто возьмется за эту ферму. Сколько раз она слышала от Майкла, что в теперешней Англии нет дела более достойного мужчины, чем сельское хозяйство! Она позволит Джону купить эту ферму, пусть хоть на этот счет его несчастная совесть будет спокойна. Она вошла в ворота и остановилась перед старым домом, смотрела на острые крыши, на красные листья дикого винограда. Когда она проезжала последнюю деревню, било двенадцать. Не может быть, чтобы он обманул ее! Пять минут ожидания показались пятью часами. Потом с быстро бьющимся сердцем она подошла к двери и позвонила. Звонок отозвался где-то далеко в пустом доме. Шаги — женские шаги!

— Что угодно, мэм?

— Я должна была в двенадцать часов встретиться здесь с мистером Форсайтом по поводу фермы.

— Ах да, мэм. Мистер Форсайт заезжал рано утром. Он очень сожалел, что должен уехать. Оставил вам письмо.

— Он больше не приедет?

— Нет, мэм, он очень сожалел, но сегодня приехать не сможет.

— Благодарю вас.

Флер вернулась к воротам. Стояла, вертела в руках конверт. Потом сломала печать и прочла:

«Вчера вечером Энн сама сказала мне, что знает о случившемся. И еще сказала, что ждет ребенка. Я обещал ей больше с тобой не видеться. Прости и забудь меня, как я должен забыть тебя.

Джон».

Медленно, словно не сознавая, что делает, она разорвала бумагу и конверт на мелкие кусочки и засунула их глубоко в изгородь. Потом медленно, словно ничего не видя, прошла к автомобилю и села. Сидела, окаменев, возле фруктового сада; солнце грело затылок, пахло упавшими, гниющими яблоками. Четыре месяца, с тех пор как она увидела в столовой усталую улыбку Джона, все ее помыслы были о нем. И это конец! О, скорее уехать, уехать отсюда!

Она пустила машину и, выбравшись на шоссе, дала полный ход. Если она сломает себе шею — тем лучше! Но судьба, опекающая пьяных и пропащих, хранила ее, расчищала ей путь. И шеи она не сломала. Больше двух часов Флер мчалась, сама не зная куда. В три явилось первое здоровое ощущение — страшно захотелось курить; выпить чаю. Она перекусила в гостинице и повернула машину к Доркингу. Теперь она убавила скорость и домой попала в пятом часу. Почти шесть часов за рулем! И первое, что она увидела перед «Домом отдыха», был автомобиль ее отца. Он! А ему что нужно? Почему не оставят ее в покое? Она готова была опять пустить машину, но в эту минуту он появился в дверях дома и стал смотреть на дорогу. Что-то ищущее в этом взгляде тронуло ее, она вышла из машины и пошла к нему.

XI

«БОЛЬШОЙ ФОРСАЙТ»

Наутро после заседания комитета по перестройке трущоб Сомс рано пустился в путь. Он решил переночевать «где-нибудь там», на другой день посмотреть корни Форсайтов и проделать часть обратной дороги; а еще через день вернуться в Лондон и попытаться увезти Флер к себе в Мейплдерхем на весь конец недели. Часов в шесть он прибыл в приморскую харчевню в десяти милях от местожительства предков, съел неважный обед, выкурил привезенную с собой сигару и лег спать, для верности застелив кровать пледом из верблюжьей шерсти.

Он все обдумал и запасся военной картой большого масштаба. Свои исследования он собирался начать с осмотра церкви, руководясь, как единственной вехой, вос-

поминованием, что когда-то здесь побывал его отец Джемс и, вернувшись, говорил, что видел церковь над морем и что, «вероятно, есть приходские записи и все такое, но времени прошло много, и он не знает».

После раннего завтрака он велел Ригзу ехать к церкви. Она стояла у самого моря, как и сказал Джемс, и была открыта. Сомс вошел. Старая серая церковка, смешные скамьи, запах сырости. Вряд ли будут на стенах дощечки с его фамилией. Дощечек не оказалось, и он вышел на кладбище, и там, среди могильных плит, его охватило чувство нереальности — все скрыто под землей, могильным плитам больше ста лет, ни одной надписи не прочесть. Он уже собрался уходить, как вдруг споткнулся. Неодобрительно вперив глаза в плоский камень, он увидел на его выветренной, замшелой поверхности заглавное Ф. Минуту постоял, вглядываясь, потом что-то дрогнуло в нем, и он опустился на колени. Два слова — первое, несомненно, начинается на Д, и есть в нем л и н, во втором — то самое заглавное Ф, а в середине что-то вроде с, и у последней буквы хвостик, как у т. Дата? Э, дату можно прочесть! 1777. Он тихонько поскреб первое имя и откопал букву о. Четыре буквы из слова «Джоллон», три — из слова «Форсайт». Почти не оставалось сомнений, что он споткнулся о своего прапрадеда! Если старик дожил до обычного возраста Форсайтов, значит он родился в начале восемнадцатого века. Глаза Сомса жестким серым взглядом буравили камень, словно пытаюсь добраться до глубоко зарытых костей, давно уже, вероятно, чистых, как палочки. Потом он поднялся с колен и отряхнул с них пыль. Теперь у него есть дата. И, полный непонятной бодрости, он вышел с кладбища и подозрительным взглядом окинул Ригза. Не видел ли тот, как он стоял на коленях? Но шофер сидел, как всегда, повернувшись спиной ко всему на свете, покуривая неизменную папиросу. Сомс сел в машину.

— Теперь мне нужен дом священника, или как его там.

— Хорошо, сэр.

Всегда он отвечает «Хорошо, сэр», а сам понятия не имеет, куда ехать.

— Вы бы лучше спросили дорогу, — сказал он, когда

машина двинулась по изрытому колеями проселку. Этот тип скорее в Лондон вернется, чем спросит. Спрашивать, впрочем, было некого. Полное безлюдье прихода, где покоились его корни, поражало Сомса. Кругом были холмы и простор, большие поля, налево в овраге — лес, и почва, видно, неважная — не красная, и не белая, и не то чтобы бурая; вот море — то было синее, а скалы, насколько он мог разглядеть, — полосатые. Дорога свернула вправо, мимо кузницы.

— Эй, — сказал Сомс, — остановитесь-ка!

Он сам вышел спросить дорогу. Ригз все равно перепутал бы.

Кузнец бил молотом по колесу, и Сомс подождал, пока он заметит его присутствие.

— Где дом священника?

— Прямо по дороге, третий дом направо.

— Благодарю вас, — сказал Сомс и, подозрительно оглядев кузнеца, добавил: — Что, фамилия Форсайт здесь еще известна?

— Что такое?

— Вы когда-нибудь слышали фамилию Форсайт?

— Фарсит? Нет.

Сомс испытал смешанное чувство разочарования и облегчения и снова сел в машину. Вдруг бы он сказал: «Ну да, это моя фамилия!»

Быть кузнецом — почтенная профессия, но он чувствовал, что в его семье она не обязательна. Машина тронулась.

Дом священника задыхался в зарослях ползучих растений. Священник, наверно, тоже задохнулся! Сомс потянул ржавый звонок и стал ждать. Дверь отворила краснощекая девушка. Все было просто, по-деревенски.

— Мне нужно видеть священника, — сказал Сомс. — Он дома?

— Да, сэр. Как о вас сказать?

Но в эту минуту в дверях появился жидкий мужчина в жиденском костюме и с жидкой бородкой.

— Это ко мне, Мэри?

— Да, — сказал Сомс, — вот моя карточка.

Наверно, думалось ему, можно расспросить о своем происхождении в каких-то особых, изысканных фразах; но они не подвернулись, и он сказал просто:

— Мои предки жили в этих местах несколько поколений назад. Мне хотелось поглядеть эти края и кой о чем расспросить вас.

— Форсайт? — сказал священник, глядя на карточку. — Имя мне незнакомо, но, полагаю, что-нибудь найдем.

Одежда на нем была старая, поношенная, и Сомсу подумалось, что глаза его обрадовались бы, если б умели. «Чует деньги, — подумал он, — бедняга!»

— Зайдите, пожалуйста, — сказал священник. — У меня есть кой-какие записи и старая десятинная карта¹. Можно посмотреть. Церковные книги ведутся с тысяча пятьсот восьмидесятого года. Я мог бы проглядеть их для вас.

— Не знаю, стоит ли, — сказал Сомс и прошел за ним в комнату, неописуемо унылую.

— Присядьте, — сказал священник, — я сейчас достану карту. Форсайт? Теперь я как будто вспоминаю.

Любезен до крайности и, наверно, не прочь заработать!

— Я был возле церкви, — сказал Сомс. — Она очень близко от моря.

— Да, в кафедре, говорят, в прежнее время прятали контрабандную водку.

— Я нашел на кладбище дату — тысяча оемьсот семьдесят семь; могилы сильно запущены.

— Да, — сказал священник, роясь в шкафу, — это все морской воздух виноват. Вот карта, о которой я говорил. — Он принес большую потемневшую карту, разложил ее на столе, а углы придавил жестяной с табаком, чернильницей, книгой проповедей и плеткой. Плетка была слишком легкая, и карта, медленно свертываясь, удалялась от Сомса.

— Иногда, — сказал священник, водворяя угол на место и глазами ища, чем бы придавить его, — из этих старых карт можно извлечь много полезного.

— Я подержу, — сказал Сомс, наклоняясь над картой. — К вам, верно, приезжает много американцев в поисках предков?

¹ Карта, по которой взимали десятину (церковную подать), составляющую десятую часть дохода или урожая.

— Нет, не много,— сказал священник, и брошенный им искоса взгляд не понравился Сомсу.— Я помню двоих. А, вот,—и палец его опустился на карту,—мне так и казалось, что имя знакомое,—оно запоминается. Смотрите! На этом участке, у самого моря, пометка — «Большой Форсайт».

Снова что-то дрогнуло в Сомсе.

— Какого размера участок?

— Двадцать четыре акра. Вот тут, я помню, были развалины дома. Камни взяли во время войны на устройство тира. «Большой Форсайт» — подумайте, как интересно!

— Мне было бы интереснее, если бы камни остались на месте,—сказал Сомс.

— Там есть отметка — старый крест, об него всегда скотина чешется. У самой изгороди, на правой стороне оврага.

— Туда можно подъехать на машине?

— О да, в объезд оврага. Желаете, я проеду с вами?

— Нет, благодарю,—сказал Сомс. Обследовать свои корни при свидетелях это ему не улыбалось.— Но если вы будете так добры, что пороетесь пока в записях, я бы заехал после завтрака узнать результаты. Мой прадед, Джолион Форсайт, умер в Стэдмуте. Под камнем, который я нашел, лежит Джолион Форсайт, похоронен в тысяча семьсот семьдесят седьмом году — по-видимому, мой прапрадед. Вам, вероятно, удастся отыскать дату его рождения и, может быть, рождения его отца — порода была долговечная. К имени Джолион они, по-видимому, питали особую слабость.

— Я сейчас же возьмусь за дело. Это займет несколько часов. Сколько вы полагаете за труд?

— Пять гиней? — рискнул Сомс.

— О, это щедро. Я очень тщательно просмотрю записи. Теперь пойдемте, я объясню вам, как проехать.— Он пошел вперед, и Сомса кольнуло: джентльмен, а брюки сзади лоснятся.

— Поедете этой дорогой до разветвления, свернете влево мимо почты и дальше, в объезд оврага, все время забирая влево, увидите ферму «Верхний Луг». Дальше — до спуска; на правой руке есть ворота — войдите и окажетесь на верхнем конце того поля; впереди увидите мо-

ре. Я так рад, что мог кое-что найти. Может, на обратном пути позавтракаете у нас?

— Благодарю вас,— сказал Сомс,— вы очень добры, но я захватил завтрак с собой.— И сейчас же устыдился своей мысли: «Что же, он думает, что я скроюсь не заплатив?» Он приподнял шляпу и сел в машину, держа наготове зонт, чтобы тыкать им в спину Ригза, если тот, по привычке, свернет не в ту сторону.

Он сидел довольный, время от времени тихонько пуская в ход зонтик. Так! В дни крестин и похорон они перебирались через овраг. Двадцать четыре акра — участок порядочный. «Большой Форсайт»! Наверно, были и «Маленькие Форсайты».

Упомянутая священником ферма оказалась беспорядочным скоплением старых построек, свиней и домашней птицы.

— Поезжайте дальше, пока не начнется спуск,— сказал он Ригзу,— да не спешите, справа будут ворота.

Ригз, по своему обыкновению, гнал, а дорога уже шла под гору.

— Стойте! Вот они! — Машина остановилась на довольно неудобном повороте.

— Проскочили! — сказал Сомс и вышел.— Подождите здесь! Я, возможно, задержусь.

Он снял пальто, перекинул его через руку и, пройдя обратно по дороге, вошел через ворота на луг. Спустившись влево, к изгороди, он пошел вдоль нее и скоро увидел море, спокойное в пронизанном солнцем тумане, и дымок парохода вдали. С моря дул ветер, свежий, крепкий, соленый. Ветер предков! Сомс глубоко потянул в себя воздух, смакуя его, как старое вино. У него слегка закружилась голова от этой свежести, насыщенной озоном или йодом — или как это теперь называют? А потом пониже, шагах в ста, он заметил камень над углублением возле изгороди, и опять что-то в нем дрогнуло. Он оглянулся. Да! С дороги его не видно, никто не подглядит его чувства! И, дойдя до камня, он заглянул в углубление, отделявшее его от изгороди. Дальше поле спускалось к самой воде, а из оврага к камню вело смутное подобие бывшей дороги. Значит, дом был в этом углублении, здесь они жили, старые Форсайты, из поколения в поколение, просоленные этим воздухом; и не было

вблизи другого дома, ничего не было — только травяной простор, и море, да чайки на той скале, да разбивающиеся об нее волны. Здесь они жили, пахали землю, наживали ревматизм и ходили через овраг в церковь и, может быть, промышляли даровой водкой. Он осмотрел камень — стоячий, с перекладиной наверху — верно, кусок от сарая — никакой надписи. Спустился в углубление и зонтом стал ковырять землю. Остатки дома, сказал священник, увезли во время войны. Только двенадцать лет прошло, а ни следа не найти! Заросло травой, даже не разобрать, где были стены. Он продвинулся к изгороди. Хорошо подчистили, что и говорить, — только трава да поросль папоротника и молодых кустов дрока — эти всегда цепляются за покинутые пепелища. И, постелив пальто, Сомс сел, прислонившись к камню, и задумался. Сами ли его предки построили этот дом здесь, на отлете, первыми ли осели на этом клочке овечьей ветром земли? И что-то в нем шевельнулось, точно он таил в себе долю соленой независимости этого безлюдного уголка. Старый Джолион, и его отец, и другие его дяди — не удивительно, что они были независимые, когда в крови у них жил этот воздух, это безлюдье; и крепкие, просоленные, неспособные сдаться, уступить, умереть. На мгновение он даже самого себя как будто понял. Юг, и пейзаж южный, без всякой эдакой северной суровости, но вольный и соленый, и пустынный с восхода до заката, из года в год, как та пустынная скала с чайками, — навсегда, навеки. И, глубоко вдыхая воздух, он подумал: «Нечего и удивляться, что старый Тимоти дожил до ста лет!» Долго просидел он, погруженный в своего рода тоску по родине; очень не хотелось уходить. Никогда в жизни, казалось, не дышал он таким воздухом. То была еще старая Англия, когда они жили в этих краях, — Англия, где ездили на лошадях и почти не знали дыма, жгли торф и дрова, и жены никогда не бросали мужей — потому, наверно, что не смели. Тихая Англия ткачей и земледельцев, где миром для человека был его приход, и стоило зазеваться, как угодишь в церковные старосты. Вот хоть его дед, зачатый и рожденный сто пятьдесят шесть лет назад на лучшей в доме кровати, в каких-нибудь двадцати шагах от места, где он сидит. Как все с тех пор изменилось! К лучшему? Почему

знать? А вот эта трава, и скала, и море, и воздух, и чайки, и старая церковь за оврагом — все осталось, как было. Если бы этот участок продавался, он, пожалуй, не прочь был бы купить его, как музейную редкость. Но кто захочет сидеть здесь спокойно? Затеют гольф или еще что. И, вовремя поймав себя на грани чувствительности, Сомс опустил руку и пощупал траву. Но сырости не было, и он согрешил бы против совести, заподозрив, что схватит здесь ревматизм; он еще долго сидел, подставив щеку солнцу, устремив взгляд на море. Вдали проплывали в обе стороны пароходы; контрабандисты перевелись, и за водку платят бешеные деньги! В старину здесь росли без газет, без всякой связи с внешним миром и, наверно, не задумывались над понятием государства и прочими сложными вещами. Знал человек свою церковь, и библию, и ближайший рынок, и с июня до июня работал, ел, и спал, и дышал воздухом, и пил сидр, и обнимал жену, и смотрел, как подрастают дети. А что же, не плохо! Прибавилось ли в наши дни к этому что-нибудь истинно ценное? «Перемены — это все внешнее, — думал Сомс, — корни те же, что были. От этого не уйдешь, сколько ни старайся». Прогресс, культура — к чему они? Порождают прихоти, увлечения — например, страсть к собиранию картин. Вряд ли здешние старики чем-нибудь увлекались, разве что пчелами. Увлечения? Только для этого — только чтобы дать людям возможность увлекаться? Надо сказать, картины доставили ему много приятных часов; без прогресса этого не было бы. Нет, он скорей всего так и жил бы здесь, стриг овец и ходил за плугом, а у дочки его были бы толстые щиколотки и одна новая шляпа. Может, и лучше, что нельзя остановить ход времени. Да, и пора, пожалуй, возвращаться на дорогу, пока этот тип не пришел искать его. Сомс встал и опять спустился в углубление. На этот раз у самой изгороди он заметил какой-то предмет — очень старый башмак, такой старый, что почти утерял всякое подобие башмака. Бледная улыбка искривила губы Сомса. Он словно услышал, как кудачет покойный кузен Джордж с кислым, чисто форсайтским юмором: «Башмак предков! Эй, слуги мои верные, поднимайте мосты, закрывайте решетки!» Да, в семье над ним посмеялись бы, узнав, что он ездил смотреть на их корни. Не стоит об этом расска-

зывать. И вдруг он подошел к башмаку и, поддев его кончиком зонта за носок, брезгливо швырнул через изгородь. Башмак осквернял безлюдье, то чувство, которое он испытывал, вдыхая этот воздух. И медленно-медленно, чтобы не вспотеть перед тем, как сесть в машину, он двинулся вверх к дороге. Но у ворот остановился как вкопанный. Что случилось? К задку его машины были привязаны цугом две большие мохнатые лошади, а рядом с ними стояли трое мужчин, из которых один Ригз, и две собаки, из которых одна хромая. Сомс мигом сообразил, что во всем виноват «этот тип». Попробовал дать задний ход в гору, с которой и съезжать-то не надо было, и так засадил машину, что не мог ее сдвинуть. Вечно он что-нибудь натворит! Однако в эту минуту Ригз сел на место и взялся за руль, а один из фермеров щелкнул кнутом: «Хоп!» Мохнатые лошади тронули. Сомса поразило что-то в их сильном, неспешном движении. Прогресс! Пришлось идти за лошадьми, чтобы тащить прогресс из канавы!

— Хорошая лошадь,— сказал он, указывая на самую большую.

— Ага. Мы и зовем ее Лев — здорово тянет. Хоп! Машина выбралась на ровное место, и лошадей отвязали. Сомс подошел к фермеру, который говорил «хоп».

— Вы с ближайшей фермы?

— Да.

— Это ваше поле?

— Арендованное.

— Как вы его зовете?

— Зовем? Большое поле.

— На десятинной карте оно помечено «Большой Форсайт». Вам эта фамилия знакома?

— Форсит? Их никого не осталось. Моя бабка была Форсит.

— В самом деле,— сказал Сомс, и опять в нем что-то дрогнуло.

— Ага,— сказал фермер.

Сомс взял себя в руки.

— А ваша как фамилия, разрешите спросить?

— Бир.

Сомс долго глядел на него, потом достал бумажник.

— Разрешите,— сказал он,— за лошадей и за труды.— И он протянул фунтовую бумажку.

Фермер покачал головой.

— Не надо. Какой там труд. Нам не впервой на эту гору машины втаскивать.

— Не могу же я даром принять услугу,— сказал Сомс,— уж пожалуйста!

— Ну что же,— сказал фермер,— очень благодарен,— и взял деньги.— Хоп!

Лошади налегке двинулись вперед, люди и собаки пошли следом. Сомс сел в машину, развернул пакет с сэндвичами и стал закусывать.

— Поезжайте опять к дому священника, да потише.— И за едой дивился, почему его так взволновало открытие, что кровь его предков течет в жилах этого деревенского парня по фамилии Бир.

К домику священника он попал в два часа, тот вышел к нему с полным ртом.

— Записей нашлось много, мистер Форсайт; это имя попадаетеся с самого начала книги. Составить полный список удастся не так-то скоро. Этот Джолион родился, по-видимому, в тысяча семьсот десятом году, сын Джолиона и Мэри; в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году не заплатил десятинную подать. Был еще Джолион, рождения тысяча шестьсот восьмидесятого года — очевидно, его отец — тот с тысяча семьсот пятнадцатого года был церковным старостой; прозывали его «Фермер с Большого Луга», женился на Бир.

Сомс задумчиво взглянул на него и полез за бумажником.

— Бир? Вот и фермер тут один так же назвался. Говорит, что его бабка была Форсайт и что после нее их здесь не осталось. Может, вы заодно пришлете мне записи семьи Бир, все вместе за семь гиней?

— О, вполне достаточно и шести.

— Нет, пусть будет семь. Моя карточка у вас есть. Камень я видел. Местность здоровая, отовсюду далеко.— Он выложил на стол семь гиней и опять уловил радость в глазах священника.— А теперь мне пора домой в Лондон. До свидания!

— До свидания, мистер Форсайт. Непременно пришлю вам все, что сумею найти.

Сомс пожал ему руку и вышел — с уверенностью, что корни его будут выкорчеваны добросовестно. Как-никак, священник.

— Поезжайте,— сказал он Ригзу.— Успеем сделать больше половины обратного пути.

И, откинувшись на спинку машины, порядком усталый, он дал волю мыслям. «Большой Форсайт!» А хорошо, что он собрался сюда съездить.

XII

ДОЛГАЯ ДОРОГА

Сомс переночевал в Уинчестере, о котором часто слышал, хотя никогда там не бывал. Здесь учились Монты, поэтому он не хотел, чтобы сюда отдали Кита. Лучше бы в Молборо, где он сам учился, или в Хэрроу — в одну из школ, которые участвуют в состязаниях на стадионе Лорда; но только не Итон, где учился молодой Джолион. А впрочем, не дожить ему до тех времен, когда Кит будет играть в крикет; так что оно, пожалуй, и безразлично.

«Город старый,— решил он.— К тому же соборы — вещь стоящая». И после завтрака он направился к собору. У алтаря было оживление — по-видимому, шла спевка хора. Он вошел, неслышно ступая в башмаках на резиновой подошве, надетых на случай сырости, и присел на кончик скамьи. Задрав подбородок, он рассматривал своды и витражи. Темновато здесь, но разукрашено богато, как рождественский пудинг. В этих старинных зданиях испытываешь особенное чувство. Вот и в соборе св. Павла всегда так бывает. Хоть в чем-то нужно найти логичность стремлений. До известного предела: дальше начинается непонятное. Вот стоит эдакая громада, в своем роде совершенство; а потом землетрясение или налет цепенелинов — и все идет прахом! Как подумаешь — нет постоянства ни в чем, даже в лучших образцах красоты и человеческого гения. То же и в природе! Цветет земля, как сад, а глядь — наступает ледниковый период. Логика есть, но каждый раз новая. Поэтому-то ему и казалось очень маловероятным, что он будет жить после смерти. Он где-то читал — только не в «Таймсе»,—

что жизнь есть одухотворенная форма и что когда форма нарушена, она уже не одухотворена. Смерть нарушает форму — на том, очевидно, все и кончается... Одно верно — не любят люди умирать: всячески стараются обойти смерть, пускаются на лесть, на уловки. Дурачье! И Сомс опустил подбородок. Впереди, в алтаре, зажгли свечи, еле заметные при свете дня. Скоро их погасят. Вот и опять — все и вся рано или поздно погаснет. И нечего пытаться отрицать это. На днях он читал, и тоже не в «Таймсе», что конец света наступит в 1928 году, когда земля окажется между луной и солнцем, что якобы это было предсказано во времена пирамид, — вообще какая-то научная ерунда. А если и правда — ему не жалко. Особенно удачным это предприятие никогда не было, а если одним махом с ним покончить, то ничего и не останется. Смерть чем плоха? Уходишь, а то, что любил, остается. Да стоит только жизни прекратиться, как она снова возникнет в каком-нибудь другом образе. Поэтому, наверно, ее и называют «...и жизнь бесконечная. Аминь». А, запели! Иногда он жалел, что не наделен музыкальным слухом. Но он и так понял, что поют хорошо. Голоса мальчиков! Псалмы, и слова он помнит. Забавно! Пятьдесят лет, как он перестал ходить в церковь, а помнит, точно это вчера было. «Ты послал источники в долины: между горами текут воды». «Поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою». «При них обитают птицы небесные; из среды ветвей издают голос». Певчие бросали друг другу стих за стихом, точно мяч. Звучит живо, и язык хороший, крепкий. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими». «Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем». Левиафан! Помнится, ему нравилось это слово. «Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера». Да, выходит, конечно, но занимается ли делом, работой — это в наши дни еще вопрос. «Буду петь господу во всю жизнь мою, буду петь богу моему доколе есмь». Так ли? Сомнительно что-то. «Благослови, душа моя, господа!» Пение смолкло, и Сомс опять поднял подбородок. Он сидел тихо-тихо, не думая, словно растворившись в сумраке высоких сводов. Он испытывал новое, отнюдь не тягостное ощущение. Точно сидишь в укра-

шенной драгоценными камнями, надушенной шкатулке. Пусть мир снаружи гудит, и ревет, и смердит — пошлый, режущий слух, показной и ребячливый, дешевый и гадкий — сплошной джаз и жаргон — сюда не доходят ни звуки его, ни краски, ни запахи. Эту объемистую шкатулку построили за много веков до того, как началась индустриализация мира; она ничего общего не имеет с современностью. Здесь говорят и поют на классическом английском языке; чуть пахнет стариной и ладаном; и все вокруг красиво. Он отдыхал, словно обрел наконец пристанище.

Прошел церковный служитель, с любопытством взглянул на него, точно поднятый подбородок был ему в диковинку; за спиной у Сомса слабо зазвенели его ключи. Сомс чихнул, потянулся за шляпой и встал. Ему совсем не улыбалось ходить следом за этим человеком и за полкроны осматривать то, чего он не желал видеть. И с коротким: «Нет, благодарю вас; в другой раз» — он прошел мимо служителя на улицу.

— Напрасно вы не зашли, — сказал он Ригзу, — тут раньше короновали английских королей. Теперь в Лондон.

Верх машины был откинут, солнце ярко светило, ехали быстро, и только на новой дороге, срезавшей путь прямо на Чизик, Сомсу явилась идея, и он сказал:

— Остановитесь у того дома с тополями, куда вы нас возили на днях.

Еще не настало время завтрака; по всей вероятности, Флер позирует — так почему не забрать ее прямо к себе на конец недели? Платья у нее в «Шелтере» есть. Несколько лишних часов проведет на свежем воздухе. Однако иностранка, которая вышла на звонок, сообщила ему, что леди не приезжала позировать ни вчера, ни сегодня.

— О, — сказал Сомс, — это почему?

— Никто не знал, сэр. Она не прислала письмо. Мистер Блэйд очень сердитый.

Сомс пожевал губами.

— Ваша хозяйка дома?

— Да, сэр.

— Так узнайте, пожалуйста, может ли она принять меня. Мистер Сомс Форсайт.

— Будьте добры в столовой подождать, сэр.

В тесной комнатке Сомс ждал и терзался. Флер сказала, что не может с ним поехать из-за сеансов; а сама не позировала. Что же она, заболела?

От беспокойного созерцания тополей за окном его оторвали слова:

— А, это вы! Хорошо, что приехали.

Такая сердечная встреча еще усилила его беспокойство, и он сказал, протягивая руку:

— Здравствуйте, Джун. Я заехал за Флер. Когда она была здесь в последний раз?

— Во вторник утром. И еще я видела ее в окно во вторник к вечеру, в ее машине.— Сомс заметил, что глаза ее бегают, и знал, что сейчас она скажет что-нибудь неприятное. Так и случилось.— Она забрала с собой Джона.

Чувствуя, что у него спирает дыхание, Сомс воскликнул:

— Как! Вашего брата? А он что здесь делал?

— Позировал, разумеется.

— Позировал! Чего ради...— Он сдержался и не сказал: «ему понадобилось позировать!», а уставился на густо покрасневшую кузину.

— Я ей говорила, чтобы она с ним здесь не встречалась. И Джону говорила.

— Так она и раньше это делала?

— Да, два раза. Она, знаете, так избалована.

— А! — Реальность нависшей опасности обезоружила его. Говорить резкости перед лицом катастрофы казалось излишней роскошью.

— Где она?

— Во вторник утром она сказала, что едет в Доркинг.

— И забрала его? — повторил Сомс.

Джун кивнула.

— Да, после его сеанса. Его портрет готов. Если вы думаете, что я больше вас хочу, чтобы они...

— Никто в здравом уме не захотел бы, чтобы они...— холодно сказал Сомс.— Но зачем вы устроили ему сеансы, пока она здесь бывала?

Джун покраснела еще гуще.

— Вы-то не знаете, как трудно приходится настоя-

щим художникам. Я не могла не заботиться о Харолде. Не залучи я Джона до его отъезда на ферму...

— Ферма! — сказал Сомс. — Почему вы знаете, может быть, они... — Но он опять сдержался. — Я ждал чего-то в этом роде с тех самых пор, как узнал, что он вернулся. Ну, я сейчас поеду в Доркинг. Вам известно, где его мать?

— В Париже.

А-а, но теперь ему не придется просить эту женщину отдать своего сына его дочери! Нет, скорее придется просить ее отнять его.

— До свидания, — сказал он.

— Сомс, — заговорила вдруг Джун, — не давайте Флер... это все она...

— Не желаю слышать о ней ничего дурного.

Джун прижала стиснутые ручки к плоской груди.

— Люблю вас за это, — сказала она, — и простите...

— Ничего, ничего, — буркнул Сомс.

— До свидания, — сказала Джун. — Дайте руку!

Сомс протянул руку, она судорожно ее сжала, потом разом выпустила.

— В Доркинг, — сказал он Ригзу, садясь в машину.

Лицо Флер, каким он видел его на балу в Нетлфолде и каким никогда не видел раньше, неотступно преследовало его, пока он ехал по Хэммерсмитскому мосту. Ох и своевольное создание! Вдруг — вдруг она на все решилась? Вдруг случилось самое страшное? Боже правый! Что же нужно, что же можно тогда предпринять? Какая расчетливая, цепкая страсть ею владела, как она скрывала ее ото всех, от него... или пыталась скрыть! Было в этом что-то страшное и что-то близкое ему, всколыхнувшее память о том, как сам он преследовал мать этого юноши, — память о страсти, которая не хотела, не могла отпустить; которая взяла свое и, взяв, потерпела крушение. Он часто думал, что Флер нелогична, что, как все теперешние «ветрогонки», она просто мечется без цели и направления. И как насмешку воспринял он теперь открытие, что она, когда знает, чего хочет, способна на такое же упорство, как он сам и его поколение.

Нельзя, видно, судить по наружности! Под спокойной поверхностью страсти те же, что были, и когда они

просыпаются и душат, та же знойная тишина застывает в пронизанных ветром пространствах...

Ригз свернул на Кингстон! Скоро они проедут Робин-Хилл. Как изменились эти края с того дня, когда он привез сюда Босини выбирать место для постройки! Сорок лет, не больше — но сколько перемен! «Plus ça change,— сказала бы Аннет,— plus c'est la même chose!»¹. Любовь и ненависть — они-то не кончаются! Пульс жизни продолжает биться за шумом автомобильных колес, за музыкой джаз-бандов. Что это, судьба бьет в барабан или просто бьется человеческое сердце? Бог знает! Бог? Удобное слово. Что понимают под ним? Он не знает, никогда не узнает. Утром в соборе ему показалось было... а потом — этот служитель! Вот мелькнули тополя, и башня с часами, и крыша дома, который он построил и в котором так и не жил. Знай он заранее, какой поток автомобилей день за днем будет течь в четверти мили от дома, он не стал бы его строить и, может быть, не было бы всей этой трагедии. А впрочем — не все ли равно, что делать? Так или иначе, жизнь возьмет тебя за шиворот и швырнет, куда ей вздумается. Он нагнулся вперед и тронул шофера за плечо.

— Вы какой дорогой едете?

— Через Ишер, сэр, а потом налево.

— Ну хорошо,— сказал Сомс,— как знаете.

Время завтрака прошло, но он не был голоден. Он не проголодается, пока не узнает худшего. А вот Ригз, наверно, другое дело.

— Вы где-нибудь остановитесь,— сказал он,— да перекусите и выкурите папиросу.

— Хорошо, сэр.

Остановился он скоро. Сомс остался сидеть в машине, лениво разглядывая вывеску «Красный лев». Красные Львы, Ангелы и Белые Кони — ничто их не берет. Чего доброго, в Англии скоро попытаются ввести сухой закон; но этот номер не пройдет — экстравагантная выдумка! Нельзя заставить людей повзрослеть, обращаясь с ними, как с детьми: они и так слишком ребячливы. Взять хоть стачку горняков, которая все тянется

¹ Чем больше все меняется, тем больше остается неизменным (франц.).

и тянется,— чистое ребячество, всем во вред, а пользы никому! Дурачье! Размышлять о глупости своих сограждан было отдыхом для Сомса пред лицом будущего, грозившего катастрофой. Ибо разве не катастрофа, что в таком состоянии Флер катает этого молодого человека в своем автомобиле? Чего мешкает этот Ригз? Он вышел из машины и стал ходить взад и вперед. Впрочем, и доехав до места, он вряд ли что сможет сделать. Сколько ни люби человека, как ни тревожись о нем — ты бессилен: может быть, тем бессильнее, чем сильнее любовь. Но мнение свое он должен высказать, если только представится случай. Нельзя дать ей скатиться в пропасть и не протянуть руку. Солнце светило ему прямо в лицо, он поднял голову, прищурившись, словно благодарный за тепло. Близкий конец света, конечно, вздор, но лучше бы уж он настал, пока его самого горе не свело в могилу. Ему были до отвращения ясны размеры надвинувшегося несчастья. Если Флер сбежит, у него не останется ничего на свете: ведь Кита заберут Монты. Придется доживать жизнь среди картин и коров, теперь абсолютно не нужных. «Не допущу,— подумал он,— если еще не поздно, не допущу». Да, но как помешать? И, ясно видя никчемность своего решения, он пошел назад к машине. Ригз был на месте, курил папиросу.

— Едем,— сказал Сомс,— поживее!

Он приехал в три часа и узнал, что Флер уехала на машине в десять. Уже то, что она здесь ночевала, было огромным облегчением. И он сейчас же стал звонить по междугородному телефону. Тревога вспыхнула снова. Дома ее не было; у Джун тоже. Где же она, если не с этим молодым человеком? Но она ничего не взяла с собой — это он установил, и это придало ему сил выпить чаю и ждать. Он уже в четвертый раз вышел на дорогу, когда наконец увидел, что она идет к нему.

Выражение ее лица — голодное, жесткое, лихорадочное — произвело на Сомса смешанное впечатление; сердце его заныло и тут же подпрыгнуло от радости. Не торжествующую страсть выражало это лицо! Оно было трагически несчастно, иссушено, искажено. Словно все черты обострились с тех пор, как он в последний раз ее видел. И, повинувшись инстинкту, он ничего не сказал и

подставил ей лицо для поцелуя. Губы ее были сухие и жесткие.

— Так ты приехал,— сказала она.

— Да, и хочу, чтобы ты поехала со мною прямо в «Шелтер», как только выпьешь чаю; Ригз уберет твою машину.

Она пожала плечами и прошла мимо него в дом. Ему показалось, что ей все равно, что он в ней видит, что думает о ней. Это было так не свойственно ей, что он растерялся. Что же она, попыталась и обожглась? Это было бы слишком хорошо. Он стал рыться в памяти, вызвал ее образ, каким видел его шесть лет назад, когда привез ей весть о поражении. Да! Но в то время она была так молода, такое круглое у нее было лицо — не похожее на это жесткое, заострившееся, опаленное лицо, от которого ему делалось страшно. Увезти ее к Киту, увезти поскорее! И, послушный инстинкту, выручавшему его, лишь когда дело шло о Флер, он вызвал Ригза, велел ему поднять верх машины и подавать.

Флер была наверху, в своей комнате. Спустя несколько времени Сомс послал сказать ей, что машина ждет. Скоро она пришла. Она густо напудрила лицо и накрашила губы; и опять Сомса ужаснула эта белая маска, и красная полоска сжатых губ, и живые, измученные глаза. И опять он ничего не сказал и достал карту.

— Заедет он куда не надо, если не сидеть с ним рядом. Дорога путаная,— и он сел к шоферу.

Он знал, что она не может говорить, а смотреть на ее лицо у него не было сил. Они покатили. Бесконечно долгим показался ему путь. Только раз или два он оглянулся на нее; она сидела как мертвая; белая и неподвижная. И два чувства — облегчение и жалость — продолжали бороться в его сердце. Ясно, что это конец,— она сделала ход и проиграла! Как, где, когда? Этого ему никогда не узнать — но проиграла! Бедняжка! Не виновата она, что любила этого мальчика, не могла забыть его — не более виновата, чем был он сам, когда любил его мать. Не вина, а громадное несчастье! Словно сжатыми накрашенными губами бледной женщины, сидящей позади него на подушках машины, пела свою предсмертную лебединую песню страсть, рожденная

сорок шесть лет назад от роковой встречи в борнмутской гостиной и перешедшая к дочери с его кровью.

«Благослови, душа моя, господи!» Гм! Легко сказать! Они ехали по мосту в Стэйнсе; теперь Ригз не собьется. Когда они приедут домой, как вдохнуть жизнь в ее лицо? Слава богу, что мать ее в отъезде! Конечно, поможет Кит. И, может быть, ее старая собака. И все же, как ни утомили его три долгих последних дня, Сомс с ужасом ждал минуты, когда машина остановится. Для нее, может быть, лучше было бы ехать и ехать. Да и для всех, пожалуй. Уйти от чего-то, что с самой войны преследовало неотступно, — ехать все дальше! Когда желанное не дается в руки и не отпускает — ехать и ехать, чтобы заглушить боль. Покорность судьбе — как и живопись — утраченное искусство; так думалось Сомсу, когда они проезжали кладбище, где со временем он предполагал покоем.

Близок дом, а что он ей скажет, приехав? Слова бесполезны. Он высунул голову и глубоко потянул в себя воздух. Он всегда находил, что здесь, у реки, пахнет лучше, чем в других местах, — смолистой деревья, сочной трава. Не то, конечно, что воздух на поле «Большой Форсайт», но ближе к земле, уютнее. Конек крыши и тополя, потянуло дымом, слетаются на ночлег голуби — приехали! И, глубоко вздохнув, он вышел из машины.

— Ты переутомилась, — сказал он, открывая дверцу. — Хочешь сразу лечь, когда повидашь Кита? Обед я пришлю тебе в твою комнату.

— Спасибо, папа. Мне немножко супу. Я, кажется, простудилась.

Сомс задумчиво посмотрел на нее и покачал головой; потом коснулся пальцем ее белой щеки и отвернулся.

Он пошел во двор и отвязал ее старую собаку. Может, ей нужно побегать, прежде чем идти в дом; и он пошел с ней к реке. Солнце зашло, но еще не стемнело, и, пока собака носилась в кустах, он стоял и смотрел на воду. Проплыли на свой островок лебеди. Лебедята подросли, стали почти совсем белые — как призраки в сумерках, изящные создания и тихие. Он часто подумывал завести одного-двух павлинов, они придают саду законченность, но от них много шума; он не мог забыть, как однажды рано утром на Монпелье-сквер слышал их стра-

стные крики из Хайд-парка. Нет, лебеди лучше; так же красивы и не поют. Эта собака погубит его земляничное дерево!

— Идем к хозяйке,— сказал он и повернул к освещенному дому. Он поднялся в картинную галерею. На столе его ждали газеты и письма. Полчаса он просидел над ними. В жизни он не рвал бумаг с таким удовольствием. Потом прозвучал гонг, и он пошел вниз, готовый провести вечер в одиночестве.

ХІІІ

ПОЖАРЫ

Но Флер обедать пришла. И для Сомса начался самый смутный вечер в его жизни. В сердце его жила великая радость и великое сострадание, то и другое нужно было скрывать. Теперь он жалел, что не видел портрета Флер,— была бы тема для разговора. Он робко заикнулся о ее доме в Доркинге.

— Полезное учреждение,— сказал он.— Эти девушки...

— Я всегда чувствую, что они меня ненавидят. И не удивительно. У них ничего нет, а у меня все.

Смех ее больно резнул Сомса.

Она почти не прикасалась к еде. Но он боялся спросить, мерила ли она температуру. Она еще, чего доброго, опять засмеется. Вместо этого он стал рассказывать, как разыскал у моря участок, откуда вышли Форсайты, и как он был в Уинчестерском соборе; он говорил и говорил, а сам думал: «Она ни слова не слышала».

Его тревожила и угнетала мысль, что она пойдет спать, снедаемая скрытым огнем, до которого он не мог добраться. Вид у нее был такой, словно... словно она могла наложить на себя руки! Надо надеяться, что у нее нет веронала или чего-нибудь в этом роде. И он не переставал гадать, что же произошло. Если б у нее еще оставались сомнения, надежды, она металась бы, не находила себе места, но, конечно, не выглядела бы так, как сейчас! Нет, это поражение. Но что было? И неужели все кончено и он навсегда свободен от гнетущей тревоги последних месяцев? Он взглядом допрашивал ее, но лицо, отражавшее, несмотря на слой пудры, ее взвин-

ченное состояние, было театральное и чужое. Жестокое, безнадежное выражение ее разрывало ему сердце. Хоть бы она заплакала и все рассказала! Но он понимал, что ее приход к обеду и видимость нормального разговора с ним означали: «Ничего не случилось!» И он сжал губы. Любовь нема — словами ее не выразишь! Чем глубже его чувство, тем труднее ему говорить. Как это люди изливают свои чувства и тем облегчают себе душу — он никогда не мог понять!

Обед кое-как дотянулся до конца. Флер бросала отрывочные фразы, опять звенел ее смех, от которого ему было больно, потом они пошли в гостиную.

— Жарко сегодня, — сказала она и открыла дверь на балкон. Вдали, из-за прибрежных кустов, всходила луна; по воде бежала светящаяся дорожка.

— Да, тепло, — сказал Сомс, — но если ты простужена, лучше не выходи.

Он взял ее под руку и ввел в комнату. Страшно было пустить ее бродить так близко от воды.

Она подошла к роялю.

— Можно побренчать, папа?

— Пожалуйста. У твоей матери есть тут какие-то французские романсы.

Пусть делает что хочет, лишь бы исчезло с ее лица это выражение. Но музыка волнует, а французские песни все о любви! Только бы не попалась ей та, что вечно напевает Аннет:

Auprès de ma blonde il fait bon—fait bon—fait bon,
Auprès de ma blonde il fait bon dormir.

Волосы этого мальчика! Давно, когда он стоял рядом с матерью. Вот у кого были волосы! Такие светлые, и темные глаза. И на мгновение ему почудилось, что не Флер, а Ирэн сидит у рояля. Музыка! Прямо загадка, как можно ценить музыку настолько, насколько ценила ее Ирэн. Да! Больше людей, больше денег ценила! А его музыка никогда не волновала, не понимал он ее! Так неудачно! Вот она у рояля, какой он помнит ее в маленькой гостиной на Монпелье-сквер; какую видел в последний раз в вашингтонском отеле. Такой она и останется, наверно, до самой смерти, и все еще будет красива. Музыка!

Он встрепенулся.

Высокий, резкий голосок Флер долетел до него сквозь дым сигары. Грустно! Она храбро сопротивляется. С желанием, чтобы она сдалась, боролся страх. Он не знал, что предпринять, если это случится.

Она замолчала, не допев романса, и закрыла рояль. Лицо у нее было чуть ли не старое — такой она будет в сорок лет. Потом она прошла и села по другую сторону камина. Она была в красном, и это было неприятно — усиливало чувство, что она горит под своей напудренной маской. Она сидела очень тихо, делая вид, что читает. А он держал в руках «Таймс» и старался не замечать ее. Неужели ничем нельзя отвлечь ее внимание? А картины? Кто ей больше всего нравится, спросил он, Констэбль, Стивенс, Коро, Домье?

— Коллекцию я оставляю государству, — сказал он. — Но штуки четыре ты отбери себе; и копия с «Vendimia» Гойи, конечно, тоже твоя. — Потом вспомнил, что платье с «Vendimia» было на ней на балу в Нетлфолде, и заспешил: — Вкусы теперь новые, может, государство и откажется от картин; тогда уж не знаю. Вероятно, сможешь сбыть их Думетриусу, он и так на большинстве их хорошо заработал. Если выберешь подходящий момент, без стачек и всего такого, распродажа может дать порядочную сумму. Я вложил в них добрых семьдесят тысяч — выручить можно не меньше ста.

Она как будто и слушала, но он не знал наверно.

— Мое мнение, — продолжал он из последних сил, — что через десять лет от современной живописи ничего не останется — нельзя же до бесконечности фокусничать. К тому времени им надоест экспериментировать, если только опять не будет войны.

— Не в войне дело.

— То есть как это — не в войне? Война внесла в жизнь уродство, всех научила торопиться. Ты не помнишь, как было до войны.

Она пожала плечами.

— Правда, — продолжал Сомс, — началось это раньше. Я помню первые лондонские выставки пост-импрессионистов и кубистов. После войны все просто взбесились, хотят того, до чего не могут дотянуться.

Он осекся. В точности, как и она!

— Я, пожалуй, пойду спать, папа.

— Да, да,— сказал Сомс,— и прими аспирин. Не надо шутить с простудой.

Простуда! Это еще было бы полбеды. Сам он опять подошел к открытой двери, стоял, смотрел на луну. Из помещения прислуги неслись звуки граммофона. Любят они заводить эту кошачью музыку, а то еще громкоговоритель включают! Он никак не мог решить, что хуже.

Он дошел до края террасы и протянул вперед руку. Ни капли росы! Сухо, замечательная погода! За рекой завывала собака. Есть, верно, люди, которые сказали бы, что это не к добру! Чем больше он узнает людей, тем неразумнее они кажутся: либо гонятся за сенсацией, либо вообще ничего не видят и не слышат. Сад хорош в лунном свете: красивый и призрачный. Бордюр из подсолнухов и осенних маргариток, и поздние розы на круглых клумбах, и низкая стена старого кирпича — с таким трудом он раздобыл его! — даже газон — в лунном свете все было похоже на декорации. Только тополя нарушали театральный эффект, темные и четкие, освещенные сзади луной. Сомс вышел в сад. Белый дом, увитый ползучими растениями, тоже стоял призрачный, точно припудренный; в спальне Флер был свет. Тридцать два года он здесь прожил. Он привязался к этому месту, особенно с тех пор, как купил заречную землю, так что никто не мог там построиться и подглядывать за ним. Подглядывание, физическое и моральное,— от этого он как будто уберегся в жизни.

Он докурил сигару и бросил окурок на землю. Ему хотелось дожидаться, когда свет в ее окне погаснет,— знать, что она уснула, как в те дни, когда она девочкой уходила спать с зубной болью. Но он был очень утомлен. Автомобильная езда плохо действует на печень. Надо идти домой и запира́ть двери. В конце концов, он ничего не в силах изменить тем, что останется в саду, он вообще не в силах ничего изменить. Старые не могут помочь молодым — да и никто никому не может помочь — по крайней мере там, где замешано сердце. Чудная вещь — сердце! И подумать, что у всех оно есть. Это должно бы служить утешением, а вот не служит. Не утешало его, когда он дни и ночи страдал из-за матери этого мальчика, что она тоже страдала! И что проку Флер от того, что страдает сейчас этот молодой человек—

и, наверно, жена его тоже! И Сомс запер балконную дверь и пошел наверх. Он постоял у ее двери, но ничего не было слышно; он разделся, взял «Жизнь художников» Вазари и, сидя в постели, стал читать. Чтобы уснуть, ему всегда хватало двух страниц этой книги, и обычно это были все те же две страницы — он так хорошо знал книгу, что никогда не помнил, на чем остановился.

Скоро он проснулся, сам не зная отчего, и лежал, прислушиваясь. В доме будто происходило какое-то движение. Но если он встанет и пойдет посмотреть, опять начнутся терзания, а этого не хотелось. Кроме того, заглянув к Флер, он, чего доброго, разбудит ее. Он повернулся в постели, задремал, но опять проснулся, лежал и думал лениво: «Плохо я сплю — надо больше двигаться». Сквозь щели занавесок пробивалась луна. И вдруг ноздри его дрогнули. Как будто потянуло гарью. Он сел, понюхал. Ну да! Что там, короткое замыкание или горит соломенная крыша голубятни? Он встал, надел халат и туфли и подошел к окну.

Из верхнего окна струился красноватый свет. Боже великий! Его картинная галерея! Он побежал к лестнице на третий этаж. Неясный звук, запах гари, теперь уже несомненный, — он едва устоял на ногах. Вбежал по лестнице, дернул дверь. Силы небесные! Дальний конец галереи, в левом крыле дома, был охвачен пламенем. Красные язычки лизали деревянную обшивку стен; занавески на дальнем окне уже обуглились и почернели, от корзины для бумаг, стоявшей возле письменного стола, остались одни угли! На паркете он заметил пепел папиросы. Кто-то здесь курил. Он стоял растерянный и вдруг услышал потрескивание пламени. Бросился вниз, распахнул дверь в комнату Флер. Она спала, лежала на кровати, совсем одетая! Одетая! Так это... Неужели она? Она открыла глаза, посмотрела на него, ничего не понимая.

— Вставай! — сказал он. — В картинной галерее пожар. Сейчас же убери Кита и прислугу! Пошли за Ригзом! Позвони в Рэдинг, вызови пожарных — живо! Смотри, чтобы в доме никого не осталось!

Он подождал, пока она вскочила, побежал назад к лестнице и схватил огнетушитель; потащил его на-

верх — тяжелая, громоздкая штука! Он смутно знал, что нужно ударить его крышкой об пол и обрызгивать пламя. От двери он заметил, что огонь сильно распространился. О боже! Загорелся Фред Уокер и обе картины Давида Кокса! Огонь добрался до плинтуса, который шел вдоль всей галереи, отделяя верхний ряд картин от нижнего; да, и верхний плинтус тоже горит! Констэбль! Секунду он колебался. Спешить к нему, спасти хоть одну картину? Может быть, огнетушитель не действует! Он бросил его и, пробежав через всю галерею, схватил Констэбля как раз в ту минуту, когда пламя по стене доползло до него. Пока он срывал картину с крюка, горячее дыхание обожгло ему лицо; он отбежал, распахнул окно, пришедшееся против двери, и поставил картину на подоконник. Потом опять схватил огнетушитель и с силой ударил его об пол. Брызнула струя жидкости, он поднял ее выше и направил на огонь. Теперь комната была полна дыма, у него кружилась голова. Жидкость оказалась хорошей, и он с радостью увидел, что пламени она не по сердцу. Оно заметно сдало. Но Уокер погиб — а-а, и Коксы тоже! Он отогнал огонь к стене с окнами, но тут струя кончилась, и он заметил, что горит деревянная обшивка дальше того места, где он начал обрызгивать. Горел и письменный стол со всеми бумагами. Что же теперь, бежать вниз, через весь дом, за вторым огнетушителем? Где это Ригз пропадает?! Альфред Стивенс! Нет, шалишь! Не допустит он, чтобы погиб его Стивенс, или Гогены, или Коро!

И в Сомса словно демон вселился. Его вкус, труды, деньги, гордость — все пойдет прахом? Так нет же! И сквозь дым он опять бросился к дальней стене. Он срывал Стивенса, а пламя лизало ему рукав; прислоняя картину к косяку окна, рядом с Констэблем, он ясно различил запах горелой материи.

Язык пламени прошелся по Добиньи, со звоном вылетело стекло — теперь картина не защищена, и пламя по ней так и ползает, так и вспыхивает! Он бросился обратно, ухватил картину Гогена — голая таитянка. Она не желала слезать со стены; он взялся за проволоку, но отпустил — проволока раскалилась докрасна; вцепился в раму, дернул — и, оторвав картину, сам упал на спину. Но любимый Гоген спасен! Он и его поставил к

остальным и побежал к той из картин Коро, к которой ближе всех подобралось пламя. Серебристый прохладный пейзаж обжег ему руки, но и его удалось спасти! Теперь Монэ! Пожарные раньше чем через двадцать минут не приедут. Если этот Ригз сейчас не придет... Надо растянуть вниз одеяло, и он стал бы бросать картины из окна. И тут у него вырвался стон. Горел второй Коро. Бедный! Сорвав со стены Монэ, он поспешил к лестнице. По ней бежали к нему две перепуганные горничные, наскоро накинувшие пальто поверх ночных рубашек.

— Ну-ка! — крикнул он. — Возьмите эту картину и не теряйте голову. Мисс Флер и мальчик вышли?

— Да, сэр.

— Пожарных вызвали?

— Да, сэр.

— Принесите мне огнетушитель, а сами растяните одеяло вот там, под окном, и держите крепко, я буду сбрасывать картины. Да не сходите с ума — никакой опасности нет! Где Ригз?

Он вернулся в галерею. О-о! Гибнет маленькая любимая картина Дега! И с яростью в сердце Сомс опять ринулся к стене и вцепился в другого Гогена. Пестрая штука — единственная, кажется, покупка, на которой ему удалось обставить Думетриуса. словно из благодарности, картина легко далась ему в обожженные, дрожащие руки. Он отнес ее на окно и постоял, задохнувшись, переводя дыхание. Пока можно дышать здесь, на сквозняке между открытым окном и дверью, надо продолжать снимать их со стены.

Сбросить их вниз недолго. Бонингтон и Тернер — не стал бы Тернер так любить закаты, если б знал, что за штука пожар. Каждый раз, подходя к стене, Сомс чувствовал, что еще один рейс — и легкие не выдержат. А нужно!

— Папа!

Флер с огнетушителем!

— Ступай вниз! Уходи! — закричал он. — Слышишь? Уходи из дома! Скажи, пусть растянут одеяло, да смотри, чтобы держали покрепче.

— Папа! Позволь мне! Я не могу!

— Уходи! — снова крикнул Сомс, толкая ее к лест-

нице. Он подождал, пока она спустилась, потом ударил крышку огнетушителя об пол и опять стал обрызгивать пламя. Потушил бюро и обрушился на дальнюю стену. Огнетушитель был страшно тяжелый, и когда он, пустой, выпал у него из рук, Сомсу застлало глаза. Но опять он немного сбил огонь. Только бы продержаться!

А потом он увидел, что погиб Гарпиньи — такая красота! Эта бессмысленная потеря придала ему сил. И, снова кинувшись к стене — на этот раз к длинной, — он стал снимать картины одну за другой. Но огонь опять подползал, упорный, как пламя ада. До Сислея и Пикассо не дотянуться, они висели высоко в углу, он не решился лезть в самый огонь, ведь если поскользнуться, упасть — кончено! Эти пропали, но Домье он спасет! Любимая, пожалуй, самая любимая картина. Есть! Задыхаясь, жадно впивая воздух, он увидел в окно, что внизу четыре горничные растянули одеяло и держат его за углы.

— Крепче держите! — крикнул он и сбросил Домье. Проследил, как он падал. Какое варварское обращение с картиной! Одеяло провисло под тяжестью, но выдержало.

— Крепче! — закричал он. — Ловите! — И таитянка Гогена полетела следом. Одну за другой он сбрасывал картины с подоконника, и одну за другой их вынимали из одеяла и складывали на траве. Сбросив последнюю, он оглянулся, чтоб оценить положение. Пламя уже захватило пол и быстро продвигалось по обшивке стен.

Правую стену успеют спасти пожарные. Левая погибла, но почти все картины он успел снять. Непосредственная опасность угрожает длинной стене; надо браться за нее. Он подбежал как только мог ближе к углу и схватил Морланда. Руки обжигало, но он снял его — белого пони, ставшего ему в шестьсот фунтов. Он обещал ему хорошее жилище! Он толкнул его с окна и видел, как картина с размаху упала на одеяло.

— Ну и ну!

За ним в дверях этот Ригз — наконец-то! — в рубаше и брюках, с двумя огнетушителями и открытым ртом.

— Закройте рот, — прохрипел он, — и поливайте вот эту стену!

Он смотрел на струю и на отступавшее перед нею

пламя. Как он ненавидит эти неотвязные красные языки! Ага! Теперь присмирели!

— Давайте другой! Спасайте Курбэ! Живо!

Опять ударила струя, и пламя отступило. Сомс кинулся к Курбэ. Стекла и в помине нет, но картина еще цела. Он сорвал ее с гвоздя.

— Огнетушители, черт их дери, все вышли, сэр,— донесся до него голос Ригза.

— Идите сюда,— позвал он.— Снимайте картины с этой стены и выбрасывайте из окна, по одной — да не промахнитесь! — в одеяло. Поворачивайтесь!

Он и сам поворачивался, видя, как оробевшее было пламя опять разгорается. Они вдвоем бегали, задыхаясь, к стене, срывали картины, бежали опять к окну и опять к стене — а пламя все приближалось.

— Вон ту, верхнюю,— сказал Сомс.— Обязательно! Возьмите стул. Живо! Нет, лучше я сам. Поднимите меня, не достану!

Вознесшись в крепких руках Ригза, Сомс достал свой экземпляр Якоба Мариса, купленный в тот самый день, когда весь мир охватило пожаром. «Убийство эрцгерцога!» — он и сейчас помнил эти выкрики. Ясный день; солнце светит в окно такси, и он едет с веселым сердцем, держит покупку на коленях. И вот она теперь летит из окна! Ах, разве можно так обращаться с картинами!

— Идем! — прохрипел он.

— Лучше уходить, сэр! Здесь жарко становится.

— Нет,— сказал Сомс.— Идем!

Еще три картины спасены!

— Если вы не уйдете, сэр, я вас на руках снесу — вы и так слишком долго тут пробыли.

— Ерунда,— хрипел Сомс.— Идем!

— Ура! Пожарные!

Сомс замер. Оглушительно стучало в сердце и в легких, но он различил и другой звук. Ригз схватил его за плечо.

— Идемте, сэр. Когда они начнут работать, тут такое будет...

Сомс указал пальцем сквозь дым.

— Вот еще эту,— прошептал он.— Помогите мне. Она тяжелая.

Копия с «Vendimia» стояла на мольберте. Шатаясь, Сомс направился к ней. То приподнимая, то волоча по полу, он дотащил до окна испанского двойника Флер.

— Подымайте!

Они подняли ее, установили на окне.

— Эй там, уходите! — раздался голос от двери.

— Бросайте! — прохрипел Сомс, но чьи-то руки схватили его и, почти задохнувшегося, потащили к двери, снесли по лестнице, вынесли на воздух.

Он очнулся в кресле на террасе. Мелькали каски пожарных, шипела вода. Легкие болели, нестерпимо щипало глаза, руки были в ожогах, но, несмотря на боль, его клонило ко сну, как спьяну, а в душе жило чувство победы.

Трава, деревья, холодная река под луной! Какой кошмар он пережил там, среди картин, — бедные картины! Но он их спас! Пепел от папиросы! Корзина у стола! Флер! Причина ясна. Надо же было ему навести ее на мысль о картинах именно в этот вечер, когда она сама не знала, что делает. Вот несчастье! Не нужно говорить ей, а может... может, она знает? Впрочем, потрясение — потрясение могло пойти ей на пользу. А погибший Дега! Гарпиньи! Он закрыл глаза, прислушиваясь к шипению воды. Хорошо! Приятный звук! Остальное они спасут. Могло быть хуже. Что-то холодное ткнулось в его руку. Морда собаки. Напрасно ее выпустили. И вдруг Сомсу показалось, что он опять должен распорядиться. Нальют они зря воды! Он с трудом встал на ноги. Теперь зрение прояснилось. Флер? А, вот она, стоит совсем одна — слишком близко к дому! А в саду что творится — пожарные — машины — прислуга, этот Ригз — кишка протянута к реке — в воде недостатка нет! Дурачье! Он так и знал! Ну да, поливают нетронутую стену. Льют через оба окна. Это же лишнее! Только правое окно, правое! Он, спотыкаясь, пошел к пожарному.

— Не ту стену, не ту! Та не горит. Испортите мне картины! Цельте правее! — Пожарный переменял положение руки, и Сомс увидел, как струя ударила в правый угол окна. «Vendimia»! Его сокровище! Сдвинутая потоком воды, она клонилась вперед. А Флер! Боже правый! Стоит под самым окном, подняла голову. Не мо-

жет не видеть — и не уходит! В сознании пронеслось, что она ищет смерти.

— Падает! — закричал он. — Берегись! Берегись! — И, словно она на его глазах готовилась броситься под автомобиль, он ринулся вперед, толкнул ее протянутыми руками и упал.

Картина сбила его с ног,

XIV

ТИШИНА

Старый Грэдмен, сидя в Полтри над неизменной баньей котлетой, взял первый выпуск вечерней газеты, которую ему принесли вместе с едой, и прочел:

ПОЖАР В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

*Известный знаток живописи
получил серьезные увечья.*

Вчера вечером от неизвестной причины возник пожар в картинной галерее дома мистера Сомса Форсайта в Мейплдерхеме. Прибывшая из Рэдинга пожарная часть ликвидировала огонь, и большинство ценных картин уцелело.

Мистер Форсайт до самого прибытия пожарных боролся с огнем и спас целый ряд картин, сбрасывая их из окна галереи на одеяло, которое держали на весу стоящие под окном. К несчастью, уже после прибытия пожарных его ударила по голове рама картины, упавшей из окна галереи, которая помещается на третьем этаже, и он потерял сознание. Принимая во внимание его возраст и непосильное переутомление во время пожара, трудно верить, что он сможет поправиться. Больше пострадавших нет, и на другие части дома огонь не распространился.

Старый Грэдмен положил вилку и провел салфеткой по лбу, на котором выступила испарина. Бросил салфетку на стол, отодвинул тарелку и опять взял газету. Конечно, не всему надо верить, но заметка была составле-

на необычайно деловито; и, выронив газету, он всплеснул руками.

«Мистер Сомс,— подумал он,— мистер Сомс!» Его две жены, дочь, внук, вся семья, он сам! Старик встал, хватаясь за край стола. Такой несчастный случай! Мистер Сомс! Да ведь он молодой человек, относительно, конечно. Но может, они что-нибудь перепутали? Он машинально пошел к телефону. С трудом отыскал номер — в глазах стоял туман.

— Это дом миссис Дарти? Говорит Грэдмен. Это правда, мэм?.. Но ведь надежда есть? Ай-ай-ай! Спасая жизнь мисс Флер? Да что вы! Вы туда едете? Я думаю, и мне лучше поехать. Все в полном порядке, но вдруг ему что-нибудь понадобится, если он очнется... Ай, батюшки!.. Да, конечно... Жестокий удар, жестокий!

Он повесил трубку и стоял неподвижно. Кто же теперь будет вести дела? По сравнению с мистером Сомсом никто в семье ничего в них не смыслит, никто не помнит прежнее время, не понимает толку в недвижимом имуществе. Нет, котлеты ему больше не хочется — это ясно! Мисс Флер! Спасая ей жизнь? Вот дела-то! Он всегда любил ее больше всех. Каково-то ей теперь? Он помнил ее девочкой; и на свадьбе у нее был. Подумать только! Теперь будет богатой женщиной. Он взялся за шляпу. Надо сначала зайти домой, кое-что захватить — может быть, придется пробыть там несколько дней! Но добрых три минуты он еще простоял на месте — коренастая фигура с лицом мопса, обрамленным круглой седой бородой, — укреплялся в сознании горя. Если б погиб Английский банк, ему и то не было бы тяжелее. Право же.

Когда с полным чемоданом платья и бумаг он прибыл в наемном экипаже в «Шелтер», было около шести часов. В холле его встретил этот молодой человек, Майкл Монт, который, помнится, всегда шутил на серьезные темы, — только бы он и теперь не начал!

— А, мистер Грэдмен! Вот хорошо, что приехали! Нет! Думают, что в сознание он вряд ли придет: удар был страшно сильный. Но если он очнется, то непременно захочет вас видеть, даже если не сможет говорить. Комната ваша готова. Чаю хотите?

Да, от чашки чая он не откажется, не откажется!

— Мисс Флер?

Молодой человек покачал головой, глаза у него были печальные.

— Он спас ей жизнь.

Грэдмен кивнул головой.

— Слышал. Ох, подумать, что ему... Отец его дожил до девяноста лет, а мистер Сомс всегда берег себя. Ай-ай-ай!

Он с удовольствием выпил чашку чая, потом увидел, что в дверях кто-то стоит — сама мисс Флер. Ой, какое лицо! Она подошла и протянула ему руку. И невольно старый Грэдмен поднял другую руку и задержал ее руку в своих.

— Голубушка моя,— сказал он,— как я вам сочувствую! Я вас маленькой помню.

Она ответила только: «Да, мистер Грэдмен»,— и это показалось ему странным. Она провела его в приготовленную для него комнату и там оставила. Ему еще не доводилось бывать в такой красивой спальне — цветы и пахнет приятно, и отдельная ванная — это уже даже лишнее. И подумать, что через две комнаты лежит мистер Сомс — все равно что покойник!

— Еле дышит,— сказала она, проходя перед его дверью.— Оперировать боятся. С ним моя мать.

Ну и лицо у нее — такое белое, такое жалкое! Бедненькая! Он стоял у открытого окна. Тепло, очень тепло для конца сентября. Хороший воздух — пахнет травой. Там, внизу, вероятно, река! Тихо — и подумать... Слезы скрыли от него реку; он смигнул их. Только на днях они говорили, как бы чего не случилось, а вот и случилось, только не с ним, а с самим мистером Сомсом. Пути господни! Ай-ай-ай! Подумать только! Он очень богатый человек. Богаче своего отца. Какие-то птицы на воде — гуси или лебеди, не разберешь... Да! Лебеди! Да сколько! Плывут себе рядом. Не видел лебедя с тех пор, как в год после войны возил миссис Грэдмен в парк Голдерс-Хилл. И говорят — никакой надежды! Ужасный случай — вот так вдруг, и помолиться не успеешь. Хорошо, что завещание такое простое. Ежегодно столько-то для миссис Форсайт, а остальное дочери, а после нее — ее детям поровну. Пока только один ребенок, но, без сомнения, будут и еще, при таких-то деньгах. Ох, и уйма же денег у

всей семьи, если подсчитать, а все-таки из нынешнего поколения мистер Сомс — единственный богач. Все разделено, а молодежь что-то не наживает. Придется следить за имуществом в оба, а то еще вздумают изымать капитал, а этого мистер Сомс не одобрил бы! Пережить мистера Сомса! И что-то неподкупно преданное, что скрывалось за лицом мопса и плотной фигурой, то, что в течение двух поколений служило и никогда не ждало награды, так взволновало старого Грэдмена, что он опустился на стул у окна и сказал:

— Я совсем расстроился!

Он все еще сидел, подперев рукой голову, и за окном уже стемнело, когда в дверь постучал этот молодой человек со словами:

— Мистер Грэдмен, обедать придете в столовую или предпочитаете здесь?

— Лучше здесь, если вас не затруднит. Мне бы холодного мяса да каких-нибудь солений и стакан портера, если найдется.

Молодой человек подошел ближе.

— Для вас ужасное горе, мистер Грэдмен, вы так давно его знали. Его нелегко было узнать, но чувствовалось, что...

Что-то в Грэдмене прорвалось, и он заговорил:

— А-а, я помню его с детства — возил его в школу, учил составлять контракты — ни одного темного дела за ним не знаю; очень сдержанный был мистер Сомс, но никто лучше его не умел поместить капитал — разве что его дядюшка Николас. У него были свои неприятности, но он о них никогда не говорил; хороший сын, хороший брат, хороший отец — это, молодой человек, и вы знаете.

— О да! И очень добр был ко мне.

— В церковь ходить, правда, не любил, но честный был как стеклышко. Откровенностью не отличался; может, иногда суховат был, зато положиться на него можно было. Жаль мне вашу жену, молодой человек, очень жаль. Как это случилось?

— Она стояла под окном, когда картина упала, по видимому, не заметила. Он оттолкнул ее, и удар достался ему.

— Ну, вы подумайте!

— Да. Она никак не придет в себя.

В полумраке Грэдмен взглянул в лицо молодому человеку.

— Вы не убивайтесь,— сказал он.— Она обойдется. С кем не случилось. Родных, вероятно, известили? Вот только что, мистер Майкл, его первая жена, миссис Ирэн, та, что вышла потом за мистера Джолиона; она, говорят, еще жива; может, ей захотелось бы передать ему, на случай, если он очнется, что прошлое забыто и все такое.

— Не знаю, мистер Грэдмен, не знаю.

— «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем...» Он очень был к ней привязан когда-то.

— Да, я слышал, но есть вещи, которые... Впрочем, миссис Дарти знает ее адрес, можно у нее спросить. Она ведь здесь.

— Я это обдумую. Я помню свадьбу миссис Ирэн — очень она была бледная; а какая красавица!

— Да, говорят.

— Теперешняя-то француженка — наверно, не скрывает своих чувств. Хотя — если он без сознания... — В лице молодого человека ему почудилось что-то странное, и он добавил: — Я мало о ней знаю. Боюсь, не очень ему везло с женами.

— Некоторым, знаете ли, не везет, мистер Грэдмен. Думаю, это потому, что люди слишком много видят друг друга.

— Всяко бывает,— сказал Грэдмен.— Вот у нас с миссис Грэдмен за пятьдесят два года ни одной размолвки не было, а это, как говорится, срок немалый. Ну, не буду вас задерживать, идите к мисс Флер. Надо ее подбодрять. Так мне холодного мяса с огурчиком. Если я понадоблюсь, дайте мне знать — днем ли, ночью, все равно. А если миссис Дарти захочет меня видеть, я к ее услугам.

Разговор успокоил его. Этот молодой человек симпатичнее, чем ему казалось. Он почувствовал, что огурчик съест с удовольствием. После обеда ему передали: не сойдет ли он в гостиную к миссис Дарти.

— Подождите меня, милая,— сказал он горничной,— я дороги не знаю.

Вымыв руки и лицо, он пошел за ней вниз, по лестнице притихшего дома. Ну и комната! Пустовато, но порядок образцовый, кремовые панели, фарфор, рояль.

Уинифрид Дарти сидела на диване перед горящим камином. Она встала и взяла его за руку.

— Так хорошо, что вы здесь, Грэдмен,— сказала она,— вы наш самый старый друг.

Лицо у нее было странное, точно она и хотела бы заплакать, да разучилась. Он помнил ее ребенком и молоденькой модницей, участвовал в составлении ее брачного контракта и не раз сокрушался по поводу ее супруга; а каких трудов стоило выяснить, сколько в точности задолжал этот джентльмен к тому времени, когда слетел с лестницы в Париже и сломал себе шею! И до сих пор он ежегодно подготавливал ей расчет подоходного налога.

— Вам бы поплакать хорошенько,—сказал он,—стало бы легче. Но ведь еще не все пропало, у мистера Сомса здоровье крепкое, и пить он как будто не пил. Еще, может, вытянет.

Она покачала головой. Угрюмое, решительное выражение ее лица напомнило ему ее старую тетку Энн. При всей ее светскости пережить ей пришлось немало — немало пришлось пережить.

— Удар пришелся ему вот сюда,—сказала она,—наискось, в правый висок. Мне будет страшно одиноко без него; только он...

Грэдмен погладил ее по руке.

— Да, да! Но не будем терять надежды. Если он очнется, я буду здесь.— Он сам не мог бы объяснить, что в этом утешительного.— Я все думал: хотел бы он, чтоб известили миссис Ирэн? Тягостно думать, что он может умереть с непрощенной обидой в сердце. Дело, конечно, давнишнее, но на страшном суде...

Слабая улыбка затерялась в резких морщинах вокруг рта Уинифрид.

— Не стоит его этим тревожить, Грэдмен; это теперь не принято.

Грэдмен издал неясный звук, словно внутри его столкнулись его вера и уважение к семье, которой он служил шестьдесят лет.

— Ну, вам виднее,—сказал он.—Нехорошо, если что-нибудь останется у него на совести.

— У нее на совести, Грэдмен.

Грэдмен перевел взгляд на дрезденскую пастушку.

— Трудно сказать, когда дело идет о прощении. И еще я хотел поговорить с ним об его стальных акциях; они могли бы давать больше. Но, видно, ничего не поделаешь. Счастье, что ваш батюшка до этого не дожил, — и убивался бы мистер Джемс! Не та уже будет жизнь, если мистер Сомс...

Она поднесла руку к губам и отвернулась. Вся светскость слетела с ее отяжелевшей фигуры. В сильном волнении Грэдмен двинулся прочь.

— Я не буду раздеваться, на случай если окажусь нужным. У меня все с собой. Спокойной вам ночи!

Он поднялся по лестнице, на цыпочках прошел мимо двери Сомса и, войдя в свою комнату, зажег свет. Огурцы убрали; постель его была приготовлена на ночь, байковый халат вынут из чемодана. Сколько внимания! И он опустился на колени и стал молиться вполголоса, меняя положенные слова, и закончил так: «И за мистера Сомса, господи, прими душу его и тело. Остави ему преступления его и избави его от жестокосердия и греха, прежде чем уйти ему из мира, и да будет он как агнец невинный, и да обретет милосердие твое. Твой верный слуга. Аминь». Кончив, он еще постоял на коленях на непривычно мягком ковре, вдыхая знакомый запах байки и минувших времен. Он встал успокоенный. Снял башмаки — на шнурках, с квадратными носками — и старый сюртук, надел егеровскую фуфайку, затворил окно. Потом взял с кровати пуховое одеяло, накрыл лысую голову огромным носовым платком и, потушив свет, уселся в кресле, прикрыв одеялом колени.

Ну и тишина здесь после Лондона, прямо собственные мысли слышишь! Почему-то вспомнились ему первые юбилейные торжества королевы Виктории, когда он был сорокалетним юнцом и мистер Джемс подарил им с миссис Грэдмен по билету. Они все решительно видели — места были первый сорт — гвардию и шествие, кареты, лошадей, королеву и августейшую семью. Прекрасный летний день — настоящее было лето, не то что теперь. И все шло так, точно никогда не изменится; и трехпроцентная рента, сколько помнится, котиновалась почти по паритету; и все ходили в церковь. А в том же самом году, чуть по-

позже, с мистером Сомсом стряслось первое несчастье. И еще воспоминание. Почему это сегодня вспомнилось, когда мистер Сомс лежит, как... Кажется, это случилось вскоре же после юбилея. Он понес какую-то срочную бумагу на дом к мистеру Сомсу на Монпелье-сквер, его провели в столовую, и он услышал, что кто-то поет и играет на фортепьянах. Он приотворил дверь, чтобы было слышнее. Э, да он и слова еще помнит! Было там «лежа в траве», «слабею, умираю», «ароматы полей», что-то «к твоей щеке» и что-то «бледное». Вот видите ли. И вдруг дверь отворилась, и вот она — миссис Ирэн — и платье на ней — ах!

— Вы ждете мистера Форсайта? Может быть, зайдите выпить чаю? — И он зашел и выпил чаю, сидя на кончике стула, золоченого и такого легкого, что, казалось, вот-вот сломается. А она-то на диване, в этом своем платье, наливает чай и говорит:

— Так вы, оказывается, любите музыку, мистер Грэдмен?

Мягко так, и глаза мягкие, темные, а волосы — не рыжие и не то чтобы золотые — вроде сухой лист, а? — красивая, молодая, а лицо печальное и такое ласковое. Он часто думал о ней — и сейчас помнит прекрасно. А потом вошел мистер Сомс, и лицо у нее сразу закрылось — как книжка. Почему-то именно сегодня вспомнилось... Ой-ой-ой!.. Вот когда стало темно и тихо! Бедная его дочка, из-за которой все это вышло! Только бы ей уснуть! Д-да! А что сказала бы миссис Грэдмен, если б увидела, как он сидит ночью в кресле и даже зубы не вынул. Ведь она никогда не видела мистера Сомса и семейства не видела. Но какая тишина! И медленно, но верно рот старого Грэдмена раскрылся, и тишина была нарушена.

За окном вставала луна, полная, сияющая; притихшая в полумраке природа распадалась на очертания и тени, и ухали совы, и где-то вдалеке лаяла собака; и каждый цветок в саду ожил, включился в неподвижный ночной хоровод; и на каждом сухом листе, который уносила светящаяся река, играл лунный луч; а на берегу стояли деревья, спокойные, четкие, озаренные луной, — спокойные, как небо, ибо ни одно дуновение не шевелило их.

СОМС УХОДИТ

В Сомсе чуть теплилась жизнь. Ждали две ночи и два дня, смотрели на неподвижную, забинтованную голову. Приглашенные специалисты вынесли приговор: «Оперировать бесполезно», — и уехали. Наблюдение взял на себя доктор, который когда-то присутствовал при рождении Флер. Хотя Сомс так и не простил «этому типу» тревоги, причиненной им в связи с этим событием, все же «тип» не отстал и лечил всю семью. Он оставил инструкции — следить за глазами больного; при первом признаке сознания за ним должны были послать.

Майкл, видя, что к Флер подходить безнадежно, целиком посвятил себя Киту, гулял и играл с ним, старался, чтобы ребенок ничего не заметил. Он не ходил навещать неподвижное тело — не от безразличия, а потому, что чувствовал себя там лишним. Он унес из галереи все оставшиеся в ней картины, убрал их вместе с теми, которые Сомс успел выбросить из окна, и аккуратно переписал. В огне погибло одиннадцать картин из восьмидесяти четырех.

Аннет поплакала и чувствовала себя лучше. Жизнь без Сомса представлялась ей странной и — возможной; точно так же в общем, как и жизнь с ним. Ей хотелось, чтобы он поправился, но если нет — она собиралась жить во Франции.

Уинифрид, дежуря у постели брата, подолгу и печально жила в прошлом. Сомс был ей оплотом все тридцать четыре года, отмеченные яркой личностью Монтегью Дарти, и оставался оплотом последующие, менее яркие тринадцать лет. Она не представляла себе, что жизнь может снова наладиться. У нее было сердце, и она не могла смотреть на эту неподвижную фигуру, не пытаясь хотя бы вспомнить, как люди плачут. Она получала от родных письма, в которых сквозило тревожное удивление: как это Сомс допустил, чтобы с ним такое случилось?

Грэдмен принял ванну, надел черные брюки и погрузился в расчеты и переписку со страховой конторой. Гулять он уходил в огород, подальше от дома; он никак не мог отделаться от мысли, что мистер Джемс дожил до

девятина лет, а мистер Тимоти до ста, не говоря уже о других. И качал головой, устремив мрачный взгляд на сельдерей или брюссельскую капусту.

Смизер тоже приехала, чтобы не расставаться с Уинифридом, но все ее услуги сводились к причитаниям: «Бедный мистер Сомс! Бедный, милый мистер Сомс! Подумать только! А он так всегда берегся и других берег!»

В том-то и дело! Не зная, как давно украдкой подбиралась страсть и в какое состояние привела она Флер; не зная, как Сомс наблюдал за ней, как на его глазах она, единственно любимая часть его самого, понесла поражение, дошла до края и стала, готовая упасть; не зная об отчаянии, толкнувшем ее навстречу падающей картине,—не зная ничего этого, все пребывали в грустном недоумении. Словно не тайное, неизбежное завершение старой-старой трагедии, а гром с ясного неба порастил человека, меньше чем кто бы то ни было подверженного случайностям. Откуда им было знать, что не так уж это все случайно!

Но Флер-то знала, что причиной несчастья с отцом было ее отчаянное состояние, знала так же твердо, как если бы бросилась в реку и он утонул бы, спасая ее. Слишком хорошо знала, что в ту ночь способна была броситься в воду или стать перед мчащейся машиной, сделать что угодно, без плана и без большой затраты сил, только бы избавиться от этой неотступной боли. Она знала, что своим поступком заставила его кинуться к ней на помощь. И теперь, когда потрясение отрезвило ее, она не находила себе оправдания.

С матерью, теткой и двумя сиделками она делила дежурства, так что в спальне Аннет, где лежал Сомс, их постоянно было двое, из которых одной почти всегда была она. Она сидела час за часом, почти такая же неподвижная, как отец, не спуская с его лица тоскливых, обведенных темными кругами глаз. Страсть и лихорадка в ней умерли. Словно безошибочный отцовский инстинкт подсказал Сомсу единственное средство избавить дочь от снедавшего ее огня. Джон был далек от нее, когда она сидела в этой комнате, затемненной шторами и ее раскаянием.

Да! Она хотела, чтобы картина убила ее. Она стояла под окном, охваченная отчаянным безразличием, видела,

как картина зашаталась, хотела, чтобы все поскорее кончилось. Ей и теперь не было ясно, что в тот вечер, совсем обезумев, она сама вызвала пожар, бросив непотушенную папиросу; вряд ли помнила даже, где курила. Зато до ужаса ясно было, что оттого, что тогда ей хотелось умереть, теперь отец лежит при смерти. Как добр он всегда был к ней! Невозможно представить себе, что он умрет и унесет с собой эту доброту, что никогда больше не услышит она его ровного голоса, не почувствует на лбу или щеке прикосновения его усов, что никогда он не даст ей случая показать ему, что она, право же, любила его, по-настоящему любила за всей суетой и эгоизмом своей жизни. Теперь, у его постели, ей вспоминались не крупные события, а мелочи. Как он являлся в детскую с новой куклой и говорил: «Не знаю, понравится ли тебе; увидел по дороге и захватил». Как однажды, когда мать ее высекла, он вошел, взял ее за руку и сказал: «Ну, ну, ничего. Пойдем посмотрим, там, кажется, есть малина». Как после ее венчания он стоял на лестнице дома на Грин-стрит, смотрел через головы толпившихся в холле гостей, ждал, бледный и ненавязчивый, чтобы она в последний раз оглянулась на него. Ненавязчивый! Вот именно, он никогда не навязывался. Ведь если он умрет, на память о нем не останется ни одного портрета, почти ни одной фотографии. Только и снят он, что ребенком на руках у матери; маленьким мальчиком, скептически разглядывающим свои бархатные штанишки; в 76-м году молодым человеком в сюртуке, с короткими бачками, да несколько любительских карточек, когда он не знал, что его снимают. Вряд ли кто снимался реже его, будто он не желал, чтобы его оценили или хотя бы запомнили. Флер, всегда жадной до похвал, это казалось непонятным. Какая тайная сила, скрытая в худощавом теле, которое сейчас лежит перед ней так неподвижно, давала ему эту независимость? Он рос в такой же роскоши, как и она сама, никогда не знал бедности или работы по принуждению, но каким-то образом сохранил стоическую отрешенность от других людей и их мнений о себе. А между тем — никто лучше ее не знал этого — он тосковал по ее любви. Теперь это было ей больнее всего. Он тосковал по ее любви, а она так мало ее выказывала. Но она любила его, право же, всегда любила. Что-то в нем самом противилось чувст-

ву, охлаждало его проявления. Притягательной силы не было в нем. И часто, неслышно приблизившись к постели — постели ее матери, где сама она была зачата и рождена, — Флер стояла возле умирающего и, глядя на исхудавшее, серое лицо, чувствовала такую пустоту и муку, что едва сдерживала себя.

Так проходили ночи и дни. На третий день, около трех часов, стоя возле него, она увидела, что глаза открылись — вернее, распались веки, а мысли не было; но сердце ее сильно забилося. Сиделка, которую она поманила пальцем, подошла, взглянула и быстро вышла к телефону. И Флер стояла, глядя изо всех сил, стараясь взглядом пробудить его сознание. Сознание не приходило, и веки опять сомкнулись. Она пододвинула стул и села, не сводя глаз с его лица. Сиделка вернулась с известием, что доктор уехал к больным; как только он вернется, его пошлют сюда. Как сказал бы ее отец: «Ну, конечно, когда этот тип нужен, его нет дома!» Но значения это не имело. Они знали, что делать. Часа в четыре веки опять поднялись, и на этот раз что-то проглянуло. Флер не была уверена, видит ли он, узнает ли ее и комнату, но что-то было, какой-то мерцающий свет, стремление сосредоточиться. Крепло, нарастало, потом опять погасло. Ему сделали укол. И опять она села и стала ждать. Через полчаса глаза открылись. Теперь он *видел*. И Флер мучительно следила, как человек силится *быть*, как сознание старается подчиниться инстинктивной силе воли. Наклонившись так, чтобы этим глазам, которые теперь уже наверно узнали ее, потребовалось как можно меньше усилий, она ждала, и губы у нее дрожали, как в поцелуе. Невероятное упорство, с каким он старался вернуться, ужасало ее. Он хотел обрести сознание, хотел знать, и слышать, и говорить. Казалось, одно это усилие могло убить его. Она тихо с ним заговорила. Подложила руку под его холодную ладонь, чтобы почувствовать малейшее движение. В отчаянии следила за его губами. Наконец эта борьба кончилась, полупустой, полусердитый взгляд сменился чем-то более глубоким, губы зашевелились. Они ничего не сказали, но они шевелились, и еле заметная дрожь прошла из его пальцев в ее.

— Ты узнаешь меня, милый?

Глаза ответили: «Да».

— Ты помнишь?

Опять глаза ответили: «Да».

Губы его все время подрагивали, словно он примеривался, чтобы заговорить, взгляд становился все глубже. Она заметила, как он чуть-чуть сдвинул брови, будто ему мешало, что лицо ее слишком близко; немножко отодвинулась, и нахмуренное выражение исчезло.

— Милый, ты поправишься.

Глаза ответили: «Нет»; и губы шевелились, но звука она не могла уловить. На мгновение она потеряла самообладание, всхлипнула, сказала:

— Папа, прости меня!

Взгляд смягчился, и на этот раз ей слышалось что-то вроде:

— Простить? Глупости!

— Я так тебя люблю.

Тогда он, казалось, бросил попытку заговорить, и вся его жизнь сосредоточилась в глазах. Глубже и глубже становился их цвет и смысл, он словно понуждал ее к чему-то. И вдруг, как маленькая девочка, она сказала:

— Да, папа; я больше не буду!

Она почувствовала ладонью, как дрогнули его пальцы; губы, казалось, силились улыбнуться, голова шевельнулась, как будто он хотел кивнуть, а взгляд становился все глубже.

— Здесь Грэдмен, милый, и мама, и тетя Уинифрид, и Кит, и Майкл. Хочешь кого-нибудь видеть?

Губы зашевелились:

— Нет, тебя.

— Я все время с тобой.— Опять она почувствовала, как задрожали его пальцы, увидела, как губы шепнули:

— Ну, все.

И вдруг глаза погасли. Ничего не осталось! Он еще некоторое время дышал, но не дождался, пока приехал «этот тип», сдал — умер.

XVI

КОНЕЦ

Сообразуясь со вкусами Сомса, пышных похорон не устраивали. Вся семья, за исключением его самого, давно уже потеряла интерес к этой церемонии.

Все прошло очень тихо, присутствовали только мужчины.

Приехал сэр Лоренс, такой серьезный, каким Майкл никогда его не видел.

— Я уважал «Старого Форсайта», — сказал он сыну, возвращаясь пешком с кладбища, где Сомс теперь лежал в им самим выбранном углу, под дикой яблоней. — У него были устарелые взгляды, и он не умел себя выразить; но честный был человек — без глупостей. Как Флер держится?

Майкл покачал головой.

— Ей страшно тяжело сознание, что он...

— Мой милый, нет лучшей смерти, чем умереть, спасая самое свое дорогое. Как только сможешь, привези Флер к нам в Липпингхолл — там ни ее отец, ни родные не бывали. Я приглашу погостить Хилери с женой: их она любит.

— Она меня очень беспокоит, папа, — что-то сломалось.

— Это с большинством из нас случается, пока мы не дожили до тридцати лет. Сдаёт какая-то пружина, а потом приходит «второе дыхание», как говорят спортсмены. То же самое случилось и с нашим веком — что-то сломано, а «второе дыхание» ещё не пришло. Но придёт. И к ней тоже. Какой вы думаете поставить памятник на могиле?

— Вероятно, крест.

— По-моему, он предпочёл бы плоский камень; в головах эта дикая яблоня, а кругом тисовые деревья, чтобы никто не подглядывал. Никаких «Любимому» и «Незабвенному». Он купил этот участок в вечное пользование? Ему приятно было бы принадлежать своим потомкам на веки вечные. Во всех нас больше китайского, чем можно предположить, только у них на роли собственников предки. Кто этот старик, который плакал в шляпу?

— Старый мистер Грэдмен — своего рода деловая нянька всего семейства.

— Верный старый пес! Да, вот не думал я, что «Старый Форсайт» отправится на тот свет раньше меня. Он выглядел бессмертным, но мир наш зиждется на иронии. Могу я что-нибудь сделать для тебя и Флер? Поговорить с правительством относительно картин? Мы с маркизом

могли бы это вам устроить. Он питал слабость к «Старому Форсайту», и Морланд его уцелел. Кстати, нешуточная, видно, была у него схватка с огнем — совсем один, во всей галерее. Кто бы заподозрил, что он способен на такое!

— Да,— сказал Майкл.— Я расспрашивал Ригза. Он никак не опомнится.

— Разве он видел?

Майкл кивнул.

— Вот он идет!

Они замедлили шаг, и шофер, козырнув, поравнялся с ними.

— А, Ригз, — сказал сэр Лоренс, — вы, я слышу, были там во время пожара.

— Да, сэр Лоренс. Мистер Форсайт прямо чудеса творил — пылу, как у двухлетка, мы его чуть не силой увели. Так всегда боялся попасть под дождь или сесть на сквозняке, а тут — и в его возрасте... Дым валит, а он мне одно: «идемте» да «идемте» — прямо герой! В жизни я не был так удивлен, сэр Лоренс! Такой осторожный был джентльмен, а тут... И нужно же было! Не вздумай он непременно спасти эту последнюю картину, она бы не упала и его бы не сшибла.

— Как же возник пожар?

— Никто не знает, сэр Лоренс, разве что мистер Форсайт знал, а он так ничего и не сказал. Жаль, не поспел я туда раньше, да я убирал бензин. И что он там один делал, да после какого дня! Вы подумайте! Мы в то утро прикатили из Уинчестера в Лондон, оттуда в Доркинг, забрали миссис Монт — и сюда! И теперь он уж никогда мне не скажет, что я поехал не той дорогой.

Гримаса искажила его худое лицо, темное и обветренное от постоянной езды; и, притронувшись к шляпе, он отстал от них у калитки.

— «Прямо герой», — вполголоса повторил сэр Лоренс. — Почти что эпитафия. Да, на иронии зиждется мир!

В холле они расстались — сэр Лоренс возвращался в город на машине. Он взял с собой Грэдмена, так как завешивание уже было вскрыто. Смизер плакала и спускала шторы, а в библиотеке Уинифрид и Вэл, приехавший с Холли на похороны, принимали немногочисленных посе-

тителей. Аннет была в детской у Кита. Майкл пошел наверх к Флер, в комнату, где она жила девочкой; комната была на одного, и спал он отдельно.

Она лежала на постели изящная и словно неживая.

Взгляд, обращенный на Майкла, придавал ему, казалось, не больше и не меньше значения, чем потолку. Не то чтобы в мыслях она была далеко — вернее, ей некуда было идти. Он подошел к постели и прикрыл ее руку своей.

— Радость моя!

Опять Флер взглянула на него, но как понять этот взгляд, он не знал.

— Как только надумаешь, родная, повезем Кита домой.

— Когда хочешь, Майкл.

— Я так понимаю, что в тебе творится, — сказал Майкл, сознавая, что ничего не понимает. — Ригз рассказывал нам, как изумительно держался твой отец там, в огне.

— Не надо!

Выражение ее лица совсем сбilo его с толку — в нем было что-то неестественное, как бы ни горевала она об отце.

Вдруг она сказала:

— Не торопи меня, Майкл. В конце концов все, вероятно, пустяки. Да не тревожься обо мне: я этого не стою. Лучше чем когда-либо сознавая, что слова бесполезны, Майкл поцеловал ее в лоб и вышел.

Он спустился к реке, стоял, смотрел, как она течет, тихая, красивая, словно радуясь золотой осенней погоде, которая держалась так долго. На другом берегу паслись коровы Сомса. Теперь они пойдут с молотка; вероятно, все, что здесь принадлежало ему, пойдет с молотка. Аннет собиралась к матери в Париж, а Флер не хотела оставаться хозяйкой. Он оглянулся на дом, попорченный, растрепанный огнем и водой. И печаль наполнила его сердце, словно рядом с ним встал сухой, серый призрак умершего и глядел, как рассыпаются его владения, как уходит все, на что он не жалел ни трудов, ни времени. «Перемена, — подумал Майкл, — ничего нет, кроме перемены. Это единственная постоянная величина. Что же, кто не предпочтет реку болоту!» Он зашагал к цветам, бор-

дюром посаженным вдоль стены огорода. Цвели мальвы и подсолнухи, и его потянуло к их теплу. Он увидел, что в маленькой беседке кто-то сидит. Миссис Вэл Дарти! Холли, милая женщина! И от великой растерянности, которую Майкл ощущал в присутствии Флер, вдруг возникла потребность задать вопрос, возникла сначала робко, стыдливо, потом смело, настойчиво. Он подошел к ней. Она держала книгу, но не читала.

— Как Флер? — спросила она.

Майкл покачал головой и сел.

— Я хочу задать вам один вопрос. Если не хотите — не отвечайте; но я чувствую, что должен спросить. Можете вы сказать: как обстоит у нее дело с вашим братом? Я знаю, что было в прошлом. Есть ли что-нибудь теперь? Я не ради себя спрашиваю, ради нее. Что бы вы ни сказали — она не пострадает.

Она смотрела прямо на него, и Майкл вглядывался в ее лицо; ему стало ясно: что бы она ни сказала, если она вообще что-нибудь скажет, будет правдой.

— Что бы между ними ни произошло, — сказала она наконец, — а что-то было, с тех пор как он вернулся, — теперь кончено навсегда. Это я знаю наверно. Это кончилось за день до пожара.

— Так, — тихо сказал Майкл. — Почему вы говорите, что это кончилось *навсегда*?

— Потому что я знаю брата. Он дал своей жене слово больше не видеться с Флер. Он, очевидно, запутался, я знаю, что был какой-то кризис; но раз Джон дал слово — ничто, ничто не заставит его изменить ему. Все, что было, кончено навсегда, и Флер это знает.

И опять Майкл сказал:

— Так. — А потом точно про себя: — Все, что было.

Она тихонько пожала ему руку.

— Ничего, — сказал он. — Сейчас придет «второе дыхание». И не бойтесь, я тоже не изменю своему слову. Я знаю, что всегда играл вторую скрипку. Флер не пострадает.

Она сильнее сжала его руку; и, подняв голову, он увидел у нее в глазах слезы.

— Большое вам спасибо, — сказал он, — теперь я понимаю. Когда не понимаешь, чувствуешь себя таким болваном. Спасибо.

Он мягко отнял руку и встал. Посмотрел на застывшие в ее глазах слезы, улыбнулся.

— Порой трудновато помнить, что все комедия; но к этому, знаете ли, приходишь.

— Желаю вам счастья, — сказала Холли.

И Майкл отозвался:

— Всем нам пожелайте счастья.

Поздно вечером, когда в доме закрыли ставни, он закурил трубку и опять вышел в сад. «Второе дыхание» пришло. Как знать, может быть, этому помогла смерть Сомса. Может быть, лежа в тенистом уголке под дикой яблоней, «Старый Форсайт» все еще охранял свою любимицу. К ней у Майкла было только сострадание. Птица подстрелена из обоих стволов и все-таки живет; так неужели человек, в котором есть хоть капля благородства, причинит ей еще боль? Ничего не оставалось, как поднять ее и по мере сил стараться починить ей крылья. На помощь Майклу поднялось что-то сильное, такое сильное, что он и не подозревал его в себе. Чувство спортсмена — рыцарство? Нет! Этому не было имени; это был инстинкт, говоривший, что самое важное — не ты сам, даже если ты разбит и унижен. Ему всегда претил иступленный эгоизм таких понятий, как *crime passionnel*¹, оскорбленный супруг, честь, отмщение, «вся эта чушь и дикость». Искать предлогов не быть порядочным человеком! Для этого предлога не найти. Иначе выходит, что жизнь ни на шаг не ушла от каменного века, от нехитрой трагедии первобытных охотников, когда не было еще в мире ни цивилизации, ни комедии.

Что бы ни произошло между Джоном и Флер — а он чувствовал, что произошло все, — теперь это кончено, и она «сломалась». Нужно помочь ей и молчать. Если он теперь не сможет этого сделать, значит, нечего было и жениться на ней, зная, как мало она его любила. И глубоко затягиваясь трубкой, он пошел по темному саду к реке.

Вызвездило, ночь была холодная, за легким туманом черная вода реки казалась неподвижной. Изредка сквозь безмолвие доносился далекий гудок автомобиля, где-то пищал полевой зверек. Звезды и запах кустов и земли,

¹ Преступление, оправдываемое страстью (франц.).

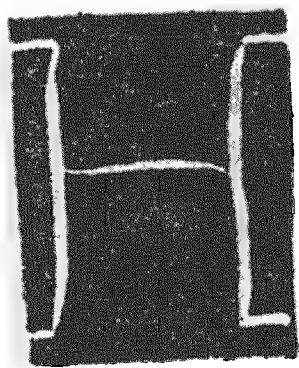
крик совы, летучие мыши и высокие очертания тополей чернее темноты — как подходило все это к его настроению!

Мир зиждется на иронии, сказал его отец. Да, великая ирония и смена форм, настроений, звуков, и ничего прочного, кроме разве звезд да инстинкта, подгоняющего все живое: «Живи!».

С реки долетели тихие звуки музыки. Где-то веселятся. Верно, танцуют, как нынче днем танцевали мошки на солнце! И власть этой ночи сдавила ему горло. О черт! Как красиво, изумительно! Дышит в этом мраке столько же миллионов существ, сколько звезд на небе, все живут и все разные! Что за мир! Какая работа Вечного Начала! А когда умрешь, как «старик», ляжешь на покой под дикой яблоней — что же, это только минутный отдых Начала в твоём затихшем теле. Нет, даже не отдых — это опять движение в таинственном ритме, который зовется жизнью! Кто остановит это движение, кто захотел бы его остановить? И если один слабый стяжатель, как этот бедный старик, попробует и на мгновение это ему удастся, — только лишний раз мигнут звезды, когда его не станет. Иметь и сохранить — да разве это бывает!

И Майкл затаил дыхание. Звук песни донесся до него по воде, тягучий, далекий, тонкий, нежный. Словно лебедь пропел свою песню!

1928 г.



А ФОРСАЙТСКОЙ
БИРЖЕ

рассказы

**Перевод с английского
под редакцией
М. Л о р е.**

ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ ВРЕМЕНИ, 1821—60.

Однажды под вечер весной 1860 года старый Джолион, вернувшись к себе на Стэнхоп-Гейт, повесил шляпу на деревянный олений рог в холле и прошел в столовую; это было накануне того дня, когда его сыну предстояло отправиться в Итон. Молодой Джолион, повесив свой цилиндр на другой отросток рога, пониже, прошел в столовую следом за отцом, и как только тот уселся в большом кожаном кресле, взгромоздился рядом на подлокотник. То ли под впечатлением от египетских мумий, которые они осматривали в Британском музее, или просто потому, что надвигалось такое событие, как отъезд мальчика в новую школу, да притом еще сугубо аристократическую, но и отец и сын — оба чувствовали себя старыми, ибо в таких случаях между возрастом в пятьдесят четыре года и в тринадцать лет уже нет непреодолимой грани. И сейчас, когда мальчика волновала мысль, что завтра он уже будет мужчиной, их обоих почти бессознательно потянуло еще раз посидеть бок о бок в этом старом кресле, как они сиживали постоянно, пока сын по десятому году не уехал в первую свою школу. Мальчик откинулся назад, и голова его угнездилась на плече отца. Для старого Джолиона эти минуты, с годами все более редкие, были драгоценны; может быть, лучшее из всего, что дала ему жизнь; какое счастье, что мальчик такой ласковый!

— Ну, Джо,— сказал он,— как тебе понравились мумии?

— Очень страшные, папочка.

— Гм... да. Но если бы мы их не откопали, это сделал бы кто-нибудь другой. Говорят, они стоят кучу денег. Странно, Джо, как подумаешь, что сейчас, может быть, еще живут на земле потомки этих самых мумий. Ну ладно. По крайней мере ты сможешь сказать, что видел мумии; вряд ли многие из твоих будущих товарищей их видали. Я думаю, тебе понравится Итон.— Это он сказал именно потому, что далеко не был в том уверен. Он мало что знал об Итоне, но представлял себе что-то огромное, многолюдное — трудно там будет такому малышу. Щека мальчика крепче влегла в ложбинку между его плечом и грудью, и дискантовый голос, сейчас слегка приглушенный, проговорил:

— Расскажите мне о *вашей* школе, папа.

— Моей школе, Джо? Ну, она была ничем не замечательная. В Эпсоме. Помню, как я туда ездил — целое путешествие — сперва дилижансом из Боспорта в Лондон, а дальше мальпостом, железных дорог тогда ведь еще не было. Меня поручали кондуктору — этаким был здоровенный верзила с красной физиономией и почтовым рожком через плечо. Ехали всю ночь, по десять миль в час, и каждый час меняли лошадей.

— Вы ехали на козлах?

— Да. Сидел там затиснутый между кучером и еще одним пассажиром. Ночью бывало холодно, и меня так укутывали в шаль — тогда это было принято, — что только один глазок высматривал; мать давала мне в дорогу пирог с бараниной и фляжку вишневой наливки. Кучер был славный старик, сам круглый, как бочка, а голос хриплый, как у вороны. А уж правил — прямо на удивление; овода мог снять бичом с уха у передней лошади.

— Много там было мальчиков?

— Нет. Человек тридцать. Маленькая школа. Но я пятнадцати лет кончил учиться.

— Почему?

— Мама умерла, когда родилась твоя тетя Сьюзен. Мы переехали из Боспорта в Лондон, и меня пристроили к делу.

— А ваша мама — какая она была, папочка?

— Моя мама? — Старый Джолион помолчал, разбираясь в наплывавших воспоминаниях. — Я очень любил ее, Джо. Понимаешь, старший сын — и, говорят, я пошел в нее. Ну, не знаю; она была очень хорошенькая, с тонким лицом. Ник Треффри говорил, что она самая красивая женщина в нашем городке. И добрая. Со мной она всегда была добрая. Я очень горевал, когда она умерла.

Голова мальчика еще теснее прижалась к его плечу. Все, что он сейчас чувствовал к мальчику и что, как он надеялся и верил, мальчик чувствовал к нему, всю эту любовь он тогда отдавал своей матери. Всего сорок один год ей было, когда она умерла, родив десятого ребенка. Десятого! В те времена рожали, не считая, только вот иногда, на каком-то разе, дело кончалось бедой. Да, очень горька была для него эта утрата.

Молодой Джолион, как будто почуввав, что мысли отца ушли далеко, прыгнул с подлокотника.

— Я, пожалуй, пойду, папа, уложу вещи.

— Хорошо, сынок. А я пока выкурю сигару.

Когда Джо ушел — складный какой он стал, смотреть приятно! — старый Джолион направился к китайской шкатулке, где хранил свои сигары, и выбрал одну. Он прислушался к ней, обрезал кончик, взял ее в рот и закурил. Затянувшись, он опять вынул ее изо рта и, держа поодаль между двух пальцев — пальцы у него были сухие, суживающиеся к концу, — с наслаждением вдохнул синеватый дымок. Неплохая сигара, и чем дальше куришь, тем приятнее! Вернувшись к креслу, он отвалился на спинку и скрестил ноги. Давно уж он не думал о своей матери. А лицо ее помнит хорошо. Да, вот она перед ним как живая: ясный взгляд, всегда немного снизу вверх из-под бровей, как будто откуда-то из глубины; чуть-чуть заостренный подбородок. И голос ее опять звучит в ушах — мягкий, тихий, приятный. Кто из детей похож на нее? Энн — немножко; Эстер — да; Сьюзен — кое в чем; Николас — пожалуй, только он больно уж резкий; и говорят, он сам; ну, это кто его знает, а думать так все-таки приятно, в ней было столько доброты. И вдруг он ясно ощутил, как она проводит рукой по его лбу, отбрасывая волосы назад; ей нравилось, когда он так причесывался. Ах! Он и сейчас еще помнит свое последнее возвращение из школы — он вошел в отцов-

ский дом в Боспорте, еще окоченелый после долгого ночного переезда, и увидел в прихожей грузную фигуру отца — отец стоял, расставив ноги и нагнув голову, словно его только что ударили по затылку, — стоял как каменный и даже не заметил сына, пока тот не проговорил: «Я приехал, папа».

— Что? Это ты, Джо? — Лицо у него было очень красное, веки так набрякли, что глаз почти не было видно. Он сделал странный жест обеими руками и мотнул головой в сторону лестницы.

— Пойди наверх, — сказал он. — Мама очень плоха. Пойди наверх, мой мальчик. Но только смотри не плачь.

Он стал подниматься по лестнице с каким-то расслабляющим страхом в сердце. Сестра Энн встретила его у дверей — тогда она еще была молодая, статная, красивая: да, а потом стала матерью им всем, пожертвовала собой, чтобы вырастить младших. Хорошая женщина наша Энн!

— Пойдем, Джо, — сказала она. — Мама так хотела тебя видеть. Но, Джо... Ох! Джо! — Две слезинки скатились по ее щекам. Это потрясло его — она никогда не плакала. На широкой кровати с пологом лежала мать, вся белая среди белых простынь, только темнели каштановые завитки волос — в комнате было мало света, — а у окна сидела какая-то чужая женщина — сиделка — с белым свертком на коленях! Он подошел к кровати. Теперь он видел ее лицо — без единой морщинки, гладкое, словно восковое. Он не издал ни звука, только стоял и смотрел, но ее глаза открылись и обратились к нему — голова лежала, как прежде, лицо не изменилось, только глаза теперь смотрели прямо на него. Потом губы ее шевельнулись и прошептали: — Это ты, Джо, это ты, мой дорогой мальчик! — Никогда в жизни, ни до этого, ни после, не приходилось ему делать над собой таких усилий, чтобы не вскрикнуть, не рухнуть наземь. Но он только сказал: — Мама! — Губы ее опять шевельнулись. — Поцелуй меня, мой мальчик. — И он нагнулся и поцеловал ее лоб, такой гладкий, такой холодный. А потом опустился на колени и все смотрел на ее закрытые глаза, пока не пришла Энн и не увела его. Потом наверху в мансарде, где он помещался вместе с Джемсом и Суизинном, он лежал ничком на постели и рыдал, рыдал. Она

умерла в это же утро, не сказав больше ни слова; так потом рассказала ему Энн. И сейчас, спустя сорок лет, все опять вернулось к нему — страшный холод, и пустота тех дней, и немые рыдания, сдавившие ему горло, когда на старом кладбище ее опустили в землю и скрыли от него навсегда. Памятник поставили только накануне их отъезда в Лондон. Он пошел тогда на кладбище, постоял там, прочитал надпись:

В ПАМЯТЬ
ЭНН,

*возлюбленной супруги
Джолиона Форсайта.*

Род. 1 февр. 1780 г. Сконч. 16 апр. 1821 г.

Был яркий майский день и ни души на кладбище, он стоял один среди теснившихся вокруг могил.

Старый Джолион передвинулся в кресле — сигара его давно потухла, — щеки над седеющими бакенбардами, неизбежными по моде шестидесятых годов, внезапно побагровели, глаза гневно сверкнули из-под насупленных бровей, ибо перед ним встало другое воспоминание всего десятилетней давности — горькое, злое, постыдное.

Это тоже было весной, в 1851 году, через год после того, как они похоронили отца в Хайгете, и ровно через тридцать лет после смерти матери. Это ему и напомнило, и он вздумал поехать в Боспорт — в первый раз с тех пор! Ехал поездом, в клетчатом картузе, тогда такие носили. Еле узнал свой родной городок, так он изменился и разросся. Отыскав старую приходскую церковь, он прошел в тот угол кладбища, где ее похоронили, и остановился ошеломленный, протирая глаза. Этого угла вовсе не было! Деревья, могилы — все исчезло. Вместо них наискось тянулась стена, а за ней железнодорожная линия. Господи, что же они сделали с могилой матери? Сдвинув брови, он стал рыскать по всем направлениям, как охотничья собака. Наверно, перенесли куда-нибудь. Но нет — ни следа! И в нем поднялся мстительный гнев, смешанный со стыдом, от которого еще сильнее кипела злоба. Готы, вандалы, разбойники! Его мать — кости ее раскиданы, имя стерто, покой нарушен! Какая-то мерз-

кая железная дорога на месте ее могилы! По какому праву!.. Он ухватился дрожащими руками за ближнюю ограду, пот выступил на его побагровевшем лбу. Если есть закон против этого, он прибегнет к закону! Если есть в живых кто-нибудь, кого можно за это покарать, видит бог, он его покарает! И тут его снова обжег стыд, столь чуждый его натуре. О чем думал отец, о чем думали они все,—за столько лет никто не приехал хотя бы взглянуть! Слишком были заняты тем, что наживали деньги — как и вся наша эпоха, которая, вот не угодно ли, прокладывает эту кощунственную железную дорогу, разрушает своим пресловутым прогрессом благолепие смерти! Он склонил голову на дрожащие руки. Его мать!.. А он не защитил ее, когда она лежала здесь, беззащитная! Но священник-то, священник, почему он не сообщил им, что тут хотят делать? Он снова поднял голову и огляделся. В дальнем конце кладбища кто-то расчищал дорожки. Он пошел туда, окликнул работника.

— Давно тут провели эту железную дорогу?

Старик остановился, опираясь на лопату.

— Да уж тому лет десять, а может, и боле.

— Что сделали с могилами, которые были в том углу?

— А-а! Ну, нехорошо, конечно. Я и тогда был против.

— Я спрашиваю, что с ними сделали?

— Да что — перекопали, и все тут.

— А с гробами?

— Не знаю. Спросите священника. Да там все старые были могилы — лет по сто.

— Неправда. Одна была моей матери. С 1821 года.

— Ага, и верно. Помню, одна плита была поновее.

— Что с ней сделали?

Старик впервые посмотрел прямо на него, как будто только сейчас заметил что-то необычное на своих дорожках.

— Искали, кажись, владельцев, да не могли найти. Вы спросите священника. Может, он знает.

— Давно он здесь?

— В Михайлов день четыре года сравняется. Прежний-то помер, но, может, и теперешний что-нибудь знает.

Старый Джолион почувствовал себя как зверь, у которого отняли добычу. Умер! Этот негодяй умер!

— А вы-то разве не знаете, что сделали с гробами... с костями?

— Вот уж не скажу. Похоронили, верно, где-нибудь. А которые, может, доктора забрали. Я же говорю, спросите викария, он, может, знает.

И, поплевав на руки, он опять взялся за лопату.

Викарий? Но и от викария он не добился толку — тот ничего не знал, по крайней мере так он говорил, — никто ничего не знал! Лжецы — да, лжецы! — он не верил ни единому их слову. И владельцев они не искали — боялись, что им помешают! Исчезла, развеялась, — ничего не осталось от нее, кроме записи в кладбищенской книге. Над тем местом, где она лежала, протянуты рельсы, грохочут поезда. И он вынужден был в одном из этих поездов ехать обратно в Лондон, тот самый Лондон, который так опутал его сердце и душу, что он, можно сказать, предал ту, кто его родила! Но как было это предвидеть? Освященная земля! Значит, уж ничто не сохранено от посягательств Прогресса, даже умершие, покоящиеся в земле?

Он потянулся к спичкам, но сигара показалась ему горькой, и он бросил ее в пепельницу. Он не рассказал Джо об этом — и не надо ему говорить, это не для юных ушей. В таком возрасте разве он поймет, как жизнь забирает тебя в лапы, когда ты начал пробивать себе дорогу. Как одно цепляется за другое, пока прошлое не вылетает у тебя из головы, и дела все множатся, как непрерывно растущий прилив, и вытесняют чувства и воспоминания и свежее восприятие юности. Разве он поймет, как неотвратимый ход Прогресса безжалостно разоряет все тихие уголки земли. А может быть, мальчику все же следует знать — послужило бы для него уроком. Нет! Нельзя говорить — слишком больно будет признаться, что ты допустил, чтобы твою мать... Он взялся за «Таймс». Да! Какая разница! Он хорошо помнил «Таймс» тех лет, когда еще только приехал в Лондон. Печать мелкая — такую теперь и прочитать бы не сумели. Четыре страницы — парламентские дебаты и десятка два объявлений — от тех, кто предлагает работу, и от тех, кто ее ищет. А теперь смотри, какой пышный — разбух, раздобрел, преуспевает — и печать в два раза крупнее прежней.

Скрипнула дверь. Что там такое? А! Чай. Жена у себя наверху, нездорова, и чай ему подали сюда.

— Скажите, чтобы отнесли наверх для миссис Форсайт,— сказал он,— и позовите мистера Джо.

Помешивай чай—высший сорт Сушонг, собственной фирмы,— он прочитал, что здоровье лорда Пальмерстона поправляется и что этот шут гороховый — французский император — намерен в ближайшее время нанести визит королеве. И тут вошел мальчик.

— А! Джо! Пей, а то чай перестойтся.

И пока мальчик пил, старый Джолион смотрел на него. Завтра он уедет в эту знаменитую школу, где готовят премьер-министров, и епископов, и прочих тому подобных, где мальчиков учат хорошим манерам — будем во всяком случае надеяться, что так,—и презрению к коммерции. Гм!.. Неужели мальчик научится презирать собственного отца? И внезапно в старом Джолионе возмущилась его врожденная честность и та особая, присущая ему, независимость, за которую все его уважали и немножко боялись.

— Джо, ты только что спрашивал меня о твоей бабушке. Но я одного тебе не сказал. Когда я через тридцать лет после ее смерти поехал, наконец, на родину, я узнал, что ее могилу раскопали, чтобы очистить место для железной дороги. От нее и следа не осталось, и никто не мог или не хотел мне сказать, что с ней сделали.

Мальчик держал ложечку над чашкой и смотрел на отца; вид у него был такой невинный и невозмутимый. Потом лицо его вдруг порозовело, и он сказал:

— Как нехорошо, папа!

— Да. Какой-то хулиган священник это позволил, а нас не предупредил. Но это моя вина, Джо; я должен был давно туда съездить и вообще ездить почаще и присматривать за ее могилой.

И опять мальчик ничего не сказал. Он жевал печенье и смотрел на отца. А старый Джолион подумал: «Ну вот, я ему и сказал».

Вдруг мальчик заговорил:

— Папа, а ведь это то самое, что сделали с мумиями.

Мумии! Какие еще мумии? Ах, эти, в Британском музее. Которых они сегодня осматривали... И старый Джолион умолк, мысленно глядя вдаль поверх зыбучих пес-

ков времени. Странно! Ему это и в голову не пришло. Странно! А вот мальчик сразу заметил! Гм! Что же это значит? И в сознании старого Джолиона шевельнулась смутная догадка о каком-то духовном различии между его поколением и поколением сына. Дважды два — четыре. А он этого не видел! Очень странно! Но в Египте, говорят, сплошь пески — может быть, эти покойники как-то сами собой поднялись на поверхность. И кроме того, хотя, как он сам сказал, возможно, что и сейчас еще живы потомки этих мумий, но это же все-таки не сыновья и не внуки! И тем не менее! Мальчик уловил связь, а он нет. Он коротко спросил:

— Кончил укладываться, Джо?

— Да, папа. Только как вы считаете, можно мне взять с собой моих белых мышей?

— Ну-у... Вот уж не знаю, сынок. Пожалуй, они еще не доросли до Итона. Это, знаешь, такая серьезная школа.

— Да, папочка.

У старого Джолиона сердце перевернулось в груди. Бедный малыш! Что его там ожидает?

— А у вас, папа, были белые мыши?

Старый Джолион покачал головой.

— Нет, Джо. В мое время мальчики еще не были такими образованными.

— А интересно, у этих мумий были? — сказал молодой Джолион.

ТИМОТИ НА ВОЛОСОК ОТ ГИБЕЛИ, 1851.

После смерти Тимоти Форсайта в 1920 году его племянник Сомс Форсайт утвердил завещание своего дяди — то самое завещание, которое, если бы не закон об ограничении процентов, должно было с течением лет дать такие поразительные результаты. В свое время Сомс пытался втолковать Тимоти, что то, чего он хочет, неосуществимо в силу этого закона. Но Тимоти только сердито уставился на него и сказал: — Вздор! Делай, как я говорю. — И Сомс сделал. Во всяком случае, решил он, наращивание процентов будет доведено до предела, допустимого по закону, а это — максимальное приближение к тому, чего старик добивался. Когда, по своей обязанности душеприказчика, Сомс приступил к осмотру бумаг, оставшихся после покойного, он получил еще одно наглядное подтверждение господствующей страсти Тимоти — его постоянного стремления обезопасить себя от малейшей случайности. За всю свою долгую жизнь он не уничтожил ни одной бумажки. Оплаченные счета, чековые книжки с аккуратно вложенными в них погашенными чеками, рассортированными по датам, в порядке поступления из банка, — всего этого за семьдесят с лишком лет накопились целые горы, и все это за крайней давностью — так как еще до войны Тимоти уже кормили с ложки и он не подписывал никаких чеков — было немедленно предано сожжению. Были еще груды бумаг, касающихся дел по издательству, с которым Тимоти рас-

прощался в 1879 году, предпочтя поместить весь свой капитал в консоли, и которое, к счастью для Сомса, вскоре после того умерло естественной смертью. Это все тоже отправилось в камин. Но затем — и это сулило уже куда больше хлопот — обнаружались целые ящики частных писем и всяческих сувениров — наследие не только самого Тимоти, но и трех его сестер, живших при нем после смерти их отца в 1850 году. С добросовестностью, отличавшей Сомса от многих других обитателей нашего недобросовестного мира, он решил сперва все это пересмотреть, а потом уже уничтожить. Задача была не из легких. Чихая от пыли, он развязывал одну за другой грязные связки пожелтевших писем, вчитывался в паутинные почерки викторианской эпохи и лишь изредка получал маленькое развлечение, когда в потоках сентенциозной болтовни проскальзывала какая-нибудь живая подробность, бросающая новый свет на того или другого члена семьи.

На пятнадцатый вечер — Сомс распорядился отправить все эти залежи на грузовике в Мейплдерхем и трудился над ними дома по вечерам — он натолкнулся на то письмо, которое и составляет отправную точку нашего повествования. Письмо было вложено в пожелтый конверт с надписью «Мисс Хэтти Бичер», писано рукой Тимоти, снабжено датой «Мая 27-го 1851 года» и, очевидно, так и не было отправлено. Хэтти Бичер! Да ведь это девичья фамилия Хэтти Чесмен, пожилой, но бойкой и слегка накрашенной вдовушки, которая в дни юности Сомса была другом их семьи. Умерла весной 1899 года — это Сомс отлично помнил — и оставила его тетешкам Джули и Эстер по пятьсот фунтов стерлингов.

Он начал читать это письмо с любопытством, немного стыдясь своей нескромности, хоть оно и было писано почти семьдесят лет тому назад и никого из тех, кого оно касалось, уже не было в живых, а продолжал читать с волнением, как человек, который вдруг обнаружил бы свежую кровь в иссохших тканях мумии.

«Дорогая Хэтти! (так начиналось письмо)

Думаю, Вы не слишком удивитесь, получив от меня (но она, очевидно, не получила, подумал Сомс) это послание, стоившее мне многих тревог, ибо я не принадлежу к

числу тех легкомысленных молодых людей, которые способны предпринять важнейший в их жизни шаг без должного размышления. Только глубокая уверенность в том, что дело идет об исполнении моих заветных желаний, более того, о моем и, уповаю, также о Вашем счастье, побудила меня взяться за перо. Надеюсь, я не был навязчив в изъяснении Вам знаков моего внимания, но, думается мне, Вы не могли не заметить, какое впечатление произвела на меня Ваша внешность и Ваш характер, и как я — день ото дня все более жадно — искал Вашего общества. Смею поэтому предполагать, что для Вас не будет слишком большой неожиданностью, если я теперь со всей серьезностью, основанной на длительном размышлении и многократных проверках моего сердца, буду иметь честь просить Вашей руки. Если я удостоюсь Вашего одобрения в качестве жениха, я приложу все усилия к тому, чтобы создать для Вас счастливый и процветающий семейный очаг, окружить Вас всевозможной заботой и быть Вам хорошим мужем. Как Вы, вероятно, знаете, мне тридцать один год, дела мои идут успешно, и я, скажу без похвальбы, постепенно становлюсь богатым человеком; так что в том, что касается житейских благ, у Вас всегда будет все самое лучшее, весь тот комфорт и роскошь, которыми, по моему убеждению, Вы должны быть окружены. В заключение скажу словами, если не ошибаюсь, маркиза Монтроза:

Пусть тот, кто слаб и сердцем хил,
Судьбу страшится испытать,—
У смелого достанет сил
Все выиграть иль потерять!

Как я уже говорил, этот шаг не был предпринят мною необдуманно, и если, дорогая Хэтти, Вы согласитесь увенчать мои желания, Вы можете, я думаю, со спокойным сердцем верить, что я постараюсь составить Ваше счастье. Я не буду знать минуты покоя, пока не получу от Вас ответа, который, надеюсь, Вы не станете откладывать далее чем до завтра.

Остаюсь
исполненный чувств преданности и восхищения
Ваш верный и неизменный поклонник

Тимоти Форсайт».

С легкой усмешкой Сомс опустил на колени это письмо, которое было шестью годами старше его самого, и задумался. Бедный старый Тимоти! Так, значит, и не отправил свое «послание». Почему? Так в конце концов и не решился «испытать судьбу». Пожалуй, можно считать, что это его бог спас: Сомс все-таки немножко помнил эту Хэтти Чесмен. Лихая была девица, судя по тому, что о ней рассказывали!

И все же! Вот оно, письмо. Неопровержимое доказательство, что когда-то, в незапамятные времена, и Тимоти был не чужд человеческих чувств. 1851 год? Год открытия Большой Выставки! Да, тогда они уже жили на Бэйсуотер-Род, Тимоти и его незамужние сестры Энн, Джули и Эстер! И вдруг теперь, через семьдесят лет, откуда ни возьмись, это письмо! Что случилось с Хэтти, что он его не отправил? Или что случилось с самим Тимоти? Съел что-нибудь, от чего у него разболелся живот? Легко может статься, это на него похоже. Или просто так, чего-нибудь испугался. На конверте стоит только имя, без адреса — возможно, Хэтти тогда гостила у них, она ведь была большой приятельницей Джули и Эстер. Сомс вложил письмо в пожелтевший конверт, украшенный на обратной стороне монограммой Тимоти в овальном медальоне, бросил его на поднос и снова принялся за разбор останков своего дяди.

О! А это что такое?

Три тоненьких красных книжечки перевязаны грязной радужной лентой с бантиком. Чей почерк? Тетушки Энн, конечно, более прямой и разборчивый, чем у всех других членов семьи. Да это дневник, честное слово, и очень давний! Начат в «ноябре 1850 г.» — это когда они переехали на Бэйсуотер-Род, и доведен до «1855 г.» — год, когда старушка Джули вышла замуж за Септимуса Смолла. Ну это можно сразу выбросить: какое-нибудь старомодное пустословие! Но внезапно взгляд Сомса опять обратился к пожелтевшему конверту на подносе, и, вытащив среднюю книжечку, он принялся листать ее, пока не дошел до апреля 1851 года.

«3 апреля.

Мы все в волнении из-за Большой Выставки, которая скоро должна открыться в Хайд-парке. Джемс говорит,

что он, конечно, не знает, но, по его мнению, ничего хорошего из этого не выйдет: подняли страшную суету, Парк стал на себя не похож. Дорогой Тимоти очень расстроен. Он боится, что Выставка привлечет толпы жуликов и иностранцев и наш дом ограбят. Он в последние дни стал очень рассеян и совсем не говорит с нами о своих делах, но мы догадываемся, что его беспокоит вопрос, следует ли переиздавать стихи доктора Уотса¹ — так по крайней мере можно было понять из того, что говорил Джемс в прошлое воскресенье. Эти стихи очень назидательны, но, по словам Джемса, Тимоти сомневается, станет ли кто-нибудь их читать в такое время». «Н-да! — подумал Сомс. — Как труженица пчелка с прилежною заботой... Если Тимоти в самом деле воздержался от вторичного выпуска в свет этих жутких виршей, он, наверно, всю жизнь об этом жалел!» Взгляд Сомса быстро пробежал по тонким аккуратным строчкам, потом замедлился:

«3 мая.

Хэтти Бичер (ага, вот оно!) приехала 30 апреля и месяц прогостит у нас. Она очень недурна, с прекрасной фигурой, за то время, что мы не виделись, она очень пополнила и расцвела. Мы все пошли на открытие Выставки. Народу было не счесть, и наша милая маленькая королева была в прелестном туалете, очень ей к лицу. Такое пышное торжество, я никогда не забуду. Как все ее приветствовали и кричали ура! Тимоти нас сопровождал; он, кажется, равнодушен к Хэтти, едва решается поднять на нее глаза. Надеюсь, она действительно хорошая девушка. Эстер и Джули расхваливают ее на все лады. Сегодня они все пошли в Парк прогуляться и посмотреть на идущих на Выставку, хотя было ветрено и моросил дождик. Но это были только «утренние капризы», как говаривал наш дорогой покойный отец, — вскоре прояснилось и выглянуло солнце...

¹ И с а а к У о т с (1674—1748) — богослов и поэт, автор множества церковных гимнов и нравоучительных стихов для детей.

7 мая.

Мы все были в опере. Дорогой Джолион уступил нам свою ложу. Он очень смешно сказал: «Смотрите, чтобы Тимоти не влюбился в Тальони — хорошей жены из нее не выйдет». Она в самом деле изумительна — как это она ухитряется стоять на одном пальчике! — но Тимоти, по моему, ничего не видел: он весь вечер смотрел на спину Хэтти. Марио — дивный, я никогда не слыхала такого ангельского пения. При разезде были неприятности. Пошел дождь, и наши кринолины намокли, бестолковый кучер принял кого-то другого за Тимоти, мы пропустили свою очередь, и пришлось дожидаться под открытым небом перед театром. Но Хэтти была в таком веселом настроении, что и всех нас развеселила. Она такая болтушка! Не знаю, хорошо ли для Тимоти так часто с ней видеться. Я уверена, что она не мыслит дурного, но ее вечерние платья несколько более декольтированы, чем прилично для вполне скромной девушки. Я подарила ей мое фишу из брюссельских кружев.

13 мая.

Были сегодня в Зоологическом саду. Хэтти раньше никогда там не бывала. В некоторых отношениях она совсем провинциалка, но очень быстро все схватывает. Тимоти не поленился приехать в такую даль из своей конторы, чтобы принять участие в нашей эскападе. Боюсь, не столько звери его привлекли, сколько beaux yeux¹ Хэтти. Должна признаться, Зоологический сад мне не очень понравился — это все-таки скорее для простонародья, а обезьяны очень похожи на людей и не всегда ведут себя прилично. Хэтти захотела во что бы то ни стало покататься на слоне, и, конечно, Тимоти пришлось быть ее кавалером, но, боюсь, удовольствия это ему не доставило; во всяком случае, вид у него был до того мрачный, когда он трясся позади нее в паланкине, что я не могла сдерживать улыбки, а Эстер так хохотала, я думала, у нее лопнут завязки от шляпы. Я даже вынуждена была строго ее остановить из боязни, что дорогой Тимоти заметит. Я рада, что мы опоздали и не видели кормления львов. Тюлень очень забавен...

¹ Прекрасные глаза (франц.).

17 мая.

К чаю пришел Джемс. Он рассказал, что Суизин купил новую пару серых, очень норовистых, и чем все это кончится, он, Джемс, не знает. Он посоветовал Хэтти ни в коем случае не ездить с ним, если он пригласит ее покататься. Но Хэтти ответила: — Я буду в восторге! — Она, правда, очень смела и даже неосторожна. Признаться, я не жалела, что Тимоти имел случай своими глазами увидеть, какая она бесстрашная, ибо я все больше уверяюсь в том, что это у него серьезное увлечение. Не помню, чтобы он когда-нибудь так себя вел, как в эти последние две недели. И хотя во многих отношениях она очень мила, мне все-таки не верится, что она будет ему хорошей женой. Я не закрываю глаза на то, что этот брак, если бы он состоялся, вызвал бы большие перемены в нашей жизни, но я все время твержу себе, что нельзя быть эгоисткой, и, право, будь это для блага Тимоти, я бы и «в грош не поставила» все остальное, — как сказал бы Николас, он всегда так забавно выражается. Девочки ее очень любят и не замечают тех мелких черточек, которые вижу я и которые меня беспокоят. Но будем надеяться на лучшее. Вчера я говорила об этом с моим дорогим Джолионом — ведь теперь, после смерти нашего дорогого отца, он глава семьи и у него такой трезвый ум. Он сказал: не бойся, ничего не будет, на это дело у него «кишка тонка». Какое оригинальное выражение!

20 мая.

Был у нас некий мистер Чесмен. Его привел Суизин. Джули считает, что он был очень элегантно одет; но я не нахожу особой прелести в этих клетчатых материях — в черную и белую клетку, которые все сейчас носят, это, по-видимому, последний крик мужской моды. Эстер и Хэтти пришли, когда мы еще сидели за чаем. Мистер Чесмен был очень внимателен к Хэтти. Я боюсь быть к ней несправедливой, но не могу не отметить, что она все время делала ему глазки с непозволительной развязностью. Хорошо, что Тимоти этого не видел. А может быть, если уж говорить по совести, было бы неплохо, если бы он это увидел. Суизин говорит, что мистер Чесмен как-то связан с биржей и акциями и считается очень способным дельцом. Мне кажется, он гораздо больше

подходит для Хэтти, чем Тимоти, так что, возможно, его приход — это перст Провидения. Суизин пригласил ее и Эстер пойти в субботу с ним и мистером Чесменом на заседание Королевского общества любителей стрельбы из лука. Он высмеял Джемса и его страхи касательно новых лошадей, сказал, что Джемс просто старая баба. Джемсу я это передавать не буду, это его только расстроит. Вечером после обеда я читала вслух Каупера девочкам и Тимоти. Выбрала его знаменитую поэму — «Высокий труд», которая начинается этой смелой строкой: «Тебя, диван мой, воспою». Но я читала недолго: Тимоти был такой сонный: он слишком много работает — весь день сидит в своей душной конторе. Во время чтения Хэтти вела себя не скажу, чтобы очень деликатно. Она все время корчила гримасы за моей спиной — я это отлично видела в зеркале, но, конечно, ничего не сказала, потому что она наша гостья. Что касается меня, я нахожу стихи Каупера очень звучными и поучительными, но, сказать по правде, предпочитаю «Джона Гилпина» его другим, более серьезным поэмам...

23 мая.

Сегодня у нас было целое происшествие, и мне самой не ясно, как действовать дальше. Утром, после того как Тимоти уехал в контору, я пошла к нему в кабинет смахнуть пыль с книг, которые они с Джемсом приобрели, когда мы устраивались в этом доме. Каждый купил готовую небольшую библиотечку, заключающую в себе такие вещи, как «Космос» Гумбольдта, «Гудибрас»¹ и другие выдающиеся произведения прошлых лет. Я вошла в кабинет и кого же я там застала, как не Хэтти, — она сидела в собственном кресле Тимоти и читала книгу, в которой я по маленькому формату и переплету из телячьей кожи тотчас узнала томик сочинений лорда Байрона. Она так увлеклась этим занятием, что заметила меня, только когда я подошла вплотную. А я была прямо потрясена, увидев, что она держит в руках не что иное, как этого ужасного «Дон Жуана», о котором я столько слышала. Она даже не попыталась его спрятать и сказала

¹ Сатирическая поэма Сэмюэла Батлера (1612—1680), направленная против пуритан.

самым ветреным тоном: — Кто бы подумал, что у Тимоти есть эта книга! — Боюсь, в эту минуту я забыла о долге гостеприимства и говорила с ней очень резко.

— Дорогая Хэтти, — сказала я, — вряд ли это очень деликатно и благовоспитанно — зайти в комнату к мужчине, усесться в его кресло и читать подобную книгу. Удивляюсь вам.

Она уже совсем грубо меня перебила:

— Почему? Вы-то ее читали?

— Конечно, нет, — ответила я.

— Так откуда же вы знаете, — с вызовом сказала она, — что в ней написано?

— Всем известно, — ответила я, — что эта книга не для порядочных женщин.

Она густо покраснела и вскинула голову. Но я продолжала смотреть на нее в упор. Тогда она встала с кресла и поставила книгу туда, откуда ее взяла. Мне хотелось еще многое добавить, но я вовремя вспомнила, что у нее нет матери и что она наша гостья, поэтому я только сказала: — Видите ли, дорогая Хэтти, Тимоти не любит, когда трогают его книги. — Она засмеялась и сказала небрежно: — Да, не похоже, чтобы их тут читали. — У меня чесались руки взять ее и потряхнуть хорошенько, но я сдержалась. В конце концов она молоденькая девушка и еще такая живая, и, конечно, в нашем домике для нее чересчур тихо... Она выбежала из комнаты, и с тех пор я ее еще не видала. И вот не знаю — рассказать об этом Тимоти или нет. Для меня ясно, что он очень *èrpris*¹. Он не сводит с нее глаз, когда думает, что его не видят, а в последние дни все грызет ногти и не отвечает на вопросы, — по-моему, он даже не слышит, когда мы к нему обращаемся. Я бы немедленно ему рассказала, если бы знала, как он это примет, но мужчины такие странные, пожалуй, это еще больше воспламенит его чувства, а не умерит их. Но я все отчетливее понимаю, что Хэтти для него далеко не идеальная подруга жизни. Ему нужна более женственная девушка и, во всяком случае, такая, которая не станет смеяться над ним. Но что делать, не знаю; остается только ждать. Поживем — увидим, как говаривал наш дорогой отец...

¹ Влюблен (франц.).

25 мая.

Сегодня вечером Суизин прислал свою карету за Эстер и Хэтти, и они обедали с ним, а также с мистером Чесменом и мистером и миссис Трэкуэр. Тимоти весь вечер был в унынии, сидел мрачный, как ночь, а когда девочки наконец вернулись, очень веселые и оживленные, он так разволновался, что по ошибке подал Хэтти свой собственный стакан глинтвейна. Уходя спать, Хэтти забыла свою шаль на спинке стула, на котором сидела, и когда Тимоти взял эту шаль, чтобы вернуть ее Хэтти, я заметила, что он поднес ее к носу. Боюсь, это увлечение затрагивает отнюдь не самую возвышенную сторону его натуры. Тем более неудобно мне с ним об этом говорить. У меня есть предчувствие, что мистер Чесмен послан нам Провидением. Я подробно расспросила Эстер о нем, и по ее рассказам выходит, что он и Хэтти сразу нашли общий язык. Если судить по тому, что говорил о нем Суизин, он не так богат, как Тимоти, который всегда был бережлив, а теперь еще имеет такой хороший доход от своих учебников, и уж, разумеется, он не так надежен, как Тимоти, но надо отдать Хэтти справедливость, она не корыстолюбива. Я очень беспокоюсь и могу только молиться, чтобы все обернулось к лучшему...

28 мая.

Сегодня утром Тимоти прислал мне записку, в которой пишет, что уезжает в Брайтон подышать морским воздухом и вернется недели через две. *Вы не можете себе представить, какое это было для меня облегчение*, ибо после событий вчерашней ночи я опасалась, что мне придется выполнить свой долг. Очевидно, он знает, что я должна была ему сообщить, и теперь, слава богу, все это кончено. Он послал за кэбом и уехал ранним поездом, не попрощавшись и даже не повидавшись ни с кем из нас. Постараюсь как можно яснее изложить здесь все происшедшее.

Вчера вечером мистер и миссис Трэкуэр пригласили Хэтти пообедать у них, а потом вместе с ними поехать в театр в их ложу. Мы четверо с большой приятностью пообедали дома, в первый раз после приезда Хэтти в тесном семейном кругу, без посторонних. Обед был чудесный — кухарка для этого случая испекла пирожков с

изюмом, а сухарики получились такие вкусные, каких я уже давно не едала. Тимоти достал бутылку старого хереса из своего особого запаса и сам налил нам рюмки, потом поднял свою, прищурился и сказал: «За семейный очаг и красоту!» Вид у него при этом был задорный, даже шаловливый. Но потом он стал очень рассеян и ушел к себе в кабинет. Признаюсь, я обеспокоилась, потому что никогда у него не было такой привычки — предлагать тосты, да еще так лукаво щуриться, и зная то, что я знаю, я невольно со страхом подумала, что он, очевидно, готовится сделать предложение. Мы с Джули немного поиграли в безик, но я все больше и больше нервничала, и, когда подали глинтвейн, я взяла стакан Тимоти и сама отнесла ему в кабинет. Он сидел за письменным столом, кусая перо и глядя в потолок, и видно было, что он перед этим рвал бумагу. Кругом валялись обрывки, и когда я подняла их с полу и бросила в корзину, я успела заметить на одном имя «Хэтти». Он был очень недоволен тем, что его прервали. «Чего тебе нужно, Энн? — сказал он. — Я занят». И опять погрузился в задумчивость. Я не знала, как тут лучше поступить, поэтому пошла в гостиную и стала ждать, пока он тоже поднимется вверх. Девочки ушли спать, а я под села с вязаньем к окну, вечер был такой теплый. Не скрою, что я молилась, сидя там у окна. Тимоти всегда был моим любимцем — с тех самых пор, как умерла наша дорогая мама после рождения малютки Сьюзен, и мне страшно было подумать, что, может быть, в эту минуту он предпринимает шаг, который приведет к его несчастью. Что могло быть в этом письме к Хэтти, которое он писал, разрывал и снова принимался писать, как не предложение руки и сердца? Лоб у него был красный от прилива крови, глаза блестели, как в лихорадке. Должно быть, я очень долго там сидела. На улице стало совсем тихо, огни Выставки в Парке были так красивы, в небе загорелись звезды — когда я их вижу, я всегда думаю, какие они чудесные — такие яркие и такие далекие... С вязаньем у меня не ладилось из-за мыслей о моем дорогом Тимоти. А он все не шел, хотя было уже очень поздно. Я понимала: он не ложится, чтобы впустить Хэтти, когда она приедет — и тут-то, наверно, он и отдаст ей письмо. Я была в отчаянии, потом решила:

я сама сойду вниз и открою ей дверь, и, может быть, Тимоти позволит мне поговорить с ним прежде, чем он «сунет голову в петлю», как сказал бы Джемс. Нервы у меня были натянуты как струны, так что под конец я взяла стихи мистера Каупера и стала читать, чтобы хоть немного успокоиться. По улице опять стали проезжать экипажи — свои и наемные, — люди возвращались из театров и с Выставки, значит, теперь ждать не долго. Я только начала читать эти остроумные стишки «О дороговизне рыбы», как вдруг перед нашим подъездом остановился извозчий кэб. Я глазам своим не поверила, ведь мы точно уговорились с Трэкуэрами, что они сами привезут Хэтти домой в своей коляске. Из кэба сперва вышел мужчина в накидке и шапоклжке, потом — я это ясно видела — он помог Хэтти сойти. Поставив ее на землю, он поднес ее руку к губам, а она — это я тоже видела — очень кокетливо ему улыбнулась. Затем он сел в кэб и уехал. Это был мистер Чесмен. Вначале я прямо остолбенела — ведь подумать только, всю дорогу из театра она была с ним одна в этом кэбе! Какое-то мгновение я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Потом меня пронзила мысль — Тимоти! Ведь он, возможно, тоже это видел... Я бегом сбегала по лестнице в холл. Дверь в кабинет была закрыта, на парадном звонил звонок, но Тимоти не вышел, и я поняла, что он *видел*. И тут, боюсь, я совершила очень неблагоприятный поступок — я остановилась у его двери и стала подслушивать. Исходя из моих собственных чувств, я могла понять, какой это был для него удар — узнать, что молодая девица, которую он хотел сделать своей супругой, ехала ночью наедине с малознакомым мужчиной в одном из этих новомодных закрытых кэбов. За дверью мне слышался слабый звук — как будто тяжелое дыхание — это была страшная минута! — и, опасаясь, что он сгоряча может позволить себе какую-нибудь резкость, я поспешила на парадное и отперла дверь. И пожалуйста, на крыльце с невозмутимым видом, как будто ничего не случилось, стояла Хэтти. Благодарение богу, я тогда сумела промолчать, но, должно быть, по моему лицу она поняла, что я все знаю. — Вот мы и дома, — сказала она развязно. — Как было весело, папочка! Спокойной ночи, мисс Форсайт! — и убежала наверх. У меня сердце обливалось

кровью за Тимоти. Я опять постояла под дверью и услышала, что он ходит взад и вперед, совсем как какой-нибудь зверь в Зоологическом саду. Так длилось довольно долго, потому что, хоть он никогда этого не показывает, но переживает все очень глубоко. Не могу выразить, какое я почувствовала облегчение, когда вдруг услышала, что он стал насвистывать «Вдруг ласочка как прыгнет — гоп!». Я поняла, что самое худшее миновало, и хотя он все еще ходил взад и вперед, я тихонько, как мышка, ускользнула наверх. Мне кажется, я правильно рассудила, что благоразумнее всего сейчас его не трогать. Он не выносит, когда его видят хоть сколько-нибудь взволнованным, он тогда прямо выходит из себя. Добравшись до своей спальни, я упала на колени и возблагодарила господ, хотя, если представить себе Хэтти в этом кэбе, невольно хочется сказать, что пути Провидения поистине неисповедимы. Утешаюсь мыслью, что сейчас Тимоти, вероятно, уже гуляет по молу в Брайтоне, где такой чудный морской воздух и столько развлечений...

1 июня.

Хэтти сегодня уехала. Мне не хотелось бы назвать ее «фривольной», я уверена, что, в сущности, у нее доброе сердце, но я все же вынуждена признать, что ее влияние на Джули и Эстер было самое неблагоприятное. Конечно, она гораздо моложе их, а нынешняя молодежь, по-видимому, совсем не умеет держать себя с достоинством и слишком часто забывает и о чувстве долга и даже о приличиях. Не могу простить ей фразы, которую она так небрежно бросила мне в последнюю минуту: «Скажите Тимоти, что мне очень жаль, если я потрясла его слабые нервы». И тут же умчалась, я даже не успела ответить...

6 июня.

Тимоти все еще в Брайтоне. Эстер вчера получила от него письмо, он пишет, что взбирался на «Чашу Дьявола» и эта прогулка была очень полезна для его печени. Он также смотрел танцующих блох и аквариум. Еще он пишет, что недавно в Брайтон приезжал Суизин на своих новых серых, но он — Тимоти — не нашел в них ничего особенного; впрочем, он, конечно, не так хорошо

разбирается в лошадях, как Суизин. О Хэтти он в этом письме не упомянул, и я надеюсь, что его рана начинает заживать. Сегодня, когда девочки были на прогулке, зашел Джолион и сообщил мне, что купил картину «Голландские рыбацьи лодки на закате», — он так тонко понимает живопись. Он был такой ласковый, что я излила ему душу и все рассказала о Тимоти и Хэтти. Он выслушал и сказал с искоркой в глазах: «М-да! На волосок был от гибели!» По-моему, это очень правильно сказано...

11 июня.

Все говорят, что Выставка блестяще удалась, невзирая на то, что привлекла столько иностранцев. Принц Альберт стал очень популярен. Эстер сегодня получила письмо от Хэтти. Представьте себе, мистер Чесмен сделал ей предложение! Это снимает большую тяжесть с моего сердца, ибо, даже помимо тревог за моего дорогого Тимоти, совесть моя была неспокойна — ведь именно гостя в нашем доме, Хэтти вела себя столь неподобающим образом! Но теперь, слава богу, все это заглажено и как раз вовремя, так как завтра возвращается Тимоти — только бы это известие не растравило вновь его раны...»

Сомс отложил книжечку и опять взял пожелтевший конверт. Подержал его в руке, ощущая под пальцами его глянцевитую, как бы слегка замасленную поверхность. Так вот в чем дело! Он рассмеялся дробным смешком. Ах, старые чудаки! Но вдруг словно горячий ток прошел у него по жилам, — нет, он не предаст родную кровь! Никто, кроме него, не будет смеяться над ними — нет, никогда! И собрав письмо и все три книжечки, он стал по одной бросать их в огонь.

РОМАН ТЕТИ ДЖУЛИ, 1855.

Два события прились на 1855 год — Крымская война и женитьба Септимуса Смолла на мисс Джулии Форсайт, и связующим звеном между этими событиями оказался пикник на лодках, устроенный в честь «героя», майора Смолла, младшего брата Септимуса, который был на войне ранен в ногу. Сам Септимус был связан с семьей Форсайтов через посредство архитектуры, так как он был одним из компаньонов в фирме «Дьюбридж, Смолл и Кейтон», специализовавшейся на сооружении жилых домов в готическом стиле, каковой стиль в ту эпоху свирепствовал на Британских островах. Роджер Форсайт в силу своей профессии — он занимался покупкой и продажей недвижимости — имел постоянные деловые сношения с этой фирмой; в частности, ей он заказал проект ряда домов на участке, который приобрел в Кенсингтоне, то есть, по тогдашним понятиям, почти на краю света; и Роджер частенько посещал Септимуса Смолла в его загородной вилле на берегу реки в Твикенгеме и за сигарой и крюшомом обсуждал с ним свои планы. После своей женитьбы в 1853 году он стал брать с собой миссис Роджер, и для нее устраивались прогулки на лодке, причем Роджер и Септимус, оба в длинных бакенбардах, белых брюках и плоских соломенных шляпах, не совсем умело гребли, слишком глубоко, по-морскому, погружая весла, а хорошенькая миссис Роджер сидела на руле, закрывая корму и еще многое другое своим кри-

нолином. В студеную зиму 1854 года Септимус, будучи слабого здоровья, где-то подцепил бронхит. После выздоровления он предстал взорам окружающих с длинной, окладистой бородой и хроническим покашливанием, чему и обязан был прозвищем «Лакричный леденец», полученным впоследствии от юных Роджеров, которые все появились на свет между 1853 и 1862 годами,— Джордж, изобретатель этого прозвища, родился в 1856 году. Однако не подлежит сомнению, что именно этот кашель и эта длинная борода покорили сердце Джулии, которая тогда еще только становилась «тетей Джули», ибо к тому времени успели народиться только молодой Джолион, молодой Роджер, молодой Николас, Эрнст и Сент-Джон Хэймен и большинство из них еще не покинули колыбели. Когда, много лет спустя, она узнала, что ее дорогой Септимус был известен в семье под кличкой «Лакричный леденец», ее чуть не хватил удар.

В 1855 году, сорока лет от роду, она была далеко не лишена привлекательности — розовенькая, с кокетливо надутыми губками. Но она решительно отвергла бы подозрение, которое Роджер часто высказывал своей жене,— что «Джули ловит Септимуса в свои сети». Вздор какой! Ее сети,— скажите, пожалуйста! — когда она думала только о его благе, и малейший его кашель заставлял ее трепетать от какой-то умиленной жалости. Ему так нужно было, чтобы кто-нибудь заботился о нем, потеплее укутывал ему горло по вечерам, подстригал его бороду— эту чудесную бороду, такую мужественную и такую полезную, потому что она прикрывала ему грудь. Одна мысль, что такой интересный мужчина, почти красавец, вместе с тем «закоренелый холостяк», по выражению Роджера, причиняла ей боль. А тут еще сестра Сьюзен, моложе ее семью годами и уже три года бывшая замужем за Джоном Хэйменом, постоянно рассказывала, как муж ею восхищается, когда она в таком-то платье или в таком-то, а раз она даже намекнула, что больше всего он ею восхищается, когда она вовсе без ничего,— и как только у Сьюзен язык поворачивается говорить такое — ведь это даже не совсем прилично!

Поэтому, когда в июле 1855 года Джули вместе с Роджером и его женой получила приглашение на этот пикник, она очень разволновалась и долго обдумывала,

что ей надеть. Под конец она вышла вся в розовом, в шляпке с зелеными лентами и в новеньком кринолине. Роджер (он тогда жил в Бэйсуотере, обживая новый дом, который рассчитывал вскорости с выгодой продать; только в 1862 году он окончательно обосновался на Принс-Гейт) заехал за ней в своей новомодной коляске, она называлась «виктория». (У Роджера всегда были такие оригинальные вкусы, многие даже считали его эксцентричным.) Всю дорогу до Твикенгема ему пришлось сидеть спиной к лошадям на узкой скамеечке, которая выдвигалась из-под высоких козел и подпиралась железной подпоркой, и был поэтому такой сердитый, что все трое почувствовали облегчение, когда наконец прибыли на место и дорогой мистер Смолл встретил их у ворот — он имел такой мужественный вид в шляпе с шарфом, спущенным сзади от солнца, и в белых брюках. А в руке мистер Смолл держал букетик гвоздики; он галантно подал его ей и сказал: «Это для вас, мисс Джулия!» Засунутый за фишу, этот букетик удивительно шел к ее платью и был такой душистый, и вообще все было бы очаровательно, если бы только Роджер тут же не подмигнул очень быстро два или три раза левым глазом. Как будто... Затем все пошли в дом — познакомиться с майором Смоллом и слегка закусить перед прогулкой.

«Пасторова вилла» (тетя Джули впоследствии переименовала ее в «Солнечный луг») не была построена фирмой «Дьюбридж, Смолл и Кейтон»; наоборот, она была в георгианском стиле, в два этажа, с тремя длинными окнами в гостиной, выходившими на лужайку, за которой внизу протекала река, и как раз напротив был небольшой островок. В гостиной уже сидели четверо (всего, стало быть, получалось восемь): майор Смолл — видный бородатый мужчина в костюме из индийского шелка, с хромой ногой; Хэтти Чесмен — неизменная участница всех увеселений и душа общества; и — кто бы вы думали? — Огестес Перри, почти знаменитость, издатель этих прелестных песенок, для которых он сам сочинял музыку и стихи, а иногда и сам исполнял их на вечеринках. Это он сочинил рондо, которое стало таким популярным:

Скорей, скорей нам переправу!
Поедем за реку в дубраву
И будем петь и пить на славу,

а к последней строчке он делал разные смешные добавления, например: «И пьяны будем мы по праву» или «Затем, что херес нам по нраву».

Сидя на обитом пестрым ситцем стуле, со стаканом шеррикоблера¹ в руке и вазоном с лавандой возле самого носа, Джулия все поглядывала на миссис Огестес Перри и думала, что вряд ли это очень приятно — быть женой такого знаменитого человека, как Гес Перри, который всюду пользуется таким успехом, — он ведь еще и на гитаре играл. Еще она думала: как бы сделать, чтобы не попасть в одну лодку с Роджером — он такой насмешник, — особенно если в той же лодке будет их милый хозяин. Втайне она надеялась, что милый хозяин обратил внимание на то, как оживленно она разговаривает с майором Смоллом (ей, конечно, лестно было с ним разговаривать, потому что ведь в конце концов это у него хромая нога и это он тут герой), однако она ухитрилась одновременно следить и за милым хозяином и не без удовлетворения отметила, что вид у него стал несколько встревоженный. Потом все пошли через лужайку к лодкам; лодки были такие нарядные, блестящие от лака, с полосатыми подушками на сиденьях. Была неприятная минута, когда она не знала, в какую лодку садиться, а Гес Перри все время отпускал шуточки. Но тут ее мягко, но твердо взяли за руку повыше локтя — это был мистер Септимус, и не успела она оглянуться, как уже сошла в лодку и быстренько уселась на корме рядом со своей невесткой.

— Милочка, — сказала она, — надеюсь, мне не придется править... Это такая ответственность!

— Ничего, душенька Джули, — сказала невестка, — я сама буду править.

Так они сидели — кринолин с кринолином, и вдруг — о радость! — как бы вы думали, кто еще сел к ним в лодку? — сам дорогой мистер Септимус и Огестес Перри! Она невольно улыбнулась, когда этот шутник Гес сказал:

— Я сниму сюртук, Сеп.

А мистер Септимус, всегда сама учтивость, обратился к Джули и ее невестке:

— Если дамы позволяют? — И уж, конечно, они позволили!

¹ Вид коктейля.

Тогда мужчины оба сняли сюртуки и вставили весла в уключины. И лодка понеслась. Это было упоительно! Джули была очень довольна, что Роджера нет с ними, и кажется, не только она, но и милочка Мэри, которая сидела рядом, хорошенькая, как картинка, тоже была довольна (хотя Роджер и был ее мужем). Как они прекрасно гребли, почти что в лад, и Огестес Перри все время высовывал голову из-за спины мистера Септимуса — лицо у него было такое круглое, без усов и бороды — и делал разные смешные замечания. А потом он нарочно «поймал леща»! Как все смеялись — у него был такой забавный вид! Сперва поднялись вверх по реке, а потом спустились — вода была зеленая-зеленая, а лебеди белые-белые — и высадились на островке против «Пасторовой виллы», и, представьте, там уже их ждали корзинки с провизией для пикника! Так красиво все было устроено и так романтично — в тени под ивами и коврики тут были, на чем сидеть, и даже гитара Огестеса Перри — совсем как на какой-нибудь картине Ватто.

Завтрак был самый изысканный — салат из омаров, пирог с голубятиной, ромовая баба, малина и шампанское — и сервирован по всем правилам — с тарелками, ложками, вилками и салфетками, — и премиленькая водяная крыса все время смотрела на них. Джули никогда еще так не наслаждалась и, право, была очень рада, когда майор Смолл начал отчаянно флиртовать с Хэтти Чесмен и уж больше не тревожил ничьего сердца. Милый хозяин все время за ней ухаживал, а Роджер и Огестес Перри всех смешили — одним словом, все, все было бесподобно! Когда кончили завтракать и мужчины закурили сигары, все хором спели несколько прелестных песенок: «Скорей, скорей нам переправу», «Три слепых мышонка», «Белый песок, серый песок». У мистера Септимуса оказался такой мужественный голос — низкий и гулкий — почти как орган. Потом стали играть в прятки. Один прятался — ему давали на это пять минут, — так деликатно! — а все остальные его искали — очень занятная игра. Сама она спряталась в ивовых кустах, и знаете, кто ее нашел? Мистер Септимус! Он так удивился! Когда, наконец, все по очереди перепрыгались, уже пора было пить чай, и столько хлопот было с чайником, он ни за что не хотел кипеть. Роджер, конечно, — это так на не-

го похоже — предложил оставить чайник в покое и напиться чаю дома, но ведь тогда пропала бы вся поэзия! А когда чайник наконец вскипел, чай, конечно, был бы очень вкусный, только вода пахла дымом. Но никто этим не огорчился, потому что это же был пикник. А потом как-то так вышло, что остальные все шестеро сели в одну из лодок и поехали еще покататься. Такая счастливая случайность! И они вдвоем с милым хозяином помогали слугам укладывать все в другую лодку и отвозить домой. И она заметила, что, пока все это происходило, он три раза кашлянул.

— Дорогой мистер Септимус, — сказала она, — вам вредно вечером быть у реки на сырости. Уже больше шести часов.

И он так послушно ответил:

— Хорошо, мисс Джулия, в таком случае пойдемте посидим на лужайке и подождем, пока вернутся остальные.

И они пошли и сели под кедром, где было так прохладно и уединенно, потому что ветки свисали почти до земли. У нее даже сердце слегка затрепетало: ведь это в первый раз она была с ним наедине! Но он вел себя так деликатно — заговорил о Саути. Любит ли она его стихи? Сам он всем поэтам предпочитает Мильтона.

— Должна признаться, мистер Септимус, — сказала она, — я не читала «Возвращенный рай». Но, конечно, Мильтон — замечательный поэт, стихи у него такие звучные!

— А какого вы мнения о Вордсворте, мисс Джулия?

— Ах! Я обожаю мистера Вордсворта. Когда его читаешь, все время чувствуешь, какая у него возвышенная натура.

Говоря это, она подумала: а вдруг он спросит, читала ли она Байрона? И решила, что не станет жеманничать и прямо ответит: «Да, читала!» Она не хотела ничего от него скрывать: ведь она же действительно с увлечением прочла «Гяура» и «Чайльд Гарольда». Лорд Байрон, правда, не был очень возвышенной натурой, но она знала: дорогой мистер Септимус никогда не заподозрит ее в том, что она читала что-нибудь не совсем нравственное. У Тимоти в кабинете был «Дон Жуан» — в нескольких томиках. Эстер их читала и пришла в ужас.

Но мистер Септимус не спросил, и она даже почувствовала разочарование — ей казалось, это бы их сблизило. В общем, она поняла, что он стесняется затрагивать такую скользкую тему, потому что вместо того он вдруг спросил, нравятся ли ей романы Чарльза Диккенса.

— Видите ли,— сказала она,— он, конечно, блестящий писатель, но зачем он постоянно изображает таких удивительно странных, таких вульгарных людей? А в «Записках Пиквикского клуба» столько говорится о выпивке! Хотя, я знаю, многие очень любят эту книгу. А вам она нравится, мистер Септимус?

— Нет, мисс Джулия. По-моему, это — крайне сумбурное произведение.

Время летело, как на крыльях, пока они сидели под кедром, и все было бы божественно, если бы только комары не кусали ее так жестоко сквозь чулки, а ей ведь нельзя было ни почесаться, ни даже сказать: «Ой!» И очень хотелось знать, кусают ли они и его тоже. Чем дольше они там сидели, тем яснее она видела, что он совсем не бережет свое здоровье — вот даже шарфа не надел, а воздух уже вечерний! Возле него непременно должен быть человек, который бы о нем заботился. Так они сидели, и комары их кусали, и наконец вернулись остальные — еще издали было слышно, как Огестес Перри поет под гитару. Какой занятный молодой человек, не правда ли? Такой говорун! И как это всегда романтично — музыка на воде!

А потом как-то вдруг все кончилось, и она уже ехала в виктории, вдвоем с милочкой Мэри,— Роджер отказался опять сидеть спиной к лошадям на «этой жердочке» и поехал с Хэтти Чесмен в ее каретке. И очень хорошо сделал! Это были такие... такие святые часы — там, под кедром,— и ей не хотелось, чтобы ее этим дразнили...

В тот вечер, на Бэйсуотер-Род, она долго сидела у окна и думала о бороде мистера Септимуса и о том, неужели она когда-нибудь наберется смелости назвать его «Сепом» и неужели настанет день, когда он попросит у нее разрешения пойти поговорить с ее старшим братом, Джолионом: ведь теперь, после смерти отца, он глава семьи...

А потом они переписывались—это было восхитительно! В свои письма он иногда вкладывал веточку лаван-

ды — его любимый запах! — и какие прекрасные письма он писал — понятно, ведь он же был архитектор, и, кроме того, человек таких возвышенных взглядов, такой утонченный. Порой ее даже брало сомнение, не слишком ли утонченный, потому что она не раз читала брачное богослужение и... ну... задумывалась над некоторыми местами и над тем, что́ они, собственно, значат, — кто этого не делал! А она в своих письмах старалась быть не просто болтушкой, а вроде Марии Эджворт¹. И все это время она вязала ему теплый шарф. Приходилось делать это тайком, у себя в спальне, потому что если бы Тимоти увидел, он бы сейчас же спросил: «Это для меня?» И, пожалуй, еще добавил: «На что мне такой огромный?» А если бы она сказала: «Нет, это не для тебя», — он бы совсем расстроился и стал допрашивать, для кого, а что бы она тогда ответила?

В августе они всей семьей (Энн, Эстер, она сама и Тимоти) отправились в Брайтон подышать морским воздухом, и она мельком упомянула об этом в одном из своих писем к Септимусу (в мыслях она всегда называла его Септимусом). Каково же было ее удивление, когда на третий день она увидела его на молу — он сидел там на скамейке! Тимоти сразу остановился.

— Как! Это Сеп Смолл? Ну, я уйду! — Откуда и видно, что он ничего не понимал, иначе не оставил бы ее с ним одну. Но какой божественный час они провели, стоя рядышком у перил и глядя на море! Он столько знал о разных морских вещах — оказалось, что он засушивает водоросли для гербария и что он терпеть не может подражаний негритянским песням. Еще он сказал, что морской воздух полезен для его кашля, и она поняла, что он заметил ее шляпу, потому что вдруг так мечтательно проговорил: — Как мне нравятся, мисс Джулия, эти шляпы пирожком, которые сейчас стали носить, и эти вуалетки так практичны! — А ее собственная вуалетка тут же развеялась по ветру и чуть ли не задевала его щеку. Все было так мило, так по-дружески, и ей очень хотелось пригласить его позавтракать с ними в отеле, чтобы ей можно было достать шарф и сказать: «У меня есть маленький сюрприз для вас, дорогой мистер Септимус», —

¹ Английская писательница (1767—1849).

и надеть ему шарф на шею, но она боялась, что может выйти какая-нибудь неловкость. Ужасно будет, если Тимоти что-нибудь покажет своим видом, а он иногда показывал очень многое, особенно если завтрак или обед запаздывал. Потому что ведь ни он, ни дорогая Энн, ни даже Эстер ничего не знают о ее чувствах к дорогому «Сепу», так что, пожалуй, лучше его не приглашать. И тут — прямо чудо! — он вдруг сам предложил проводить ее до отеля, и что же могла она ответить, как только, что будет очень рада! И они шли рядышком — он, такой высокий и такой аристократичный со своей пышной бородой и шарфом, спускавшимся на плечи, и белым зонтиком на зеленой подкладке. И возможно — по крайней мере, она надеялась, — что люди, глядя на них, думают: «Какая интересная парочка!» Много таких сладких мыслей проносилось у нее в голове, пока они шли по эспланаде и смотрели, как простонародье ест береговичков¹, и вдыхали смоляной запах лодок. Что-то нежное поднялось в ней из самых глубин, и она невольно остановилась и показала ему на море — оно было такое синее, с маленькими белыми барашками.

— Я так люблю природу! — сказала она.

— Ах, мисс Джулия, — ответил он (она навсегда запомнила его слова), — поистине, красоту природы может превзойти лишь... Ай, мне муха влетела в глаз!

— Дорогой мистер Септимус, позвольте я выну ее уголком моего носового платочка!

И он позволил. Это удалось не сразу, но он был такой терпеливый — так старательно держал глаз открытым; и когда она наконец вынула эту мошку, очень маленькую и очень черную, они вместе ее разглядывали; и это так сблизило их, как будто они заглянули друг другу в душу. Упоительная минута! А затем — сердце у нее бешено колотилось — он взял ее за руку. У нее подкашивались колени; она подняла к нему глаза и увидела над собой его лицо — такое худое, и благородное, и взволнованное, с мокрой полоской там, где глаз еще слезился; и какое-то почти благоговейное выражение проступило сквозь ее розовость и кокетливые гримаски и засияло в светлосерых глазах. Он медленно поднял ее руку до уровня

¹ Мелкие съедобные моллюски.

своей бороды, а потом, нагнувшись, приложил ее к губам. Подумайте! На эспланаде! Все в ней словно растаяло, на сердце стало так сладко — губы задрожали, — и две больших слезы выкатились из глаз.

— Мисс Джулия, — сказал он, — Джулия, могу я надеяться?..

— Дорогой Септимус, — ответила она, — да, вы можете.

И как в тумане она увидела его шарф, развеваемый мягким бризом, а под одним из концов шарфа — стоявшего поодаль простолюдина, который вдруг бросил есть береговичков и так воззрился на нее, словно увидел радугу.

NICOLAS-REX¹, 1864.

В конце семидесятых годов кто-то бросил фразу: «Николас Форсайт — ну как же, умнейший человек в Лондоне». И те, кто с ним встречался на поприще общественном или деловом, нередко соглашались с таким мнением. Оговорок к этому определению следует искать в более интимных сферах его жизни. Где бы Николас ни появлялся, он неизменно задавал тон, как петух в курятнике. Он и внешностью немного напоминал петуха — очень прямой и молодцеватый, волосы, зачесанные назад над высоким лбом, наподобие гребня, быстрые движения головы на длинной шее. И цвет лица у него был свежий, здоровый, а волосы — с рыжеватым отливом, до того как поседели. На собраниях, когда он, попросив слова, начинал свою речь какой-нибудь едкой остротой, слушатели настораживались, и обычно внимание их не ослабевало, пока он не садился на место. Он славился умением выставить противника в смешном виде, что, как известно, есть важнейшая статья в активе общественного деятеля. Ибо Николас был общественным деятелем в том узком смысле этого слова, в каком оно применимо к Форсайтам. Внешние знаки власти и высокого положения его не прельщали: он, например, никогда не выставлял свою кандидатуру в парламент. Ему вполне довольно было того, что он становился, если не

¹ Николас — властитель (лат.)

номинально, то фактически, главою всякого предприятия, в котором имел долю; а та общественная жилка, что, несомненно, в нем была, позволила ему почти незаметно встать у кормила двух корпораций (одна из них занималась конными трамваями, другая — каналами), хотя сам он владел в них лишь незначительным количеством акций. В суждении о том, как поместить капитал, он был до того непогрешим, что, когда одна из его собственных инвестиций оказалась неудачной, его пятеро братьев даже испытали нечто вроде облегчения. Он умел быть и резким и обходительным, но заранее угадать, как он намерен держаться, не было возможности; одно это уже давало ему известную власть над людьми. Можно с уверенностью сказать, что у него никогда не было друзей. Многие пытались подружиться с ним, но рано или поздно, чаще рано, он всех отстранял. Вероятно, он по самой своей натуре был не способен общаться с людьми, как с равными. Зато честность его была высшей марки, ибо он считал, что быть честным — это его долг перед самим собой; и люди подчинялись его руководству, твердо веря, что он не подведет. Если бы не знать, кто он такой, его, пожалуй, можно было принять за одного из тех очень важных докторов, которые оказывают помощь только у себя на дому, да и то лишь за изрядное количество гиней. При всем том здоровье у него было неважное, вернее, это было типично форсайтское здоровье, с которым он дожил до девяноста одного года и которое, может быть, правильнее назвать живучестью.

Нельзя сказать, чтобы он был скуп, но из всего клана он был самым расчетливым — отчасти, конечно, потому, что имел больше детей, отчасти же потому, что в силу свойственного ему своеобразного спартанства презирал моды и тряпки и был непоколебимо убежден, что работа человеку полезна. И тут уместно будет коснуться интимной стороны его жизни, которая, как можно предположить, началась с его женитьбы в 1848 году. Была ли для него женитьба данью инстинкту властолюбия — этот вопрос навсегда останется без ответа; но бесспорно то, что жениться ему было необходимо, и притом в молодых годах, принимая во внимание викторианскую мораль и его темперамент. Он, несомненно, женился на деньгах —

и притом задолго до издания закона о собственности замужних женщин, так что мог употребить эти деньги с наибольшей пользой, а миссис Николас вообще не могла ими пользоваться,— однако в этом нельзя усматривать доказательство холодного расчета. Нет, еще когда он был молодым щеголем в узких панталонах со штрипками, он страстно влюбился в очень хорошенькую девушку, дочь провинциального банкира, с которым его свели финансовые дела. Стесненная надзором своей матушки, а возможно, и своим кринолином, невеста держала Николаса на почтительном расстоянии вплоть до того дня, когда была по всем правилам сыграна их свадьба, отмеченная весьма остроумной речью новобрачного. Тем большее удивление испытала она потом.

Этим удивлением и следует объяснить зарождение крамолы, десятилетиями тлевшей за видимостью его самодержавия.

Мы не станем здесь задаваться вопросом о том, в какой мере нравы двадцатого века могли бы уберечь миссис Николас от тягостного ощущения, что она замужем. Бесспорно то, что такое ощущение у нее появилось. И по мере того, как она производила на свет маленьких Николасов, это ощущение росло. Родив шестерых за четырнадцать лет, она наотрез отказалась продолжать в том же духе. Такой отказ со стороны женщины, не достигшей еще и тридцати пяти лет, показался Николасу, который к тому времени уже нажил порядочное состояние, совершенно неразумным, тем более, что это была первая попытка ограничить его прерогативу. И именно этому посягательству на его свободу должно приписать развившуюся в нем нервную раздражительность. Но кто, увидев миссис Николас, мог бы предположить, что она повинна в настроениях своего господина и повелителя? Дело в том, что никто, кроме Николаса, не видел подлинную миссис Николас — «Фанни», как ее называли, потому что имя ее было Элизабет. На людях она держалась совсем не так, как дома. Где-то написано, что она вошла в гостиную вслед за Николасом, «улыбаясь не то испуганной, не то радостной улыбкой». Совершенно верно! Так оно и было. А почему? Потому что он всегда готов был поразить ее стрелами своего язвительного остроумия, которые она так и не научилась отражать. И она

улыбалась, улыбалась с испуганным видом и бывала рада вернуться домой, прежде чем эти стрелы успевали поразить ее. Но дома, когда они оставались вдвоем, испуганное выражение исчезало, и с помощью тысячи женских уловок, хотя, может быть, и бессознательно, она умела ему отомстить. Не при детях, нет — чаще всего с глазу на глаз в супружеской спальне, а главным образом с глазу на глаз в супружеской постели. Там она низводила Николаса из властелина в просители. Поступала она так не потому, что он был ей противен — этого не было никогда, — но скорее из принципа, потому что у нее, как-никак, была душа, а другого способа утвердить ее она не знала. Во всех сферах жизни, видимых постороннему глазу, он был полным самодержцем. За свои деньги — в том числе и те, что когда-то были ее деньгами, — он получал все, что ему было нужно. Так кто же осудит ее, если она напоминала ему, что он простой смертный и что она, в конце концов, тоже не бессмертна? Мы имеем здесь в миниатюре довольно точное подобие монархии и подданных, пытающихся ее ограничить.

Разумеется, на Форсайтской Бирже лишь смутно догадывались об этих непрерывных попытках ограничить Николаса, а потому подробных сведений о них мы не имеем; но, несмотря на старательную маскировку, которую инстинктивно применяли супруги, одна из фаз этой борьбы все же стала известна в родственном кругу, и ее, несомненно, стоит запечатлеть, поскольку она проливает свет на сдвиг в общественных институтах Англии и на несовершенство человеческих суждений. Все началось с письма от миссис Форсайт, помеченного «Июня 24-го, 1864 г. Отель Чайн, Борнмут». Письмо это гласило:

«Дорогой мой муж!

Мне уже давно хотелось предпринять один шаг, который, боюсь, немного тебя встревожит и по всей вероятности уже вызвал твое неодобрение. Вчера я приехала в это очаровательное местечко и поселилась в этой уютной гостинице, где я думаю прожить недели три, а может быть и больше. Морской воздух просто восхитителен, и в гостинице есть очень симпатичные люди. Будь добр, вышли мне немного моих денег. И вообще, я думаю, было бы очень хорошо, если бы впредь ты давал мне

определенную сумму в год из тех денег, что оставил мне мой незабвенный отец. Поцелуй от меня наших деток.

Любящая тебя жена
Фанни».

Когда Николас получил это письмо, он уже был немало раздосадован, чтобы не сказать встревожен, и прочел его с чувством растерянности, не подобающим умнейшему человеку в Лондоне. Чтобы жена могла уехать вот так, одна, никому не сказавшись,— это (в чем он никому бы не признался) просто «ошарашило» его. То, что она вдобавок просила выслать ей денег и назначить постоянное обеспечение, возмутило его до глубины души. Он лег в постель и провел отвратительную ночь. О чем она думает, эта женщина? Чем дольше он не спал, тем больше убеждался, что это нечто неслыханное. Наутро он написал ответ:

«Дорогая Фанни!

Письмо твое получил. Твой неожиданный отъезд очень удивил меня. Раз ты решила действовать самостоятельно, ты должна быть готова к последствиям. Денег я тебе, конечно, не вышлю, и самое лучшее, что ты можешь сделать,— это сейчас же вернуться домой. Что касается постоянного обеспечения, то зачем оно тебе, скажи на милость? Я даю тебе все, что тебе нужно, в пределах благоразумия. Вероятно, ты наслушалась глупой болтовни о собственности замужних женщин. Чем скорее ты выкинешь из головы все эти новомодные идеи, тем лучше будет для нас обоих и для детей.

Итак, прошу тебя, образумься и возвращайся домой.

Любящий тебя муж
Николас Форсайт».

Он поехал на заседание правления злой, но уверенный, что вопрос разрешен и завтра она будет дома. Этого не случилось, а через день он получил второе письмо:

«Дорогой мой муж!

Мне очень жаль, что ты не понимаешь, насколько благоразумно мое поведение и мои просьбы. Поэтому я пока остаюсь здесь. В нашей гостинице живет один очень

симпатичный юрист, он объяснил мне, что все деньги, какие мне, возможно, придется взять в долг, будут взыскиваться с тебя; по-моему, это вполне разумно. Я, конечно, не сказала ему, что речь идет обо мне. Надеюсь, что с желудком у тебя наладилось. Поцелуй от меня наших деток.

Любящая тебя жена
Фанни».

Николас отложил письмо со словами «Ох, и упрямые эти женщины!». И что на нее нашло? Взять в долг, скажите, пожалуйста! Нет, дудки! И все же он был выбит из колеи. Не безобразие ли — заставляют его отвлекаться от серьезных дел. Да если так пойдет дальше, придется самому за ней ехать! Дальше пошло все так же. Переждав еще день на случай, что она образумится, он ответил на ее письмо:

«Дорогая моя жена!

Будь добра понять, что я настаиваю на твоём возвращении — иначе я буду вынужден сам за тобой приехать. Твое поведение удивляет меня и огорчает, особенно сейчас, когда у меня много важных дел. Перестань дурить, будь умницей и возвращайся домой.

Любящий тебя муж
Николас Форсайт».

На это письмо он ответа не получил. Прошло три дня, в течение которых он окончательно потерял душевный, а отчасти и физический покой. У него даже появились мрачные мысли касательно симпатичного юриста. Фанни всего тридцать семь лет, и кто их знает, этих женщин. Наконец, не на шутку встревоженный, он дал знать, что не будет на собрании Корпорации Центрального канала, и покати́л в Борнмут. В гостинице ему сообщили, что миссис Форсайт два дня как съехала. Нет, адреса она не оставила. Грубое невнимание к его чувствам, сказавшееся в таком поведении, вконец расстроило Николаса. Видеть, как управляющий гостиницы еле сдерживает улыбку, признаться в том, что твоя собственная жена проявляет самостоятельность, это... это чудовищно! Он даже не спросил, уплатила ли она по сче-

ту, но, зная порядки гостиниц — он сам был совладельцем одного отеля, — решил, что уплатила, иначе счет подали бы ему. Откуда она берет деньги? Не иначе, как спускает свои драгоценности. Он возвратился в Лондон — ничего иного ему не оставалось. На следующий день он получил письмо, в котором она сообщала, что переехала в Веймут, но ей там не очень понравилось и она решила там не задерживаться. О том, куда она едет, не было ни слова. «Ах так, — подумал Николас, — в прятки со мной играть?» И, надувшись, он отправился в Сити.

Конечно, человек волен принимать по отношению к своей жене самые благие решения, как, например: «Впредь я от нее отказываюсь», или: «Она сильно ошибается, если воображает, что может взять меня измором». Но когда этот человек, подобно Николасу, подарил своей жене шестерых детей, из которых трое еще дома; когда он, подобно Николасу, прославился как полновластный отец семейства и образцовый хозяин, — каково ему сознавать, что он даже не может сказать, где находится его жена, что он вынужден сторониться Форсайтской Биржи, как чумы, и пробираться бочком по собственному дому, чувствуя, что и детям и прислуге все прекрасно известно! У него началось мучительное несварение желудка, обычное в тех случаях, когда все идет наперекор нашей воле, нашим инстинктам и нашему самоуважению. Ему часто думалось: «Если б она меня увидела, ей стало бы стыдно».

В конце второй недели он получил от нее письмо из Челтенхема, как будто более мягкое по тону, но содержавшее упоминание об очень симпатичном докторе, который дал ей ряд ценных советов, — знает он этих докторов! — и кончавшееся словами: «Надеюсь, дорогой мой муж, теперь ты согласишься выдавать мне в определенные сроки условленную сумму — конечно, из моих денег. Я думаю, что 500 фунтов в год — самое меньшее, о чем можно говорить, как по-твоему? Мне кажется, что, имея я эти деньги, я была бы не прочь вернуться домой. Пока же я продала мой кулон с изумрудами. Поцелуй от меня наших деток. Любящая тебя жена Фанни».

Продала кулон с изумрудами! Николас в свое время

заплатил за него девяносто фунтов, а она, вероятно, получила фунтов тридцать—сорок! Никогда еще женское безрассудство не было для него так очевидно. Пятьсот фунтов в год — для того, чтобы растратить их на тряпки! И все же после этого письма мысль его заработала более четко. Появилась какая-то определенность. Если он пообещает ей пятьсот фунтов в год, она возвратится домой. А все эти агитаторы! Внушают женщинам разные идеи — вредный народ! Но через неделю-другую приедут из школы мальчики, и покажется чрезвычайно странным, если мать не встретит их и не повезет на взморье.

Не далее как вчера какой-то шарманщик сказал ему, крутя свою несносную шарманку: «Ну нет, хозяин, я-то знаю, как ценятся тишина и покой, меньше чем за полкроны я отсюда не уйду». Нахальство этого негодяя обезоружило Николаса, и он дал-таки ему полкроны. Фанни поступает точно так же. А кто ей помешает через некоторое время снова сбежать, чтобы выманить у него вторую половину той тысячи годовых, которую за ней дали? Впрочем, нет, так далеко ее безрассудство едва ли зайдет; но он все еще старался побороть в себе жажду тишины и покоя, за которые была назначена столь высокая цена. С самого начала он смутно чувствовал, что Фанни, собственно, нужны не деньги. Она словно бы и не знала в них толку, не интересовалась ими, он сам не раз находил случай упрекнуть ее в таком безразличном к ним отношении. То, что она забрала себе в голову, он упорно не хотел назвать словом, которое просилось ему на язык, — самостоятельность! Это Фанни-то — самостоятельная женщина? Да она завтра же очутилась бы в работном доме! Как видите, Николас не отличался от большинства людей: он не понимал, как другим может быть нужно то, без чего сам он был бы несчастнейшим человеком. В хорошеньком положении он окажется, если даст ей самостоятельность — терпеть ее прихоти и затеи, и всякие женские капризы! И вдруг — словно прояснилось кругом — он нашел выход: пообещать ей обеспечение, а потом, если вздумается, перестать его выплачивать! Все сразу стало ясно, он подивился, как не додумался до этого раньше; и с вечерней почтой он написал ей, что еще раз все обдумал и согласен каждые три

месяца давать ей сто двадцать пять фунтов и что послезавтра он высылает за ней коляску к пятичасовому поезду.

Велико же было его изумление, когда вместо Фанни прибыло еще одно письмо, в котором говорилось, что она, конечно, имела в виду, что эти пятьсот фунтов будут закреплены за нею, и слово «закреплены» было подчеркнуто. В ком другом, а в Фанни он никогда бы не заподозрил такого крючкотворства. Изумленный и негодующий, он целый час просидел у себя в кабинете, расположенном окнами на север, дабы непрощенное солнце никогда не могло напечь ему голову. Он был полон решимости стоять на своем, но в то же время отчетливо сознавал, что долго в таком неженатом состоянии ему не протянуть. Фанни отсутствовала уже семнадцать дней, и с каждым днем голова у него делалась тяжелее и работала хуже. Так или иначе нужно кончать. Он все сидел, снедаемый томительными колебаниями, и вдруг до слуха его донеслись какие-то хриплые звуки, постепенно определившиеся, — опять эта несносная шарманка, теперь она выводила популярную в то время песенку «На воздушном шаре, прямо на луну!»

Краска гнева залила гладко выбритое лицо Николаса, лишь самую малость не добежав до седеющего петушьего гребня надо лбом. Он подошел к окну и распахнул его. Негодяй крутил свою шарманку и ухмылялся. На секунду Николас лишился дара речи, потом чувство юмора помогло ему отрешиться от своих переживаний. Нахальство этого негодяя просто уморительно. Он тоже ухмыльнулся и затворил окно. На месте шарманщика он ведь поступил бы точно так же. Шельмец, видимо, понял, что на этот раз ему ничего не добиться, и, сыграв еще «Чарли из Шампани», убрался прочь со своей шарманкой.

Но после этого маленького эпизода мысли Николаса изменили свое течение, или, вернее, кровь немного быстрее побежала по жилам, так что ему стало казаться, что вернуть Фанни стоит даже на ее условиях. В пятницу ему предстоит говорить на собрании пайщиков «Трамвайной ассоциации», а от этой неженатой жизни голова у него такая тяжелая, что ничего толкового он сказать не сможет.

Что такое, в конце концов, пятьсот фунтов в год, даже если закрепить их за нею? Он сейчас же поедет к Джемсу и покончит с этим; а завтра, с документом в кармане, сам махнет в Челтенхем и привезет ее домой. Он подозвал кэб и приказал везти себя в Полтри. Путь от Ледброк-Гроув туда был не ближний; лошадка торопливо трусила вперед, а он, сидя в экипаже, прямой, щеголеватый, подсакивая на булыжной мостовой старого Лондона, придумывал, как ответить на вопрос, который его брат Джемс наверняка задаст ему: «Для чего это тебе понадобилось?» И он решил ответить просто: «А тебе какое дело?» Всем известно, что Джемс — старая сплетница, лучше сразу его одернуть.

Поэтому он слегка растерялся, услышав от Джемса: — Я так и думал, что тебе придется на это пойти, — Фанни, говорят, бог знает что о себе возомнила.

— Кто это говорит? — рявкнул Николас.

Джемс запустил пальцы в свои пышные бакенбарды.

— Да они там... Тимоти и сестры.

— Кто их просит кудахтать о том, чего они не знают?

Джемс откашлялся.

— Право, не знаю, — сказал он. — Мне никогда ничего не рассказывают.

— Что? — огрызнулся Николас. — Да вы там часами только и делаете, что треплете языком. Ну, мне недосуг. Составь мне этот документ, заверить можешь ты и старик Бастард. И, пожалуйста, чтобы завтра к одиннадцати часам было готово. Набери из моих акций Западной железной дороги на пятьсот в год.

Челтенхем — как раз подходящие акции; и он подумал: «Железные дороги — не очень-то я в них верю; глядишь, скоро и еще что-нибудь выдумают».

Его поспешность несколько взволновала Джемса. Однако он не ударил в грязь лицом, и Николас, получив свой документ, скрепленный подписями и печатью, поспешил на дневной поезд в Челтенхем. Всю дорогу он готовился к тому, чтобы в самом язвительном тоне выразить жене недовольство таким обращением с его особой, но когда, прибыв на место, он увидел ее за чайным столом в гостинице отеля, очень моложавую и посвежевшую, он решил повременить с упреками и сказал только:

— Ну, Фанни, ты, я вижу, совсем молодцом.

А она ответила:

— Давно мы не виделись, милый Николас! Как наши детки?

— У меня голова побаливает,— сказал Николас.— Дети здоровы. Я привез тебе вот это.—И он положил документ на стол.—Все в порядке, ты тут не поймешь ни слова.

— Милый Николас, я не сомневаюсь, что ты сделал все, как нужно.

И пока она читала, озабоченно сдвинув брови, Николас поглядывал на нее и думал: «Я и забыл, какая она красивая».

Весь вечер он был в отличном расположении духа и много острил. Все это слегка напоминало их медовый месяц, проведенный в Брайтоне.

Было уже около полуночи, когда он вдруг сказал, приподнявшись на локте:

— Скажи на милость, зачем ты это сделала?

— Ах, милый Николас,— ответил ее голос у самого его уха,— мне так хотелось немножко отдохнуть!

— Отдохнуть? От чего тебе отдыхать, ты же не работаешь?

Она улыбнулась.

— А теперь,— сказала она,— я смогу устраивать себе такой отдых всякий раз, как почувствую, что нуждаюсь в нем.

— Черта с два!

— И как хорошо, что мне теперь не нужно будет просить у тебя денег! Ведь тебя это иногда раздражало.

И Николас подумал: «Ну вот, добилась своего. Уж эти женщины!» Опершись на локоть, он смотрел на жену: она лежала на спине, и на губах у нее мелькала легкая улыбка, словно она думала: «Милый Николас, умнейший человек в Лондоне!»

Таким-то образом власть Николаса, как и других монархов, оказалась ограничена Конституцией.

СОБАКА У ТИМОТИ, 1878.

Весной 1878 года миссис Септимус Смолл, известная в семье Форсайтов как тетя Джули, возвращаясь однажды из церкви святого Варнавы, что в Бэйсуотере, после утренней воскресной службы, свернула по привычке на дорожку, которая вела в тогда еще мало разделанный Кенсингтонский сад. Его преподобие Томас Скоулз на этот раз еще щедрее, чем всегда, рассыпал перлы остроумия, и тете Джули захотелось размять ноги, каковое желание обычно возникало у нее после его «изысканных» проповедей. В черной мантилье поверх лилового шелкового платья она шла мелкими шажками — в том году носили очень узкие юбки — и размышляла о дорогой Эстер и о том, как жаль, что у нее по утрам в воскресенье всегда так ужасно разбалчивается голова, ведь как ей полезно было бы послушать эту проповедь!

Теперь, когда дорогая Энн стала так слаба, что уже не может ходить в церковь, милочке Эстер, право, следовало бы собраться с силами хоть настолько, чтобы не пропускать воскресных богослужений. Сегодня, например, дорогой мистер Скоулз говорил такие назидательные вещи — насчет того, что лилии полевые не заботятся о своих фигурах, и, однако, даже самые модные дамы во всей славе своей не бывают пышнее одеты! Он, конечно, имел в виду турнюры, и милочке Эстер приятно было бы это слышать, потому что не далее как вчера, ко-

гда они говорили о модном изгибе фигуры, как раз пришла Эмили с дорогим Джемсом, и Эмили сказала, что скоро опять начнут носить кринолины, это вопрос времени, и она, Эмили, не намерена отставать от моды и сейчас же заведет себе кринолин, как только они появятся. Дорогая Энн даже довольно строго обошлась с ней, а Джемс сказал, что не видит, какая от них польза, от этих кринолинов. Это верно, кринолины занимают так много места, а турнюры нет, хотя они гораздо теплее. Но Эстер сказала, что и те и другие ужасно неудобны, и она не понимает, для чего они нужны; а теперь вот и мистер Скоулз говорит то же самое! Если он считает, что турнюры пагубны для души, об этом непременно надо будет подумать, мистер Скоулз всегда говорит что-нибудь такое, о чем после можно долго раздумывать. А уж как бы это было полезно для Эстер! И Джули постояла минутку, глядя вдаль на зеленеющие лужайки.

Что это? Смотри-ка! Там бегают маленькая белая собачка. Потерялась она, что ли? То туда побежит, то сюда и опять обратно! Это, кажется, шпиц или, как их еще называют, померанская собака,— совсем новая порода. И, завидев скамью, миссис Септимус подошла, нагнулась и, легким движением спины подпернув кверху свой турнюр, чтобы он не помялся, села; ей хотелось посмотреть, что все-таки будет с этой собачкой. Солнце, проглянув между двух весенних облачков, благосклонно озарило ее лицо, все в пухлых складочках, выпиравших сквозь тонкую сетку туго натянутой вуали. Ее глаза, серые, как у всех Форсайтов, следили за собачкой тем более пристально, что после таинственной пропажи бедного Томми (их кота)—Джули подозревала трубочиста — у Тимоти больше не держали домашних животных и, кроме попугая Полли, ей не на кого было излить свою нежность. Этот песик был трепаный и грязный, как будто всю ночь провел на улице, но у него была такая милая острая мордочка! А тут еще Джули показалось, что он на нее поглядывает, и она тотчас ощутила легкий трепет где-то внутри себя, под корсетом. И, словно почуяв это, песик стал приближаться бочком, а потом сел на траву, как будто раздумывая, можно ли ей довериться. Тетя Джули сморщила губы, пытаясь свист-

нута. Этому помешала вуаль; тогда она протянула к нему руку в перчатке.

— Иди сюда, песик, миленький!

Ее изголодавшемуся сердцу почудилось, что он хоть и не тронулся с места, но вздохнул с облегчением, как будто радуясь, что его наконец заметили. Все же он не подошел. Но кончик его пушистого хвоста задергался, и тетя Джули снова сказала, вложив в голос еще бóльшую ласковость:

— Бедненький, миленький, поди же сюда!

Песик подполз ближе, униженно извиваясь всем телом, но в двух шагах остановился. Тетя Джули увидела, что на нем нет ошейника. Но какая славная у него мордочка и какие глазки!

— Пом! — сказала она. — Милый маленький Пом!

Песик так посмотрел на нее, как будто согласен был, чтоб она его любила, и трепет под ее корсетом усилился.

— Поди же сюда, мой хорошенький!

На самом деле он, конечно, не был хорошеньким — такой грязный! — но ушки у него насторожились, и блестящие глазки искоса оглядели ее необыкновенно умным взглядом. Потерялся, и где — в Лондоне! Совсем как в этой грустной книжечке, которую написала миссис... да как же ее имя?.. Ведь это она написала «Первую молитву Джессики»? Или нет? Ну вот, подумайте, все забыла! Экая стала память! Песик вдруг сделал шаг вперед; изогнувшись, как буква S, весь дрожа, он стоял теперь так близко, что его можно было тронуть рукой, и обнюхивал затянутые в перчатку пальцы Джули. Тетя Джули издала мурлыкающий звук. Гордость переполняла ее сердце: ведь из всех, к кому он мог подойти, он выбрал только ее! Песик свесил язык набок и прерывисто дышал в муках нерешимости. Бедняжечка! Все еще не знает, можно ли отдать себя во власть новой хозяйки — то есть, конечно, она ни в коем случае не может взять его домой, где всюду ковры, и дорогая Энн так заботится о чистоте и... и еще Тимоти! Тимоти придет в ужас! А может быть, все-таки?.. Во всяком случае, они не помешают ей погладить его носик! И она тоже прерывисто задыхалась под своей вуалью. Как все это волнует! И тут, неизвестно когда и как, ее пальцы и нос песика пришли в

соприкосновение. Хвост его застыл, все тело дрожало. Тете Джули вдруг стало стыдно, что она кому-то внушает такой страх; и, руководимая скорее инстинктом, чем знанием, ибо она никогда не имела дела с собаками, она согнула палец и почесала его за ухом. Только бы у него не было блох! И вдруг... песик взял да и прыгнул ей на колени! И сейчас же прилег и поднял блестящие глазки к ее лицу. Бродячий пес! Ее парадное платье! Самое лучшее, которое она надевала только по воскресеньям! Ну история! Песик потянулся и лизнул ее в подбородок. Почти машинально тетя Джули встала. И песик соскользнул наземь. Нет, право, это уж слишком, — он позволяет себе такие вольности! Господи, а какой худой! Теперь вот вертится у ее ног. Что сказал бы мистер Скоулз? Может быть, просто уйти, не смотреть на него?.. Она пошла по направлению к дому — и песик пошел за ней, держась не дальше шести дюймов от ее юбки. Тетя Джули представила себе, как она сейчас будет есть ростбиф, йоркширский пудинг и сладкие пирожки, а он, вот он, этот песик, смотрит на нее, словно говорит: «И мне немножко! И мне немножко!» Просто невыносимо! Ее раздирали сомнения: крикнуть «пошел!» и погрозить ему зонтиком? Или все-таки?.. Нет, нет, об этом нечего и думать! Собаки бывают такими... Она слыхала! И, кроме того, ответственность! И блохи! Тимоти не выносит блох! И, может быть, этот пес не умеет вести себя в комнатах! Нет, никак нельзя! Песик вдруг поднял лапку. Тц, тц! До чего же выразительная мордочка! Какая-то паническая отвага вдруг нахлынула на тетю Джули. Решительно повернувшись к выходу из сада, она сказала слабым голосом:

— Ну, пойдем!

И песик пошел. Ужасно!

Когда она с опаской переходила через Бэйсуотер-Род, мимо во весь опор промчалось два или три кэба — до чего же они неосторожно ездят! — а на самой середине улицы одна из этих громоздких извозничьих карет вздумала поворачивать, и тете Джули пришлось переждать, стоя на месте. И, как водится, полисмена там не было. Нет, эта езда по улицам положительно выходит из всяких границ. Только бы не встретиться с Тимоти, когда он будет возвращаться с прогулки, и успеть бы по-

говорить со Смизер — расторопная девушка! — чтобы она накормила этого песика и выкупала, пока никто его не видел. Ну, а дальше что? Может быть, удалось бы поддержать его на кухне, пока хозяева не потребуют. Но как они могут его потребовать, если не знают, где он? С кем бы посоветоваться? Может быть, Смизер знает какого-нибудь полисмена, но будем надеяться, что нет: полисмены — опасное знакомство для девушки, если она недурна собой, а у Смизер еще и румянец во всю щеку и фигура даже чересчур пышная по ее годам. Тут тетя Джули вдруг обнаружила, что уже подошла к дому, и вся задрожала с головы до ног. Вот и звонок — в ту эпоху еще не водилось американских замков, — и уж пахнет обедом, и песик тоже это учуял. Теперь или никогда! Тетя Джули нацелилась зонтиком в песика и чуть слышно сказала: «Пошел!» Но песик только припал к земле. Ну вот, не уходит, она не умеет его прогнать! И тетя Джули, снова ощутив прилив отваги, позвонила. Ожидая, пока откроют, она почти наслаждалась собственной дерзостью. Да, она совершает ужасный поступок — и пусть, ей все равно! Но тут перед нею зазиял дверной проем, и сердце тети Джули медленно покатилося вниз, вниз, прямехонько в ее высокие ботинки на пуговках.

— Смизер! Этот бедный песик присгал ко мне на улице. Этого со мной еще никогда не бывало. Он, наверно, потерялся. Такой худой и грязный. Что нам теперь с ним делать?

Песик явно стремился в дом, откуда исходил столь дивный запах, и хвостик его трепетал.

— О-о! — радостно воскликнула Смизер: она ведь была молода! — Бедняжечка! Сейчас я скажу кухарке, мэм, пусть даст ему каких-нибудь объедков!

При слове «объедки» глаза у песика загорелись.

— Хорошо, — сказала тетя Джули. — Но уж это на вашу ответственность, Смизер. Поскорее уведите его вниз.

Она стояла, затаив дыхание, пока песик, ведомый Смизер и собственным носом, бежал через маленькую прихожую и дальше вниз по ступенькам в кухню. Легкий топоток его лап пробудил в тете Джули очень сложное чувство, какого она, пожалуй, ни разу не испытывала со дня смерти Септимуса Смолла.

Она поднялась к себе в комнату, сняла вуаль и шляпку. Надо сейчас же решить, что она им скажет. Так и не решив, она сошла вниз.

В гостиной, где только что обновили пампасовую траву в вазах, на диване сидела Энн, опустив молитвенник на колени,— по воскресеньям она всегда читала про себя утреннее богослужение. Подбородок у нее был широкий и губы крепко сжаты, а в старческих серых глазах такое выражение, как будто ей больно. Ну, понятно, заждалась завтрака,— теперь они все старались называть это вторым завтраком, потому что, по словам Эмили, никто, сколько-нибудь претендующий на светскость, уже не называет это обедом, даже по воскресеньям. Эстер, сидя в своем уголке у камина, облизывала губы кончиком языка: она любила пирожки с изюмом, а сегодня они будут в первый раз в этом сезоне. Тетя Джули сказала:

— Мистер Скоулз замечательно говорил, превосходная проповедь! А потом я еще прошлась в Кенсингтонском саду.

Какой-то внутренний голос предостерег ее — пока больше ничего говорить не надо,— и они в молчании стали ждать гонга. У Тимоти только что завели гонг: Эмили сказала, что иначе нельзя в порядочном доме.

И гонг грянул. Боже, как громко: бом, бом! Тимоти с ума сойдет. Смизер должна поучиться! У дорогого Джемса на Парк-лейн дворецкий умеет так звонить, что получается даже уютно.

В дверях столовой Смизер сказала ей на ухо:

— Он все съел, мэм, до чего голодный!

— Тсс!..

В холле слышались тяжелые шаги: Тимоти шел из кабинета. Он показался в дверях, очень грузный в своем сюртуке, и лицо все в красных и коричневых пятнах,— у него было такое слабое здоровье! — и сел на свой стул; он всегда сидел спиной к окну, чтобы свет не бил в глаза.

Тимоти, конечно, не ходил в церковь — это слишком его утомляло,— но всегда спрашивал, какой сегодня был сбор, и иногда добавлял, что не понимает, на что им столько денег,— как будто мистер Скоулз что-нибудь тратит зря! Недавно он заказал новые подушечки, и когда

их разложили, тетя Джули выразила надежду, что, может быть, дорогой Тимоти и Эстер теперь придут в церковь. Но Тимоти буркнул сердито:

— Подушечки! Только спотыкаешься об них и портишь себе брюки!

Тетя Энн, которая уже не могла становиться на колени, снисходительно улыбнулась.

— В церкви полагается иногда преклонять колени, дорогой мой.

Сейчас они уже все сидели за столом, перед блюдом с ростбифом, и Тимоти говорил:

— Горчицу! И скажите кухарке, что картофель недостаточно подрумянен,— слышите, Смизер?

Смизер, залившись краской, над его головой ответила:

— Да, сэр.

Неизбежность объяснений, тревога за песика и тяжесть йоркширского пудинга породили в недрах тети Джули такое смятение, что у нее уже началась боль под ложечкой.

— Я так хорошо прогулялась в Саду,— с трудом выговорила она.— После церкви.

— Нечего тебе там ходить одной: по нынешним временам нельзя знать, на кого ты можешь там напороться.

Тетя Джули отпила глоток темного хереса. Сердце у нее так колотилось! Тетя Эстер — она столько читала! — заметила, что где-то прочла, будто мистер Гладстон тоже там иногда гуляет.

— Вот видишь! — сказал Тимоти.

Тетя Энн выразила мнение, что мистер Гладстон — человек высоких принципов и не пристало им его судить.

— Судить его! — буркнул Тимоти.— Я бы его повесил!

— Грешно так говорить, дорогой мой, тем более в воскресенье.

— Чем лучше день, тем слаще труд,— проворчал Тимоти, и тетя Джули задрожала: он сегодня, оказывается, еще и в дурном настроении! И вдруг дыхание замерло у нее в груди. До ее ушей донеслось бойкое твяканье: как будто белый песик позволял себе вольности с кухаркой. Взгляд ее обратился к Смизер.

— Это что? — спросил Тимоти. — Собака?

— В девятом номере за углом есть собака, — пролепетала тетя Джули и, увидев внезапно округлившиеся глаза Смизер, осознала всю глубину своего криводушия. Как ужасно! Вот к чему приводит, когда с самого начала не говоришь правды. Тявканье сменилось пронзительным визгом: как будто кухарка, в свою очередь, позволила себе вольность.

— Это не за углом, — сказал Тимоти. — Это у нас внизу. Что это значит?

Все глаза обратились к Смизер. В наступившем гробовом молчании раздался странный звук — скрипнул корсет на Смизер.

— Извините, мисс, это та собачка, что увязалась за миссис Смолл на улице.

— А-а! — поспешно воскликнула тетя Джули. — Тот песик!

— Что-о? — сказал Тимоти. — Увязался за ней на улице?

— Он был такой худой! — прошелестел замирающий голос тети Джули.

— Смизер, — сказала тетя Энн, — передайте мне сухарики и скажите кухарке, что я желаю ее видеть, когда она пообедает.

Пухлые складочки на лице тети Джули начали заливаться краской.

— Я принимаю на себя всю ответственность, — сказала она. — Этот песик потерялся. Он был страшно голодный, и кухарка дала ему обедков.

— Какой-то бродячий пес! — сказал Тимоти. — Да он тут блох напустит!

— Ах нет, что ты! — пролепетала тетя Джули. — Это очень хороший, породистый песик!

— Ты-то почему знаешь? Ты же собаку от половика не отличишь.

Краска на пухлых щеках тети Джули стала ярче.

— Это был с моей стороны христианский поступок, — сказала она, глядя в упор на Тимоти. — Если б ты был сегодня в церкви, ты бы так не разговаривал!

В первый раз она открыто восстала против своего слабого здоровьем братца. Результат превзошел ожидания. Тимоти поспешно доел свой пирожок.

— Только чтобы я его не видел,— пробормотал он.

— Поставьте вино и орехи на стол, Смизер,— сказала тетя Энн.— И пойдите вниз, посмотрите, что там кухарка с ним делает.

После ее ухода воцарилось молчание. Все чувствовали, что Джули вела себя непозволительно.

Тетя Энн поднесла к губам рюмку, в которой было на два глотка темного хереса — подарок дорогого Джолиона, — он такой знаток вин! Тетя Эстер, успевшая за время этих волнений прикончить второй пирожок с изюмом, улыбалась. Тетя Джули не сводила глаз с Тимоти; она вкусила непокорности и нашла ее сладкой.

Смизер вернулась.

— Что скажете, Смизер?

— Кухарка его моет.

— Это еще зачем? — сказал Тимоти.

— Он был грязный,— пояснила тетя Джули.

— Вот видишь! .

Раздался голос тети Энн, произносившей молитву. Когда она кончила, все три сестры встали.

— Мы покидаем тебя, дорогой. Пей себе спокойно свой херес. Смизер! Мою шаль, пожалуйста.

Наверху в гостиной они некоторое время сидели молча. Тетя Джули старалась утишить свои расхолодавшиеся нервы. Тетя Эстер старалась делать вид, что ничего не произошло. Тетя Энн, сидевшая очень прямо, старалась подавить бунт строгим взглядом и плотным сжатием своих тонких, бескровных губ. Не о себе она думала, а о нерушимом порядке вещей, который неожиданно оказался под угрозой.

Тетя Джули вдруг выпалила:

— Он сам подошел ко мне, Энн.

— Не будучи знако... Без твоего приглашения?

— Я заговорила с ним, потому что он потерялся.

— Надо было подумать, прежде чем заговаривать.

Собаки очень назойливы.

Лицо тети Джули взбунтовалось.

— Ну и прекрасно, я очень рада,— сказала она,— и больше не о чем говорить. Столько шуму из-за пустяков!

У тети Энн стал огорченный вид. Прошло еще по-

рядочно времени. Тетя Джули начала играть в солитер, но она играла рассеянно, и на доске происходили невероятные вещи.

Тетя Энн сидела выпрямившись, с закрытыми глазами; а тетя Эстер, подождав, не откроются ли они опять, достала из-под подушки взятую в библиотеке книжку и, спрятав ее за каминным экраном, принялась читать — это был второй том, и Эстер не добралась еще до раскрытия «Тайны леди Одли»; правда, это был роман — неподходящее чтение для воскресного дня, — но, как сказал Тимоти, «чем лучше день, тем слаще труд».

Часы пробили три. Тетя Энн открыла глаза, тетя Эстер закрыла книгу. Тетя Джули смешала в кучу затремевшие по доске стеклянные шарики. Раздался стук в дверь: кухарка, не входяя, как Смизер, в высшие сферы, всегда стучала, прежде чем войти.

— Войдите!

Вошла кухарка в своем кухонном фартуке из розового ситца, а за нею вошел песик — белый как снег, расчесанный, пушистый, его хвост и вся повадка выражали попеременно то задор, то подобострастие. Кухарка заговорила:

— Я его привела, мисс. Он покушал, и я его вымыла. Такой славненький и сразу со мной подружился.

Все три тети сидели молча, поглядывая то на собачку, то на ножки кресел.

— Видели бы вы, как он ел, мисс, — у вас бы сердце порадовалось! И уже знает свою кличку — Помми.

— Скажите! — с усилием выговорила тетя Эстер. Она всегда страдала от неловких положений и старалась их сгладить.

Тетя Энн подалась вперед в своем кресле, и голос ее был тверд, хотя и дрожал немножко.

— Это чужая собака, и мистер Тимоти не позволит ее оставить. Смизер отведет ее в полицейский участок.

Как бы пораженный этими словами, песик выглянул из-за кухаркиной юбки и пошел на голос. Потом остановился, изогнувшись скобкой и чуть помахивая хвостом; глаза, блестящие, как два кусочка горной смолы, обратились вверх к тете Энн. Тетя Энн посмотрела вниз —

на него; ее исхудалые руки с набухшими венами, чуждые твердости, которую выражал ее голос, нервно двигались на атласе юбки. От распиравшего тетю Джули волнения все ее пухлые складочки еще сильнее вспухли. Тетя Эстер судорожно улыбалась.

— Ох уж эти полицейские участки! — сказала кухарка. — Он-то, небось, не привык ни к чему такому.... На нем, мисс, даже ведь ошейника не было.

— Помми! — позвала тетя Джули.

Песик оглянулся, обнюхал ее колени и тотчас опять уставился на тетю Энн, словно понимал, в чьих руках тут власть.

— Он, правда, миленький! — робко сказала тетя Эстер, и теперь уже не одни только собачьи глаза с мольбой смотрели на тетю Энн. Но тут дверь снова растворилась.

— Мистер Суизин Форсайт, мисс, — произнес голос Смизер.

Тети Джули и Эстер встали навстречу брату; тетя Энн, по праву своих семидесяти восьми лет, осталась сидеть. Всегда Форсайты приходили к ней, а не она к ним. А сейчас Суизин явился как нельзя более кстати: ведь он такой знаток во всем, что касается лошадей.

— Можете пока оставить этого песика здесь. Мистер Суизин скажет нам, что с ним делать.

Суизин, очень медленно поднимавшийся по лестнице — она была для него узковата, — наконец вступил в гостиную. Рослый, осанистый, с выпяченной грудью, одутловатым, бледным лицом и светлыми круглыми глазами, седой эспаньолкой и усами, он походил на церемониймейстера, и белый песик, отбежав в угол, громко залаял.

— Что это? — сказал Суизин. — Собака?

Так кто-нибудь, войдя в более современную гостиную, мог бы сказать: «Что это? Верблюд?»

Тетя Джули кинулась в угол и погрозила псу пальцем. Он слегка задрожал и умолк. Тетя Энн сказала:

— Эстер, усади Суизина в его кресло. Нам нужен твой совет, Суизин. Этот песик сегодня утром пристал к Джули в парке; очевидно, потерял хозяев.

Суизин опустился в кресло. Он сидел, разведя ко-

лени, что позволяло ему сохранять важность осанки и оберегать от морщинок свой великолепный жилет. Лакковые его сапожки жестко блестели пониже светло-серых, почти голубоватых панталон. Он сказал:

— Как Тимоти это перенес? Его не хватил удар? Дорогой Суизин был всегда такой шутник!

— Пока еще нет,— ответила тетя Эстер, которая тоже иногда бывала не слишком почтительной.

— Ну, так хватит. Джули, что ты там стоишь как приклеенная? Выведи сюда собаку, я хочу на нее посмотреть. Э, да это сучка!

Это специфически мужское слово, хотя и произнесенное с изяществом, вызвало у дам такое потрясение, как если бы посреди гостиной вывалили кучу сажу. До сих пор все по молчаливому согласию причисляли найденныша к более галантному полу, потому что... ну, таких вещей ведь просто не замечаешь. У тети Джули, правда, были кое-какие сомнения — супружество с Септимусом Смоллом сделало ее несколько более восприимчивой,— но и она предпочитала поддерживать галантную версию.

— Сучка,— повторил Суизин.— Ну и хлопот же у вас с ней будет!

— Этого-то мы и боимся,— сказала тетя Энн,— только все-таки, дорогой мой, тебе не следовало бы так ее называть в гостиной.

— Чушь и чепуха! — сказал Суизин.— Поди сюда, бродяжка! — И он протянул к ней руку в перстнях, пахнущую собачьей кожей: он приехал в своем фаэтоне и сам правил всю дорогу.

Подбодряемая тетей Джули, собачка приблизилась и съежилась под занесенной над ней рукой. Суизин поднял ее за шиворот.

— Чистокровная,— сказал он, опуская ее наземь.

— Мы не можем оставить ее у себя,— твердо заявила тетя Энн.— Ковры... Мы думали, может быть, в полицейский участок?

— На вашем месте,— сказал Суизин,— я бы послал объявление в «Таймс»: «Приблудился белый шпиц, сучка. Обращаться по адресу: Бэйсуотер-Род, «Тихий Уголок». Еще и награду, пожалуй, получите. Ну-ка, посмотрим ее зубы.

Собачка, которую, казалось, загипнотизировал запах, исходивший от рук Суизина, и пристальный взгляд его фарфорово-голубых глаз, не стала чинить ему препятствий, когда он пальцами раздвинул ей губы — сперва верхнюю губу вверх, потом нижнюю вниз.

— Это щенок, — сказал Суизин. — Усь, усь, бродяжка!

Этот возбуждающий возглас оказал поразительное действие на собачку: опустив хвост, насколько ей это было доступно, она отпрыгнула вбок и забежала вокруг кресла тети Эстер; потом, припав на передние лапы и вздернув кверху свой пушистый зад и хвостик, впиалась в Суизина черными, как башмачные пуговицы, глазами.

— Ишь ты, — сказал Суизин. — Стоящая собака. Усь, усь!

На этот раз собачка суетливо забежала по всей комнате, чудом избегая столкновения с ножками кресел, потом, остановившись у столика маркетри, поднялась на задние лапы и стала зубами хватать пампасовую траву.

— Эстер, позвони! — воскликнула тетя Энн. — Позовите Смизер! Джули, запрети ей!

Суизин, с застывшей улыбкой, от которой его эспаньолка встала торчком, сказал:

— Где Тимоти? Посмотреть бы, как она станет кусать его за икры.

Джули в порыве материнских чувств нагнулась и подхватила собачку на руки. Теперь она стояла, как живое воплощение непокорства, прижимая к груди острую мордочку и пушистое тельце, пахнувшее зеленым мылом.

— Я сама отнесу ее вниз, — сказала она. — Не позволю, чтобы ее дразнили! Пойдем, Помми.

Собачка, чьего мнения касательно ее будущей участи никто не спрашивал, высунула розовый язычок и лизнула нос своей покровительницы. Тетя Джули вдруг почувствовала себя любимой — неизъяснимо сладкое чувство! — и, чтобы скрыть волнение, поспешно вышла из комнаты, унося собачку, покорно висевшую у нее на руке. Но она понесла ее не вниз, а наверх, в свою спальню, которая была в конце коридора, за спальней дорогой Энн, и остановилась посреди мебели красного дерева с собачкой в объятиях. Все они против нее и против этой

бедной малютки! И тетя Джули еще крепче прижала собачку к груди. А собачка только прерывисто дышала и время от времени узким своим язычком лизала тетю Джули в щеку, словно проверяя, тут ли она. После смерти Септимуса Смолла — десять лет назад — никто не любил ее по-настоящему, а теперь, когда нашлось существо, готовое ее полюбить, его хотят отнять у нее! Джули села на кровать, все еще держа собачку. Там, в гостиной, они сейчас, наверно, придумывают, как бы отослать Помми в полицейский участок или пропечатать в газетах! Но тут она заметила, что все платье у нее в белых волосках, и спустила собачку на пол. Та прошла боком по комнате, обнюхивая все, что ей попадалось на пути, а когда дошла до умывальника, то остановилась и, шумно дыша, оглянулась на тетю Джули. Что ей нужно? Самые странные мысли зародились в уме тети Джули, но тут собачка вдруг привстала на задние лапки и лизнула воздух. Господи, да она хочет пить! И, забыв все свои привычки к опрятности, тетя Джули сняла кувшин с умывальника и поставила на пол. Несколько минут в тишине слышен был только звук лая. Что это она, все пьет и пьет, куда только это помещается! Собачка подняла глаза на тетю Джули, дважды махнула хвостом и рысцой отправилась обследовать комнату, на сей раз уже более подробно. Обследовав все, кроме тети Джули, о которой, по-видимому, еще ранее составила себе определенное мнение, собачка спряталась под туалетный столик, выставив из-под кружевного подзора голову и передние лапки, и вдруг отрывисто и задорно затыкала. Тетя Джули поняла это как приглашение: «Поиграй со мной!» — и, сняв свой мешочек с губкой, помахала им. Собачка вдруг — так неожиданно! — схватила мешочек и давай его трепать! Тетя Джули пришла в восторг и одновременно в ужас. Значит, собачка уже чувствует себя как дома, — но бедный мешочек! До чего же у нее острые и крепкие зубки! Какое-то ликование охватило вдруг тетю Джули. Да пусть делает с ним что хочет, с этим мешочком, лишь бы ей было весело! В один миг от мешочка ничего не осталось; и, подбирая лохмотья, тетя Джули подумала с вызовом: «Все равно я вряд ли еще когда-нибудь поеду в Брайтон!» Но вслух она строго сказала:

— Смотри, что ты наделала! — И пока они вместе разглядывали обрывки, сердце тети Джули исполнилось решимости. «Пусть себе говорят что угодно, но что я нашла, то мое; а если Тимоти не нравится, что ж, ничего не поделаешь». Потрясающее было ощущение! Но тут постучали в дверь.

— Ах, Смизер! — сказала тетя Джули. — Посмотрите, что она натворила! — И вызывающе подняла вверх остатки мешочка.

— О-о! — сказала Смизер. — Да уж, зубки у нее острые! Вы не сойдете в гостиную, мэм? Там мистер и миссис Джемс Форсайт. Увести теперь собачку? Ей, наверно, нужно бы прогуляться.

— Только не в полицейский участок, Смизер. Я ее нашла и никому не отдам.

— Ну конечно же, мэм! И нам с кухаркой будет веселей. Томми-то уже нету. А она сразу к нам привязалась.

Тетя Джули почувствовала укол ревности.

— Я беру на себя всю ответственность, — сказала она. — Ступай со Смизер, Помми!

Подхваченная на руки собачка высунула мордочку из-за края. Смизер и, пока ее несли к двери, не отрывала сентиментальных глаз от тети Джули. И снова все, что было в тете Джули материнского, всколыхнулось под лиловым шелком ее корсажа, усеянного белыми волосками.

— Скажите им, я сейчас приду. — И она стала обирать с себя белые волоски.

Перед дверью в гостиную она помедлила: у нее подгибались колени; наконец вошла. Джемс, укрывшись меж своих длинных бакенбард, рассказывал историю. Длинные его ноги так вытянулись, что Джули пришлось обойти их кругом, длинные губы приостановились на минуту, чтобы выговорить: «Здравствуй, Джули. Говорят, ты нашла собаку?» — Затем он продолжал свой рассказ. Рассказ был о человеке, которого укусила собака, и он настоял, чтобы ему сделали прижигание, и после этого даже не мог сидеть, а потом оказалось, что собака не бешеная, так что все это было зря. И какой толк от этих собак, он, Джемс, не понимает, только грязь разводят.

Эмили сказала:

— Шпицы теперь в большой моде. У них такой забавный вид, когда они сидят в коляске!

Тетя Эстер сообщила, что у Джолиона на Стэнхоп-Гейт есть левретка.

— Этот ошметок! — фыркнул Суизин; вероятно, впервые это слово употреблялось в таком применении. — Никакого вида!

— Надеюсь, ты не собираешься оставить эту собаку у себя? — сказал Джемс. — Она, может, какая-нибудь заразная.

— Чепуха, Джемс! — отрезала тетя Джули, красная как рак.

— Ты с ней еще под суд попадешь. Говорят, есть приюты для бездомных собак. Ты должна ее выгнать.

— Да, как же! Сейчас! — огрызнулась тетя Джули: она не боялась Джемса.

— Это называется — сокрытие чужой собственности. Ты идешь против закона.

— Провались он, твой закон!

Это ниспровержение всех основ было встречено в молчании. Никто не понимал, что сделалось с Джули.

— Так, — сказал Джемс, как бы подводя итог. — Не говори потом, что я тебя не предупредил. Как еще Тимоти на это посмотрит. Он с ума сойдет!

— Если он хочет сходить с ума, — сказала тетя Джули, — пожалуйста, я ему не мешаю.

— Что ты со щенятами будешь делать? — спросил Суизин. — Держу пари, она вам принесет щенят.

— Видишь, Джули? — сказала тетя Энн.

Волнение тети Джули достигло такой степени, что она взяла веер со столика с антикварными вещицами и стала обмахивать им свое разгоряченное лицо.

— Вы все против меня, — сказала она. — Выдумали еще: щенят принесет! Такая крошка!

Суизин встал.

— Ну, прощайте. Поеду теперь к Николасу. Прощай, Джули. Может, поедешь как-нибудь со мной покататься? Я свезу тебя в приют для бездомных собак.

Выпятив грудь, он прошествовал к двери; потом стало слышно, как он спускается по лестнице под аккомпанемент звонка из гостиной.

Джемс машинально сказал:

— Ну и чудак этот Суизин!

Он говорил это после каждой встречи с братом, а Суизин в таких случаях столь же неизменно говорил:

— Ну и болван этот Джемс!

Эмили, соскучившись за время этой семейной сцены, начала рассказывать тете Эстер о входящем в моду новом обычае — есть устрицы перед супом. Это, конечно, очень по-иностранному, но, говорят, Принц тоже так делает. Джемс ни за что не хочет, а лично она, Эмили, находит это довольно элегантным. Отчего бы Эстер не попробовать? Джемс начал рассказывать Энн о Сомсе: он в январе кончает свою практику у юриста; серьезный юноша! Джемс рассказывал долго. Тетя Джули сидела надувшись, обмахиваясь веером и пряча за ним лицо. Ей очень хотелось, чтобы приехал Джолион. Отчасти потому, что он был ее любимцем и, как старший брат, не позволял никому другому ее обижать; отчасти потому, что только у него была собака; а отчасти потому, что даже Энн его немножко побаивалась. Послушать бы, как он им скажет: «Труссы вы все и больше ничего! Разумеется, Джули имеет право оставить у себя то, что она нашла». Потому что ведь так же это и было! Собачка сама пошла за ней, по собственной воле. И это же не драгоценный камень и не кошелек — тогда бы, конечно, другое дело! Джолион иногда приезжал к ним по воскресеньям, но чаще водил малютку Джун в Зоологический сад. А как только он появлялся в гостиной, Джемс сейчас же норовил улизнуть: боялся, что ему намылят голову. И очень бы хорошо, раз он так отвратительно вел себя с нею!

Она вдруг сказала:

— Я вот возьму и поеду на Стэнхоп-Гейт и спрошу дорогого Джолиона.

— Это еще зачем? — сказал Джемс, забирая в кулак одну из своих бакенбард. — Только и дождешься, что он даст тебе нахлобучку!

То ли устрешенная этой перспективой, то ли по другим причинам, но Джули, видимо, раздумала ехать; она перестала обмахиваться, и лицо ее приняло то выражение, из-за которого в семье создалась поговорка: «Такой-то? Ну! Настоящая Джули».

Джемс, однако, уже истощил свой недельный запас новостей.

— Я вижу, Эмили,— сказал он,— тебе хочется домой. Да и лошади, наверно, застоялись.

Справедливость этого утверждения никогда не подвергалась проверке, так как Эмили всякий раз тотчас вставала и говорила: «Прощайте, дорогие. Передайте от нас привет Тимоти».

Так было и на этот раз. Она легонько перецеловала всех тетушек в щеку и вышла из комнаты раньше, чем Джемс вспомнил — как он после жаловался ей в карете, — что именно он должен был у них спросить; а ведь он, собственно, ради этого и приехал!

Когда они удалились, тетя Эстер, поглядев сперва на одну сестру, потом на другую, укутала «Тайну леди Одли» своей шалью и вышла на цыпочках. Она знала, что теперь будет. Тетя Джули дрожащими руками взяла доску для солитера. Вот она, решительная минута! И она ждала, изредка переставляя шарики мокрыми от пота пальцами и украдкой поглядывая на прямую фигуру, затянутую в черный шелк со стеклярусной отделкой и камеей у ворота. Она решила, что ни за что не заговорит первой, и вдруг сказала:

— Ну что ж ты молчишь, Энн?

Тетя Энн встретила ее взгляд своими серыми глазами, которые так хорошо видели вдаль, и промолвила:

— Ты слышала, что говорили Джемс и Суизин.

— Я не выгоню эту собачку,— сказала тетя Джули.— Не выгоню, и все! — Кровь стучала у нее в висках, и сама она постукивала ботинком об пол.

— Будь это действительно хорошая собачка, она бы не убежала и не потерялась. Но собачкам этого пола нельзя доверять. Пора бы тебе это знать. Джули, в твои годы. Теперь мы одни — я могу говорить открыто. Она, конечно, будет приводить сюда кавалеров.

Тетя Джули сунула палец в рот, пососала его, вынула и сказала:

— Мне надоело, что со мной обращаются, как с ребенком.

Тетя Энн бесстрастно ответила:

— Тебе следовало бы каломеля принять: разводишь тут истерики! Мы никогда не держали собак.

— Я вам и не предлагаю,— сказала тетя Джули.— Это будет моя собака. Я... я...— Она не решалась заговорить о том, что лежало у нее на сердце, о своей жажде быть любимой — это... это значило бы пускаться в излияния!..

— Нельзя оставлять у себя то, что не твое,— сказала тетя Энн.— Ты сама это прекрасно понимаешь.

— Я помещу объявление в газетах; если хозяин отыщется, я ее отдам. Но она сама пошла за мной, по своей воле. А жить она может внизу. Тимоти никогда ее и не увидит.

— Она станет пачкать ковры,— сказала тетя Энн,— и лаять по ночам. У нас покоя не будет.

— Надоел мне покой,— сказала тетя Джули, громыхая по доске стеклянными шариками.— Надоел покой и надоело беречь вещи — все беречь и беречь... так что, под конец, уже не я... не ты... уже не они тебе, а ты им принадлежишь!

Тетя Энн воздела вверх свои худые, бледные руки.

— Ты сама не понимаешь, что говоришь! Кто не умеет беречь вещи, тот не достоин их иметь.

— Вещи, вещи! Надоели мне вещи! Я хочу что-нибудь живое. Хочу вот эту собачку. А если вы мне не дадите, я уеду и возьму ее с собой. Вот вам!

Таких бунтарских речей еще никогда не слыхали эти стены! Тетя Энн сказала очень тихо:

— Ты не можешь уехать, Джули; у тебя нет денег. Так что незачем об этом и говорить.

— Джوليон даст мне денег; он не позволит вам меня тиранить.

Морщинка боли залегла между старческих глаз тети Энн.

— Разве я тебя тираню? — сказала она.— Ты забываешься!

Целую минуту тетя Джули молчала, глядя то на свои дергающиеся пальцы, то на изрезанное морщинами, бледное, как слонобая кость, лицо старшей сестры. Слезы раскаяния подступили у нее к глазам. Дорогая

Энн так стара... и доктор всегда говорит!.. Джули поспешно достала носовой платочек.

— Я... я... я так расстроилась... Я не хотела... дорогая Энн... я...— Слова попеременно с рыданиями спотыкались у нее на губах.— Но мне т-так хо... хочется эту с-соб... бачку!

Воцарилось молчание, нарушаемое лишь ее всхлипываниями.

Потом прозвучал голос тети Энн — спокойный, чуть-чуть дрожащий:

— Хорошо, милочка. Нам придется многим пожертвовать, но если это может сделать тебя счастливее...

— О! о! — зарыдала тетя Джули.— О! о!

Крупная слеза упала на доску для солитера, и тетя Джули вытерла ее платочком.

ГОНДЕКУТЕР, 1880.

Летом 1880 года Джемс Форсайт, уйдя пораньше из своей конторы в Сити и повстречав возле Конногвардейских казарм своего старинного приятеля Трэкуэра, пошел рядом с ним и так начал разговор:

— Что-то мне нездоровится.

— Ну-у? — сказал его приятель. — А вид у вас веселенький. Вы куда? В клуб?

— Нет, — сказал Джемс. — К Джобсону. Сегодня там продают Смелтеровскую коллекцию. Вряд ли будет что путное, но я решил поглядеть.

— Смелтеровские картины? Его «Амура и Пискею», как он выражался? Так ведь и не научился говорить по-человечески.

— Не знаю, с чего ему было умирать, — сказал Джемс. — Ему еще и семидесяти не было. А хороший у него был портвейн 47-го года!

— Да. И темный херес.

Джемс покачал головой.

— Вредно для печени. Я сейчас прошелся пешком из Темпля. Печень немножко не в порядке.

— Поезжайте в Карлсбад. Это теперь самый модный курорт.

— Гомбург, — машинально проговорил Джемс. — Эмили нравится. По-моему, слишком шумно. Не знаю:

мне шестьдесят девять лет.— Он показал зонтиком на бронзового льва¹.

— Этот молодчик, Лендсир, надо думать, зашиб на них порядочную деньгу,— проворчал он.— Говорят, Диззи очень плох. Он-то долго не протянет.

— М-м. А этот старый осел, Гладстон, еще, увидите, всех нас перессорит. Думаете покупать у Джобсона?

— Покупать? Я не так богат, чтоб выбрасывать деньги в окошко. У меня дети растут.

— Да-а.. А как поживает ваша замужняя дочь Уинифрид?

Морщинка между бровей Джемса стала еще глубже.

— Она мне никогда ничего не говорит. Но я знаю, что ее муженек, этот Дарти, сорит деньгами направо и налево.

— Чем он занимается?

— Маклер,— мрачно отвечал Джемс.— Но, насколько я могу судить, он ровно ничего не делает, только шляется на скачки и в разные веселые места. Не будет из него толку.

Он остановился на краю тротуара, где переход был только что подметен после недавнего дождя, и, достав пенни из брючного кармана, подал его подметальщику, который обмерил его длинную фигуру круглыми пронизательными глазами.

— Ну, прощайте, Джемс. Я иду в клуб. Кланяйтесь от меня Эмили.

Джемс Форсайт кивнул и зашагал, как аист, по узкому переходу. Энди Трэкуэр! Ничего, еще молодцом! Живчик! Но уж эта его жена — надо же было придумать— в его годы жениться во второй раз! Как водится: седина в бороду, а бес в ребро. Проезжавшая извозчичья карета загородила ему дорогу, он машинально поднял зонтик — никогда не смотрят, куда едут!

Переходя площадь Сент-Джемс, он предавался мрачным размышлениям: эти новые клубы — вон какие домины! — и всюду теперь заводят асфальтовые мостовые. Ну, не знаю! Лондон скоро станет совсем непохож на то, чем был раньше,— и лошади только и делают, что

¹ Один из четырех бронзовых львов работы Лендсира у подножия памятника Нельсону на Трафальгарской площади.

оскользаются на этом асфальте! Он свернул к Джобсону. Три часа! Как раз к началу. А Смелтер, наверно, оставил после себя кругленькое состояние!

Поднявшись по ступенькам, он прошел через вестибюль в аукционный зал. Аукцион уже начался, но до «собственности Уильяма Смелтера, эсквайра» еще не добрались.

Оседлав нос черепаховым пенсне, Джемс углубился в каталог. После покупки Тернера — а кто говорит, что это вовсе и не Тернер — сплошь такелаж и утопающие — Джемс больше не покупал картин, а над лестницей было на стене пустое место. Довольно-таки широкое, а свет там слабый, и Джемс часто смотрел на эту стену и думал, что она выглядит очень голо. Если бы нашлось что-нибудь не слишком дорогое, можно бы об этом подумать. Гм! Вот он, Бронзино: «Амур и Пискея», которой Смелтер так гордился, — «обнаженные фигуры» — ну, у нас на Парк-Лейн обнаженные фигуры не к месту. Он продолжал просматривать каталог: «Клод Лоррен», «Босбем», «Корнелий ван Вос», «Снайдерс». Ага, Снайдерс! Натюрморты — утки и гуси, зайцы, артишоки, лук, деревянные тарелки, устрицы, виноград, индейки, груши, а под всем этим спящие борзые, такие тощие, как будто их никогда не кормили досыта. № 17, «М. Гондекутер. Домашняя птица. 11 футов на 6.» Ого! Вот это размер! Он мысленно сделал три шага внутрь картины и три шага обратно. «Гондекутер». У брата Джолиона висит один в бильярдной на Стэнхоп-Гейт — тоже домашняя птица, — но не такой огромный. «Снайдерс». «Ари Шеффер» — ну, это что-нибудь малокровное, можно поручиться! «Роза Бонер», «Снайдерс».

Он сел сбоку, у стены, и замечтался — у Джемса это всегда было серьезное дело, неразрывно связанное с помещением капитала. Сомс теперь уже полноправный компаньон в фирме — что ж, мальчик подает надежды — сумел привлечь новых клиентов. А этот дом на Брайанстон-сквер — срок аренды кончается в сентябре — при пересдаче надо сотню накинуть, принимая в расчет те усовершенствования, что сделал прежний квартирант. К следующему кварталу очистится тысячки две, надо бы вложить в ценные бумаги. Только вот в какие? Кэптаунские Медные — ну, не знаю! —

Николас советует Мидлендские. А этот молодчик, Дарти, все пристаёт с Аргентинскими — нет уж, извините, до них я и щипцами не дотронусь! Подавшись вперед, опираясь скрещенными руками на ручку зонтика, он сидел, вперив взор в застекленную крышу, словно ожидая оттуда некоей благой вести, и его гладко выбритые губы между седеющих бакенбард чувственно налились, как бы уже смакуя дивиденды.

— Коллекция Уильяма Смелтера, эсквайра, с Рассел-сквер.

Ну, теперь пойдет болтовня! Как полагается. «Известный коллекционер», «шедевры голландской и французской школы», «редкий случай», «знаток» — чего только не нагородят! Вот уж нашли знатока — Смелтер покупал свои картины на ярды!

— Номер первый: Бронзино — «Амур и Психея». Леди и джентльмены, какую мы назначим исходную цену для этой замечательной картины, доподлинного шедевра итальянской школы?

Джемс иронически хмыкнул. Тоже знаток — со своим «Амуrom и Пискеей»!

К его удивлению, аукцион пошел живо, и верхняя губа Джемса начала вытягиваться, как всегда, когда разгорался спор о ценах. Наконец, раздались три удара молотком, и Бронзино убрали. Вместо него поставили Снайдерса. Джемс безучастно глядел, как продавали картины одну за другой. В комнате было жарко, его клонило в сон. И зачем только он пришел? Лучше было бы подремать в клубе или прокатиться по парку с Эмили.

— Как? Нет желающих на Гондекутера? Этот замечательный большой шедевр?

Джемс уставился на огромную, водруженную на мольберт картину; с обоих концов ее поддерживали служители. Полным-полно кур и перьев, плавающих в крохотном прудике, а большой белый петух поглядывает на воду, как будто собрался купаться. Все в темных желтоватых тонах, только петух посветлее.

— Ну же, господа! Знаменитый художник, несравненный изобразитель домашней птицы. Скажем, пятьдесят фунтов? Сорок? Кто даст сорок фунтов? Это же все равно что даром. Ну хорошо, тридцать, для начала.

Посмотрите на этого петуха! Мастерская кисть! Ну же! Предлагайте цену. Я приму любую.

— Пять фунтов,—сказал Джемс, заслонив рот ладонью так, чтобы никому, кроме аукциониста, не было понятно, откуда идет голос.

— Пять фунтов — за это оригинальное произведение величайшего живописателя домашней птицы! Вы сказали, десять фунтов, сэр? Идет за десять фунтов!

— Пятнадцать,—пробурчал Джемс.

— Двадцать.

— Двадцать пять,—сказал Джемс. Он решил не давать больше тридцати.

— Идет за двадцать пять фунтов — одна рама дорожке стоит! Кто сказал тридцать?

Но никто не говорил тридцать — и картину присудили Джемсу. У него даже рот слегка разинулся. Он все не собирался ее покупать — но ведь такая дешевка! — это размер всех отпугнул; Джолион заплатил сто сорок за своего Гондекутера. Ну что ж, как раз прикроет пустое место над лестницей. Джемс подождал, пока продали еще две картины. Затем, оставив свою карточку и указания насчет отправки Гондекутера, пошел пешком по Сент-Джемс-стрит и дальше, домой.

Он застал Эмили в ту минуту, когда она с Рэчел и Сисили садилась в ландо. Но сопровождать их он отказался: побаивался, как бы не стали расспрашивать, где он был и что делал. Войдя в опустевший дом, он сказал Уормсону, что неважно себя чувствует — печень пошаливает,— пусть подадут ему чашку чая и булочку, ничего больше. На лестнице он постоял немного, глядя на голую стену. Вот повесят сюда Гондекутера, она уже и не будет такая голая. Что еще Сомс скажет: после заграничной поездки мальчик стал интересоваться картинами. Ладно, во всяком случае, он заплатил за нее ниже рыночной стоимости. И, пройдя в гостиную, Джемс выпил свой китайский чай, крепкий, со сливками, и съел две булочки. Если завтра не полегчает, надо будет позвать Дэша, пусть посмотрит.

На следующее утро, уходя в контору, он сказал Уормсону:

— Сегодня привезут картину. Возьмите себе в помощь Хента и Томаса — повесить ее надо вот здесь над

лестницей, на самой середине. Лучше всего, когда миссис Форсайт не будет дома. Вносят пусть с черного хода — она большая, 11 футов на 6. И поосторожней — не поцарапайте краску.

Когда он вернулся, на этот раз довольно поздно, Гондекутер уже висел. Он как раз заполнил пустое место, но так как свет был слабый, а картина темная, то на ней ничего нельзя было разглядеть. Тем не менее Джемс в общем остался доволен.

Эмили сидела в гостиной.

— Джемс, — обратилась она к мужу, когда он вошел, — скажи, пожалуйста, что это за гигантская картина у нас на лестнице?

— Это? — сказал Джемс. — Это Гондекутер. Из Смелтеровской коллекции. Купил на аукционе по дешевке. У Джолиона на Стэнхоп-Гейт тоже есть Гондекутер.

— В жизни не видала такой громадины!

— Что? — сказал Джемс. — Она очень хорошо заполняет пустое место. У нас на лестнице, конечно, ничего не видать, а это прекрасная картина — мастерское изображение домашней птицы.

— От нее на лестнице стало еще темнее. Не знаю уж, что Сомс на это скажет. Право, Джемс, не ходил бы ты один на аукционы, покупаешь бог знает что...

— Надеюсь, я могу свои деньги тратить как мне нравится? — сказал Джемс. — Гондекутер — известное имя.

— Ох, Джемс, — сказала Эмили, — в твои годы... Ну хорошо, хорошо! Только не волнуйся. Садись, пей чай.

Джемс сел, бормоча себе под нос. Женщины! До чего несправедливы! А в ценностях разбираются не лучше кошек!

Эмили промолчала. Она никогда не теряла самообладания — обходительная и светская.

Позже пришла Уинифрид с Монтегью Дарти, так что к обеду вся семья была в сборе: Сисили с локонами по плечам, Рэчел в высокой прическе — в этом сезоне она начала «выезжать», Сомс, только что расставшийся со своими бачками, вышедшими из моды к концу семидесятых годов, отчего он казался еще бледнее и сухоощавее. Уинифрид, в которой уже замечались признаки

«интересного положения» — в связи с надеждами на близкое появление маленького Дарти,— не сводила несколько настороженного взгляда с «Монти», а тот, плотный, широкоплечий, напoмаженный, типичный «красавец мужчина», сидел с самодовольным выражением на смугловато-бледном лице и большой бриллиантовой запонкой в ослепительном пластроне рубашки.

Она первая заговорила о Гондекутере.

— Папочка, милый, что это вам вздумалось купить такую огромную картину?

Джемс вскинул на нее глаза и пробурчал с набитым ртом:

— Огромную! Она как раз заполнила пустое место.

Ему показалось в эту минуту, что у его домашних какие-то очень странные лица.

— Прекрасная картина, и размер хороший!— Реплика исходила от Дарти.

«Гм! — подумал Джемс.— Чего ему от меня нужно? Денег?»

— Очень уж желтая,— пожаловалась Рэчел.

— Ты-то что понимаешь в картинах?

— Понимаю, во всяком случае, что мне нравится, а что нет.

Джемс покосился на сына, но Сомс смотрел в тарелку.

— Это большая ценность, — отрывисто сказал Джемс.— Там перья изумительно написаны.

На том разговор кончился, так как никто не хотел обижать папочку, но наверху, в гостиной, после того как Эмили и три ее дочери, поднимаясь по лестнице, прошли вдоль всей картины, обсуждение приняло более сживленный характер.

— Нет, в самом деле!.. Уж папа всегда! Такая громадина, уродина — даже слова не подберешь, как ее назвать! И еще куры — кому интересно смотреть на кур, даже если бы их можно было разглядеть! Но ведь папа известно как рассуждает: раз выгодно, так уж, значит, и хорошо!

— Сисили,— сказала Эмили,— не будь непочтительной!

— Но это же правда, мама. Все старые Форсайты такие.

Эмили, втайне соглашаясь, все же оборвала ее:

— Тсс!

Она всегда защищала Джемса в его отсутствие. Да и остальные тоже, кроме как между собой.

— Сомс считает ее ужасной,— сказала Рэчел.— Надеюсь, он скажет об этом папе.

— Ничего подобного он не скажет,— отрезала Эмили.— Или уж ваш отец не имеет права делать что хочет в своем доме? Вы, дети, становитесь чересчур дерзки.

— Мама, да вы же сами чудно знаете, что этот Гондекутер — просто дикое старье!

— Не люблю, когда ты так говоришь, Сисили,— «чудно», «дикое»!

— Почему? В школе все так говорят.

— Это верно, мама,— вмешалась Уинифрид,— сейчас так говорят. Самые новые словечки!

Эмили примолкла. Это определение — «самое новое» — всегда ее обескураживало. Она была женщина с характером, но и ей не хотелось отставать от века.

Рэчел растворила дверь.

— Слушайте! — сказала она.

Снизу доносилось какое-то бормотанье: Джемс на лестнице восхвалял Гондекутера.

— Этот петух,— говорил он,— великолепен. А посмотрите на эти плавающие перья! Думаете, сейчас сумели бы так написать? Ваш дядя Джолион сто сорок фунтов заплатил за своего Гондекутера, а мне этот достался за двадцать пять.

— Что я вам говорила? — прошептала Сисили.— Выгодная покупка! Ненавижу выгодные покупки — всегда какой-нибудь хлам, только место занимает. Вроде этого Тернера.

— Тсс! — шикнула на нее Уинифрид. Она была уже не так молода, как Сисили, и временами ей хотелось, чтобы «Монти» проявлял больше интереса к своей выгоде, чего до сих пор в нем не наблюдалось.— Я сама люблю покупать по дешевке. Знаешь по крайней мере, что получил что-то за свои деньги.

— А я предпочитаю деньги,— сказала Сисили.— Дали бы мне, чем выбрасывать!

— Не говори глупостей,— остановила ее Эмили.— Иди-ка сыгрой свою пьесу. Отец это любит.

Вошли Джемс и Дарти; Сомс прошел прямо к себе в комнату, где он работал по вечерам.

Сисили села за рояль. Она была дома, потому что в ее школе на Хэм Коммон вспыхнула эпидемия свинки, и эту пьесу, состоявшую главным образом из стремительных пассажей вверх и вниз по клавиатуре, она разучивала для школьного концерта в конце семестра. Джемс всегда просил ее сыграть, отчасти потому, что это было полезно для Сисили, а отчасти потому, что это было полезно для его пищеварения. Он сел у камина и, укрывшись между своих бакенбард, отвратил взор от всех одушевленных предметов. К несчастью, ему никогда не удавалось заснуть после обеда, и мысли жужжали у него в голове, как пчелы. Сомс сказал, что сейчас вовсе нет спроса на большие картины и очень мало — на картины голландской школы, однако и он согласился, что картина куплена дешево, гораздо ниже рыночной цены — все-таки Гсндекутер, одно имя уже стоит денег. Сисили заиграла; Джемс продолжал свои размышления. Он даже не знал, доволен ли он, что купил эту картину. Никто ее не одобрил, только Дарти, единственный человек, без чьего одобрения он вполне мог обойтись. Сказать, что Джемс сознавал происходившую в его время эволюцию взглядов, значило бы приписать ему философскую чуткость, несовместимую с его воспитанием и возрастом, но у него возникло смутное и неловкое ощущение, что выгодная покупка сейчас уже не такая бесспорная вещь, как раньше. И пока пальцы Сисили бегали по клавишам, он мысленно повторял — не знаю, не знаю, не могу сказать...

— Вы, пожалуй, скажете, — произнес он вдруг, когда Сисили закрыла рояль, — что и эти дрезденские вазы вам не нравятся?

Никто не понял, кому был адресован этот вопрос и чем вызван, поэтому никто не ответил.

— Я их купил у Джобсона в 67 году, а теперь они стоят втрое дороже, чем я заплатил.

На этот раз ответила Рэчел:

— А вам самому, папа, они нравятся?

— Мне? При чем тут это? Они настоящие и стоят кучу денег.

— Так ты бы продал их, Джемс,— сказала Эмили.— Они сейчас не в моде.

— Не в моде? Они будут стоить еще дороже к тому времени, как я умру.

— Выгодная покупка,— сказала про себя Сисили.

— Что, что? — спросил Джемс, у которого слух иногда вдруг оказывался неожиданно острым.

— Я сказала: «Выгодная покупка». Разве это не так, папа?

— Конечно, выгодная.— По тону его было слышно, что будь это не так, он бы их не купил.— Вы, молодежь, ничего не смыслите в деньгах, только тратить умеете.— И он покосился на зятя, который прилежно разглядывал свои ногти.

Эмили, отчасти чтобы умиротворить Джемса, который, как она видела, уже разволновался, отчасти потому, что сама любила карты, велела Сисили раздвинуть ломберный столик и сказала благодушно:

— Иди к нам, Джемс, сыграем в Нап¹.

Они уже довольно долго сидели за зеленым столиком, играя по фартингу и время от времени прерывая игру взрывами смеха, как вдруг Джемс сказал:

— Иду на всё! — В этой игре на него всегда нападала своего рода удаля. При ставке в фартинг он мог выказать себя отчаянным малым за очень небольшие деньги. Он быстро проиграл тринадцать шиллингов, но это не умерило его пыла.

Наконец он встал от стола в прекрасном настроении и объявил, что проигрался в лоск.

— Не знаю,— сказал он,— я почему-то всегда проигрываю.

Гондекутер и все порожденные им тревоги улетучились у него из головы.

Когда Уинифрид и Дарти ушли — последний, так и не затронув вопроса о финансах,— Джемс, почти совсем утешенный, отправился с Эмили в спальню и вскоре уже похрапывал.

Его разбудил оглушительный удар и долгое прерывистое гроыхание, подобное раскатам грома. Звуки шли откуда-то справа.

¹ Сокращенное «Наполеон» — карточная игра.

— Джемс! Что это? — раздался испуганный голос Эмили.

— Что? — сказал Джемс. — Где? Куда ты дела мои туфли?

— Наверно, молния ударила. Ради бога, Джемс, будь осторожнее!

Ибо Джемс уже стоял в ночной рубашке возле кровати, озаренный слабым светом ночника, длинный, как аист.

Он шумно понюхал воздух.

— Ты не чувствуешь, паленым не пахнет?

— Нет, — сказала Эмили.

— Дай мне свечу.

— Накинь шаль, Джемс. Это не могут быть воры — они бы так не шумели.

— Не знаю, — пробормотал Джемс. — Я спал.

Он взял у Эмили свечу и, шлепая туфлями, направился к двери.

— Что там такое? — спросил он, выйдя на площадку.

В смешанном свете свечей и ночника его глазам предстало несколько белых фигур — Рэчел, Сисили и горничная Фифин, все в ночных рубашках. Сомс, тоже в ночной рубашке, стоял на верхней ступеньке, а в самом низу маячил этот растяпа Уормсон.

Голос Сомса, ровный и бесстрастный, проговорил:

— Это Гондекутер.

И верно — огромная картина лежала плашмя у подножия лестницы. Джемс, держа свечу над головой, сошел по ступенькам и остановился, глядя на поверженного Гондекутера. Все молчали, только Фифин сокрушенно пролепетала:

— Ла ла!

На Сисили напал вдруг неудержимый смех, и она убежала.

Тогда Сомс сказал вниз, в темный колодец, слабо озаренный свечой Джемса:

— Не беспокойтесь, отец: ничего с ней не случилось, она ведь была незастекленная.

Джемс не ответил. Со свечой в опущенной руке он прошел обратно по лестнице и молча удалился в спальню.

— Что там случилось, Джемс? — спросила Эмили. Она так и не вставала с постели.

— Картина обрушилась — что значит сам не последил. Этот растяпа Уормсон! Где у тебя одеколон?

Он вытерся одеколоном и лег. Некоторое время он молча лежал на спине, ожидая комментариев Эмили. Но она только спросила:

— Голова у тебя не разболелась, Джемс?

— Нет, — сказал Джемс. Она вскоре заснула, но он еще долго лежал без сна, глядя во все глаза на ночник, как будто ждал, что Гондекутер сыграет с ним еще какую-нибудь штуку — и это после того, как он купил его и дал ему приют у себя в доме!

Утром, сходя вниз к завтраку, он прошел мимо картины — ее уже подняли, и она косо стояла на ступеньках — один край выше, другой ниже, прислоненная к стене. Белый петух по-прежнему имел такой вид, словно готовился выкупаться. Перья плавали по воде, изогнутые, как ладьи. Джемс прошел в столовую.

Все уже сидели за завтраком, ели яичницу с ветчиной и были подозрительно молчаливы.

Джемс положил себе яичницы и сел.

— Что ты теперь думаешь с ней делать, Джемс? — спросила Эмили.

— Делать с ней? Конечно, повесить обратно.

— Да что вы, папа! — сказала Рэчел. — Я сегодня ночью так напугалась!

— Стена не выдержит, — сказал Сомс.

— Что? Стена крепкая.

— Картина, правда, чересчур велика, — сказала Эмили.

— И никому из нас она не нравится, — вставила Сисили. — Такое чудище, да еще желтая-прежелтая!

— Чудище! Скажешь тоже! — буркнул Джемс и замолчал. Потом вдруг выпалил, брызгая слюной: — А что же я, по-вашему, должен с ней сделать?

— Отослать обратно; пусть опять продадут.

— Я ничего за нее не выручу.

— Но вы же говорили, папа, что это выгодная покупка, — сказала Сисили.

— Конечно, выгодная!

Снова наступило молчание. Джемс искоса поглядел

на сына; что-то жалкое было в этом взгляде, как будто он взывал о помощи. Но все внимание Сомса было сосредоточено на яичнице.

— Вели убрать ее в кладовую, Джемс,— кротко посоветовала Эмили.

Джемс покраснел между бакенбардами, и рот у него приоткрылся. Он опять посмотрел на сына, но Сомс продолжал есть. Джемс взялся за чашку. Что-то происходило в нем, чего он не умел выразить. Как будто его спросили: «Когда выгода бывает невыгодной?» — и он не знал ответа, а они знали. Времена изменились, что-то новое носится в воздухе. Уже нельзя купить вещь только из тех соображений, что она стоит дороже, чем за нее просят!.. Но ведь это — это конец всему! И внезапно он проворчал:

— Ладно, делайте, как хотите. Только, по-моему, это значит — выбрасывать деньги!

Когда он уехал в контору, Гондекутер совместными усилиями Уормсона, Хента и Томаса был препровожден в кладовую. Там, в чехле, чтобы сохранить лак, он простоял двадцать один год, до смерти. Джемса в 1901 году, после чего был извлечен на свет божий и снова пошел с молотка. Дали за него пять фунтов; его купил живописец, изготавливавший плакаты для птицеводческой фирмы.

КРИК ПАВЛИНА. 1883.

Бал кончился. Сомс решил пройтись. Получая в гардеробной пальто и шапокляк, он увидел себя в зеркале — белый жилет выглядит вполне прилично, но воротничок немного размяк, а края лепестков гарденин, продетой в петлицу, пожелтели. Ну и жара была в зале! И прежде чем надеть шапокляк, Сомс вытянул из-за обшлага платок и отер лицо.

По широкой, устланной красным ковром лестнице, на которой уже погасли китайские фонарики, он спустился в Иннер Темпл. Светало. Легкий ветерок с реки освежил лицо. Половина четвертого!

Наверно, никогда он не танцевал так много, как в эту ночь, — так много и так подолгу. Шесть раз с Ирэн! Шесть раз с девушками, о которых теперь он не помнит ничего. А хорошо он танцевал? Танцуя с Ирэн, он ощущал только ее близость и аромат; танцуя с другими — только то, что она кружится не с ним.

Всего четырнадцать дней и четырнадцать ночей — и он навсегда получит право ощущать ее близость, ее аромат! Они с мачехой, должно быть, уже подъезжают к дому в кэбе, в который он сам посадил их. Как Ирэн ненавидит эту женщину! Чему ж тут удивляться: ведь Сомсу достаточно хорошо известно, что своим счастьем в эти полтора года он обязан желанию «этой женщи-

ны» найти для падчерицы мужа, чтобы потом снова выйти замуж самой.

Из холла, где яркие лампы отражались в темном полированном дереве, он уходил в полутьму, и, по мере того, как он удалялся, плавные звуки вальса постепенно замирали. Глубоко вдыхая пахнувший травой воздух садов Темпля, Сомс сорвал с рук перчатки, тонкие, бледно-лиловые, с черной строчкой.

Ирэн любит танцевать! Танцевать с собственной женой — дурной тон. И из-за этого он не будет танцевать с ней? Будет, черт побери!

Пройдя мимо кадки с кустом вьющихся роз и единственного еще не погасшего китайского фонарика — последнего красочного пятна в сизом рассветном полумраке, — он миновал тусклый фонарь на углу переулка Мидл Темпл и повернул вниз, к набережной, к Игле Клеопатры. Клеопатра! Развратница! Была б она жива сейчас, с ней бы не раскланивались на Роттен-Роу, да еще судили бы за попытку к самоубийству, а вот, пожалуй, ста, обелиск в ее честь, и сама она представляется романтической фигурой, как и другие развратницы: Елена Троянская, Семирамида, Мария Стюарт — потому что... потому что она ощущала в крови то же самое, что и он! Великую страсть. Но не более великую, чем его собственная! Гм, его-то никогда не представят романтической личностью! И Сомс ухмыльнулся.

Он шел в полузабытьи, в груди росло такое ощущение, словно душа его купалась в сладком аромате шиповника. Кругом ни звука — ни топота ног, ни скрипа колес — пустынно, просторно, только трепетали листья и под робкими лучами брезжущего на горизонте солнца порозовела река. Казалось, все в мире жило одной мыслью: когда же взойдет солнце? И Сомс, одержимый своей одной мыслью, ускорил шаг. Ее окно! Конечно, в ее окне еще будет свет! И если она отдернет штору, чтобы глотнуть свежего воздуха, он сможет еще увидеть ее, сам оставаясь невидимым, прячась за фонарным столбом или в каком-нибудь подъезде... увидеть ее такой, какой он еще никогда ее не видел, какой он скоро будет видеть ее каждую ночь и каждое утро. Подстегиваемый

этой мыслью, он почти бегом ринулся мимо тускнеющих фонарей, мимо Большого Бена, мимо Вестминстерского аббатства, которое уже стало медленно, начиная с крыши, вырисовываться во всей своей громадности, по Виктория-стрит, мимо своей квартиры, к углу улицы, где жила она. Здесь он остановился, сердце колотилось. Надо быть осторожным! Она странная, она вспыльчивая... ей может не понравиться это... ей это наверняка не понравится. Он медленно двинулся по другой стороне пустынной улицы. Хватит ли у него смелости подойти к ее дому? Она, конечно, ничего не будет иметь против, если он быстро прошагает мимо. Осталось четыре дома... Ее окно — первое на третьем этаже! Он остановился около фонарного столба и стал вглядываться. Открыто... да... и штора приподнята, чтобы проветрить комнату перед сном! Осмелится ли он? Положим, что она увидит, как он украдкой наблюдает за ней, когда она думает, что она одна, что ее никто не видит. И все же, если она увидит его, разве это не будет лишним доказательством того, что только с ней его мысли, мечты, его счастье? Что она может иметь против этого? По правде говоря... он не знал и стоял, выжидая. Она должна подойти к окну и опустить штору, так как быстро светало. Если бы только она любила его так, как любит ее он, тогда действительно она не возражала бы.... она была бы рада, и их взгляды встретились бы над этой пустынной лондонской улице, такой безмолвной, что становится жутко, и никто бы не заметил, как они смотрят друг на друга. Скрытый за фонарным столбом, он стоял не шевелясь, до боли желая увидеть ее. Запахнув пальто, он прикрыл белое пятно манишки, потом снял шапку и сложил его, прижав к себе. Теперь, прильнув щекой к столбу и спрятав лицо, он мог сойти за обыкновенного заплутавшегося бездельника, за возвращающегося домой гуляку. Но он не отрывал взгляда от того продолговатого просвета, где ветерок легонько отдувал занавеску. И вдруг он вздрогнул. В окне появилась белая рука, лицо Ирэн покоилось на ладони, она смотрела поверх крыш на светлеющее небо. Вне себя от волнения, он сощурил глаза, чтобы разглядеть выражение ее лица. Но не мог... слишком далеко, она всегда была слишком далекой, она не должна... ей не следует быть та-

кой далекой. О чем она думает? О нем? О маленьких кудрявых облачках, проплывающих на восток? Об утренней прохладе? О самой себе? О чем? Слившись с фонарным столбом, он стоял тихо, как мертвый. Стоит ей увидеть утолщение на столбе, и она исчезнет. Ее шея, ее волосы, схваченные лентой, прятались в складках занавески — он видел только руку, округлую и белую, только овал лица, такого неподвижного, что даже здесь, в ста футах от нее, он затаил дыхание. А потом зачирикали воробьи, и все небо посветлело. Он увидел, как она встала, на мгновение увидел ее в ночной рубашке, увидел, как ее руки, ее длинные белые руки поднялись, и занавеска опустилась. Словно безумный, он отпрыгнул в сторону и на цыпочках побежал обратно, к Виктория-стрит. Там он повернул не в сторону своего дома, а прочь от него: рай еще не обретен! Он не сможет уснуть. Сомс быстро шагал по улице. На него уставился полицейский, мимо проехала повозка с мусором, цокот копыт могучей лошади был единственным звуком во всем городе. Сомс повернул к Хайд-парку. Этот утренний мир молчаливых улиц был непривычным и странным, каким и сам он, одержимый страстью, показался бы всем, кто видел его ежедневно и знал сдержанным, усердным, ничем не приметным горожанином. По Найтсбридж проехал, позвякивая, запоздалый кэб с парочкой, еле видной в окошке; за ним еще один и еще. Сомс шел на запад, туда, где стоял дом, в котором они с ней поселятся. Дом еще блестел свежей краской, а на стене висела доска с именем подрядчика. Ничто не сблизило его с Ирэн так, как обсуждение убранства дома, и он смотрел на этот маленький дом с чувством благодарности и каким-то благоговением. Двенадцать часов тому назад он уплатил по счету декоратора. И в этом доме он будет жить с ней... невероятно! Дом, в этом раннем освещении, был как в сне... все эти маленькие прямоугольники домов были, как в сне о его будущем, о ее будущем, неизвестном, невообразимом.

На несуетливого Сомса напал суеверный страх: он отвел взор, словно боясь, как бы не сглазить этот маленький дом, как бы он действительно не рассеялся, как сон. Он прошел мимо казарм к ограде парка и про-

должал идти на запад, страшась поворотить к дому, прежде чем окончательно устанет. Пошел пятый час, а город по-прежнему был пустынный, не похожий на людской муравейник, но именно эта пустынность приобретала для Сомса особое значение. Он чувствовал, что навсегда запомнит город, такой непохожий на тот, что он видел каждый день; и себя, такого, запомнит — как ходил по улицам наедине со своей страстью.

Сомс миновал Принсес-Гейт и повернул обратно. Как-никак, надо работать, к половине одиннадцатого быть в конторе! И улица, и парк, и дома вдруг предстали перед ним в ярком утреннем освещении. Он свернул в парк и вышел на Роу. Странно было видеть Роу без всадников, носящихся из конца в конец, без лошадей, приплясывающих, словно кошки на горячих кирпичках, без потока экипажей, без отдыхающих на скамейках людей. Кругом не было ничего, кроме деревьев и коричневой дорожки. От деревьев и травы, хотя на них еще не пала роса, пахло свежестью; и Сомс растянулся во весь рост на скамейке, подложив руки под голову, шапокляк покоился у него на груди, а взгляд был устремлен на листья, четко выделявшиеся на фоне все более светлеющего неба. Ветерок овеивал его щеки, губы и тыльную сторону рук. Первые солнечные лучи крались от ствола к стволу, птицы не пели, а переговаривались, где-то за деревьями ворковал дикий голубь. Сомс закрыл глаза, и тотчас воображение стало рисовать ему Ирэн. Вот она стоит неподвижно в платье с оборками до сверкающего пола, а сам он пишет свои инициалы в ее бальной карточке. Вот она, не снимая перчаток, прикрепляет длинными пальцами камелию, отцепившуюся от корсажа, вот он подает ей накидку... картины, бесчисленные картины, и все странные — выражение лица то оживленное, то грустное, то брезгливое; ее щека, подставленная для поцелуя; ее губы, избегающие его губ; ее глаза, глядящие на него с вопросом, на который, казалось, нет ответа; ее темные глаза, с нежностью глядящие на кошку, которая мурлычет у нее на руках; ее золотистые волосы — он никогда еще не видел, чтобы они так струились. Но скоро... скоро!.. И словно в ответ на этот безмолвный вопль, исторгнутый в распаленном

всображении, раздался крик, протяжный, не пронзительный, не резкий, но такой горький, что вся кровь прихлынула к сердцу. Он доносился откуда-то сзади снова и снова — страстный, щемящий... отчаянный утренний крик павлина; и с этим криком из каких-то глубин сознания всплыло видение, всегда преследовавшее Сомса, — она, с распущенными волосами, вся белая, растерянная, склоняется в его объятиях. Видение опалило его сладостной болью, потом потускнело и исчезло. Он открыл глаза; первая бочка с водой катила по Роу. Сомс встал и быстро зашагал под деревьями, чтобы прийти в себя.

ФОРСАЙТ ЧЕТВЕРКОЙ, 1890.

Историки, описывающие смену нравов и обычаев, совсем не касаются роли, которую сыграл в этом процессе велосипед. Однако нельзя отрицать, что это «дьявольское изобретение», как всегда называл его Суизин Форсайт после того, как один такой «пенни с фартингом»¹ перепугал его серую упряжку в Брайтоне в 1874 году, сильнее повлияло на нравы и обычаи нашего общества, чем что-либо другое со времен Карла II. При своем костоломном зарождении, казалось бы, вполне невинное в силу своего крайнего неудобства, в стадии «пенни с фартингом» еще довольно безобидное, ибо опасное для жизни и конечностей одних лишь мужчин, оно превратилось в моральный растворитель огромной силы, когда, в нынешнем своем виде, стало доступно представительницам прекрасного пола. Многие упразднилось, целиком или частично, под его влиянием: пожилые компаньонки молодых девиц, длинные и узкие юбки, тесные корсеты, прически, склонные растрепываться на ветру, черные чулки, толстые лодыжки, большие шляпы, жеманство и боязнь темноты; и многое, наоборот, утвердилось, тоже целиком или частично под его влиянием: воскресные выезды за город, крепкие нервы, крепкие

¹ Так называли в Англии одну из ранних конструкций велосипеда, в которой переднее колесо было большое, а заднее — маленькое. Фартинг — мелкая монетка, в четыре раза меньшая, чем пенни.

нсти и крепкие выражения, шаровары, наглядное знание форм и строения человеческого тела, наглядное знакомство с лесами и пастбищами, равенство полов, профессиональные занятия для женщин, короче говоря — женская эмансипация. Но для Суизина, и, возможно, именно по этим причинам, велосипед остался тем, чем он был вначале, — дьявольским изобретением. Ибо, даже независимо от досадного инцидента с серой упряжкой, Суизин, имея до шестнадцати лет перед глазами такой образец, как Принц Регент¹, и сложившись под эгидой лорда Мелборна², пивных погребков и Королевского Павильона³, в Брайтоне, до конца оставался типичным денди времен Регентства, неспособным отказаться от страсти к драгоценностям и ярким жилетам и от убеждения, что женщина — это такое приложение к жизни, от ксего требуется в первую очередь элегантность и э-э... шарм.

Вот соображения, которые надо хорошенько усвоить, прежде чем мы перейдем к рассказу о случае, вызвавшем оживленные толки на Форсайтской Бирже в 1890 году.

Зимние месяцы Суизин провел в Брайтоне, и не подлежит сомнению, что к апрелю он стал несколько желчным. За последние три года он вообще сильно сдал; незадолго до того времени, о котором идет речь, он даже расстался со своим фаэтоном и теперь ограничивал свои ежедневные прогулки ездой в карете; запряженная неизменной парой серых, она проезжала несколько раз взад-вперед вдоль берега, от того места, где кончается Хоув, до того, где начинается Кемптаун. О чем он думал во время этих прогулок, никому не известно. Возможно, что ни о чем. И даже весьма вероятно. Ибо какие могли быть темы для размышлений у такого абсолютно одинокого старика? Можно, конечно, размышлять о самом себе, но ведь и это в конце кон-

¹ Принц Регент — будущий король Георг IV (1762—1830). Был регентом в последние годы царствования своего отца Георга III, который в старости сошел с ума. Прославился как кутила и беспутник.

² Лорд Мелборн (1779—1848) — государственный деятель, премьер-министр в 1831—1841 годах.

³ Пышное здание в псевдовосточном стиле. В начале XIX века частный дом Принца Регента, позднее — концертный зал.

цов надоедает. К четырем часам он обычно возвращался в отель. Камердинер помогал ему выйти из кареты, а затем он самостоятельно проходил в холл, причем Альфонс нес за ним особенно прочную надувную подушку, на которой он всегда сидел, и клетчатый плед, которым он укутывал колени. В холле Суизин минутами стоял неподвижно, стараясь подтвердить установить подбородок и повыше поднять тяжелые веки над слезящимися от подагры глазами. Затем, не глядя, протягивал камердинеру свою пальмовую трость с золотым набалдашником и слегка растопыривал руки в светлых замшевых перчатках, показывая этим, что с него надо снять его синее, подбитое белкой и отделанное каракулем пальто. Когда все это было сделано, а перчатки и черная фетровая шляпа с квадратным верхом тоже переходили в руки камердинера, Суизин ощупывал подстриженный клинышек у себя на нижней губе, как бы удостовераясь, что это изящное украшение еще на месте.

Он имел обыкновение этот час проводить внизу, сидя всегда в одном и том же полюбившемся ему кресле, в укрытом от сквозняков уголке и выкуривать до половины одну сигару, прежде чем подняться на лифте к себе в гостиную, составлявшую часть занимаемых им апартаментов. Он сидел так неподвижно и был так глух (глухота его была всем известна), что никто с ним не заговаривал; но ему казалось, что здесь он все же как-то общается с людьми и поддерживает свою былую репутацию «Форсайта четверкой». Зажатый в подушках, он сидел, подавшись вперед и слегка расставив толстые ноги, словно все еще ехал в своей карете; поднеся сигару к уху, он тщательно вслушивался в ее протестующий под нажимом шелест, еще минуту держал ее между пухлым большим и еще более пухлым указательным пальцем — пальцы у него были желтовато-белые, как обычно у подагриков, — затем вставлял ее в рот и ждал, пока ему поднесут огонька. Выпятив грудь под черным атласным шарфом с бриллиантовой булавкой, отчего его туловище казалось одинаковой толщины от шеи до пояса, оглядывая из-под опухших век то, что тогда еще не называлось фойе, он восседал в своем уголке, словно какой-нибудь Будда в углу храма. Его широ-

кое старческое лицо, безжизненно-бледное, как это свойственно людям, давно не бывавшим на воздухе, хранило такую неподвижность, что проходившие мимо скользили по нему взглядом, как по циферблату часов. Короткие седые усики и клинышек на нижней губе, седые клочки бровей и все еще претендующий на элегантность жиденький кок над лбом, возможно, еще усиливали это сходство с циферблатом. Случалось, что кто-нибудь, чей отец или дядя в былые дни водил знакомство с Суизином, мимоходом останавливался перед ним как бы затем, чтобы проверить свои часы, и говорил:

— Здравствуйте, мистер Форсайт! — Тогда на лице Суизина появлялось масляное выражение, как у мурлыкающего кота, и он невнятно, но все еще с потугой на светскость, мямлил в ответ: — А! Здравствуйте! Что-то я в последнее время не встречаю вашего батюшку. — А так как батюшки в большинстве случаев давным-давно не было в живых, то разговор на этом кончался. Но Суизин принимал еще более важную осанку оттого, что с ним заговорили.

Когда сигара докуривалась до половины, в Суизине происходила перемена. Рука с сигарой, слегка подрагивая, отваливалась на подлокотник. Подбородок медленно оседал между широко расставленными уголками белого крахмального воротничка; припухшие веки опускались на глаза, губы легонько вздрагивали, слышалось тихое посапывание, — Суизин засыпал. И проходившие мимо смотрели на него, кто с насмешкой, кто с досадой, а кое-кто, может быть, и с состраданием, ибо Суизин даже в этом положении не утрачивал тонкости манер и не позволял себе храпеть. А потом, конечно, наступало пробуждение. Подбородок вздергивался, губы раскрывались, и весь воздух из груди, казалось, выталкивался разом в одном долгом вздохе; из-под разлепившихся век выглядывали тусклые зрачки, язык облизывал нёбо и пересохшие губы, старческое лицо принимало обиженное выражение, как у наказанного ребенка. Он брезгливо поднимал недокуренную сигару, смотрел на нее так, словно она была ему что-то должна и не собиралась платить, и, разжав пальцы, ронял ее в плевательницу. Еще некоторое время он сидел, как и раньше, а все-таки не так, как раньше, выжидая, пока кто-

нибудь из слуг пройдет настолько близко, что его можно будет окликнуть и сказать: «Эй, послушайте! Позовите моего камердинера». А когда появлялся Альфонс, он говорил ему:

«А, это вы! Я тут немножко вздремнул. А теперь пойду наверх».

Встав с его помощью из кресла, он еще добрую минуту стоял, борясь с головокружением. Потом, держась очень прямо, но припадая на ногу и тяжело опираясь на трость, он шествовал к лифту, а позади шел Альфонс с подушками. И случалось, кто-нибудь говорил вполголоса, наблюдая эту сцену: «Посмотрите, вон идет старый Форсайт. Чудной старик, правда?»

Но в тот апрельский день, о котором впоследствии было столько разговоров на Форсайтской Бирже, этот неизменный порядок был нарушен. Ибо, когда Суизин, освободившись от пальто и шляпы, уже готовился пройти в свой излюбленный уголок, он вдруг поднял трость и сказал:

— Что это? Какая-то дама сидит в моем кресле!

Действительно, это священное седалище было занято сухопарой фигуркой в довольно короткой юбке.

— Я пойду наверх! — обиженно сказал Суизин. Но когда он повернулся, фигурка встала и направилась к нему.

— Господи! — воскликнул Суизин; он узнал свою племянницу Юфимию.

Надо сказать, что эта племянница, младшая дочь его брата Николаса, всегда внушала ему антипатию. На его вкус она была слишком худа и вечно говорила не то, что следует; к тому же она взвизгивала. Он давно не видал ее — с того самого дня, когда, к своему крайнему неудовольствию, вынужден был сидеть рядом с ней на концерте, который Фрэнси устраивала для своего замуж-рышки иностранца.

— Здравствуйте, дядя, — сказала она. — Как ваше здоровье? Я была тут неподалеку и решила вас навестить.

— Подагра замучила, — сказал Суизин. — А как твой отец?

— О, как всегда. Говорит, что болен, а на самом деле всех здоровее. — И она легонько взвизгнула.

Суизин устремил на нее негодующий взгляд. Уже сердитый оттого, что она заняла его кресло, он хотел ответить: «Твой отец стоит двадцати таких, как ты!» — но вовремя вспомнил о требованиях этикета и промолвил более любезно:

— Как ты сюда попала?

— На велосипеде.

— Что? — сказал Суизин. — Ты едешь на этой пакости?

Юфимия снова взвизгнула.

— Ох! Дядя! Пакости!

— А что же они такое? — сказал Суизин. — Дьявольское изобретение! Хочешь чаю?

— Спасибо, дядя. Но вы, наверно, устали после прогулки.

— Вот еще! С чего мне уставать. Официант! Подайте нам чаю — туда, к моему креслу.

Дав ей таким образом понять, какой *faux pas*¹ она совершила, заняв его кресло, он жестом пригласил ее пройти вперед и сам пошел следом.

Возле кресла произошла заминка.

— Садись, — сказал Суизин.

Мгновение Юфимия колебалась, потом, издав слабый визг, сказала:

— Но ведь это *ваше* кресло, дядя!

— Альфонс, — сказал Суизин, — принесите еще одно кресло.

Когда второе кресло было принесено, а в собственном кресле Суизина в надлежащем порядке разложены подушки и дядя с племянницей сели, Юфимия сказала:

— Разве вы не знаете, дядя, что теперь и женщины ездят на велосипедах?

Пучок на нижней губе Суизина встопорщился.

— Женщины! — сказал он. — Вот именно! Но чтобы дама этак раскатывала!

Юфимия взвизгнула более явственно.

— Дядя! Да почему же этак?

— Верхом, одна нога с одной стороны, другая — с другой. Путаясь среди экипажей. — Его взгляд обратился к юбке Юфимии. — Показывая всем свои ноги!

¹ Бестактность (франц.).

Юфимия залилась беззвучным смехом.

— Ох! Дядя! — выговорила она наконец придушенным голосом. — Вы меня уморите!

Но в эту минуту подали чай.

— Угощайся, — отрывисто сказал Суизин. — Я этого не пью. — И, прикурив от огня, поднесенного официантом, он опять уставил круглые глаза на племянницу. Только после второй чашки Юфимия прервала молчание.

— Дядя Суизин, скажите, почему вас называют «Форсайт четверкой»? Я давно хотела вас спросить.

Глаза Суизина еще более округлились.

— А почему бы и нет?

— Так ведь «четверкой»! А вы, по-моему, всегда ездили только на паре, правда?

Суизин выпятил шею, охорашиваясь.

— Да, конечно. Но это был комплимент моему... э-э... моему стилю.

— Стилю! — повторила Юфимия. — Ох! Дядя! — И вдруг стала такая красная, что Суизин подумал, не поперхнулась ли она крошкой.

И тут его осенило — медленно, но верно утвердилась догадка: это он сам, Суизин, был причиной ее веселья! Скулы его чуть заметно побагровели, к горлу что-то подступило, что — он чувствовал — может задушить его, если он не остережется. Он весь притих, боясь пошевелинуться.

Юфимия встала.

— Мне пора, дядя. Я так рада, что вас повидала; вы чудесно выглядите. Нет, ради бога, не вставайте! И большое спасибо за чай.

Она нагнулась над ним, клюнула его в лоб и, показывая всем свои ноги, пошла к двери. Лицо у нее все еще было очень красное. И Суизину показалось, что она еще раз взвизгнула на ходу.

Секунду он сидел неподвижно, потом начал с усилием подниматься. Трости при нем не было, и не было времени позвать кого-нибудь, и он тужился, выбиваясь из сил. Выпрямился, постоял мгновение, переводя дух, затем без трости, сам не зная как, добрался до окна, выходящего на фасад. Вот она, эта племянница, эта визгунья, садится на велосипед, — вывела его, села, поехала! Прямо по мостовой, среди экипажей — работает педалями,

показывает ноги выше щиколотки — смотри, кто хочет! Ни капли женственности, ни грации, ни элегантности, ничего! Вот она, катит! И Суизин стоял, тыча толстым пальцем в стекло, словно призывая всех в свидетели этого безобразия. Силь! Силь! Она... она смеялась над ним. Ясно! Да, он всегда ездил только на паре, так ведь пара зато была лучшая во всей Англии! Он все стоял с багровыми пятнами на бледных щеках, оскорбленный до глубины души. Понимал ли он в эту минуту всю язвительность ее смеха? Понял ли он, что в этом прозвище — «Форсайт четверкой» — выразилось отношение светского общества к нему — иронический намек на то, что в своей погоне за блеском он всегда раздувал себя вдвое против того, чем был на самом деле? Уловил ли он все презрение, таившееся в этой кличке? Может быть, лишь бессознательно, но и того было довольно: яростный гнев потряс его всего, с головы до пят, до самых подошв его лаковых сапожек, которые он еще и теперь, показываясь на людях, с мукой натягивал на свои изболевшие ноги.

Ах, значит, она разъезжает на этой пакости и смеется над ним, вот как? Ну, он ей покажет. Он оттолкнулся от окна и заковылял к письменному столу. Руки у него тряслись, по белкам выпученных глаз разлилась желтизна; он взял бумагу и стал писать. На листок ложились дрожащие строчки — жалкая пародия на его былой каллиграфический почерк:

«Я, Суизин Форсайт, делаю следующую приписку к моему завещанию: в знак того, что я не одобряю манеры и поведение моей племянницы Юфимии, дочери моего брата Николаса Форсайта и его супруги Элизабет, я настоящим отменяю содержащееся в упомянутом завещании предшествующее мое распоряжение о передаче ей, Юфимии, части моего состояния. Я не оставляю ей ровно ничего».

Он остановился и перечитал написанное. Это ей будет наука! Верный своей репутации дамского угодника, Суизин завещал половину своего состояния своим трем сестрам в равных долях, а другую половину своим восьми племянницам, тоже в равных долях. Ну что ж, теперь долей будет только семь! Он позвонил в колокольчик.

— Позовите моего камердинера и скажите швейцару, чтобы тоже сюда пришел.

Альфонс и швейцар явились, когда Суизин выводил внизу листка «Подписано в присутствии...»

— Вот,— сказал он,— это приписка к моему завещанию. Я хочу, чтобы вы ее засвидетельствовали. Подпишитесь вот здесь — фамилию и занятие.

Когда они это сделали и Суизин промокнул новорожденный документ, он написал на конверте адрес, а на другом листке записку:

«Дорогой Джемс!

Посылаю тебе мое дополнительное распоряжение. Приложи его к моему завещанию и уведошь меня о получении.

Твой любящий брат
Суизин».

И, вложив все в конверт, он припечатал его своим гербом — «фазан стоящий», — каковой герб он с немалыми затратами добыл себе в Департаменте Геральдики в 1850 году.

— Возьмите это,— сказал он Альфонсу,— и отправьте. И помогите мне вернуться в мое кресло.

Устроив его в кресле, Альфонс ушел. Суизин сидел, и глаза его беспокойно блуждали.

Стиль! Друзья молодости — где они? Никого больше нет! Никто сюда не заглядывает из тех, кто знавал Суизина в дни его славы, в дни, когда у мужчин был стиль, когда женщины умели быть элегантными. А теперь — не угодно ли? — на велосипедах ездят! Ну что ж, этой молодой девице дорого обошлась ее поездка и ее смех! В шесть или семь тысяч фунтов. То-то же! Хорошо смеется тот, кто смеется последним! И, утешенный сознанием, что выступил на защиту элегантности и манер и... э-э... стиля, Суизин мало-помалу успокоился: щеки его опять стали бледными, белки менее желтыми, веки наполовину прикрыли глаза, и в этих заплывших тусклых глазах даже появилось что-то вроде задумчивости. Этот треклятый восточный ветер! Надо отдохнуть, а то и аппетита к обеду не будет...

Форсайт четверкой! Да почему бы и нет? Он мог бы и четверкой ездить, если бы захотел! Сколько угодно...

Четверкой... Его подбородок слегка осел. Четвер... Глаза закрылись, губы отдулись, пропуская тихое посапывание — он спал, все еще опираясь рукой на набалдашник трости.

В холл вошли двое молодых людей, очевидно, приехавших сюда на воскресенье. Оба в шляпах и высоких крахмальных воротничках, помахивая тросточками, они прошли недалеко от кресла, в котором отдыхал Суизин.

— Посмотри на этого старого щеголя, — тихо сказал один, и они приостановились, искоса оглядывая спящего.

— О! Джайлс! Да ведь это наш дядюшка Суизин!

— Ну? А и верно, он самый. Джесс, ты только посмотри — перстни, булавка! Волосы на помажены, сапожки лаковые! Все еще франтит, чудило старое. Не сдается!

— Да уж! Не хотел бы я дожить до таких лет. Пойдем, Джайлс.

— Упорный старик!

И «два Дромио», как их прозвали, двинулись дальше, покачивая тросточками, горделиво подняв свои худые голодные лица над крахмальными воротничками.

Но бледные старческие губы Суизина между седыми усиками и седым пучком на подбородке по-прежнему то надувались, то опадали, то надувались, то опадали. Он ничего не слышал.

СОМС И АНГЛИЯ, 1914—1918.

1

В тот день в 1914 году, когда весь мир взволновали сараевские убийства, Сомс Форсайт ехал в такси по Хэймаркету, придерживая на колене картину Якоба Мариса, только что купленную у Думетриуса. Он был доволен исходом сильно затянувшегося поединка. В последнюю минуту Думетриус вдруг пошел на его условия, чем немало удивил Сомса.

Причина такой уступчивости стала ему ясна в тот же вечер на Грин-стрит, когда он развернул вечернюю газету: «Не исключена возможность, что это трагическое происшествие потрясет до основания всю Европу. Страшные последствия, которыми чревато это убийство, буквально ошеломляют». Вот и Думетриуса они, видно, ошеломили. Сразу спасовал. Сомс отлично знал, как капризен спрос на предметы, ценность которых меняется в зависимости от душевного спокойствия людей и наплыва туристов из Америки. Страшные последствия! Он отложил газету и стал размышлять. Нет! Этот Думетриус — просто паникер. Одним эрцгерцогом больше, одним меньше, — не так уж это важно, они и без того вечно попадают в газеты. Интересно, что скажет завтра по этому поводу «Таймс», но, вероятно, все окажется бурей в стакане воды. Европейские дела, надо заметить, мало интересовали Сомса. Слова «волнения на Балканах»

вошли в поговорку; а если что-нибудь входит в поговорку — значит, за этим ничего нет.

«Таймс» он прочел на следующий день, когда вез своего Якоба Мариса домой в Мейплдерхем. Передовые, как водится, негодующе осуждали убийство, но во всей газете Сомс не нашел ничего, что помешало бы ему отправиться на рыбную ловлю.

И весь тот месяц, даже после австрийского ультиматума Сербии, Сомс, как и 99 процентов его соотечественников, решительно не понимал, «из-за чего подняли такую шумиху». Вообразить, что это может как-то коснуться Англии, мог только помешанный. Сомс ни разу даже не остановился на этой мысли всерьез: он был в пленках, когда кончилась Крымская кампания, и привык считать, что Европе, пожалуй, следует иногда давать советы, но не более того. К тому же у Флер как раз начались каникулы, и он подумывал о том, чтобы купить ей лошадку: ей скоро тринадцать лет, пора обучить ее и этому никчемному, в сущности, искусству — верховой езде. А если уж непременно нужно о чем-то беспокоиться, так разве мало беспокойства доставляет Ирландия? Первое смутное предчувствие огромной беды заронила в нем Аннет, теперь, к тридцати пяти годам, ставшая настоящей красавицей. Она не читала английских газет, но часто получала письма из Франции. 28 июля она сказала Сомсу:

— Сомс, скоро будет война — эти немцы совсем взбесились.

— Война? Из-за такого пустяка? Вздор, — проворчал Сомс.

— Ах, у тебя совсем нет воображения, Сомс. Война непременно будет, и моей бедной родине придется воевать за Россию. А вы, англичане, что будете делать?

— Делать? Да ничего, конечно. Если вы с великого ума полезете воевать, так мы-то тут при чем?

— Мы надеемся на вашу помощь, — сказала Аннет. — Но разве на англичан можно положиться? Вы всегда выжидаете, всегда смотрите, куда ветер дует.

— Какое нам до всего этого дело? — с досадой возразил Сомс.

— А вот увидишь, какое, когда немцы возьмут Кале.

— Я думал, вы, французы, считаете себя непобедимыми.

Но он встал и вышел из комнаты.

И в тот вечер даже Флер заметила, что он не обращает на нее внимания. Всю субботу и воскресенье он не находил себе места. В воскресенье разнесся слух, что Германия объявила войну России. Сомс решил, что это газетная утка; но полночи он провел без сна, а в понедельник утром, прочтя о том же в «Таймсе», первым поездом поехал в город. День был неприсутственный, и он направился в свой клуб в Сити — единственное место, где была надежда что-нибудь узнать. Оказалось, что многие явились туда с той же целью, и среди них — один из компаньонов обслуживавшей Сомса маклерской конторы «Грин и Грининг», или, как их чаще называли, «Врин и Врининг». Сомс изложил ему свои пожелания относительно продажи кое-каких ценных бумаг. Маклер — это оказался «Врин» — искоса поглядел на него.

— Ничего не выйдет, мистер Форсайт. Биржа, говорят, несколько дней будет закрыта.

— Закрыта? — переспросил Сомс. — Вы что, хотите сказать, что они прекратят операции, даже если...

— Ничего другого не остается, иначе акции сразу слетят до нуля. И так уже начинается паника.

— Паника! — повторил Сомс, грозно глядя на маклера («Так я тебе и поверил!»). — Считайте, что не получали от меня распоряжений; ничего я не буду продавать.

Не подозревая, что выразил этими словами не только свое личное решение, он встал и отошел к окну. На улице царила тревога. Газетчики выкрикивали: «Германия предъявила ультиматум Бельгии!» Сомс смотрел вниз, разглядывал лица. Это было не в его привычках, но сейчас он поймал себя на этом занятии. Все, как сговорившись, озабоченно хмурятся. Ну и дела! Дома, на реке, все это как-то не доходило до сознания. И вдруг его потянуло взглянуть на телеграфную денту.

Вокруг аппарата толпились какие-то незнакомые люди, и Сомс, который терпеть не мог делать то же, что и другие, а тем более дожидаться такой возможности, прошел в курительную и уселся в кресло. В клубе он бывал очень редко и теперь просто не представлял себе, как заговорить с незнакомыми ему членами, так что ему оста-

валось только прислушиваться к их разговорам. Но и это было достаточно тревожно. Те трое или четверо, чьи слова он мог расслышать, были, казалось, обеспокоены лишь одним: а вдруг «это чертово правительство окажется не на высоте». Сомс все сильнее напрягал слух. Никогда еще за такое короткое время он не слышал столько ругани по адресу радикалов и рабочих. Слова «изменники» и «политиканы» повторялись снова и снова, как некий рефрен. Хотя в общих чертах высказываемые мнения, пожалуй, и совпадали с его собственными, все, что было в нем сдержанного, размеренного и расчетливого, глубоко возмущалось. Они что же, воображают, что война — это увеселительная прогулка?

— Если мы сейчас не выступим. — сказал один из собеседников, — мы никогда не сможем смотреть людям в глаза.

Сомс громко фыркнул. Почему? Непонятно. Германия и Австрия против Франции и России — это пожалуйста, если уж им так хочется валять дурака. В старину в Европе всегда шла война. А теперь, когда у них такие огромные армии, удивительно еще, как они давно не сцепились. Но Англии-то какой смысл не вводить воинскую повинность и содержать большой военный флот, если этим все равно не убережешься от войны? Вот и эти краснобаи — на самом деле они ведь только и думают, что о своих дивидендах. А что это им даст? Если Англия очертя голову вступит в войну, никаких дивидендов вообще не будет. Война, а? Все существо человека, в течение шестидесяти лет принимавшего мирное состояние Англии как нечто непреложное, восставало против такой ужасающей перспективы. По какому праву русские — да если на то пошло, и французы — рассчитывают, что Англия будет таскать для них каштаны из огня? Ну, а немцы? Кайзер у них фанфарон, только и знает, что бряцать саблей да бахвалиться, но все-таки их легче понять, чем русских или французов. Что касается Австрии, смешно и подумать, что с ней можно воевать.

— Альберт обратился за помощью к великим державам, — сказал кто-то.

Альберт! Это бельгийский король. Так он, значит, обратился за помощью? Бельгия! А разве ей не даны га-

рантии нейтралитета, так же, как Швейцарии? Не сделают же немцы такую глупость... Мы живем в цивилизованную эпоху — договоры и все такое... Сомс поднялся. Что толку слушать этих джингоистов. Надо пойти позавтракать.

Но есть ему совсем не хотелось — очень было жарко. Может, и на события в Европе повлияла жара? А что, очень просто. Посадить этих императоров и генералов на лед, они бы живо притихли. Он допивал стакан ячменного отвара, когда официант сказал члену клуба, сидевшему за соседним столиком:

— Так я слышал, сэр.

— Боже милостивый! — охнул тот, вскакивая с места. Сомс забыл о приличиях.

— Что вы слышали?

— Немцы вторглись в Бельгию, сэр.

Сомс поставил стакан на столик.

— Кто это вам сказал?

— Передали по телеграфу, сэр.

Сомс издал горлом звук такой низкий, что, казалось, он возник где-то в глубине его штиблет. Нужно подумать. Но думать здесь, в клубе, нет никакой возможности.

— Дайте счет, — сказал он.

Уплатив по счету, он, наперекор клубным правилам и долголетней привычке, добавил шиллинг на чай: у него было смутное чувство, что он чем-то особенно обязан этому лакею. И тут ему захотелось домой; он доехал до вокзала на такси, а в поезде всю дорогу то читал вечернюю газету, то невидящим взглядом смотрел в окно.

Дома он ничего не сказал — никому ничего не сказал о том, что узнал в клубе, — его целиком поглотил неслышный и мучительный процесс внутреннего приспособления. Сейчас этот Грей¹ — серьезный человек, самый из них порядочный, — должно быть, уже начал свою речь в палате общин. Что он им там говорит? И как они принимают его слова? Усевшись в свою лодку, Сомс прислушивался к воркованью лесных горлиц в зеленом покое безоблачного дня. Ему хотелось побыть одному. Англия! Говорят, английский флот в боевой готовности.

¹ Э д в а р д Г р е й — министр иностранных дел в 1905—1916 гг.

Дальше этого его мысль отказывалась проникать. Близость воды почему-то успокаивала его, словно река могла донести его веру в английский флот до самого моря, туда, где качался на волнах этот флот — гордость и защита Англии. Он свесил руку за борт, и зеленоватая вода побежала у него между пальцами. Смотри-ка! Вон зимородок — ярко-синяя вспышка в тростниках. Сомс что-то давно его не видел. Не хотел бы он быть на месте этого Грея. Говорят, он любит птиц и рыбную ловлю. Что он им там говорит под сенью Большого Бена? Он всегда был джентльменом, что же ему и сказать, как не то, что Англия сдержит свое слово? И опять из горла у Сомса вырвался звук, возникший, казалось, в самых подошвах. Под этим, в сущности, как будто и нельзя не подписаться. А дальше что? Все эти мирные луга, все семьи по всей стране, курс ценных бумаг — все пойдет прахом! А старому дяде Тимоти девяносто четыре года. Нужно распорядиться, чтобы они там помалкивали. К счастью, после смерти тети Эстер в доме совсем не бывало газет; а когда Тимоти в 1910 году прочел про палату лордов¹, он так расстроился, что и «Таймс» перестал выписывать.

«А мои картины!» — подумал Сомс. Да, и гувернантка у Флер — немка: по-французски Флер с раннего детства говорила с матерью. Скорее всего, Аннет захочет ее уволить. И куда ей тогда деваться? Если будет война, никто не захочет взять в дом немку. Пролетела стрекоза. Сомс проследил за ней взглядом, чувствуя глубоко в душе обиду и боль. Такое замечательное лето — теплое, ясное, так нет же, чем бы радоваться, заварили во всем мире эту чертову кашу. Ведь это... это может бог знать до чего дойти! Он встал в лодке и, работая шестом, медленно переправился на другой берег. Стала видна церковь. Сам он никогда не ходил в церковь, но полагал, что люди что-то в этом находят. А вот теперь начнут по всей Европе палить друг в друга из пушек. Что скажут тогда священники? А вероятно, ничего не скажут, чудной они народ. Семь часов! В палате, должно быть, все уже кончилось. И он стал медленно переправляться обратно. Его обволакивали запахи — пахло цветущими ли-

¹ В 1910 году было ограничено право палаты лордов налагать вето на законопроекты, принятые палатой общин.

пами и таволгой, шиповником и жимолостью, да и травой, отдающей дневную жару. Не хотелось уходить от воды, но сырость, сырость!

Матери тех юношей, что там, в Европе, уходят на войну... совсем мальчишки, новобранцы — в России и в Австрии, в Германии и во Франции... и ничего-то они в этом не понимают, и на все им наплевать. Ну и дела! А здесь, конечно, многие пойдут добровольцами, если... если... Только трудно себе представить, какую пользу может принести Англия, кроме как на море.

Он вылез из лодки и медленно пошел мимо дома к воротам. Жара спала, свет померк, проглянули звезды, воздух пахивал пылью. Сомс стоял у ворот, точно пеликан, который ждет сам не зная чего. Со стороны Рэдинга застрекотал мотоцикл. Сидевший за рулем мужчина в пыльном комбинезоне крикнул Сомсу: «Парламент! Вступаем в войну!» — и прострекотал дальше. Сомс вытянул вперед руку жестом слепого.

Вступаем в войну? Он с утра почти ничего не ел, светили звезды, и воображение его, которое он обычно держал в узде, заработало рывками, на ощупь. Рваные, беспорядочные видения войны неслись одно за другим перед его внутренним взором, как дикие гуси над пустыней, над морем, из тьмы в другую тьму — сознание профана, и к тому же профана, мыслившего категориями мира всю свою жизнь, долгую жизнь. Надо же, чтобы такое случилось с человеком в шестьдесят лет! Могли бы подождать, пока он станет такой, как Тимоти. Тревога снедала его. Говорят, Китченер вернулся из Египта. И то хорошо. Физиономия у него свирепая, глаза глядят куда-то мимо тебя, как у льва в Зоологическом саду; но выпутаться он всегда умел. И вдруг Сомсу вспомнилось, что он перечувствовал во время «черной недели», в бурскую войну, — пустяковая была заварушка по сравнению с нынешней. Да, и есть еще старик Робертс — ну, тот, наверно, уже слишком стар.

«Но как знать, — подумал он, — может, нам еще и не придется воевать на суше. Да и немцы, может, еще одумаются, когда узнают, что Англия решила воевать. И есть Россия — у нее людей больше, чем у всех остальных, вместе взятых. Паровой каток — так ее называют, только хватит ли пару? Япония-то ее победила.

Ну что ж,— и при этой мысли он испытал престранное чувство: одновременно гордость и скорбь.— Если уж мы начнем, так будем держаться до конца». Интуитивная уверенность в этом наполнила его и страхом и глубоким удовлетворением. Надо полагать, сейчас повсюду распевают «Правь, Британия!». А что будет дальше, об этом никто не думает, не любят люди шевелить мозгами!

Звезды горели теперь в иссиня-черном небе. По всей Европе передвигаются солдаты и орудия, по всем морям несутся корабли. И эта тишина — только затишье перед бурей. Ненадолго она. Так и есть: вон уже поют где-то на дороге, наверно, пьяные. Напев, слова — все незнакомое, пошлая какая-то песенка:

Долог путь до Типперэри,
Долог путь домой...
Прощай, Пикадилли, будь здоров, Лестер-сквер,
Долог, долог путь до Типперэри,
Но сердцем я навеки там.

При чем это здесь, скажите на милость? А теперь кричат ура. Услышали великую новость на каком-нибудь празднике — простонародье! Впрочем... сегодня и это — Англия, Англия! Ну что ж, время позднее, надо идти домой.

2

Молчание — как гнет решения, принятого скорее вслепую, чем сознательно, — давило Сомса весь тот вечер и на следующий день. Он прочел речь «этого Грея» и вместе со всей страной стал ждать того, что, как он чувствовал, не может последовать: ответа на ультиматум. Немцы отведали крови — из Бельгии они ни за что не уйдут.

Во второй половине дня, не в силах дольше выносить ни собственную мрачность, ни нервное состояние Аннет, он пешком дошел до станции и уехал в город. На улицах было полно; народу, казалось, все прибывало. В клубе Знатоков он кое-как проглотил необычно поздний обед, застревавший в горле, и спустился вниз. Из своего кресла в амбразуре окна он смотрел на Сенг-Джемс-стрит и на толпу, стремившуюся мимо к жизненному центру страны. Срок ультиматума, так ему сказали, истекает в одиннадцать часов. Эта тихая комна-

та, для которой в течение целого столетия без войн подбирали мебель, обои и картины, равняясь на людей с хорошим вкусом, воплощала собою жизнь, какой он знал ее, жизнь Англии при Виктории и Эдуарде. Бурская война, а тем более другие мелкие войны — в Ашанти¹, Афганистане, Судане, заморские экспедиции, дело профессиональных солдат — не нарушали душевного покоя «знатоков». Они продолжали жить по-прежнему, принимая эти события как досадную необходимость либо как аппетитные капли к утреннему завтраку. Но то огромное, что надвигалось теперь... да что говорить, судя по сегодняшним газетам, оно даже политических противников примирило. И Сомсу вспомнились стишки Льюиса Кэррола:

Откуда ворон ни возьмись —
Большой, чернее вара.
Бойцы от страха затряслись
И вмиг забыли свару.

Ему не сиделось на месте, он вышел в холл. «Знатоки», сколько их было в клубе, собрались у телеграфного аппарата — пять-шесть человек, все незнакомые Сомсу. Он стал поодаль. Кто-то заговорил с ним. Сомса, всегда сторонившегося своих ближних, а в минуты душевного волнения и подавно, пробрала дрожь. Не может он оставаться здесь и слушать эту болтовню. Ответив как можно короче, он взял на вешалке свою шляпу и вышел. В толпе он будет один. И вместе со всеми он двинулся по Пэл-Мэл. Толпа — молчаливая, но взвинченная — делалась все гуще. По Кокспер-стрит Сомса медленно вынесло на Уайтхолл, но у начала Даунинг-стрит толпа сгустилась в сплошную массу и застыла. Осталось десять минут! Застрахованный природой и воспитанием от всякой стадности, Сомс все же заразился общим волнением. То, что он ощущал вокруг себя, было не просто стадное чувство, нет, это было что-то, составленное из глубоко личных чувств множества отдельных людей, что-то такое, для чего шум был только внешним проявлением. А шума было достаточно — сплошной гул, временами прорывавшийся резкими выкриками, но этот шум, казалось, не имел отношения к лицам людей, не вя-

¹ Бывшая английская колония в Западной Африке.

зался с ними так же, как не вязался со звездами, выжидательно мерцавшими над головой. Мужчины, женщины, всевозможного вида и звания, яблоку негде упасть, и он зажат среди них и... ничего, как будто так и надо. Все гражданская публика, мирный народ — ни одного солдата или матроса. Вот запели «Боже, храни короля». У Сомса тоже зашевелились губы; он не слышал себя и этим утешался. Он обратил взгляд к Большому Бену. Стрелки на освещенных часах, между ним и звездами, ползли с неимоверной медлительностью. Еще две минуты, а потом «оно» начнется. И во что оно выльется? Даже вообразить невозможно. Скверное дело, безумие какое-то... впутаешься в него, так потом и не выпутаешься, надо будет держаться... держаться до конца! Теперь все лица, белые при свете фонарей, были повернуты в одну сторону, из открытых ртов по-прежнему неся гимн, а потом — бумм!!! Часы пробили, и покатилося «ура». Нашли чему радоваться! «Урра-а!» Значит, началось.

Сомс пошел прочь. Неужели он тоже кричал «ура»? Он и сам не знал. Ему было немного стыдно. Разве не мог он дожждаться этого у себя на реке, непременно ему понадобилось затесаться в эту толпу, точно он мальчишка, какой-нибудь клерк или продавец. Хорошо, что никто не узнает, где он был. Как будто ему можно волноваться; как будто ему в его возрасте можно выходить из равновесия. Шестьдесят лет! Хорошо, что у него нет сына. Три племянника, хватит и этого. Вэл, правда, в Южной Африке, и нога у него не в порядке; но второй сын Уинифрид, Бенедикт, — сколько ему сейчас, тридцать? И у Сисили сын, только что поступил в Кембридж. Вся эта молодежь! Помчатся теперь очертя голову под пули! Скверное дело, одна грусть. А все почему? Да, вот именно, почему?

Он шел и шел, словно в забытии, и очутился перед отелем Риц. Тут все перемешалось. Официанты высыпали на тротуар. Уличные женщины оживленно переговаривались между собой или заговаривали с полисменами, словно сбросив с себя свою профессию. По Беркли-сквер и сравнительно тихим улицам Сомс добрался до дома Уинифрид. Она дожидалась его, одетая в строгое черное платье, — она все еще носила траур по Монтегью Дарту, что Сомс считал совершенно излишним. Ему-то

в качестве доверенного лица пришлось узнать подлинную историю этой французской лестницы, хотя бы для того, чтобы утаить ее от остального мира.

— Говорят, война объявлена, Сомс. Такое облегчение!

— Хорошенькое облегчение!

— Ну, ты меня понимаешь. Мало ли что могли натворить эти радикалы!

— Война обойдется нам в сотни и сотни миллионов. Неизвестно, когда она кончится. Немцы не шутка.

— Что ты, Сомс, когда против них Россия и мы? Да и Франция, говорят, сейчас очень сильна.

— Сказать можно что угодно,— проворчал Сомс.

— Но ты ведь доволен?

— Доволен, что мы не подвели, это да. Но тут всем достанется. Где твой Бенедикт?

Уинифрид быстро подняла голову.

— О,— сказала она.— Но ведь он даже не записывался в армию.

— Значит, запишется,— мрачно произнес Сомс.

— Ты правда думаешь, что это так серьезно?

— Серьезнее некуда. Попомни мои слова.

Несколько минут Уинифрид молчала; на лице ее, обычно светски непроницаемом, появилось такое выражение, будто кто-то приподнял над ним шторку. Она сказала едва слышно:

— Счастье, что у Вэла больная нога. Сомс, неужели ты думаешь, что они вторгнутся сюда?

— Только если совсем потеряют голову. Все зависит от флота. Говорят, есть там один дельный, по фамилии Желлико¹, а, впрочем, кто его знает. Тут еще эти цепелины... Отдам Флер в какую-нибудь школу на западе.

— Запасать провизию нужно?

— Если все начнут запасать, будут перебои, а это не годится. Чем меньше суеты, тем лучше. Я завтра уеду к себе первым поездом. А сейчас пойду спать. Покойной ночи.

И он поцеловал сестру в лоб, мельком взглянув на ее лицо, над которым все еще не задернули шторку.

¹ Джон Желлико (1859—1935) — английский адмирал.

Он хорошо выспался и еще до полудня вернулся домой. Радость Флер, выбежавшей встречать его, и солнечный покой реки пролили бальзам на его сердце, так что он не без аппетита позавтракал. После завтрака к нему на веранду пришел старший садовник.

— Выставку цветов отложили, сэр. Сегодня не открывают. А немцы, похоже, зарвались, сэр, как вы полагаете?

— Не знаю,—сказал Сомс. Все, казалось, воспринимали войну, как веселый пикник, и это раздражало его.

— И лорд Китченер, на счастье, здесь,—сказал садовник.— Уж он-то им покажет!

— Война может продлиться и год и больше,—сказал Сомс.— Так что не тратьте зря деньги, понятно?

Садовник удивился.

— А я думал...

— Думайте, что хотите, но никаких лишних трат, и готовьтесь сеять овощи. Ясно?

— Ясно, сэр. Так вы думаете, это дело серьезное, сэр?

— Да,—сказал Сомс.

— Слушаю, сэр.

Садовник удалился. И у этого ветер в голове! В том-то и беда: сердце у людей доброе, а вот голова не работает. У немцев, говорят, головы большие, круглые, а затылок срезан. Да, помнится, так оно и есть. Он вошел в дом и взял «Таймс». Читать газеты — больше как будто ничего и не оставалось. Вошла Аннет с румянцем на щеках и клубком шерсти в руке.

— Ну,—сказал он, выглядывая из-за газеты,— теперь ты довольна?

Она подошла ближе.

— Брось газету, Сомс, дай я тебя поцелую.

— Это по какому же случаю?

Аннет отбросила газету в сторону и села к нему на колени. Потом положила руки ему на плечи, наклонилась и поцеловала его.

— Потому что вы не покинули мою родину в беде. Я горжусь Англией.

— В первый раз слышу,—сказал Сомс. Она была не легонькая, от нее пахло вербеной.— Не знаю, право,—добавил он,—какую пользу мы можем принести. Разве что на море.

— О, но это все, что нужно. Теперь мы не приперты к стене, мы опираемся на вас.

— Ты-то безусловно,— сказал Сомс, нисколько, впрочем, не огорчаясь этим обстоятельством.

Аннет встала. Вид у нее был преображенный.

— Теперь мы разобьем этих ужасных немцев. Сомс, нужно расстаться с фрейлейн. Нельзя больше ее держать.

— Я этого ждал. Но почему? Она-то чем виновата?

— Оставить в доме немку? Нет!

— Да почему? Какой от нее вред? А если ты ее уволишь, что ей делать?

— Что угодно, лишь бы не в моем доме. Почем мы знаем, может, она шпионка.

— Чушь!

— Ах, вы, англичане, так туго соображаете, всегда спохватываетесь слишком поздно.

— Не вижу проку в истериках,— буркнул Сомс.

— О нас будут говорить по всей округе.

— Пусть говорят.

— Non! Я уже сказала ей, чтобы собиралась. А Флер после каникул отдадим в закрытую школу. Не возражай, Сомс, я не оставляю в своем доме немку. «*A la guerre com-
me à la guerre*».

Сомс проворчал что-то очень неодобрительное. Ну, закусил удила! Чувство справедливости в нем было глубоко оскорблено, однако рассудок подсказывал, что если спорить с Аннет, положение станет невыносимым.

— Тогда пришли ее ко мне,— сказал он.

— Только не вздумай с ней нежничать,— сказала Аннет и ушла.

«Нежничать»! Это слово возмутило его. «Нежничать»! Он все еще возмущался, когда до его сознания дошло, что гувернантка стоит перед ним.

Это была молодая женщина высокого роста, румяная, с немного выступающими скулами и честными серыми глазами, и стояла она молча, сцепив опущенные руки.

— Скверная получилась история, фрейлейн.

— Да, мистер Форсайт. Madame говорит, что я должна уехать.

Сомс кивнул.

— Французы очень эмоциональны. У вас есть какие-нибудь планы?

Гувернантка покачала головой. Сомс прочел в этом движении полную безнадежность.

— Какие у меня могут быть планы? Никто не захочет меня держать. Мне нужно было уехать в Германию неделю назад. А теперь меня выпустят?

— Почему бы нет? Мы ведь здесь не на побережье. Поезжайте в Лондон, поговорите с кем следует. Я дам вам письмо, подтверждаю, что вы отсюда не выезжали.

— Благодарю вас, мистер Форсайт. Вы очень добры.

— Я-то не хочу, чтобы вы уезжали,— сказал Сомс.— Все это глупости; но тут я бессилен.— И, заметив, что на скулах у нее блещут две большие слезы, он поспешил добавить: — Флер будет скучать без вас. Деньги у вас есть?

— Очень мало. Я все время отсылала мое жалованье старикам родителям.

Вот оно! Старики родители, малые дети, больные, и все прочее. Жестоко это! И он же сам толкает человека в пропасть! А внешность у нее приятная. Ничего ей не оставишь в упрек, кроме войны!

— На вашем месте,— сказал он медленно,— я бы не стал терять времени. Поезжайте сейчас же, пока они еще только осматриваются. А потом начнется такая истерика... Погодите, я дам вам денег.

Он подошел к старинному ореховому бюро, которое купил по случаю в Рэдинге,—прекрасная вещь, с потайным ящичком, и продали за бесценок. Сколько же ей дать? Все так неопределенно... Она стояла совсем тихо, но он чувствовал, что слезы бегут у нее по щекам.

— Ну их к черту,— сказал он вполголоса.— Я дам вам жалованье за три месяца и пятнадцать фунтов наличными на дорогу. Если вас не выпустят, дайте мне знать, когда все истратите.

Гувернантка подняла сцепленные руки.

— Я не хочу брать у вас деньги, мистер Форсайт.

— Глупости. Возьмете все, что я вам даю. Я этого не хотел. По-моему, вам нужно было у нас остаться. При чем здесь женщины?

Он достал из потайного ящичка нужное количество банкнот и вернулся на середину комнаты.

— Я вас отправлю на станцию. Поезжайте и сегодня же обратитесь куда следует. Пока вы собираетесь, я напишу письмо.

Гувернантка наклонилась и поцеловала ему руку. Такое с ним случилось впервые, и нельзя сказать, чтобы это ему понравилось.

— Ну что вы, что вы,— сказал он и, присев к бюро, написал:

«Сэр!

Подательница сего, фрейлейн Шульц, последние полтора года была гувернанткой моей дочери. Могу засвидетельствовать ее хорошее поведение и недюжинные знания. Все это время она прожила в моем доме в Мейплдерхеме, если не считать двух отпусков, проведенных, насколько мне известно, в Уэльсе. Фрейлейн Шульц желает возвратиться в Германию, и Вы, я надеюсь, ей в этом поможете.

Прилагаю свою карточку и остаюсь
уважающий Вас
Сомс Форсайт».

Потом он вызвал по телефону такси — завести собственный автомобиль он упорно отказывался: бешеные какие-то машины и вечно ломаются.

Когда такси подъехало к дому, Сомс вышел в холл. Флер с подружкой убежали в лес; Аннет в саду, и скорее всего там останется; нельзя же допустить, чтобы этой молодой женщине даже некому было пожать руку на прощание.

Сперва по лестнице снесли глянцеви́тый заграничный чемодан, потом саквояж и небольшой тючок в ремнях с заткнутым за них зонтиком. Последней спустилась гувернантка. Глаза у нее были заплаканные. Внезапно все это показалось Сомсу вопиющим варварством. Оказаться вот так выброшенной на улицу только потому, что этот чертов кайзер и его бандиты-генералы посходили с ума! Не по-английски это.

— Вот письмо. Советую пока пожить в гостинице у вокзала Виктории. Ну, прощайте. Мне очень жаль, но, пока длится война, вам будет лучше дома.

Он пожал ее руку в перчатке и, заметив, что собст-

венная его рука опять в опасности, поспешно ее отдернул.

— Поцелуйте от меня Флер, сэр.

— Непременно. Она будет жалеть, что не проводила вас. Ну, прощайте! — От страха, как бы она снова не расплакалась или не стала его благодарить, он поспешно добавил: — Вам будет приятно прокатиться.

Сам он в этом сомневался. Воображение уже рисовало ему, как она всю дорогу обливает платок слезами.

Багаж был уже в машине, гувернантка тоже. Мотор гудел и фыркал. Стоя в дверях, Сомс поднял руку и помахал заплаканной девушке.

Нижняя губа у нее дрожала, лицо было испуганное. Он криво улыбнулся ей и вошел в дом. Нужно же такому случиться!

3

Слухи! Никогда бы Сомс не поверил, что на свете столько дураков. Слухи о морских сражениях, слухи о шпионах, слухи о русских. Взять хотя бы его разговор с деревенской учительницей, которую он встретил перед зданием школы.

— Вы слышали, какие страшные новости, мистер Форсайт?

У Сомса волосы встали дыбом под шляпой.

— Нет, а что такое?

— Было ужасающее сражение на море. Мы потеряли шесть линейных кораблей. Какой ужас, правда?

У Сомса сжались в кулаки руки, засунутые в карманы.

— Кто это вам сказал?

— Да вся деревня говорит. Шесть кораблей — правда, ужасно?

— А сколько потеряли немцы?

— Двенадцать.

Сомс чуть не подскочил на месте.

— Двенадцать? Но ведь это значит, что война окончена. Что вы толкуете про страшные новости... да лучшего и желать нельзя.

— О, но шесть наших кораблей — это ужасно!

— Война вообще ужасна, — сказал Сомс, — но если это правда...

Он круто повернулся и зашагал на почту. Разумеется, это оказалось неправдой. Все оказывалось неправдой. Даже его личные подозрения. Взять хотя бы тех двух широкоплечих мужчин в соломенных шляпах, которых он встретил на проселочной дороге,— на ходу они ставили ноги носками врозь, так ни один англичанин не ходит. Он готов был головой ручаться, что это немцы, и не просто немцы, а шпионы, тем более что в тот же день у него испортился телефон. И, конечно, оказалось, что они американцы, проводящие отпуск в Пэнгборне, а провода повредило грозой. Но что прикажете думать, когда газеты полны историй о шпионах и даже молнии, судя по всему, состоят на службе в германской разведке. А уж что касается зеркал в дневное время и спичек по ночам, то они все, безусловно, связаны с немецким флотом в Кильском канале, или где он там стоит.

Время от времени Сомс изрекал: «Вздор! Размягчение мозгов!» А в следующую минуту сам чувствовал, что у него размягчились мозги. Ну откуда, например, могли взяться двести тысяч русских, которых все видели в поездах во всех концах страны? Оказалось, что это были яйца, и к тому же, наверно, тухлые; но как было не поверить, особенно когда поверить так хотелось! А власти не считают нужным вас осведомлять — молчат, как воды в рот набрали! Разве можно так обращаться с англичанином? Он от этого только начнет воображать бог знает что. А потом — битва под Монсом. Не могут даже рассказать вразумительно про армию — только и пишут, какие наши солдаты герои и как они убили несметное количество немцев, а теперь отступают, чтобы лучше их добить. Больше никаких новостей, в сущности, и не печатали, а потом вдруг оказалось, что немцы вот-вот возьмут Париж и французское правительство упаковало пожитки и отбыло в Бордо. И заняться-то нечем — только читать газеты да слушать, как стучит спицами Аннет. А потом пришли вести о битве на Марне, и Сомс перевел дух.

Он вздохнул свободно, как будто до этого ему много недель ни разу не удавалось вздохнуть полной грудью. Говорили, что это начало конца и что теперь союзники — он тоже их так называл, все так называли — скоро будут в Германии. Ему так хотелось в это верить, что он твер-

дил, что не верит ни единому слову,— вот так же, когда все предвещало хорошую погоду, он брал с собою зонт, чтобы не пошел дождь. А тут они, извольте видеть, взяли и зарылись в землю! Начало этого рода войны, которой суждено было продлиться четыре года, не вызвало у него дурных предчувствий. Было даже известное облегчение в этой неподвижности после бурных дней Монса и Марны. Он продолжал читать газеты, покачивать головой и помещать деньги в военный заем. Его племянник Бенедикт проходил подготовку, чтобы служить офицером в армии Китченера; сын Сисили тоже пошел в армию. Видимо, иначе они не могли. Аннет несколько раз говорила, что хочет уехать во Францию и работать сестрой милосердия. Все это фантазии. Она принесет гораздо больше пользы, если будет вязать солдатам шарфы и экономить на хозяйственных расходах.

Он сам отвез Флер в пансион на западе Англии, и очень вовремя: вскоре после этого в игру вступили цепелины. По отношению к воздушным налетам Сомс проявил известную непоследовательность: он увез свою дочь подальше от столицы, но в то же время считал, что зря люди нервничают и поднимают вокруг этого такой шум. Из верхнего окна своего клуба ему посчастливилось однажды увидеть, как цепелин загорелся в воздухе. Он ничего не сказал и впоследствии был этому рад: кое-кто из членов клуба выразил свои чувства вслух, и эти чувства не делали им чести. Конечно, причины для недовольства были, но как-никак, экипаж-то сгорел заживо. Вообще говоря, пока война тянулась, истинное ее лицо было от него скрыто; этому способствовали не только правительство, газеты и его возраст, но своеобразное заграждение, которое он сам возвел, чтобы самому же за ним и спрятаться. Да, война идет, и что толку волноваться больше, чем абсолютно необходимо? Если он доживет до конца войны, тогда еще, пожалуй, можно будет дать волю своим чувствам. И все это время события на море, удачные и неудачные действия флота, он воспринимал острее, чем то, что происходило на суше. В первый период войны он болезненнее всего пережил обстрел Скарборо. Это было как удар кулаком под ключицу. Гордость его жестоко страдала. Неприятельские корабли осмелились подойти так близко, что могли швырять свои снаряды

в дома англичан, и это сошло им с рук — одна мысль об этом наполняла его отвращением. После этого можно было ждать чего угодно. Его томило желание каких-нибудь решающих событий на море, каких-нибудь доказательств британского превосходства, точно слова «Правь, Британия» проникли ему в кровь. Потопление «Лузитании» сперва возмутило его, как и всех вокруг, но, когда он слышал, как ругают американцев за то, что они тотчас же не объявили войну, он решил, что это уже слишком. Америка далеко, уверять, что она в опасности, — это, в сущности, значит считать, что Англия будет побеждена, а такого Сомс, при всей его склонности всегда ожидать худшего, и в мыслях не допускал. К тому же в глубине души ему вовсе не хотелось, чтобы его спасала Америка или кто бы то ни было. Но к этому чувству странным образом примешивалось и другое: что если бы вот так же сразу потопили больше тысячи англичан, Англия мигом схватилась бы за оружие, и более того: он бы это одобрил.

Еще в начале 1915 года, видя, как поредели ряды служащих, он снова впрягся в ежедневную работу конторы «Кэткот, Кингсон и Форсайт». Так напряженно он, кажется, еще никогда не работал. По сравнению с тревогами Англии юридические дела, которые он вел, часто казались ему очень уж мелкими, но занимался он ими добросовестно; они отвлекали его мысли и, между прочим, приносили деньги, которые тоже можно было вложить в военный заем. После второго сражения у Ипра он пожертвовал денег на санитарный автомобиль и испытал острое чувство неловкости, увидев свое имя в газетах. В поезде по дороге в город и обратно или за завтраком в своем клубе в Сити он слушал, как пожилые мужчины с умным видом рассуждали о ведении войны, о свойствах немцев, политических деятелей, американцев и прочих предосудительных личностей, и вид у него был такой, точно он вот-вот громко фыркнет.

«Что они в этом понимают, — думал он. — Порют всякую чушь. Не по-английски это». В те дни столько было вокруг истерии, столько неанглийского; и газеты поощряли это своими выкриками вроде «Интернировать гуннов!». Сейчас, когда особенно важно держать язык за зубами, эти идиоты как нарочно трещат без умолку.

Так оно и шло почти два года, и вот однажды, июньским утром, он прочел в газете первую официальную сводку о Ютландском сражении. Забрав газету, чтобы никто ее не увидел, пока он не придет в себя, он вышел через стеклянную дверь гостиной на росистую лужайку и, ничего перед собой не видя, направился к реке. У него больно сосало под ложечкой. Мирно струилась под деревьями река, птицы пели как ни в чем не бывало, а Сомс стоял без шляпы на солнце и пытался собраться с мыслями. Его захлестывал страх. Наконец-то настоящее сражение—и такие потери! Он вошел в тень от тополя и перечитал сводку. Самое скверное было вначале, дальше шли вести получше. Неужели нельзя было сразу сказать, что немцы пустились наутек? С ума они там сошли, так пугать человека. Да ведь это победа, хотя мы и потеряли столько кораблей! Ох, идиоты, разве можно расписывать это такими мрачными красками? Все равно что стрелять по своим. Писать правду — да, но не так, чтобы вызывать у людей боль в желудке. Он стиснул зубы и пошел домой завтракать.

— Произошло серьезное сражение на море,— сообщил он Аннет.— Мы потеряли много кораблей, но немцы бежали. Вполне допускаю, что больше в морские бои они не сунутся.

Так врожденное чувство противоречия помогло ему предсказать будущее.

Читая новые сообщения в этот день и на следующий, он все больше сердился на людей, причинивших ему такие страдания. И о чем только власти думают? То секретничают без нужды, а то, когда можно сообщить действительно хорошие новости, преподносят их как катастрофу.

Прошло несколько дней, и смерть Китченера немного отрезвила Сомса, но особенно не потрясла. Да, он много сделал для Англии и был похож на льва в Зоологическом саду, но на фоне мировых событий даже его фигура уже не казалась такой крупной.

В конце 1916 года на долю Сомса выпало личное переживание, которое так его расстроило, что он никому о нем не рассказал. Он ехал поездом в Лондон. Из патристических побуждений он теперь ездил третьим классом, но в это утро поезд был переполнен, и он вошел в

купе первого класса, где уже сидели молодой офицер — его вещи лежали в сетке над головой — и красивая молодая женщина с заплаканными глазами. Сомс укрылся за газетой, однако ему вскоре стало ясно, что если они не женаты, так следовало бы им пожениться — об этом говорили их глаза, руки, губы, непрестанно ищущие друг друга. На остановках, когда им приходилось вспоминать, что они не одни, Сомс украдкой наблюдал за ними. От отчаяния, написанного на бледном лице мужчины, от тоски в покрасневших глазах женщины ему стало очень не по себе. Вот оно — неотвратимая разлука и все трагедии, которые она предвещает, неизбежное горе военных прощаний, каких сейчас миллионы во всех концах земли. Впервые ему довелось видеть такое вблизи, он и не подозревал, до чего это тяжелое зрелище. Те двое замерли в неистовом объятии, и тут поезд остановился в Вестборн-Парке. Ей, видимо, нужно было здесь сходить, но не хватало сил. Она стояла, пошатываясь, и слезы бежали по ее лицу. Молодой офицер рывком открыл дверь и почти вытолкнул ее на платформу. Подняв голову, она смотрела на него с такой мукой, что у Сомса защемило сердце. Поезд тронулся, молодой человек со стоном опустился на свое место. Сомс глядел в другое окно. Даже когда поезд довез их до Пэддингтонского вокзала, он еще целую минуту гладел в окно пустого вагона на соседнем пути. Наконец, крепко зажав в руке зонт, он вышел из опустевшего купе и, садясь в такси, рывкнул одно слово: «Полтри». Весь этот день он не говорил, а рывкал. И так повсюду, во всем мире — безобразие! А между тем впечатление такое, что сейчас людей уже волнует не столько самая война, сколько карточки на сахар и на масло. Воздушные налеты, потопленные корабли и как бы раздобыть съестного — больше ни о чем и не думают, ну, и еще, конечно, танцуют в ночных клубах и красятся. За всю жизнь он не видел столько накрашенных лиц. Когда он под вечер шел из конторы по Стрэнду, каждая встречная напоминала тех уличных женщин, которых он видел здесь, когда был моложе. Яркие красные губы, напудренный нос, а рядом мужчина в хаки!

Так миновал и 1917 год, и Флер стала уже почти взрослой девушкой. Из школы он получал о ней хорошие отзывы — способна и к наукам и к спорту, — и это его

радовало. В тех краях война, сколько он мог понять, почти не чувствовалась, а на каникулах он, по возможности, держал Флер дома. В Мейплдерхеме тоже мало что напоминало о войне, хотя, конечно, всюду мелькала военная форма. Когда газеты стали писать о воинской повинности, Сомс долго качал головой. Не по-английски это. Однако, когда воинскую повинность ввели, он решил, что, пожалуй, ничего другого и не оставалось. Впрочем, он никак не мог одобрить грубого обращения с принципиальными противниками военной службы. Их принципам он, разумеется, не сочувствовал, но травить в такое время своих же соотечественников — это противно; и, как прирожденный индивидуалист, он в душе не переставал возмущаться насильственными мерами, которые вошли в повседневную практику этих и без того достаточно гнусных лет. Еще в первый год войны он лишился двух садовников, теперь забрали еще двоих, оставив ему старика и мальчишку, так что он частенько сам брал тяпку и полел огород, а Аннет морила улиток каким-то французским раствором. В доме он всегда держал только женскую прислугу, так что дворецкого у него при всем желании не могли забрать — и то хорошо. А будь у него автомобиль, так забрали бы и шофера. Он чувствовал, что легко примирился бы с этими утратами, если бы люди шли в армию по своей воле, но сам он не стал бы их уговаривать. Его удержала бы от этого глубоко скрытая вера в святость личных чувств, даже чувства патриотизма. Имеют же люди право на собственное мнение. Сам он, если бы был моложе сорока лет, вероятно, пошел бы, как ни претила ему эта грубая, никому не нужная военщина; но уговаривать других — нет, увольте. Это нежелание навязывать кому бы то ни было свои взгляды обрекало его на полное одиночество в конторе, в клубе, в поездах, где все, казалось, только и делали, что учили жить других. Сомс чуть ли не стыдился своей деликатности: нельзя же вести войну, не командуя людьми. И он старался держать себя так, чтобы никто не догадался о его слабости. Но один раз она привела его к серьезной стычке с его кузеном Джорджем в клубе Айсиум. Он знал, что Джордж хотя и был всего на год моложе его, работал по вербовке добровольцев в Хэмпшире, а субботу и воскресенье проводил в Лондоне, чтобы, как он

сам выражался, «полюбоваться воздушными налетами». Сомс подозревал, что в город его тянет и еще кое-что, помимо налетов. Итак, однажды в субботу, увидев Джорджа в нише клубного окна, он по неосторожности ответил на его приветствие, и Джордж знаком пригласил его зайти.

— Хочешь выпить? — сказал Джордж. — Нет? Ну, тогда чашку чаю; сахар могу тебе уступить.

Он окинул Сомса насмешливым взглядом из-под тяжелых век.

— Худ, как щепка. Ты чем занимаешься, разводишь свиней на пользу отечеству?

Сомс скривил губы.

— Не смешно, — отрезал он. — А ты?

— Заманиваю ребят в пекло. Советую и тебе попробовать. Они, черти, в последнее время упираются.

— Спасибо, — сказал Сомс. — Это не по мне.

Джордж ухмыльнулся.

— Брезгуешь?

— Пусть так.

— А что же, по-твоему, нужно делать?

— Не соваться, куда тебя не просят.

— Предпочитаешь составлять завещания?

Сомс отставил чашку и взялся за шляпу. Никогда еще Джордж не вызывал у него такой неприязни.

— Не злись, — сказал Джордж. — Кто-то должен же составлять завещания. А кстати, составь-ка мое: все Ролжеру, Юстасу и Фрэнси в равных долях. Душеприказчики — ты и Юстас. Приходи как-нибудь вечером, вместе полюбуемся налетом. Сын Сент-Джона Хэймена убит, читал? Говорят, к весне гунны готовят большое наступление.

Сомс пожал плечами.

— До свидания, — сказал он. — Черновик завещания я тебе пришлю.

— Только составь покороче, — сказал Джордж. — И чтобы меня сожгли. Воля покойного — костей не оставлять.

Сомс кивнул и вышел.

Большое наступление! Сколько же еще можно бросать людей в мясорубку? За эти годы ему уже случалось

склоняться к позиции Ленсдауна¹, но всякий раз бульдог, притаившийся в глубине его существа, настораживался и рычал. Конец, которым ничего не кончается... после всего, что было... Нет. Держаться до победы! Ибо мысль о поражении Англии не приходила ему в голову даже в самые худшие минуты.

В марте 1918 года, когда он только что встал с постели после простуды, немцы перешли в наступление. Неожиданная весть об этом потрясла Сомса до глубины души и вызвала обычное желание — уйти от всех, побыть одному. Он вышел из дому, очень медленно поднялся на ближайший пустынный холм и, подстелив пальто, уселся на землю среди кустов дрока. Здесь было тихо и пахло весной; пел жаворонок. А там — немцы прорвали фронт! И, сидя в тишине ясного весеннего дня, он почти молился. Сколько раз он слышал, что мы к этому готовы; а выходит, что готовы-то не были. Вот всегда так — слишком много апломба. Он сидел и прислушивался, как будто мог на таком расстоянии услышать канонаду. Говорили, что сторож при шлюзе однажды ее слышал. Чепуха. Не может этого быть. А впрочем... что это? Нет, вздор. Он лег на спину и приник ухом к земле, но уловил только шепот ветерка и жужжание пчелы, пролетавшей к облюбованной ветке дрока. Эти звуки куда приятнее, чем грохот орудий. Потом слуха его коснулся первый удар колокола на деревенской церкви. Скоро там соберется народ, будут — кто сидя на скамье, кто преклонив колени — думать о германском прорыве, и священник, чего доброго, вознесет особую молитву о ниспослании гибели немцам. Да, либо ты губишь, либо губят тебя, все к этому сводится. Странно: жизнь кормится жизнью или, вернее, смертью! Согласно новейшим теориям, вся материя — живая, и каждая форма существует за счет какой-нибудь другой формы или, во всяком случае, элементов формы. Земля — всего-навсего форма в состоянии распада, из которого возникают другие формы, и человек ими питается, а потом и сам подвергается распаду, и из него возникают новые формы, и кто-то питается ими, и так оно и идет. Несмотря на прорыв

¹ Ленсдаун — один из лидеров консервативной партии — уже в 1916 году высказывался за сепаратный мир с Германией.

фронта, Сомс после двух недель взаперти не мог не ощущать, как хорошо жить на свете. И обоняние его, так долго вынужденное довольствоваться одеколоном, обострилось до чрезвычайности. Он слышал запах дрока — очень слабый, едва уловимый. «Повеяло дроком с далеких холмов», — где-то он это читал. И подумать только, что там, в Европе, его соотечественники мучаются, умирают, разорванные в клочья, — все молодежь, из его конторы, из его сада, из всех английских контор и садов, — умирают ради спасения Англии... ради спасения мира, так теперь говорят, но это уж пустые слова! И возможно, что после этих ужасающих четырех лет они все же не спасут Англию! Подобрав под себя худые ноги, он сидел и смотрел вниз, в сторону реки, туда, где был его дом. Нет, спасут, пусть для этого потребуются призвать еще десять возрастов или вовсе снять возрастные ограничения. Англия под чужеземным игом? Ни за что! Он наскреб пальцами горсть земли и, зажав ее в кулак, машинально поднес к носу. Пахла она, как ей и полагалось пахнуть, — землей, и его пронизало очень странное, ни на что не похожее ощущение. Английская земля! Гм! Земля есть земля, в Англии ли, в Тимбукту — все равно. Отдавать жизнь за то, что пахнет точь-в-точь как его теплица с шампиньонами... смешно!.. Выдумывают громкие слова и идут за них на смерть. Вон поет жаворонок — счень английская птица, веселая, беззаботная, поет себе и знать ничего не хочет, и ни до чего ей дела нет. Церковный колокол умолк. Если люди воображают, что бог как-то особенно покровительствует Англии, то они очень ошибаются. Ничем он Англии не поможет. Надо самим о себе заботиться. Если опустить руки, тогда конец. Взять хотя бы германские подводные лодки. Предоставить их богу, и что получится? Оглянуться не успеешь, как придется есть трубастых голубей из собственной голубятни.

Мягкий воздух и косые лучи мартовского солнца пригревали ему щеку; побледневшую от долгого соприкосновения с подушкой. А там-то, там-то!.. Если этот ужас когда-нибудь кончится, надо будет прийти сюда, проверить, как здесь дышится, когда нет этой ноющей боли под пятым ребром. Приятное место, открытое, высокое. А теперь нужно идти домой, и есть куриный бульон, и

слушать, как Аннет будет говорить, что англичане дальше своего носа не видят — это, кстати сказать, совершенно справедливо, — и возражать ей, что очень даже видят. Тяжко это, когда все мысли заняты известиями с фронта. Он поднялся. Двенадцать часов! Молитвы, наверно, кончились, идет проповедь. Жаль этого священника: небось, проповедует про филистимлян. Ослиных челюстей то и у нас сколько угодно, а вот Самсона ни одного не сыскать¹. Дрок в цвету — красиво это, он нынче рано зацвел. Вспомнилась поговорка «Дрок отцвел — целоваться не время», и он лениво подумал, что же должно отцвести, чтобы стало не время убивать. А вон ястреб. Сомс постоял, поглядел на него. Он парил высоко в воздухе, потом косо ринулся вниз, сверкнув красной молнией, и снова замер на распростертых крыльях; а Сомс медленно, в бледных лучах солнца, двинулся вниз, к реке.

4

Наступил июль. Немцев уже давно оттеснили, фронт выравнивали, множество американских частей прибыло из-за океана, верховным главнокомандующим стал Фош. Сомс не знал, как к этому отнестись: возможно, это и было необходимо, но нескрываемая радость Аннет огорчала его, и к тому же, насколько он мог судить, никаких сдвигов за этим не последовало, тянулась все та же нескончаемая канитель. Уинифрид — вот кто услышал от него слова, решительно изменившие весь ход мировых событий.

— Мы никогда не победим, — сказал он. — Я потерял всякую надежду. Солдат не в чем упрекнуть, но командование... Ни одного порядочного человека. Я потерял надежду.

Ни разу еще он не высказывался так определенно. На следующее утро газеты захлебываясь сообщали, что германское наступление против французов приостановлено и теперь французы вместе с американцами сами перешли

¹ По библейской легенде, Самсон, наделенный сверхчеловеческой силой, нашел ослиную челюсть и убил ею тысячу филистимлян — врагов Израиля.

в наступление. Начиная с этого дня союзники, как Сомс все еще их называл, уже не сделали ни шагу назад.

Те, кого интересуют такие вопросы, возможно, спросят себя, в самом ли деле Сомс (наряду со многими другими людьми) победил немцев, или же он каким-то шестым чувством еще до газетных сообщений уловил ход событий и, как и подобало закоренелому индивидуалисту, мгновенно высказал противоположное суждение. Как бы там ни было, его пророчество не сбылось, и это было для него неописуемым облегчением. Ближайшее воскресенье он впервые за три года провел в своей картинной галерее. Французы наступают, англичане готовятся наступать; американцы тоже не зевают: воздушные налеты прекратились; с подводными лодками сладили. И впечатление такое, будто все это произошло за два дня. Сомс разглядывал своего Гойю, перебирал фотографии с картин в Прадо, и вдруг с удивлением обнаружил, что девушка с корзиной на фреске *La Vendimia* напоминает Флер. В самом деле, сходство есть. Если война все же кончится, он закажет какому-нибудь художнику копию с этой девушки: колорит там, помнится, очень хорош. Она будет пробуждать приятные воспоминания — о дочери и как он бродил по Прадо в 1910 году, перед тем как купил Гойю лорда Берлингфорда. Уже сколько лет не случалось, чтобы мысли его занимал предмет, никак не связанный с войной, — это было невыразимо отрадно, это говорило о том, что возможна жизнь без боев и убийств, жизнь, где снова будет место Думетриусу. Сомс позвонил и велел горничной принести кувшин крошона. Выпил он очень мало, но наслаждение испытал прямо-таки викторианское. Как-то прожили военные годы его двоюродный братец Джолион и Ирэн? Терзались страхами и теряли в весе так же, как и он? Дай-то бог! Их сын, сколько помнится, достигнет призывного возраста через год; и Сомс в тысячный раз порадовался тому, что Флер разочаровала его, родившись девочкой. В общем, этот день был самым счастливым в его жизни с тех пор, как он купил своего Якоба Мариса в июне 1914 года.

Теперь он начал понемногу прибавлять в весе, ибо хотя бои, ожесточенные и кровавые, все продолжались, общее движение неуклонно шло в нужную сторону — происходило то самое, на что он как раз вовремя пере-

стал надеяться. Ряды противника редели: отпали болгары, турки, а скоро, говорят, и австрийцы выйдут из строя. Американцы же тем временем все прибывали. Сомс встречал их офицеров в Лондоне по дороге в Сити. Форма у них со стоячим воротником, у некоторых пенсне: наверно, это их очень стесняет; но вид бодрый, и у них есть все, что только можно купить за деньги, а это главное. Он часто думал о том, чем ему отметить окончание войны. Многие, наверно, напьются; иные потеряют от радости голову, а заодно и шляпу; но как выразить то, что почувствует он сам,—этого он не мог себе представить. Он подумывал о Брайтоне, о рыбной ловле с лодки; подумывал о том, как будет садиться в поезд, чтобы поехать за Флер, и как будет садиться в поезд, возвращаясь домой; и о том, чтобы потолкаться в толпе напротив Даунинг-стрит, как в тот вечер, когда оно началось. Все это было не то. А потом капитулировала Австрия. Почему-то Сомс совсем не чувствовал, что воюет с австрийцами, с этим славным народом, обремененным эрцгерцогами. И теперь, когда они были разбиты, а эрцгерцоги перевелись, ему даже было их жалко. Говорили, что до конца остались считанные дни. Сомс не очень-то в это верил: у немцев всегда припасены какие-нибудь сюрпризы. Воевали они хорошо, нет смысла это отрицать, да что там, они даже слишком хорошо воевали! Еще того и гляди попытаются в последнюю минуту разрушить Лондон. И из неосознанного чувства противоречия он решил переселиться к Уинифрид на Грин-стрит. Девятого ноября он провел там свой шестьдесят третий день рождения — по счастью, никто об этой дате не вспомнил; он терпеть не мог получать подарки и выслушивать поздравления — к чему это? Теперь уже все были уверены, что война, в сущности, кончилась. Но Сомс продолжал твердить: «Помните мое слово, они еще напоследок устроят большой воздушный налет». Выбатывались условия перемирия: ходили слухи, что со дня на день они будут подписаны. Сомс качал головой. Однако к одиннадцатому ноября он уже не был уверен ни в чем, а потому не поехал в контору и сидел в столовой на Грин-стрит, когда слышались сигналы, оповещающие о воздушном налете. Ну, что он им говорил? До налета еще не меньше четверти часа, можно высунуть нос на улицу,

поглядеть, что они там затеяли. На улице не было ни души, только в дверях соседнего дома стояла старая женщина с пыльной тряпкой в руке — видимо, поденщица. Сомса поразило ее лицо. На нем застыла улыбка, которую поэт, вероятно, назвал бы улыбкой экстаза. Она помахала Сомсу тряпкой, а потом — очень странно! — стала вытирать ею глаза. С Парк-Лейн катился шум — крики ура — порывами, волнами. Люди начали выбегать из домов. Какой-то человек швырнул шляпу оземь и стал плясать на ней. Значит, это не воздушный налет — во время налетов никто не стал бы так себя вести. Неужели же... ну конечно, это перемирие! Наконец-то! И Сомс, весь дрожа, еле слышно проговорил: «Слава богу!» Первым его желанием было бежать на Парк-Лейн, откуда неслись крики ликования. Но он тут же передумал: это было бы вульгарно. Он вошел в дом и захлопнул дверь. Вернувшись в столовую, он уселся в кресло, повернутое спинкой ко всей комнате. Он сидел совершенно неподвижно, только дышал тяжело, как после быстрого бега. Губы у него подрагивали. Это было очень странно. А потом (в этом он не признался ни единой душе) слезы выступили у него на глазах и потекли на крахмальный воротничок. Он бы никогда не подумал, что это возможно, но что ж, пусть текут. Долгий, нескончаемый ужас кончился. Совсем кончился! И вдруг, подумав, что еще немного — и придется, чего доброго, воротничок менять, он достал из кармана платок. Такое признание собственной чувствительности возымело мгновенное действие. Слезы иссякли, и Сомс, стерев с лица последние их следы, откинулся в кресле и закрыл глаза. Так он сидел, словно отдыхая после тяжелой работы. Перезвон колоколов и ликование толпы проникали и в эту закрытую комнату, но он все сидел, уронив голову на грудь, и по-прежнему его пробирала дрожь. Слово чувства, которые он так долго в себе подавлял, теперь мстили ему этой долгой расслабленной неподвижностью. На улицах сейчас танцуют и кричат, пьют и смеются, молятся и плачут. А Сомс сидел и дрожал всем телом.

Наконец он поднялся и, подойдя к буфету, выпил стакан старого хереса, еще из запасов покойного отца. Потом взял пальто и зонт и вышел из дому, сам не зная, куда и зачем.

Тихими улицами он направился в сторону Пикадилли. Встречные улыбались ему, и он, очень этим недовольный, поневоле улыбался в ответ. Многие на ходу разговаривали—не то с самими собой, не то с богом. Попадались и бегущие фигуры. Он добрался до Пикадилли, и тут ему тоже не понравилось — бесконечные грузовики и автобусы, набитые людьми, и все кричат и вообще ведут себя по-дурацки. Он как можно быстрее перешел улицу и зашагал через Грин-парк, а потом в обход толпы перед Букингемским дворцом. Дальше, к Вестминстерскому аббатству и парламенту,— и везде толпы, толпы людей! Сторонясь их по мере возможности, он пошел по набережной, сам не зная, куда и зачем. От Блекфрайерского моста свернул вверх, к Сити, и добрался до Ледгет-Хилла. И вдруг он понял, куда идет,— в собор св. Павла! Вот его купол, массивный силуэт на фоне серого ноябрьского неба, огромный над сумятицей флагов и уличного движения, молчащий в оглушительном шуме толп и колоколов. Сомс поднялся по ступеням и вошел. Он не был здесь с самого начала войны, и нынешний его приход не имел никакого отношения к богу. Он пришел сюда, потому что собор был большой, старый, совсем пустой и очень английский и потому что он будил воспоминания. Пройдя вперед по проходу, он поднял голову и заглянул в купол. Кристофер Рэн! Хорошее старое английское имя! Хороший старый английский камень. Все позади — бесконечные смерти, и бомбы, и потопленные корабли, и несчастные юноши, убитые вдали от родного дома. Мир! Он стоял, сложив руки на ручке зонта, слегка согнув в колене левую ногу, как по команде «вольно»; на его запрокинутом бледном лице было выражение и печальное и насмешливое. Реки слез и крови! И ради чего? Взгляд его уловил какое-то яркое пятно. Флаги! Даже здесь без них не обошлось. Флаг! Страшная это вещь, великая и страшная — флаг твоей родины!

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ

Интерлюдия

ВСТРЕЧИ, Перевод <i>М. Лорие</i>	7
--	---

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Перевод *М. Лорие*

Часть первая

I. Зарождение столовой	25
II. У телефона	32
III. Возвращение	39
IV. Сомс едет в Лондон	44
V. Опасность	52
VI. Табакерка	58
VII. Майкл терзается	68
VIII. Тайна	74
IX. Случайная встреча	81
X. После завтрака	86
XI. Блуждания	92
XII. Личные переживания	99
XIII. В ожидании Флер	107

Часть вторая

I. Сын Голубки	115
II. Сомс на скачках	122
III. Двухлетки	129
IV. В «Лугах»	138
V. Корь	149

VI. Формирование комитета	155
VII. Два визита	168
VIII. Забавная встреча	176
IX. А Джон!..	183
X. Неприятности	188
XI. Взялись за трущобы	194
XII. Дивная ночь	204
XIII. «Вечно»	212

Часть третья

I. Сомс дает советы	218
II. Занятие для ума	223
III. Терпение	229
IV. Разговор в автомобиле	235
V. Опять разговор в автомобиле	240
VI. Сомса осеняют гениальные мысли	246
VII. Завтра	256
VIII. Запретный плод	263
IX. Похмелье	267
X. Горькое яблоко	273
XI. «Большой Форсайт»	277
XII. Долгая дорога	287
XIII. Пожары	296
XIV. Тишина	306
XV. Сомс уходит	314
XVI. Конец	318

Из цикла «НА ФОРСАЙТСКОЙ БИРЖЕ»

Зыбучие пески времени, 1821—1860. Перевод О. Холмской	327
Тимоти на волосок от гибели, 1851. Перевод О. Холмской	336
Роман тети Джули, 1855. Перевод О. Холмской	350
Nicolas-Rex, 1864. Перевод М. Лорие	360
Собака у Тимоти, 1878. Перевод О. Холмской	371
Гондекутер, 1880. Перевод О. Холмской	391
Крик павлина, 1883. Перевод Д. Жукова	404
Форсайт четверкой, 1890. Перевод О. Холмской	410
Сомс и Англия, 1914—1918. Перевод М. Лорие	420

Джон ГОЛСУОРСИ
Собрание сочинений в 16 томах.
Том IV.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
А. Васина.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 6/II 1962 г. Тираж 375 000 экз.
Изд. № 2321. Зак. 3241. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Бум. л. 7,06. Печ. л. 23,17+4 вкл. (0,41 печ. л.).
Уч.-изд. л. 23,81. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда».
Москва, А-47, улица «Правды», 24.